

МИХАИЛ
АНЧАРОВ

Приглашение
на
праздник



МИХАИЛ АНЧАРОВ

Приглашение
на
праздник

РОМАНЫ И ПОВЕСТИ



Москва
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

1986

P2
A74

Предисловие автора

Оформление художника

Л. Чернышева

A 4702010200—202
028(01)—86

© Предисловие. Состав.
Оформление. Издательство
«Художественная ли-
тера- тура», 1986 г.

ЗЕРКАЛО

Я родился в 1923 году в Москве. Однако все люди, которые родились не в 1923 году и не в Москве, тоже родились в каком-нибудь году и в каком-нибудь месте, и это тоже достоверно известно каждому из них. И значит, чтобы войти с ними в контакт, а это и есть конечная цель всякого искусства, надо исходить из того, что они живые, а стало быть, одаренные. Все без исключения.

Я не верю в бездарных людей. Все люди одарены «жизнью». И перед этим невероятным фактом все остальное — мелочь и подробности. И если я хочу заниматься искусством, а я всегда этого хотел, сколько себя помню, то я должен исходить из этого непреложного факта всеобщей одаренности. Что бы об этом мне ни толковали.

И хотите верить, хотите нет, но я это понял сразу, еще мальчишкой, и до сих пор не отступаю.

Противников этой мысли я встречал много. Но это не страшно. Потому что противник — это человек, который способен переменить свое мнение, если ему растолковать, что ты имеешь в виду. Но вот враг у этой мысли всегда один. Это не тот, кто хочет работать лучше меня, а кто хочет, чтобы я работал хуже него.

И тут стоп. На это я пойти не могу.

Потому что если я выполню это удивительное пожелание: непременно работать хуже, чем он, и значит, хуже, чем я на самом деле могу, то я потеряю с читателем,

зрителем, слушателем тот контакт, который и есть единственный смысл и содержание такого странного занятия, как искусство.

Занятие это странное потому, что реальную пользу от него не вычислишь никаким компьютером, а реальный вред от его отсутствия виден даже незрячему.

Как-то так получилось, что я всегда чему-нибудь учился и обучался. А это разные вещи.

Если не считать того, что я обучался в школе, в студии живописи, конно-спортивной школе, а потом в Архитектурном институте, в Институте иностранных языков Красной Армии, в военном училище, в Московском художественном институте им. Сурикова и даже на курсах, где учили писать киносценарии, то сам я учился всегда одному и тому же — как сделать, чтобы тот праздник, то блаженство, которое я испытывал, когда брался за перо, или кисть, или музыкальный инструмент, я бы мог как-то передать кому-нибудь еще.

В армии я служил с 1941 по 1947 год, и был награжден медалями и боевым орденом, как я теперь понимаю, не за мои геройства, а за простую добросовестность. Мне нравится это не очень популярное слово, которое передает отношение к делу, с каким тебя свела судьба, случай или догадка.

Еще до войны, в школе я догадался, что поэзия, наверное, может быть не только письменная, но и синкретическая. Это слово я вычитал у какого-то исследователя африканского искусства. Этот термин мне объяснил то, что я уже пытался делать на практике.

Но первая песня была не на мои слова, а на слова Александра Грина. Потом я стал петь свои стихи со своей музыкой. Но когда приехала в Москву вдова Грина и ей сказали, что где-то в Москве есть мальчик, который пишет песни и у него есть песня на слова ее покойного мужа, то нас познакомили. Я спел эту песню, она заплакала, а потом прислала мне книжку «Золотая цепь», где была цитата: «Душа человека таит в себе зерно пламенного рас-

тения — чуда. Если человеку дорог дражайший пятак, дай ему этот пятак. Новая душа будет у него, новая у тебя» (А. Грин). Вот уж когда я ревел белугой всю ночь. Потому что я раз и навсегда понял, что к чему и зачем все это нужно — для обновления души.

А обновление души и есть самый высокий праздник, который доступен человеку.

Я написал, по-моему, около сотни песен: к ним периодически возвращаются. И это я объясняю тем, что у каждой из них была одна движущая сила, одна внутренняя задача, конечно, неосознаваемая во время работы — приглашение на этот праздник.

Не громко ли сказано? Видимо, все-таки нет. Во всяком случае, это главное, что я в себе ценю, когда вглядываюсь в единственное зеркало на свете, которое заслуживает этого названия — зеркало работы.

Были картины, иллюстрации к собственной прозе, пьесы, кинофильмы, телевизионные многосерийные повести и фильмы, даже либретто для оперы. Все это переводилось на языки народов нашей страны и на зарубежные языки. Но сейчас я пишу маленькое предисловие к сборнику прозы. Поэтому несколько слов о ней.

Проза у меня образовалась из песен и картин. Как это может быть — я не знаю. Но это так.

Я всю жизнь мечтал об учителе, к которому бы я пришел, а он бы объяснил — как писать хорошо. Такого учителя не оказалось. Теперь я знаю, что так вообще не бывает.

Но об одном человеке я все же скажу. Потому что он абсолютная точка отсчета для всего, что и теперь пишется стихами, прозой или на театре. Ясно о ком речь, о Пушкине. Учиться у Пушкина писать стихи, прозу или пьесы так же бессмысленно, как учиться по учебнику рожать детей, дышать или видеть. Дышат, рожают и видят — каждый сам по себе. Но если на белом свете есть проза, в которой тебе нравится все (буквально), то это, хочешь не хочешь, влияет на тебя не как факт твоего сознания, а как факт

твоего бытия. И хочешь не хочешь, а этому учишься не как у учителя, а как у жизни.

Что это такое — легче понять, чем объяснить. Но если вдруг понял, что это такое — состояние, повадка, поведение этого человека, когда он берет перо в руки, можешь писать в любом стиле, любым словарем — все равно скажется. А не скажется — значит, не понял.

Теперь маленький перечень. Не считая рассказов, со второй половины шестидесятых годов мной были опубликованы романы и повести: «Теория невероятности» (1960—1964), «Золотой дождь» (1964—1965), «Сода-Солнце» (1965), «Голубая жилка Афродиты» (1965—1966), «Этот синий апрель» (1964—1966), «Поводырь крокодила» (1959—1967), «Самшитовый лес» (1964—1979), «Дорога через хаос» (1952—1979), «Страстной бульвар» (1977—1978), «Прыгай, старик, прыгай!» (1970—1980).

У Карла Маркса есть мысль: «Впоследствии естествознание включит в себя науку о человеке в такой же мере, в какой наука о человеке включит в себя естествознание: это будет *одна наука*».

Не знаю, почему эту мысль я не встречал в искусствоведческом обиходе, хотя для эстетики она основополагающая. Я даже гипотез не слышал о том, на какой почве может произойти это слияние.

Мне почему-то кажется, что это случится через познание такого природного феномена, как фантазия.

Сейчас фантазия чаще проходит по ведомству научной или ненаучной фантастики.

Между тем даже самое реалистическое произведение без фантазии просто не может быть создано.

Всем, конечно, ясно, что гоголевского «Вия» не было, но как-то не осознается, что и гоголевского «Ревизора» тоже не было. И значит, правда о жизни может быть в искусстве высказана в любом виде и в любой форме.

И если Анна Каренина возникла у Льва Толстого из внезапного видения женского локотка, туго обтянутого шелком, а про Аксинью Шолохов прямо ска-

зал, что она плод его фантазии, то над этим стоит хотя бы задуматься.

Фантазируют все — от сплетника до ученого, несмотря на разницу в целях. Эйнштейн, например, утверждал, что для ученого фантазия важнее, чем знания.

И так везде — от технологии до поведения. Любой мысли предшествует фантазия, говорил Циолковский.

Но вот многие искусствоведы до сих пор утверждают, что художественное произведение — это всего лишь выполнение поставленной задачи. И хотя иные из них охотно цитируют Маяковского, что поэзия — это езда в неизвестное, однако на деле уверены, что это не так, и предпочитают езду по адресу.

Роль фантазии огромна, хотя почти не осознается. Фантазия — это природное явление, и если мы хотим оставаться материалистами, надо это явление постигать, а не делать вид, что его нет.

И прежде всего без фантазии невозможен творческий акт.

Что это такое, тоже не знает никто, но что его результаты непохожи ни на какие другие — видно каждому. А если результаты непохожи, значит, и причины разные.

Надо различать открытия и творчество. Открывают то, что в природе уже есть, а творят то, чего в природе еще не было. Ни автомобиля в природе не было, ни табуретки, ни частушки, ни Героической симфонии, ни «Илиады». Война греков с троянцами была, а «Илиады» не было. Ее сотворил Гомер в форме эпоса.

Конечно, все хотят слить форму с содержанием. Но только я не верю, что можно заранее знать, как это сделать. Так как если содержание — это то, ради чего писана вещь, то форма — это то, какого впечатления от этой вещи ты хочешь добиться. А если форму «брать» заранее и не важно, традиционная она или, так сказать, «новаторская» — все равно получится чучело с опилками, но не живой организм. То есть мне кажется, что по отношению к содержанию форма вторична, как сознание к бытию.

И если это уподобление верно, то форму вещи должно подсказывать ее содержание. Другая вещь подскажет другую форму.

Какое это имеет отношение к фантазии, к творческому акту и ко всему, что можно прочесть в этой книге? Самое прямое. Это основная тема моей работы.

Я старался ничего не писать, если не появлялось золотое ощущение, что наконец-то пришло «то самое», что и подскажет, как быть, если уж взял перо в руки. Точнее я объяснить не умею.

Привет тебе, читатель.

Михаил Анчаров

РОМАНЫ И ПОВЕСТИ

САМШИТОВЫЙ ЛЕС

РОМАН

ОТ АВТОРА

Автор предупреждает, что все научные положения в романе не доказаны, в отличие от житейских фактов, которые все выдуманы.

ИЗ РЕЦЕНЗИИ МУХИНОЙ

«...Кстати о предисловии. Автор, видимо, надеется таким наивным приемом избежать критики. И характерно, что, когда его спросили, понимает ли он, что его расчет наивен, автор ответил: «Понимаю». На вопрос, зачем же в таком случае он прибегает к дешевому приему, автор ответил: „Очень хочется“...»

СПЛЕТНЯ

- А говорят, Сапожников петуха купил?
- Этого ему еще недоставало.

ГАЛИМАТЬЯ

Галиматъя — на древнеанглийском — кушанье, составленное из разных остатков и обрезков, — ныне означает запутанную, несвязную речь. По другому объяснению, в Париже жил доктор Галли Матье, лечивший пациентов хохотом (Брокгауз и Ефрон, т. 14, стр. 900).

ПРОЛОГ

Выступает однажды научная дама по телевизору и показывает детские рисунки. Мухина ее фамилия. Эти, говорит, рисунки традиционные, с натуры, а вот эти нетрадиционные, поразительные рисунки с фантазией, на них кикимора нарисована. А Сапожников глядит — обыкновенная кикимора нарисована, никакой фантазии. Тоже с натуры, только с воображаемой. Вот и вся разница. Прочел ребенок сказку про кикимору, где она подробно описана, и нарисовал. Какая ж это фантазия? Это простое воображение. Да мы только тем и занимаемся, что воображаем понаслышке.

Затрепали словечко «фантазия». А фантазия — это как любовь. У Пал Палыча большая любовь к выпиливанию лобзиком. У Ромео любовь к Джульетте, а у Пал Палыча к выпиливанию — и все любовь. Или слова надо менять, или то, что за ними стоит.

Фантазия — это прозрение. Фантазия — это когдаобразишь несусветное и это оказывается правдой. Вот если б ребенок сумел увидеть в научной даме живую кикимору и это бы оказалось правдой — вот тогда фантазия. Фантазия — это прозрение. Вот о чем забыли.

А представить себе по описанию Цхалтубу, Занзибар или Пал Палыча — какое же это прозрение? Приезжаешь в Цхалтубу, а она оказывается вовсе другая. Какое же это прозрение?

На этом пока остановимся. Потому что этого объяснить нельзя. Это надо сначала прожить.

«...Я, Приск, сын Приска, на склоне лет хочу поведать о событиях сокрушительных и важных, свидетелем которых я был, чтобы не угасли они в людской памяти, столь легко затемняемой страстями.

Сегодня пришел ко мне владелец соседнего поместья и сказал:

— Приск, напиши все, что ты мне рассказывал. Оно не идет у меня из ума и сердца. Ходят слухи о новом нашествии савроматов, я буду прятать в тайники самое ценное имущество. Но кто знает, что сегодня ценно, а что нет, когда люди сошли с ума и царства колеблются. Запиши, Приск, все, что ты мне рассказывал, и мы спрячем свиток в амфору, неподвластную времени, и зальем ее воском, выдержанным на солнце. И зароем в землю в не приметном месте, чтобы, когда схлынет нашествие или утвердится новое царство, можно было продать твое повествование новому властителю. Потому что опыт жизни показывает, что...»

...Бульдозерист Чоботов собрал осколки глиняного старинного горшка и немного подумал — стоит ли связываться? И так уже план дорожных работ трещал по швам, а до конца квартала оставалось десять дней. Но потом все же заглошил мотор и сказал Мишке Греку, непутевому мужчине, чтобы позвали Аркадия Максимовича.

Аркадий Максимович пришел. Чоботов стал есть ставриду, потому что он любил есть ставриду, а Аркадий Максимович начал по-собачьи рыться в развороченной земле и махать своими кисточками, и стало ясно, что дорогу они проложат примерно лет через двадцать, аккуратно ко второму кварталу двухтысячного года.

А потом Чоботов доел ставриду и увидел, что Аркадий Максимович сидит на земле, держит в руках коричневый рулон и плачет.

Море было спокойное в этот вечер, а над горой Митридат стояло неподвижное розовое облако.

Сапожникова всегда поражало, что научные люди относятся к некоторым проблемам со злорадством и негодованием. И даже просто интерес к этим проблемам грозит человеку потерей респектабельности.

— Ну почему же вы так мучаетесь и страдаете, Аркадий Максимович? — спросил Сапожников у Фетисова. — Ведь если вам пришла в голову мысль, то ведь она же пришла вам в голову почему-нибудь?

— Так-то оно так... — ответил Аркадий Максимович.

— Ведь ничего из ничего не рождается, закон сохранения энергии не велит. Все из чего-нибудь во что-нибудь перетекает, — сказал Сапожников. — Значит, были у вас при-

чины, чтобы появилась эта мысль. Вот и исследуйте все это дело, если оно вас волнует. Почему вы должны отгонять ее от себя, как будто она гуляющая девка, а вы неустойчивый монашек?

— Так-то оно так, — сказал Аркадий Максимович. — Но вокруг проблемы Атлантиды образовался такой моральный климат, что ученого, который за нее возьмется, будут раздраженно и свысока оплевывать, как будто он еще один псих, который вечный двигатель изобрел.

— Ну и что особенного? — сказал Сапожников. — Я вечный двигатель изобрел.

— То есть как? — спросил Аркадий Максимович Фетисов. — Вы же сами говорите, что энергию нельзя получить из ничего?!

— А зачем ее брать из ничего? — спросил Сапожников. — Надо ее брать из чего-нибудь.

— Но тогда это не будет вечный двигатель.

— Материя движется вечно. Если на пути движения поставить вертушку, то она будет давать электричество.

Аркадий Максимович догадался, что Сапожников говорит серьезно, и посмотрел на него с испугом.

Так они познакомились — Аркадий Максимович, который занимался историческими науками, и Сапожников, который историческими науками не занимался, однако был битком набит бесчисленными историями и разными байками. У него этих баек было сколько хочешь.

А работал он тогда инженером в Промонтажавтоматике, в просторечье называемой шарашмонтажконторой широкого профиля, и выезжал по ее указанию в различные места нашей необъятной родины, если там не ладилась какая-нибудь автоматика. Он туда приезжал, беседовал с этой автоматикой по душам, что-нибудь в ней ломал иногда и даже не велел чинить, после чего эта автоматика почему-то начинала работать и перепуганное начальство пыталось устроить банкет. Но Сапожников от банкетов уклонялся, потому что пил редко и помногу, но это он проделывал один и к работе это не имело никакого отношения, и к автоматике тоже.

Так они и познакомились и задружились с Аркадием Максимовичем, тайным атлантологом, который пил часто и по капельке. И потому он и Сапожников не совпадали по фазе и не могли друг другу причинить вред, а были друг для друга как бы помехопоглощающими устройствами. Их души взаимно укреплялись и распрямлялись во время

нечастых их встреч, и им приходили в голову всякие забавные мысли, которые могли бы принести пользу человечеству, утомленному высшим образованием.

Если говорить правду, то надо сказать, что у Сапожникова была одна странная черта, которая влияла во многом на его резвую судьбу, — он любил доигрывать чужие проигранные партии. Он чинил двери, ремонтировал матрацы, покрывал лаком чужие осыпающиеся картины, доделывал чужие рацпредложения, разрабатывал пустую породу; влезал в чужие запутанные судьбы, и ему казалось, что семь раз отмерить для того, чтобы отрубить, чудовищно мало и все, что может быть починено, должно быть починено и сможет работать. Короче, он занимался тем, чем занимался крыловский петух, — искал в навозе жемчуг. Две трети его попыток, ясное дело, кончались крахом и прахом, и тогда он упорно и назидательно читал себе переделанную крыловскую басню, которая у него кончалась тем, что жемчужина, найденная петухом, оказывалась застывшим фекалием, и мораль была переделана соответственно: знать, петуху урок был нужен, чтобы не искал в дерьме жемчужин. Но басня не помогала, и снова Сапожников разрабатывал брошенные штреки, танцевал с девушками, которых никто не приглашает, признавал терапию и неважно относился к хирургии.

Но зато когда он находил то, что искал, тогда его идеями пользовались без указания источника — и в науке и, как ни странно, в искусстве — и, добавив к блюду другой гарнир, выносили обедающим. Сапожников являл собою как бы олицетворенный научный и прочий фольклор. А фольклор, как известно, не только безымянное, но и бесхозное имущество. Сапожников был бесхозным имуществом. Хоть бы спасибо говорили, что ли! Но и спасибо не говорили. Это было бы непоследовательно. А, как мы с вами понимаем, главное качество бездарности — это последовательность, которая не принимает корректирующих сигналов извне.

Из этого вышло остальное. Но не все, конечно. А то бы у каждой причины был единственный ряд последствий. К счастью, в жизни не так. И это обнадеживает.

Талант — это тайна связи с основным потоком жизни, талантливые люди хоть иногда способны жить в гармонии с основным потоком, который часто противоречит конкретной ситуации, то есть противоречит причинно-следственной программе. По крайней мере, очевидной.

Поэтому быть самим собой — это вовсе не строптивость,

а способность соответствовать моментам, совпадающим с основным потоком. И тогда человек испытывает радость и даже предчувствует ее. Неочевидная программа. Вот в чем вся загвоздка.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

СКАЗАНИЕ О ВЕЛОСИПЕДНОМ НАСОСЕ

ГЛАВА I

ТИХИЙ ВЗРЫВ

Сапожниковы жили как раз посреди короткой улицы. Напротив были избы, а за ними, если глядеть влево, открывался огромный луг, по которому взгляд скользил все дальше, и там глаз упирался в город Калязин, который громоздился на высоком берегу. А великая река была не видна, потому что хотя и низок был левый берег, на котором жили Сапожниковы, а все же вода заливала его только весной, а так текла и текла себе в своем русле, тащила за собой большие и малые водовороты и где-то там, в учебнике географии, впадала в Каспийское море.

А если отойти от окна, то окажешься в комнате, где у одной стены диван, который теперь называется антикварный, а у другой стены диван, который даже теперь антикварным не называется, хотя уже появилась такая надежда. Потому что он был не диван, а сундук, накрытый холщовым паласом с изображением черкеса и двух тигров, от которых он отбивался голыми руками, поскольку его шашку и частично пистолет съела моль. На сундуке хотя и не спали, но он был как бы тахтой, в сундуке хранились валенки всего сапожниковского рода, и потому от сундука тревожно пахло зимой и нафталином.

Над сундуком висели два неродных портрета, тщательно и прекрасно написанных масляной краской. На одном был купец, бородатый, с глазами как незабудки, скатерть кружевная, на которой лежала купцова рука с перстнем, а на другом — его жена в зеленом платье. Позади купца было растение рододендрон, а позади жены — бордовая штора. Оба портрета так и остались на стенке, когда дом отдали учителям Сапожниковым, мужу и жене, и их дочке с зятем, и сыну холостому — все учителя калязинские, — когда их собствен-

ный дом сгорел по тридцатому году от злодейской руки внука купца с рододендроном, бывшего ученика старших Сапожниковых.

Главное, чем отличался Калязин от любого города нашей круглой планеты, было то, что как в нем, так и в ближайших окрестностях всегда стояла хорошая погода и имелось все, что нужно человеку для хорошей жизни. Была черника там в сосновом бору позади огородов, и был хлеб на кухне в деревянном ларе. Был снег зимой и трава летом, и птицы в небе, и рыба в великой реке и в старице у стен монастыря святого Макария, в котором музей и профсоюзный дом отдыха, и трудящиеся для отдыха кидают кольца на доску с гвоздями.

И вот в этом ландриновом краю блаженства и хорошей погоды родился Сапожников.

История умалчивает о том, была ли эта погода непременно хорошей для родителей Сапожникова, а тем более для бабушки его и дедушки, либо она была таковой всего лишь для него одного. В сущности, история даже вовсе об этом не умалчивает.

Но почему же, почему, когда Сапожников обращается пронзительным своим оком к тем пожелтевшим временам, его память рисует ему картины буколические и неправдоподобные?

Посудите сами. Разве правдоподобно такое, чтобы на протяжении десяти лет жизни человек ни разу не голодал, а только чувствовал постоянно приятный аппетит, не замерзал, а испытывал лишь бодрый физкультурный морозец, не тонул в реке, а нырял с берега или с понтонного моста, соединявшего левую и правую части этого прекрасного города, не был ни разу бит, а всего лишь любовно упрекаем?

Остается предположить, что либо врет сапожниковская память-сладкоежка, произвольно, как сказал поэт, выковыривая изюм из жизненной сайки, либо Сапожников жил во времена неисторические. Что, однако, вполне противоречит фактам.

И можно догадаться, что либо врет Сапожников, рассказывая нам про эти калязинские чудеса кулинарии и метеосводок, либо история для него одного сделала исключение, протекая мимо его персональных берегов.

Если выйти из комнаты, то справа по коридору будет остальной дом, а слева сени, в которых неинтересно. А дальше будет крыльцо во двор, заметьте, не на улицу.

А во дворе булыжник для купцовых телег, квартира собачки Мушки и сарай, никому лично не принадлежащие. В нормальных городах такие сараи наполнены легендами, скелетами и кладами. В Калязине же ничего этого не водилось. И потому сараи были заколочены и наполнены воздухом, и в трухлявую щель четвертого венца была видна простодушная человечья какашка неизвестной эпохи, освещенная пыльным лучом дырявой крыши. Это деталь чрезвычайно важная, поскольку символизирует отсутствие любопытства калязинцев к тайнам чужого существования. Люди этого мудрого города к чужим какашкам интереса не проявляли, что вовсе не исключало любознательности. Тому пример хотя бы сапожниковская клубника, которую Сапожников, будучи ребенком четырех лет, сам развел на огороде. Клубнику калязинцы не разводили. В бору земляники было сколько хочешь. А когда шла черника, то ее тащили ведрами, высунув темно-фиолетовые языки.

А Сапожников развел в конце огорода одну штуку клубники, и она у него росла, эта клубничина, втайне от всех — сюрприз для бабушкиного дня рождения. Ну, естественно, весь дом об этом знал, но притворялся.

В день рождения, когда дядя хрустел соленым льдом в старой мороженице, а бабушку поздравляли пожилые ученики, Сапожников сорвал клубничину и принес дарить. Все, конечно, сюрпризно ахали, плескали ладошами и поражались, и бабушка держала клубничину за стебель. А Сапожников посмотрел на клубничину, глубоко вздохнул и сказал: «Большая-ая...» И ему тут же отдали фрукт.

Потом, когда Сапожников вырос, с ним почему-то такого уже больше не случалось, хотя нельзя сказать, чтоб он скупился. Скорее наоборот. То он, бывало, годами ходил с корзиной подарков и кричал: «А ну налетай!» — но никто не налетал, а когда он говорил: «Не троньте, братцы, это мое...» — то шустрые граждане беспардонно расклевывали его клубничину, а последний уходил, тупо дожевывая стебелек и забывая сказать мерси.

На калитке была огромная кованая щеколда, которая пригодилась всего раз, потому что бык Мирон механике был не обучен.

На улице закричали: «Мирон! Мирон бежит!» Мама схватилась одной рукой за сердце, другой за крыльцовую балясину, а Сапожников помчался к калитке и успел накинуть щеколду. А потом, когда все утихло, мама, шатаясь, подошла к калитке и долго смотрела на раздвоенные следы на песке

и представляла тяжкие бычьи копыта и рогатую глыбу, которая промчалась мимо ворот вдоль по улице, туда, где Калязин кончался и стоял дом, в котором жил Аграрий.

Аграрием его называли потому, что он был лысый, читал книжки по аграрному вопросу и карандашами разного цвета подчеркивал нужные ему моменты и соображения, на полях писал чернилами, расставлял восклицательные и вопросительные знаки, а также «Nota bene!» и «sic!», равно загадочные, пока книжка не набухла как бы в две книжки и годилась только на то, чтобы читать по ней лекции, что Аграрий и делал каждую зиму. Однако летом приезжал с новой книжкой и новыми силами, чтобы черкать на полях «моменты» и «соображения». А так во всем прочем он был тихий человек. У него была подслеповатая улыбка, заграничная кофейная мельница на две персоны, ручная, и жена, тоже заграничная, не то англичанка, не то немка, которую Сапожников видел только в двух позициях: либо она лежала на кровати, ровно расположив поверх суконного одеяла без простыни голые руки, и глядела в потолок, либо она купалась в Волге совершенно голая, без бюстгальтера и трусов, и хотя лицо имела старое и волосы рыжие с сединой, тело у нее было розовое, как у девочки.

А Сапожников и Аграрий сидели на камешках и смотрели, как она идет в воду, и дальше смотрели на ту сторону реки, где по откосу ползли телеги, а на плоской вершине стоял бывший храм с желтой парашютной стрелой, высунутой с колокольни, и с этой стрелы по выходным дням сигали допризывники и опускались в сквер с легким криком, а в сквере этому ужасались калязинцы, бродя по дорожкам вокруг чугунного памятника Карлу Марксу. А дальше — улицы Калязина, и на одной из них по правую руку — городская библиотека. А дальше небо, небо и миражи, миражи.

Если повернуться спиной к городу Калязину, то в недолгом расстоянии от того места, где входила в воду совершенно голая не то немка, не то англичанка, глаз различал Макарьевский монастырь, стоявший на огромном лугу, монастырь святого Макария, или, как высказался массовик-затейник профсоюзного дома отдыха, монастырь имени святого Макария. И потому половина города была Макары, Макарьевичи, Макарьевы.

Дом отдыха московского электрокомбината помещался в монастыре, из чего следовало, что монастырь и в новые времена использовался по назначению и в нем все так же

люди отдыхали от забот мирских, хотя и по-другому, чем представлял себе его основатель.

Монастырь стоял плоско, не возвышался земной монастырь, а был заподлицо с луговиной и порядками домов левого берега, только отстоял от них метров на девятьсот — поближе к сосновому бору.

Там по монастырскому двору среди вечерней золотой листвы гуляли московские городские люди. Там накидывали на гвозди проволочные кольца для меткости глаза, там дирижер поперек себя шире, по имени Рудольф Фукс, махал и махал черными рукавами, там показывали антирелигиозный фильм «Праздник святого Йоргена», немой вариант. Все так. Но если обогнуть монастырь и пройти вдоль стен над старицей и оказаться с тыла, то можно окупнуться в чудо, непохожее на жульничество. Если встать перед серым выступом и громко сказать: «Ха! Ха!» — то вдруг услышишь рев толпы и грохот голосов, обороняющих монастырь от призрачного нашествия. Так и было задумано строителями крепостных стен — орда, зашедшая внезапно с тыла, пугалась собственного эха.

Пришел Аграрий к Сапожниковым, познакомился с матерью и сказал, что хочет Сапожникова забрать в монастырь смотреть кино «Праздник святого Йоргена», немой вариант. И на канонический вопрос Сапожникова: «Про что кино, про войну или про любовь?» — ответил кратко: «Про жуликов». И стал разглядывать неродные масляные портреты купцовой жены с бордовой занавеской и купца с рододендрон. А потом вдруг осведомился, а что, мол, это за растение в горшке, на что получил незадумчивый ответ — дескать, это рододендрон.

— Нет, — сказал Аграрий, — это не рододендрон. Это дерево — самшит. Только еще маленький.

Так Сапожников впервые услышал про дерево самшит.

Он еще ничего не знал о дереве самшите, только почему-то вдруг ему стало холодно в спине, как будто откинули дверь в ночь и теперь в затылок ему светит морозная звезда.

Стоп. Спокойно. О чем, собственно, речь. В конце концов, даже наука не вся состоит из арифметики. А тем более жизнь, которая эту науку породила.

Святой Макарий был сыном боярина Кожи. Еще в юности принял иноческий сан, а потом основал монастырь-крепость, который грозно и чудесно перечил ордынскому ходу.

Аграрий сказал:

— При чем тут чудо? Что есть — есть, чего нет — нет. Монастырь-крепость есть? Есть. Макарий, сын боярина Кожи, негромкий участник освободительной войны, есть? Есть. Потому он святой. А не потому, что останки его тлению не подверглись, что сомнительно. Хотя состав почвы позволяет сделать это предположение. А если бы даже подверглись? Что же его, из святых увольнять? Орда-то ведь сгинула. Вот чудо без подделки и никакого Иоргена.

Аграрий с юным Сапожниковым возвращался ночью по черному лугу из монастырского кино.

— И откуда вы все это знаете? — льстиво спросил Сапожников.

— Я расстрига, — сказал Аграрий.

— А что такое расстрига? — спросил юный Сапожников.

И во всем Калязине было так. Что есть — есть. Чего нет — нет. Калязинцы народ негромкий и житейски трезвый. За всю коллективизацию всего-то один дом и сгорел по левой стороне, и тот был подожжен злодейской рукой купцова внука, балдой и холостяком, помнившим еще дореволюционные свои муки, принятые от учительницы, сапожниковской бабки. Его, может быть, и помиловали бы из уважения к роду Сапожниковых, которые скопом просили не губить его и тем не усугублять их древнюю педагогическую неудачу, но, как на грех, выяснились еще кое-какие дела, а дела эти были громкие и имели последствия. Что есть — есть, чего нет — нет. Но миражи, миражи...

— Значит, по-вашему, чуда не может быть? — спросил Сапожников. — Совсем не бывает? Совсем?

— Смотря что считать чудом, — сказал Аграрий, — все рано или поздно объясняется.

— Все? — спросил Сапожников.

— Все.

— Все-все?

— Все-все, — сказал Аграрий.

— А как же...

— Что «а как же»? — спросил Аграрий.

Но тут залаяла собачка Мушка — и миражи пропали.

Рассказывают, что композитор Глинка, великий композитор, к слову сказать, сидел на подоконнике и мечтал. В доме звенели вилками, готовясь к обеду, а за окном гремели экипажи. Но только вдруг звуки дома и улицы на-

чали странно перемешиваться и соответствовать друг другу. И тогда композитор Глинка схватил перо и стал торопливо писать ноты. Потому что он был великий композитор и внутри себя услышал музыку.

И это есть открытие и тихий взрыв.

Потому что человек, который делает открытие, и вовсе не важно какое — большое или маленькое, звезду открыл или песню, травинку или соседа, пожаловавшего за табаком и солью, это все не важно, — открытие всегда приходит единственным путем: человек прислушивается к себе и слышит тихий взрыв.

Тихий взрыв может услышать каждый, но слышит в одиночку и, значит, один из всех. Потому что нет двух одинаковых, а есть равные. И, значит, каждому свое, и что свое, то для всех, а что только для всех, то не нужно никому, потому что дешевка, сердечный холод, второй сорт.

В доме Сапожниковых жила Нюра, вдова его младшего дяди. У нее были серые глаза, серые волосы, серый передник на сером коротком платье. И когда она низко нагибалась вытащить из грядки красную морковку, надо было отвернуться, потому что было совсем не так, как когда жена Агрария входила в великую реку. Почему не так, десятилетний Сапожников еще не знал, но надо было отвернуться.

Нюра задавала вопросы. Про все. «А это что?.. А это как называется?..» Но ответы ей были неинтересны. Задаст вопрос и прислушается к своему голосу. А отвечать ей можно было что угодно, лишь бы сотрясать воздух. Сосед, который приходил за табаком и солью, всегда смотрел на нее не глазами, а затылком. Выслушает ее вопрос и отвернется, помолчит лишнее время, давая затихнуть ее голосу, и ответит, что в голову придет. А юный Сапожников стоит посередине комнаты и переводит глаза с нее на него и обратно, пока шея не заболит.

Однажды Нюра спросила:

— Стяпан, а Стяпан, что за дерево растет в горшке на купцовой картине, зеленое? Как называется?..

— Рататандр... — ответил Степан что попало. — Табаку-то нет у вас? Мой весь...

— Пойду в сених натреплю, — сказала Нюра. — Тебе с корешком? А то либо чистого листа?..

Сапожников спросил у среднего дядьки, учителя ботаники, тычинки-пестики:

— Где растет рататандр?

— Нет такого растения, — сказал дядька тычинки-пестики.

— А Степан сказал — есть.

— Ну-у, Дунаев... — пренебрежительно сказал средний дядька. — Он у меня больше «уд» с плюсом никогда и не вырабатывал... Рататандр... Может быть, рододендрон?

Так и осталось в купцовом горшке — рододендрон.

Ан все-таки не так. Аграрий-расстрига посмотрел невидяще своим шалым глазом и определил:

— Дерево самшит. Только маленькое.

И Сапожников услышал тихий взрыв.

Он услышал тихий взрыв, и почувствовал нездешний сладкий запах, и увидел далеко, и страшно, и маняще-мастно леса и Волгу, и не наше море, и звезду над белыми песками, и давние народы, и будущие времена, и дерево самшит стояло неподвижно, как мираж на каменистом пути и, как мираж, пропало. Осталась только радуга-мост через великую реку от калитки сапожниковского дома до калитки городской библиотеки. И юный Сапожников пробежал по радуге и сказал в продолжающемся озарении:

— Можно мне взять вон ту книгу?

— С собой нельзя, — сурово ответила библиотекарша. — Только в читальне. Да не хватай все тома. Бери один.

И выдала нетерпеливому Сапожникову «Историю искусств» Гнедича, даже в те времена значительно устаревшую.

Энтузиазм — это одно, а экстаз, наоборот, совсем другое. Экстаз нахлынет — и пропал. За это короткое время можно открытие сделать, можно дом поджечь. Сам по себе он ни хорош, ни плох. Смотря что из него вышло. А энтузиазм — ровное пламя, само себя поддерживает, само себя питает, бежит по бикфордову шнуру, и ветер его не гасит.

Экстазу нужны пружина с бойком, детонация, а энтузиазму только пища по дороге. И потому к энтузиазму у многих есть некоторое небрежение. Взрыв каждому заметен, его без очков видно, а жизненное пламя заметно, когда руку обожжешь, и еще по результатам. Десятилетиями ходили мимо, а на площади только возня, да строительный мусор, да что-то пучится посерединке, а потом однажды глядь — Василий Блаженный с цветными куполами стоит, будто всегда стоял, туристы аппаратами щелкают, посмотрите налево, посмотрите направо, перед вами памятник архитектуры. А кто сейчас про само строительство помнит?

Как будто в одну ночь построила Марья-искусница. Если сказать ненаучно, на глазок, то трава растет с энтузиазмом, дерево растет с энтузиазмом, Цыпленок в яйце растет с энтузиазмом, а проклевывается с экстазом.

Здравствуй, Сапожников! Я тебя бог знает сколько лет не видел. Как ты прожил свою жизнь и зачем?

ГЛАВА 2 УХОДЯЩИЙ ГОРИЗОНТ

Его Вартанов взял за горло:

— Сапожников, нужно обязательно поехать в Северный-второй.

Он сказал:

— Подумаю... Меня же в Запорожье посылают?

А разговор состоялся на вечере. Был юбилей их конторы. Когда ее создавали, никто не верил, что она продержится больше года. Как только не обзывали старушку: и «Сандуновские бани», и «невольничий рынок», и «центральная шарагина контора», — а вот справляют юбилей, и, говорят, разгонять ее вовсе не собираются.

Они наладчики, обслуживают весь белый свет. Если что где застревает по электрической части, какая-нибудь новинка трещит, устройство, механизм, система — обращаются к ним, кто-нибудь едет и налаживает. Иногда приехавший не может разобраться. Тогда он колдует и тычет чем-нибудь куда-нибудь, после этого устройство (новинка) обычно начинает работать. Почему так получается, никто не знает. Этот метод называется «методом тыка».

Народ у них довольно способный, хотя кое-кто говорит, что, если бы не было их, не было бы и аварий, поэтому их еще называют «фирма Дурной Глаз». Основное время они проводят в разъездах, поэтому большая часть сотрудников холостяки или разведенные.

Если бы Сапожникова спросили: какое наследство ты бы хотел оставить тем, кто пойдет после тебя, ну не духовное, понятно, о духовном разговор особый, а материальное, какое? — он бы не задумываясь ответил: «Жун-сткамеру».

Слово старое и уже давно пренебрежительное. Потому что давно уже выросла наука из детских штанов и стремится жить систематически, а не разевать рот перед диковинами, собранными несистемно в одно место. Тут тебе и овца о двух головах, и индейская трубка мира, не имеющие, очевидно, друг к другу никакого отношения.

А разве это так очевидно? Разве их не объединяет удивление?

Ведь это только потом приходит — почему? зачем? для какой надобности и откуда взялась? как это сделать еще лучше или как от этого избавиться? А вначале ты должен удивиться тому, что не каждый день видишь. И лучше, если эта непохожая диковина возникает перед тобой отдельно, дискретно, автономно, как твое бытие, а не системно, как чужое мышление. Потому что мышление вторично, а первичное бытие всю дорогу поправляет наше мышление своими новинками и требует разгадок и системных выводов. Вот для чего кунсткамера — для удивления.

А если еще точнее спросить, чего бы хотело дефективное, чересчур конкретное воображение Сапожникова, то он ответил бы — кунсткамеру изобретений, которые почему-то не вышли в производственный свет божий.

Открытие — это то, что природа создала, а изобретение — это то, чего в природе не было, пока ты этого не придумал.

Если опытные люди и комиссии, которые ведут счет изобретениям, говорят, что до этого раньше тебя никто не додумался, они дают тебе справку, что ты первый, и кладут изобретение в бумажное хранилище, чтобы было с чем сравнивать, когда придет другой выдумщик, и чтобы сказать ему — велосипед уже изобрели.

Велосипеды действительно бегают. А сколько выдумок не бегают? Столько, сколько не пустили в производство. Потому что карман у общества не бездонный. И потому выдумка, в которой нужды нет, лежит себе полеживает, забытая. Проходят годы, появляется нужда, а люди не знают, как эту нужду насытить. Иногда вспоминают прежнюю выдумку, а чаще заново голову ломают.

Сапожников считал, что каждое установленное изобретение, которое не пошло в производство, нужно выполнить в виде действующей модели и поставить в музей без всякой системы, чтобы оно вызывало удивление и толкало на мысль, куда бы его применить, а там, глядишь, родило бы и новую диковинную выдумку.

Так ему подсказывал духовный голод.

— Ну, знаешь! Чего бы покушать, ты ищешь каждый день. А духовный твой голод — это уж по праздничкам, — сказал Вартанов, когда брал его на работу, почти силком.

А сказал он это Сапожникову, который как раз в то время кушал не каждый день, потому что от него как раз тогда ушла жена и Сапожников как раз тогда уволился с прежней службы, уволился, как выстрелил. А куда выстрелил? В белый свет как в копеечку. Ну, тут его Вартанов и подобрал, не знал Вартанов, с кем связывается. А тут как раз Сапожникову стали опять приходиться в голову разные светлые идеи, и опять есть стало некогда, жалко было время тратить. И так новая служба полдня отнимала, да еще часть суток с самим собой надо было сражаться, обиду преодолевать, да еще спать надо было часть суток — чистое разоренье. И подумать о жизни — хорошо, если шесть часов оставалось, а что за шесть часов успеешь? Поэтому Вартанов мимо сказал насчет еды каждый день, к Сапожникову это относилось едва.

Сапожников потом вспоминал те странные давние годы, когда добрые замыслы с трудом пробивались сквозь нелепости первых прикидок мирной жизни и прекрасная овощь кукуруза слабо проклевывалась на нечерноземной полосе и севернее, когда царил «штильлевен» и «натюрморт». Горы рожали мышей или шли к своему Магомету, кулики хвалили свои болота, и почти тем же самым занималась гречневая каша. Башни слоновой кости стали ориентирами для прямой наводки, и отшельничьи души предпочитали колодцы, откуда, конечно, видны днем звезды, но всегда рискуешь получить ведром по голове.

Ведь это так говорится, что выдумщики и поэты умирают от пули или от старости. Они умирают от разочарования, все остальное детали чисто технические.

У Сапожникова были серые волосы.

В Северном-втором он никогда не был, а ехать туда на зиму глядя и вовсе не хотелось. Особенно не хотелось на этом вечере, где можно было посидеть в буфете около «трех звездочек» и оттуда без зависти поглядывать на танцы и стараться не слушать праздничной передачи по внутреннему вещанию, которая все равно лезла в уши — эти унылые вопросы и ответы:

— Что вы желаете к празднику себе лично?

— Надо, чтобы премию выдали к празднику.

— Ну, и еще чтобы буфет был лучше организован.

— Чтобы наша молодежь начала активно заниматься самодеятельностью. А то мы уже третий праздник приглашаем самодеятельность Института вирусологии.

Сапожников сидел за столиком, стараясь не слышать эту унылую чушь, и вдруг на вопрос «ваше любимое занятие в нерабочее время?» он услышал спокойный и тихий ответ:

— Я очень люблю читать книги и разговаривать по телефону. А еще я люблю играть в преферанс.

Это переводчица из научной библиотеки. Они незнакомы, но почему-то здороваются, когда она молча курит в коридоре и стряхивает пепел с рукавов. Больше он о ней ничего не знает.

После ее ответа диктор заторопился:

— Скажите, как вы относитесь к абстракционизму?

— Ну, как в каждом течении, — спокойно и тихо ответила она, — и в абстракционизме есть бездарности и таланты. Поскольку это течение новое, по крайней мере для меня, я ему сочувствую.

После этого диктор сказал:

— Ну-у, знаете. Я думаю, что это не совсем так.

— Что не совсем так?

После этого радио выключили.

Сапожников подумал, что это и для него совсем новое. Зимой, конечно, хорошо бы поехать на юг, но в Запорожье он уже бывал, а в Северном-втором монтируют интересный конвейер, надо ехать туда. Все перепуталось, но это не страшно. И он сказал Вартанову, что согласен ехать.

— Ладно, — сказал Сапожников. — Поеду в твой Северный-второй. Но это после отпуска, у меня отпуск пропадает... Мне надо своих повидать. И к Барбарисову смотаться. Он сейчас в Риге лекции читает.

— Неужели он решился взяться за твой двигатель?

— Попробуемся... Я ему от Глеба письмо везу. Глеб для него бог.

А фактически Сапожников согласился совсем по другой причине.

Просто Сапожников на этом вечере вспомнил, как он прятался от бабушки под ее большой кроватью, когда она заставляла его за попыткой стянуть и полистать большую оранжевую книгу с таинственным и непонятным названием. Бабушка прятала ее в шкафу на верхней полке, среди стеклянных банок с сахарным песком и кульков с крупой, потому что это была книга не для детей.

А его неистово тянуло к этой книге, потому что там были таинственные рисунки.

У этой оранжевой книги на переплете, похожем на закатное небо, был овальный гравированный портрет, обведенный узором незнакомых букв, и этот овальный портрет был похож на странное темное солнце, закатывающееся на оранжевом матерчатом небе.

Картинки в этой книге были похожи на старинное серебро. На драгоценные сплавы и слитки были похожи эти картинки. В них все было перемешано, слито, сплавлено: птицы, драгоценные кубки, окна замков, оружие, облака, фантастическая снедь и дикие морды — вулканическое изобилие. И почему-то казалось, будто они похожи на современную жизнь больше, чем тошенькие картинки отдельных предметов, которые он видел в детских и взрослых книжках.

Во всяком случае, когда Сапожникова впервые повезли по Москве и он за один день побывал в ГУМе, на ткацкой фабрике, в Замоскворечье и у отца брата, на Центральном рынке, на Цветном бульваре, а вечером в цирке, он был уверен, что все это он уже видел в оранжевой книге, которую ему не давала бабушка. А когда он, все же нашкодив, прятался у нее под большой кроватью, где пахло половиками, валенками и кошками, она старалась достать его веником, откинув кружевные подзоры, и не могла его достать, ей было трудно нагибаться, она была совсем старенькая.

Он потом прочел эту книжку. Она называлась: Франсуа Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль», иллюстрации художника Гюстава Доре, издательство «Земля и фабрика». По мнению Сапожникова, это хорошая книжка и издательство тоже хорошее — «Земля и фабрика».

Слепящая отчетливость хороша, если она результат, вывод, если за ней кипит варево. Иначе это не отчетливость, а скука. Непозволительно долго он жил в слепящей, никому не нужной отчетливости и выполнял планы, придуманные не им. Хорошо бы все перепуталось, как в этой книжке, подумал Сапожников и решил ехать в Северный-второй, пусть все перепутается, пусть он будет изменяться вместе с рекой жизни, будет расти как дерево, — в разумном сопротивлении.

Он представлял себе, что его пошлют в Северный-второй вместо Запорожья, но Роза Шарифутдинова допечатала в командировочном предписании: «...и в Северный-2».

Словно по дороге в булочную зайти. Только число не поставила. Пусть...

Неси меня, река.

Хлеб... Тревога... Высокий звон одиночества...

Творчество, откуда оно?

Ум? Лихорадка? Лампа, горящая с перекалом? Или последняя свобода? Или первая радость? Или рыбку ловить на высоком берегу времени и ждать, ждать, пока екнет пестрый поплавок сердца.

А вообще дела у Сапожникова стали налаживаться. Утерся и жив, и жизнь ему источает сладости.

Но тут мы переходим к смыслу жизни, а это уже вопрос веры. Во что веришь, таков ты и есть.

Идти далеко, мираж над горизонтом маячит, а земля-то круглая и горизонт все не приближается. И, обогнув шар земной, возвращается человек к своему началу и думает — что же вышло из моей мечты? Одна дорога, и ничего больше. Так стоило ли ходить, если вернулся к началу своему? Ан стоило. Если б не двинулся в путь, не вернулся бы обогащенный и не оставил бы наследства новому путнику, не сумел бы рассказать ему, что истина находится там, где он живет, только надо снова и снова до нее доискиваться и, значит, снова идти к уходящему горизонту. Почему это так — неизвестно. Может быть, потому, что сама истина тоже не стоит на месте, а живет, меняется, развивается и растет, как бессмертное дерево самшит.

ГЛАВА 3

ВСЕ ПО МЕСТАМ

Когда они уже из Калязина приехали и в Москве жили, позвали раз Сапожниковых в один важный дом. Хозяин — главный инженер какого-то огромного по тем временам завода. В двадцатые годы ездил обучаться опыту за границу, а теперь, в тридцатые, трепетал, чтоб ему этот опыт не припомнили. Но все обошлось благополучно, потому что Сапожников его видел и узнал на похоронах матери. А это уже было в пятидесятые. Белый-белый весь и лицо белое. Постоял молча, послушал органную музыку, записанную на магнитофоне, и вышел. Мать схоронили. Как и не было. Все разошлись. А Сапожников не мог понять, что мама умерла. И тогда не мог понять, и потом. Пока мы про человека помним, он для нас живой. Вот когда забываем про кого-

нибудь, то и живого как не было, умирает для нас этот человек, и в нас что-то умирает от этого, чтобы остальному в нас жить. Ужасно это все, конечно, но по-другому пока природа не придумала. Может, люди что придумают. Вышел Сапожников из крематория, а уж перед дверьми другой автобус стоит, серый с черной полосой, другое горе очереди ждет и своего отпевания. Не знал тогда Сапожников, что в ближайшие несколько лет жена его умрет, проклятая и любимая, а потом и отец. Всех подберет серый автобус. Смерть, смерть, будь ты проклята!

А тогда, в гостях, Сапожников почти ничего не запомнил, так ему тогда казалось. Только запомнил две овальные фотографии в квадратных рамках — главного инженера и его жены с брошкой между грудями — и ширму возле кровати: на коричневое дерево натянут складками зеленый шелк. Так и осталось все это посещение в коричневом деревянном цвете и в зеленом матерчатом шелковом. А еще запомнил, как чай пили, ели не частые тогда еще пирожные и мама жеманилась: «Мне мучное нельзя и сладкое тоже» — и ложечкой чуть с краешку поковыривала, чуть с краешку. А Сапожникову было жаль маму и хотелось перевернуть стол с пирожными. Но стол был дубовый и неподъемный. Не поднимешь.

Потом Сапожников много столов с пирожными переворачивал в своей жизни и так до конца и не смог понять, почему он это делал. Притащит его жизнь к изысканному столу, тут бы и расположиться на софе или канапе, возле трельяжа с торшером, а какой-то бес под руку — толк! — и все испорчено — сервиз и баккара на полу, а остатки пралине и грильяжа с пола выметают. И опять у Сапожникова в доме шаром покати, в кармане ветер дует, друзей-приятелей как дождевиком смыло, а сам Сапожников лежит на тахте, простите, и новую немислимую идею обдумывает. Пора с этим кончать Сапожникову.

У Сапожникова были убогие вкусы. Для него богатство было всегда не счет в сберкассе, счет у него почему-то исчезал раньше, чем появлялся, — интересно, может ли так быть? Ощущение богатства вызывал у него районный универмаг, а конкретно новый магазин, или, как его звали, новмагáзин, в одно слово. Так точнее. Ему уже скоро полвека, но так и осталось — новмагáзин, будто Новгород. А в нем весь нижний этаж был занят продуктовым отделом, а верхний — предметами, которые есть нельзя. Там пиджаки, велосипеды, нет, велосипеды — это позднее, там одеяла, кепки, канцтовары, полубаяны, и ботинки примеряют перед зеркалом

на полу. Серый день виден в большие окна и мокрые серебряные крыши. Душно на втором этаже и пахнет портфелями. А внизу, на первом этаже, — холодный воздух, простой. Рубят мясо с хеканьем на толстом пне могучим топором. Запах сельдей и лука, шорох бакалеи и хруст пергамента, где масло продают, тпают его из куска. И булки стучат о лоток в кондитерском отделе. Лязгает и грохочет касса, хлопают двери, ведущие на улицу или вниз, в сказочный мир складов, торговых дворов, где грузовики разворачиваются, где с визгом волокут ящик по цементному полу. Вот что такое богатство, по его примитивному ощущению.

Сапожников любил грубую пищу без упаковки, пищу, которую едят, только когда есть хочется, и ему не нужно было, чтоб его завлекали на кормежку лаковыми этикетками. Красочными могут быть платья на женщинах и парфюмерия. Пласты мяса и мешки с солью красочны сами по себе для того, кто проголодался, натрудившись. Потому что после труда у человека душа светлая. А у объевшегося душа тусклая, как раздевалка в поликлинике.

В масляном отделе теперь Нюра работала. Они с Дунаевым расписались через два года после того, как Сапожников с матерью в Москву уехали из Калязина к дунаевской родне — жить и комнату снимать. А через год сам Дунаев с Нюрой заявили. Нюра теперь за прилавком глазами мигала. Поднимет на покупателя, опустит, поднимет, опустит. Серые волосы ушли под белую косынку, руки полные, чистые и пергаментом хрустят. Очередь до нее шла быстро, а после нее задерживалась сколько могла, как у памятника.

Сапожников однажды дождался, когда очередь кончилась, взял свои сто сливочного, несоленого и сказал ей в спину, когда она брусок масла нужной стороной поворачивала:

— Нюра, а мы кто?..

— Сапожниковы. Как кто? Сапожниковы...

— Нет. Мы все?.. Вы с Дунаевым и мы. Все. Ну, калязинские, кто? Рабочие, крестьяне? Кто? Служащие, что ли?

— Были рабочие, потом служащие, крестьяне тоже были, — задумчиво сказала Нюра. — Теперь не знаю кто. Наверное, мы обыватели... Дунаев говорит.

— А обыватели — это кто?

— А я не знаю... Мы, наверно...

Одно слово — Нюра. Вот и весь сказ.

— Магазин закрывается, — сказал масляный мужчина в синем берете и желтом фартуке и посмотрел Нюре на шею. Нюра мигнула.

Почему люди живут, Сапожников знал. Потому что их рожают. Почему люди помирают, Сапожников тоже знал — испекла бабушка колобок, а он возьми и укатись. Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел, а от тебя, серый волк, и подавно удеру. А потом приходит смерть, лисичка-сестричка, — ам, и нет колобка.

А вот зачем люди живут и помирают, для чего — Сапожников не знал.

Спросил он как-то много лет спустя у Дунаева, а тот ответил:

— Для удовольствия.

Но Сапожников не поверил. Уж больно прост показался ответ. А главное, не универсален. Для чьего удовольствия? Для своего? Так ведь начнешь на ноги наступать и локтями отмахиваться. Сапожникову тогда еще непонятно было, что можно для своего же именно удовольствия людям на ноги не наступать и локтями не отмахиваться.

Мать Сапожникова с сыном в Москву уехали. Они уехали в Москву из Калязина потому, что для этого не было никаких причин.

Постоял Сапожников у холодной кафельной печки, что мерцала в углу в пасмурный калязинский вечер, потом обернулся и видит — мама сидит на сундуке с недоеденным молью черкесом и на Сапожникова смотрит. Сапожников тогда сказал:

— Ма... уедем отсюда? В Москву поедем...

И мама кивнула. А Сапожников понял, что это он не сам сказал, это мама ему велела молча.

Сапожников потом спросил у Дунаева:

— Как ты думаешь... зачем вот мы тогда все бросили? Зачем в Москву приехали?

А Дунаев ответил:

— За песнями.

Ну вот, а тогда Сапожников вернулся из новмагáзина и сказал:

— А что такое обыватели?

Мама ответила:

— А помнишь, как нам хорошо было в Калязине? Помнишь, какая печка была кафельная — летом холодная, а зимой горячая-горячая? Я любила к ней спиной прислоняться. А помнишь Мушку, собачку нашу? Это теперь называется — обыватели.

— А обывателем быть стыдно? — спросил Сапожников. Мама не ответила.

Сапожниковы как приехали в Москву, так и поселились у дунаевской родни в мезонине. Мезонин был большой. Там еще, кроме Сапожниковых, жил бедный следователь Карлуша и его сын Янис, а внизу вся орава Дунаевых. Потом переехали жить на Большую Семеновскую, в двухэтажные термолитовые дома, возле парикмахерской, и новмагáзин рядом. Когда эти дома построили, их сразу стали называть «дерьмолиповыми», а ведь и до сих пор стоят.

А потом, через много лет, мама сказала:

— Ты ошибся. Карлуша был не следователь. Он был ткач, мастер ткацкого дела. Просто его часто вызывали для судебной экспертизы. А помнишь Агрария? Вы с ним валялись на берегу, а жена его купалась. Она купалась совершенно голая, без бюстгалтера и трусов. Лицо у нее было старое, а тело розовое, как у девочки.

— Ма, а помнишь, ты рассказывала про купцова сына, который наш дом поджег, а мы потом в ихний дом въехали? — спросил Сапожников.

— А как же, — сказала мать. — Это была классовая борьба. Борьба классов.

— Ну, не только классов, — сказал Сапожников. — Он был сам сволочь. Ни один класс от личного сволочизма не гарантирует.

— Не говори так. Это не принято.

— Ма, обывателем быть стыдно? — повторил свой вопрос Сапожников.

— А чего стыдного? Путают обывателя с мещанином, вот и весь стыд. Мещанин лижет руки сильному, а слабого топчет. Обыватель — это как старица. Помнишь старицу?..

Старица. Это когда река разлилась, а потом сошла вода с луговины, а в углублении осталась. До следующего половодья. Это называется — старица.

Стало быть, вода обновляется раз в сезон. И старица живет от половодья до половодья, в бурной смене событий, и в промежутке у нее есть время подумать не на бегу. Хорошо это или плохо? А никак. И то нужно, и другое. Потому что и реку, и старицу, и все остальное несет река времени. Общая река. Тоже делает витки вместе со своими водоворотами, то есть отдельными телами, которые и есть эти водовороты. Время-вороты, точнее сказать. Каждое тело на свете — это время-ворот, большой или маленький.

А у Дунаева опять Ньюру увели.

— Вернется, — сказал Дунаев, как про корову.

Действительно, вернулась. И стали жить дальше.

А что ж удивительного? Около Ньюры мужики дурели. Еще пока она ходит или сидит, то все еще туда-сюда. А как нагнется за чем-нибудь, с полу чего-нибудь подобрать или мало ли зачем, — то все, конец. Лепетать начинают, молоть что ни попадя. Дунаев видит — дело плохо — и скажет:

— Мне завтра вставать рано.

Гости и расходятся утихать по домам.

Сказано — все счастливые семьи счастливы одинаково, и тем как бы принизили счастливые семьи. Потому что одинаковость — это неодушевленный стандарт. А кому охота считаться неодушевленным? А ведь это для несчастливых счастливые семьи как кочки на болоте, для человека утопающего всякая кочка издали на диво хороша. И выходит, что они только для утопающего одинаковые, а сами-то для себя все кочки разные.

— Мораль тут ни при чем, — сказала мама Дунаеву. — Ньюра — случай особый... Вам хорошо, и слава богу.

— Каждый случай особый, — сказал Дунаев.

— Я с вами согласна, — ответила мама.

Мама вышла из сеней на лестницу, где Сапожников тупо смотрел на велосипедный насос, который ему починил Дунаев, и думал: а что внутри насоса делается, когда поршень вытягиваешь, а новому воздуху всосаться не даешь, если, конечно, дырку пальцем зажать? Говорят, воздух разрежается. А почему тогда, если поршень отпустить, его обратно как резиной тянет?

— Пошли домой, сынок... Нам пора, — сказала мама. — Уроки надо делать. Ты учись хорошо. А то нас с тобой завуч не любит.

— Ладно, — сказал Сапожников.

— А ты когда в Калязин в зимний лагерь поедешь, ничего бабушке про Ньюру не рассказывай.

— Ладно, — сказал Сапожников.

В то время в школе к Сапожникову относились сдержанно. Это потом к нему стали хорошо относиться. Когда ему уже на это наплевать было, а тогда нет, путано складывались у него отношения в школе.

В классе как привыкли? Либо ты свой, и тогда ты как все и подчиняешься правилам неписанным, но жестким. Либо ты сам эти правила устанавливаешь, и тогда все тебе подчиняются, и тогда ты лидер и будьте ласковы — что ты сказал, то и закон. В первых классах кто лидер? У кого за спиной компания на улице, шарага или двор сильный. В средних классах — кто самый отчаянный. Ну, а в последних классах лидер —

это кто самый хитрый, кто хорошо питается и умеет слова говорить.

А Сапожников всю дорогу хотя сам правил не устанавливал, но и подчиняться не собирался.

Пришел он сразу в третий класс, а портфеля у него нет. Мама ему для учебников отцовскую охотничью сумку приспособила, кожаную. Хотела патронташ отпороть — Сапожников не дал. Сказал, что будет туда карандаши вставлять. Сразу, конечно, в классе смех. Шишкин сказал:

— Дай сумку, дамочка.

— На, — сказал Сапожников.

Шишкин сумку за ремень схватил и над головой крутит. Все в хохот. Учитель входит в класс:

— В чем дело? Все по местам.

На большой перемене Сапожников завтрак достал — два куска булки, а внутри яичница, белые лохмотья. Шишкин сказал:

— Ну-ка дай.

— На, — сказал Сапожников и отдал завтрак.

Ну, все сразу поняли — телок. Шишкин откусил, пожевал и сказал:

— Без масла сухо.

И через весь класс шарах бутерброд об стенку возле клас-ной доски. Все смотрят, Сапожников пошел за бутербродом, нагнулся, а ему пенделя. Но он все же на ногах устоял, бутерброд поднял, яичницу, обкусанную шишкинскими зубами, двумя пальцами взял, в фанерный ящик-урну выкинул, а хлеб сложил и к Шишкину вернулся.

— Попроси прощенья, — сказал Сапожников.

Все смотрят.

— Я? — спросил Шишкин.

— Ты.

Шишкин ему еще пенделя. Учитель в класс входит:

— В чем дело? Всем по местам.

Следующая перемена короткая. Сапожников вытащил обкусанный хлеб, подошел к Шишкину:

— Попроси прощенья.

— Ну, ты... — сказал Шишкин и опять ему пенделя.

— Попроси прощенья, — сказал Сапожников.

Шишкин взял у него хлеб и опять в стенку запустил, как раз когда учитель входил и все видел.

— В чем дело? По местам. Шишкин, а ну подними хлеб.

Шишкин пошел поднимать хлеб, Сапожников за ним. Когда Шишкин нагнулся, Сапожников ему пенделя. При учите-

ле. Шишкин выпрямился, а Сапожников у него хлеб из руки взял.

— Шишкин, на место, — сказал учитель. — А ты откуда взялся? Я тебя не знаю!

— Из Калязина, — сказал Сапожников.

— А-а, новенький... Плохо начинаешь, — сказал учитель. — На место.

Сапожников весь урок старательно писал арифметику. На другой переменке Шишкин убежал.

На следующее утро Сапожникову дали в глаз перед самой школой — двое подошли и сделали ему синяк. На уроке Шишкин смотрел на доску и улыбался. На переменке Сапожников достал вчерашний хлеб и подошел к Шишкину.

— Попроси прощенья.

Шишкин кинулся на Сапожникова и хотел повалить, но Сапожников не дался. По тетрадке отличницы Никоновой потекли чернила, а на тетради у нее закладка — лента шелковая, вся промокла. Визгу было на всю Москву. Шишкина и Сапожникова выгнали из класса. Вызвали родителей.

Вечером лампы в классе зажгли над учительским столом только, а остальные не зажигали. За окном городская ночь с огоньками, а в классе полутьма. Мать с Сапожниковым на одной парте. Шишкин с отцом на другой.

— Сапожников, — сказала завуч, — объясни, почему ты ударил Шишкина ногой?

— Он сам знает, — сказал Сапожников. — Пусть попросит прощенья.

— Прощенья?! — рявкнул отец Шишкина. — Прощенья?! Его ударили, а ему еще прощенья просить?

— Родители, будьте добры, снимите головные уборы, — сказала завуч.

Мать сняла платок, отец Шишкина кепку.

— Мальчик, — сказал отец Шишкина, — кто ты такой? Может быть, ты фон-барон? Фон-баронов мы еще в двадцать первом в Анапе утопили... Почему сын рабочего человека должен у тебя прощенья просить? А?

— Не у меня, — сказал Сапожников.

— А у кого же? — спросила завуч.

— У хлеба, — сказал Сапожников.

— Как можно у хлеба прощенья просить? — сказала завуч. — Дикость какая-то... Он у вас нормальный ребенок?

— У кого? — спросил отец Шишкина.

— Это его бабушка приучила, — сказала мама. — Он не виноват... Когда хлеб падал на землю, она велела его поднять,

поцеловать и попросить у него прощения... Он так привык, он не виноват.

— Мальчик, — сказал отец Шишкина, — у тебя хлеб с собой?

— Ага, — сказал Сапожников.

— Дай-ка сюда, — сказал отец Шишкина. И разделил на две половинки, снаружи сохшиеся, а внутри еще влажные.

— Васька, ешь, — велел отец Шишкину.

— Перестаньте! — вскрикнула завуч.

— Не буду, — сказал Шишкин.

— Не будешь — в глотку вобью, — сказал отец Шишкина. —

Ешь.

Шишкин зарыдал и стал есть хлеб.

— Перестаньте мучить ребенка, — сказала завуч.

— Вы извините, товарищ завуч, — сказал отец Шишкина. —

Он у вас отучился и ушел, а мне с ним жить.

— Он же сухой... Черт! — давясь, сказал Шишкин.

— Ничего, — сказал отец Шишкина. — Слезами запьешь.

Пошли... Спасибо, мальчик, — сказал он Сапожникову, и они вышли.

— Какая-то дикость! — развела руками завуч.

И тут же в коридоре раздался визг Шишкина.

— Он же его бьет! — вскрикнула завуч и кинулась в коридор.

Но не догнала и вернулась.

— Ну, Сапожников!.. — сказала она.

На следующий день Шишкин ушел в другую школу, и Сапожников стал лидером.

К нему сразу подошли — получить указания, как жить, и присмотреться к новому лидеру.

— А пошли вы... — сказал Сапожников.

— Ты что? — спросили его. — Ты что?

— Шишкина жалко, — сказал Сапожников.

— Чего делать будем? — спросили его.

— А я почему знаю?

Так Сапожников перестал быть лидером.

В средних отчаянных классах Сапожникова опять трогать было нельзя — он изобретателем стал, а в лидеры не пошел. А в старших хитрых классах Сапожников уже боксом занимался и набил морду самому хитрому, но сам опять в лидеры не пошел. Так и жил как собака на сене, ни себе, ни другим. Поэтому отношение к нему было сложное. Но об этом потом. А теперь, в шестом классе, он ехал на верхней полке в пионерлагерь, который как раз оказался в городе Калязине, поскольку школа была у электрокомбината подшефной.

А у Дунаева опять Ньюру увели.

ГЛАВА 4
ЗЕЛЕННЫЕ ЯБЛОКИ

— Старики, сколько до Вереи? — крикнул шофер.

— Двадцать километров, — ответили мальчики.

И они с Сапожниковым поехали дальше и въехали в лесок с длинными тенями через голубое шоссе, и в опущенное окошко влетал запах хвои, и тут шофер опять рассказал историю, похожую на куриный помет, и ехать с ним надо было еще двадцать километров.

Поворот замелькал полосатыми столбиками, еще поворот — и московское такси съехало на базарную площадь городка, лучше которого не бывает.

Там напротив торговых рядов с уютными магазинчиками был сквер, где стояли цементные памятники партизанам на мраморных постаментах со старых кладбищ. Там в тени рейсового автобуса лошади жевали сено. Там к мебельному магазину была привязана корова. Там длинноволосый юноша в джинсах с чешским перстнем на руке гнал караван гусей мимо известковой стены церкви. Там на мотоцикле с коляской везли матрац.

И Сапожников повеселел немножко.

Нырять в колеях, такси покатило вниз, к реке, по немощной улице, и внимательные прохожие провожали московский номер сощуренными глазами.

Машина остановилась у палисадника, за которым виднелся дом с недостроенной верандой, и Сапожников вылез на солнце.

Он размял затекшие ноги и поболтал подолом рубахи, чтобы остудить тело, прилипшее к нейлону, и шофер намекнул ему на обратный порожний рейс до Москвы. Но Сапожников не поддался, он помнил гнусное водителево оживление и различные интересные истории о бабах и студентках, которые его кормили и одевали и давали выпить и закусить, и как он сначала копил на аккордеон «Скандале» или «Хохнер», а потом подумал, что тут и на «Москвич» натянешь, и как он говорил: «Я на деньги легкий», и как его в детстве зажимали родители, и он этого им не забудет. И Сапожников дал ему двугривенный поверх счетчика и объяснил, что в машине воняет куриным пометом. А шофер вдруг понял, в чем дело, и растерялся, так как его сбила с толку заграничная рубаха клиента, и медленно уехал, упрекая Сапожникова все же глазами за скупость.

Тут Сапожников почувствовал немотивированную злобу и вошел в калитку, у которой вместо пружины был прибит отрезок резинового шланга от клизмы. И опять его сжигало и изводило видение мира в точных деталях и мешало ему думать в понятиях и отвлечениях, и на этом он всегда прогорал.

На веранде навстречу ему от керосинки выпрямилась женщина в трикотажном переднике и сказала, что они еще с речки не приходили.

И Сапожников сказал: «Ну ладно», поставил сумку на струганый пол и вышел на улицу за калитку и увидел, как они с Дунаевым идут ему навстречу, и Нюра была выгоревшая и загоревшая, похожая на негатив, шла смешная и незнакомая и несла на нитке растопыренных пескарей.

И Сапожников почувствовал запах воды и травы, и пропал запах куриного помета. Сапожникову тогда еще было непонятно, что просто он снова начинает радоваться жизни, в этом все дело.

А Нюра сказала:

— Мы тебя поместим в доме учительницы. У нее комната целая. Это рядом с нашим домом.

...Лошади были сытые. Они хрупали сено, перебирали ногами, и белая ночная дорога, видневшаяся в проломе сарая, манила их и завораживала. Рыжие роммелевские танки еще не показались из-за поворота. Галка подняла ракетницу. «Ну, мальчишки», — сказала она...

...Сапожников не стал досматривать сон. Он скинул ноги с кровати и сел. В доме учительницы, куда его устроили ночевать, крашенный пол был холодный, и это было хорошо. «Нас, видимо, много не спит сейчас по ночам», — подумал Сапожников, и ему не стало легче. Наоборот.

Их много еще ворочается в темноте и не может заснуть. Под закрытыми веками им кто-то навязчиво крутит отрывки все того же фильма, потом они спускают ноги на холодный пол в избах и городских квартирах, и курят, и кашляют, и ждут рассвета.

Сапожников уже отвык спать на первом этаже и дурил от запаха травы и мокрых цветов, который волной плыл в комнату из распахнутого в сад окошка.

Сапожников поднялся — заскрипела кровать, хрустнули доски пола. Оглушительно тикали ручные часы. Ночь — как разболтанный механизм. Даже слышно, как кишки

шевелиются в животе, печенки-селезенки, как щелкнули коленные суставы, когда Сапожников присел, потянувшись за часами и папиросами, даже движение глазного яблока, когда Сапожников протер глаза. Когда Сапожников заводил часы, они откликнулись короткими очередями.

...— Рамона, скоро? — спросил Бобров.

— Нашла, — ответила Галка.

«Рамона... — запела пластинка у нее в руках. — Я вижу блеск твоих очей, Рамона...» Это была ее любимая пластинка. Третья за эту войну. Две разбились.

Группа, отстреливаясь, отходила в глубь подвала этого огромного универсального магазина, и Рамона, расстегнув ворот, сунула под гимнастерку гибкий целлулоидный диск розового цвета. Что-то ей говорило, что эта пластинка не сломается. Совсем не обязательно было задерживаться из-за банальной песенки «под Испанию», но Галку любили.

Ее любили за то, что она не боялась хотеть сразу, сейчас, и если ей нужна была песенка, она не откладывала до окончания войны, а срывала ее с дерева недозревшую, не дожидаясь, пока отшлифует свой вкус. Галку любили потому, что в ней жизни было на десятерых.

Сапожников шел последним и положил под дверь противотанковую мину. Они бегом двинули по переходам, чтобы успеть уйти прежде, чем немцы взорвутся, когда распахнут дверь...

...Сапожников застыл, когда лопнула тишина и упали вилы, на которые он наткнулся в сенах.

Однако никто не проснулся в огромной избе, срубленной по-старинному, с лестницей на чердак, забитый сеном, с пристройками под общей крышей, с мраморным умывальником возле пузатых бревен сеней.

Не проснулись ни хозяева, ни хмельные шоферы крытых грузовиков, заночевавшие в пути. Это были люди молодых реальных профессий, и видеть фильмы по ночам им еще не полагалось. Все дневные сложности заснули, и наступила простота нравов. Мужчины были мужчинами, женщины женщинами. Мальчики летали, девочки готовились замуж, дети отбивались во сне от манной каши или видели шоколадку. Ну и дай бог, чтобы и так и далее.

Сапожников наконец выбрался в темный сад, отдышался

и сорвал с дерева зеленое яблоко. В детстве ему очень хотелось стать мужчиной. Теперь он им стал. Ну и что хорошего?

Кто-то сказал: если бы Адам пришел с войны, он бы в райском саду съел все яблоки еще зелеными.

Когда Сапожников перестал жмуриться от кислоты и открыл глаза, он увидел, что сад у учительницы маленький, а над черным штaketником звенит фиолетовая полоса рассвета.

После этого Сапожников еще неделю пробыл в Верее. Купался в речке, лежал на земле, мыл ноги в роднике у колодезного сруба с ржавой крышей, возвращался по улице, через которую переходили гуси. Дышал.

После этого он уехал.

Ему Нюра сказала:

— Уезжай, пожалуйста. Не могу смотреть, как ты маешься.

И он уехал.

ГЛАВА 5 СПАСАТЕЛЬНЫЙ ПОЯС

Новый учитель математики, бывший красный артиллерист, спросил у Сапожникова:

— Ты кто?

— Мальчик.

— Вот как?.. А почему не девочка?

— Девочки по-другому устроены.

Учитель поднял очки на лоб и сказал:

— Запомни на всю жизнь... Никогда не болтай того, чего еще не знаешь. Запомнил?

Сапожников запомнил это на всю жизнь.

— Запомнил, — сказал Сапожников.

— Ну... Так кто же ты?

— Не знаю.

— Как это не знаешь?.. Ах да, — вспомнил учитель свое только что отзвучавшее наставление. — Я имею в виду, как твоя фамилия?

— Сапожников.

С тех пор его никто по имени не называл.

Знал бы учитель, к чему приведут его слова — не болтать, чего еще не знаешь, — он бы поостерегся их произносить. Нет, не поостерегся бы.

— Дети, вы любите свою страну? Сапожников, ты

любишь свою страну?—спросил учитель математики, бывший красный артиллерист.

Сапожников ответил:

— Не знаю.

— Как не знаешь?— испугался учитель. — Почему?

— Я ее не видел, — сказал Сапожников.

— А-а... — успокоился учитель. — Как же ты ее не видел? Ты откуда родом? Ну? Где ты родился?— подсказывал учитель.

— В Калязине.

— В городе Калязине, — уточнил учитель. — В математике главное—это логическое мышление. Пойдем по этой цепочке. А ты любишь город Калязин?

Еще бы не любить!

— Люблю, — ответил Сапожников.

— Ну, а Калязин где находится?— подталкивал учитель.

— На Волге.

Волгу Сапожников тоже любил.

— А разве Калязин и Волга находятся в другой стране?

— Нет.

— Ну хорошо... Мать ты свою любишь?

— Да.

— А отца?

— Не знаю.

Запинка. Учитель не стал уточнять. Восхождение от конкретного к абстрактному—дело, конечно, важное, но сердце человечье не очень к этому стремится. Так практика показала.

— Ну ладно... Вы с мамой жили в доме, а дом свой любишь?

— Да.

— А дом расположен в городе Калязине. А Калязин ты любишь.

— Да.

— Прекрасно... А Калязин расположен в нашей стране... Значит, что ты любишь?

— Калязин.

Учитель помолчал.

— Трудно тебе будет, — сказал он.

Он рассказал об этом разговоре в учительской. Вся учительская сошлась на том, что Сапожников, по-видимому, дефективный.

— Нет... — сказал учитель. — Он очень послушный... Я сам велел ему не утверждать того, чего он не знает.

Послушный, но, значит, неразвитый и потому умственно отсталый. Все-таки не москвич, из Калязина приехал. И с этим учитель не согласился. Потому что они с Сапожниковым успели друг другу в глаза посмотреть. И в этом тоже есть своя логика, только другая.

— Сапожников, заполняй, заполняй анкету... Не тяни, — сказала молодая библиотечарша Дома пионеров, что на горке возле Введенского народного дома на площади Журавлева. — Ну что тебе здесь непонятно? Социальное происхождение? Твой отец рабочий? Пиши — рабочий.

— Он не рабочий.

— А кто? Крестьянин? Нет? Пиши — служащий.

— Он не служащий.

— Как же это не служащий? Он где-нибудь служит? Как это нет? А кто же он у тебя?

— Борец.

— Борец за что? — опрометчиво спросила библиотечарша.

— За деньги, наверно, — ответил Сапожников.

— За деньги борются только капиталисты и жулики!

Он у тебя капиталист?

— Нет, — сказал Сапожников. — И не жулик. Борец он...

Он в цирке борется.

— А-а... Работник цирка. Пиши — служащий.

— Он не служит.

— А что же он там делает?

— Борется.

— Сапожников, вот тебе записка. Попроси мать зайти в библиотеку.

Сапожников попросил.

— Сапожников, почему ты перестал ходить в библиотеку? — спросил учитель. — Библиотечарша говорит, что за этот месяц ты взял всего одну книгу... Да и ту про марионеток. Вот, — он опустил очки. — «Деревянные актеры» называется.

— Я туда не пойду.

— В чем дело?

— Вы сказали, что я дефективный.

— Я сказал? А ну пойдем вместе.

Пришли. Сапожников остался в зале, а учитель прошел за прилавок и скрылся за полками.

— Я сказал, что у Сапожникова есть дефект — чересчур конкретное воображение.

— Ну и что? — сказала библиотекарша.

— У каждого человека может быть какой-нибудь дефект... Вот у меня вместо левой ноги протез — разве я дефективный?

— Почему вы меня обвиняете? Я этого про вас не сказала...

— А зачем же вы про Сапожникова?

— Но у него же в мозгу дефект!..

— А вы знаете, что Сапожников на районном конкурсе юных изобретателей занял первое место?.. Он придумал оригинальный спасательный пояс.

— Какой пояс? Что я вам сделала?

Библиотекарша заплакала. Учитель и Сапожников ушли.

— В библиотеку будешь ходить. Я тебе составлю список книг, которые ты должен обязательно прочесть, — сказал учитель, хлюпя по лужам. — Нет, список составлять не буду... Почему ты взял книжку «Деревянные актеры», зачем тебе деревянные человечки?

— Там написано, как они устроены.

Помолчали. Одни ботинки хлюп-хлюп, другие хлюп-хлюп-хлюп. А в результате идут рядом и никто никого не обгоняет. Интересно.

— Кстати, ты можешь мне подробно рассказать весь процесс, который привел тебя к решению задачи с поясом?

— А что такое процесс? — спросил Сапожников.

Хлюп-хлюп. Хлюп-хлюп-хлюп.

— Ну хорошо... Была поставлена задача — придумать новый спасательный пояс...

— Освод поставил, — сказал Сапожников.

— Что поставил?

— Освод поставил задачу...

— Помолчи. В котором не было бы недостатков пробкового пояса — громоздкости и надувного — долго надувать, когда человек тонет... Я правильно формулирую?

— Вы правильно формулируете.

— Ну и что дальше? Дальше ты начал читать книги насчет поясов...

— Зачем?

— То есть как зачем? Чтобы узнать, что придумали до тебя.

— А зачем?

— Ты действительно дефективный! Чтобы прежние выдумки помогли новым.

— Так ведь никому не помогли, — сказал Сапожников. — Иначе бы конкурс не объявили.

Помолчали.

— Объявили потому, что осознали ограниченность обоих вариантов, — строго сказал учитель. — Это очень много... Это диалектика... Тебе не понять. Мал еще... В каждом явлении есть противоречие... Что такое противоречие, знаешь? Нет? Ну, хоть так: в каждой вещи есть для нас полезная сторона и есть вредная — и так и так, понятно?

— И так и так — понятно.

— Ну и расскажи, как ты придумал свой пояс... Только подробно.

— Да вы же сами сказали — и так и так.

— Ну и что?

— Ну, надо взять от двух поясов только полезное, а остальное не брать.

— Ну, а как ты взял, как? Другие же не взяли?

— А-а... вон про что, — сказал Сапожников.

Хлюп-хлюп. Хлюп-хлюп-хлюп.

— Насколько я понимаю, суть твоей выдумки в следующем: берутся две гибкие пластины разной длины и прикрепляются к двум стенкам плоского мешка из водонепроницаемой ткани.

— Можно из плаща сделать мешок, — сказал Сапожников. — Он резиной покрыт.

— Молчи... Получается плоский мешок, где две стенки состоят из гибких пластин.

— Можно в чемодан положить и ехать на пароходе, — сказал Сапожников.

— Да подожди ты с пароходом... Подожди! — сказал учитель. — Дальше... В случае нужды человек огибает вокруг талии короткую пластину, образуя круг малого диаметра, в то время как длинная пластина образует круг большого диаметра... Правильно я формулирую?

— Вы правильно формулируете... Мешок растопыривается — а в нем воздух. И надувать не надо. Только пробку завинтить. В большой пластине же дыра с пробкой на цепочке!

— Ну и как ты рассуждал, когда это придумывал?

— Как — рассуждал?

— Ну хорошо. Что тебе прежде всего в голову пришло? Взять пластины — одну длинней, другую короче...

— Нет, — сказал Сапожников. — Пластины я потом придумал.

— Потом?

— Ага. Я сначала разозлился. Шину велосипедную накачивал насосом. Долго очень... пояс надувать. Надо, чтобы он сам воздух всасывал, как велосипедный насос, когда обратно тянешь. И у насоса одна стенка от другой отходит... ну, поршень, а внутрь воздух всасывается... Дырку если заткнуть пробкой, то насос плавать будет... Ну а пластины потом... когда сообразил, что насос надо вокруг живота обогнуть...

— Так-так, — сказал учитель.

Хлюп-хлюп. Хлюп-хлюп-хлюп.

Они шли сквозь осеннюю ночь и очень боялись друг друга.

Учитель боялся, что мальчик спросит его: «А почему чересчур конкретное воображение — это дефект?» А Сапожников боялся, что учитель поймет, что он наврал, когда сказал насчет велосипедного насоса. Потому что главное было в том, что Сапожников разозлился. Насос просто подвернулся под руку в этот момент.

А разозлился Сапожников потому, что ему жалко было кукольников, которые бродили по Франции со своими деревянными человечками и всякая сволочь могла их обидеть, потому что они бедные и за них заступиться некому и спасти, а они ведь никому ничего плохого не сделали, а только хорошее. И тут он придумал, как он их спасет, когда они все плывут на пароходе, и сволочи и кукольники, все. И вдруг капитан кричит: «Граждане! Тонем! Пароход тонет! Спасательных кругов на всех не хватит! Спасайся кто может!»

И конечно, сволочи богатые расхватили все пробковые пояса, а кому не хватило, те начали надувать свои надувные. Дуют, дуют, а пароход тонет, а кукольники стоят кучкой и прижимают к себе деревянных человечков — и должны все погибнуть, потому что чудес не бывает. Ах, не бывает?! И тут Сапожников спокойно так открывает чемодан, и у него там весь чемодан набит плоскими широкими поясами, как у пожарников, в одном чемодане помещается целая куча этих поясов. И он говорит кукольникам: «Берите пояса». А они говорят: «Спасибо, мальчик. Нам ничто не поможет. Чудес не бывает». А Сапожников говорит: «Берите. Это конкретное чудо, и все рано или поздно объяснится. Это мне Аграрий сказал».

Они берут пояса и надевают на себя, оборачивая, конечно, вокруг тела. И вдруг все видят: как только пояс

обернут вокруг живота, так он уже надутый, а если обратно снять — он плоский.

Тут все кукольники с радостью надели пояса, прыгнули в воду и поплыли, а сволочи дрались из-за пробковых и надувных поясов, потому что ихний капитан приказал им: «Спасайся кто может!» А кукольники плыли, плыли и поддерживали Сапожникова, потому что ему пояса не хватило, и они выплыли на берег к городу Калязину и обсохли на том берегу, где росло дерево самшит, только еще маленькое. Ну, тут залаяла собачонка Мушка, и миражи пропали. Сапожников закончил накачивать велосипедную шину, отвинтил насос, а на ниппель навинтил колпачок на цепочке. Вот как он изобрел спасательный пояс для того конкурса, про который им в классе объявил учитель. А остальное было просто. Надо было только сообразить, из каких материалов сделать пояс.

Как все это расскажешь учителю? Потому Сапожников соврал про насос, чтобы учителю было понятно.

— Может быть, основной принцип изобретательства... — сказал учитель, — это осознать в явлении главное противоречие и искать выход за пределами этого противоречия...

— Может быть, — вежливо поддакнул Сапожников.

Учитель вздохнул.

— Ну, иди, — сказал учитель. — Маме скажешь, что был со мной. Физику можешь сегодня не готовить. Я завтра тебя спрашивать не буду. Ботинки на печку не ставь. Кожа от высокой температуры ссыхается и трескается, потому что процессы, в ней происходящие... В общем, до утра так просохнут. И спать, спать! Почему ты галоши не носишь?

— Я их теряю, — сказал Сапожников.

ГЛАВА 6 УГЛОВАЯ СКАМЬЯ

— Внимание!.. Поезд номер сто одиннадцать Москва — Рига прибывает на пятую платформу... Внимание!

Сапожников смотрел на перрон и не торопился выходить.

Виднелись черепичные крыши незнакомого города, солнце проваливалось в черные тени между домами, и воздух, влетевший в опущенную фрамугу, был сырой и незнакомый.

Сапожников взял свой кошель с барахлом и стал пробираться к выходу — и вышел на солнечный перрон. Была вторая половина дня. Август.

Тут Сапожникова стали толкать, и покатались тележки с чемоданами — берегись! — и ему это было приятно.

Он не торопился и оглядывался. А потом узнал Барбарисова. Полнеющий человек в замшевой молниеносной куртке, с плащом через руку, он все вглядывался в проходивших, потом надел черные очки, и лицо его стало стремительным.

— Здравствуй, — сказал Сапожников.

Они обнялись, и Сапожников поцеловал его в щеку.

— Сними очки, — попросил Сапожников. — Не надо стесняться.

— Сейчас сядем в электричку и поедем в Майори, в пионерлагерь, — сказал Барбарисов. — Я захвачу дочку, договорюсь о лекции — я там читаю третьего числа, а ты пока посмотришь море. Там и пообедаем. А потом вернемся в Ригу.

— Да, да.

Они прошли через вокзал, и Сапожников все оглядывался. Ему нравилось. Но чересчур быстро шли. Ему казалось, будто он пустился в авантюру, хотя причин для такого настроения не было вовсе. Просто город похож на иностранный. Впрочем, так с ним бывало, даже когда он заходил в соседний двор или подворотню или видел вывеску «Баня», или «Химчистка», или «Клуб завода Гознак», или «В этом доме жил артист Мерцалов-Задунайский», как будто артист помер, а дверную табличку не снял, плут этакий.

— Это Майори. Мы приехали, — сказал Барбарисов. — Нравится?

— Да.

От всей дороги у Сапожникова осталось только стеснение от незнакомого говора, серый блеск реки, перепутанный с гулом моста, и за окнами — налетающий шум листвы.

А теперь они проходили вдоль редких заборов, а за ними красивые дома и деревья, и урны для мусора не стояли на земле, а висели на заборах, как почтовые ящики с оторванными крышками.

Фонтан с чугунными рыбами, навес концертного зала, сырой воздух, трепет теней на асфальте, рай земной.

— Дай мне сумку. А вон там пляж. Мы сейчас придем, — сказал Барбарисов.

Сапожников увидел дрожащий блеск на желтой стене, обогнул дом и увидел море.

Оно было огромное, до горизонта, темное, сине-зеленое, распisanное белыми барашками. Сапожников задохнулся и пошел по пляжу проваливаться ботинками в светлый песок.

Немногие мужчины в шерстяных плавках и женщины в бикини лежали на песке, грелись, а если кто стоял загорелый и нарядный — было видно, что ему холодно. Но все они были физически подкованные и закаленные хорошей жизнью.

Летела живая чайка, и ветер заваливал ее на крыло. Сапожников дышал и дышал, он моря сто лет не видел, и ему стало почему-то обидно, и он вернулся с пляжа на старое место.

— Здравствуйте, — сказала девочка в клетчатой юбке, стоявшая рядом с Барбарисовым, у нее был прекрасный цвет лица.

— Здравствуйте.

— Ты Глашку зовешь на вы? — спросил Барбарисов. — Ей четырнадцать лет.

— Именно поэтому.

— Ты же ее видел в Москве прошлый раз?

— Господи, конечно, — сказал Сапожников. — Но у нее была коса.

— Она ее отрезала недавно.

— Ничего, ей идет.

— Папа, я есть хочу, — сказала Глаша.

— Это значит — пойдём в шашлычную, — сказал Сапожников.

— Откуда вы знаете?

— Это же ясно.

Они пошли по улицам-аллеям, и Сапожникову все хотелось протрещать прутиком по штaketнику, но он только два раза кинул окурки в висающие урны.

— Давай мне сумку, — сказал он. — Чего ты ее тащишь?

— Мы уже пришли. Обязательно возьмем вина... Надо разрядиться. Ты письмо от Глеба привез?

— Да, привез... — нехотя сказал Сапожников.

Они вошли в угловую шашлычную и сели за столик у окна. Тень. А на улице ровные одноэтажные дома и магазины.

— Вы будете пить целую бутылку вина? — спросила Глаша.

— О господи, — сказал Сапожников.

Он думал, что Барбарисов возьмет коньяку, и теперь только косился на эту педагогическую бутылку кисленького винца, он даже названия вин не знал, и сказал:

— О господи.

И стал есть шашлык.

— Глаша, ты знаешь, раньше он был меланхоликом, — рассказывал Барбарисов. — В нем было что-то байроническое.

— Это оттого, что у меня были грязные ногти, — сказал Сапожников.

Он повеселел. Что-то ему начинало становиться почти совсем хорошо, и обида прошла.

— Почему? — спросила Глаша.

— Так полагалось влюбленным. Меланхолия и грязные ногти.

У Сапожникова даже обида прошла. О море он старался не думать. Может быть, он даже еще искупается. Море-то было общее. В крайнем случае он будет купаться в сторонке, чтобы не видели, как у него живот растет.

Обратную дорогу Сапожников не запомнил.

Потом они долго поднимались на четвертый этаж старинного дома.

Блеклые каменные ступени, незнакомый запах на площадках, чугунные перила и хорошие выцветшие двери. А потом вдруг Сапожников вспомнил стихи про юродивого, который позвонил в квартиру за милостыней, а была зима.

Солидные запахи сна и еды,
Дошечек дверных позолота,
На лестничной клетке босые следы
Оставил невидимый кто-то.

Откуда пришел ты, босой человек?
Безумен, оборван и голоден.
И нижется снег, и нежится снег
И полночью кажется полдень.

— Пойдемте завтра посмотреть со мной фильм «Хижина дяди Тома»? — вежливо сказала Глаша.

— Ладно, — ответил он.

— Вот мы и приехали. Это квартира сестры. Они с мужем на юге. Спать ты будешь здесь.

— Прекрасная тахта.

— Сделана по заказу, — сказал Барбарисов, застилая постель.

— Барбарисов, что это за дамочки на стенках? Ужасные картинки.

— Иллюстрации из дореволюционных французских журналов. А может быть, из «Нивы».

— Мне они нравятся, — с вызовом сказала Глаша.

— Ну, значит, так правильно, — согласился Сапожников.

За окном было уже совсем темно. Сапожников заснул и видел во сне нехорошее. А раньше Сапожникову кошмары снились только дома.

— Чего ты ждешь от Риги? — спросил Барбарисов наутро.
— Развлечений, — сказал Сапожников. — Нормальное чувство командировочного.

— Понятно. Сильная выпивка, много красивых баб и сувениры с видами города.

— Нет... Просто несколько солнечных дней, минимум выпивки и общество милых людей. И давай начнем разбираться в нашем двигателе.

— Нашем? — спросил Барбарисов.

Сапожников не ответил.

— Кого ты считаешь милыми людьми? — спросил Барбарисов.

— Думаешь, я знаю? — сказал Сапожников. — Тебя, наверное.

За прохладным подоконником солнечная листва, спокойные крыши. На улицу, на улицу. Тишина, тайна, шелест шагов, вывески и трамвай. Полупустой вагон, синие рельсы, и, может быть, в пролете домов блеснет море. Хорошо бы поселиться здесь навсегда.

Тут вошла Глаша.

— Папа, я есть хочу, — удивилась она.

— Надо же, все время она хочет есть, — удивился Сапожников.

— А поздороваться не надо? — спросил Барбарисов.

— Доброе утро, — удивилась Глаша.

— Доброе утро, — удивился Сапожников.

В ушах Сапожникова звенело — утро, утро, утро, — что это их понесло, черт возьми? А, чепуха! Вчерашний день не в счет. Все они встретились только сегодня.

Если бы в это утро специалисты засекали время, не пропал бы невидимо рекорд мира по марафону.

Ничего не вышло. За сорок минут Сапожников отхлестал десяток улиц, и от свидания с городом остался только портрет Пола Раксы на афише и трамвай, пролетевший с безумной скоростью.

Опять зеленые яблоки. Сапожников как с цепи сорвался.

Он затормозил и посмотрел на часы. Он не сразу разобрал, где часовая стрелка, а где минутная, мешала длинная секундная, которая отбивала секунды со скоростью пульса.

Сапожников успел к десяти, как договорились, на угол улицы Ауссекля и даже купил в киоске пачку аэрофлотовских карточек-календарей для московских знакомых. Сапожников сел на чугунную угловую скамью и развернул веером глянцевые карты. Крапом были недели и месяцы, а рубаш-

кой — самолет, летящий над Даугавой. Можно было бы, наверно, еще отыгаться, если бы знать правила. Но правил становилось все больше, и становилось скучно их заучивать. Чересчур солидно все выглядело, вот что.

Глаша переходила улицу, независимо оглядываясь по сторонам.

— Ах, вы уже здесь?

— Ах, я уже здесь, — сказал Сапожников.

Она вздернула брови.

— Как вам понравился город Рига? — светски бросила она.

— Мне очень понравился город Рига... А какие у вас отметки по диктанту?

— При чем здесь диктант? Я серьезно спрашиваю, вам понравился город?

Сапожников засмеялся.

— Во! — сказал он и поднял большой палец.

— Скажите, почему вы меня зовете на вы? Это странно.

— Чтобы вы не думали, что я нос задираю.

— Это странно! — сказала она.

— Будет вам восемнадцать, перейдем на ты. Годится?

— Это еще долго!

— Не успеете оглянуться, — сказал Сапожников. — А вот и наш папа идет.

Барбарисов двигался, помахивая портфелем. Свет-тьень, свет-тьень, солнечные зайчики.

— Ну, граждане, — сказал он, — пошли завтракать.

— Я придумал кое-что, — сказал Сапожников.

— Что?

— Мы позавтракаем, так? Потом сходим на вокзал, и я возьму обратный билет... Я, пожалуй, сегодня уеду в Москву.

Барбарисов неподвижно смотрел на Сапожникова.

— Ты с ума сошел, — сказал он спокойно. — Я созвонился с ребятами. Сегодня у меня в гостях куча сослуживцев и половина молодежного театра. Не валяй дурака, Сапожников... Вот, оказывается, ты какой стал.

ГЛАВА 7

СЕРЕБРЯНЫЕ ВЕЛОСИПЕДИСТЫ

Прошел еще год-другой.

Сидел Ньютон в саду, вдруг ему по голове яблоко шарах — упало яблоко ему на голову. И Ньютон понял, что его голова притягивает яблоки. Так представлял это проис-

шествие Сапожников. Но потом глядит Ньютон — яблоки падают не только ему на голову, а еще и на землю. Значит, его голова только помеха. А на самом деле, значит, это земля притягивает яблоки. А если прорыть шахту сквозь земной шар, куда упадет яблоко? Оно, наверно, в центр Земли упадет. Оно, конечно, сначала с разбегу проскочит на ту сторону, но потом поболтается в шахте и вернется в центр Земли, как маятник.

Интересное дело получается.

Одно тело притягивает другое. А чем оно притягивает? Резинкой, что ли? Что-то тут не сходится.

Все знают: чем сильнее резинку в рогатке оттянуть, тем сильнее она назад руку тянет. Или лук натягивать. Слегка натянуть и ребенок может, а вот натянуть так, чтобы лук согнулся, может только стрелок. Робин Гуд. Да это же всем известно. Значит, когда тетива сильней растянута, она обратно сильней тянет, а не слабей. Вот это притяжение. А в этой силе гравитации, в притяжении, все наоборот. Чем дальше одно тело от другого оттянуто, тем оно, тяготение это, все слабей и слабей. Все слабей одно тело к себе другое тянет. Что же это за притяжение такое?

А вот если вагон поставить на рельсы и давить на него изо всех сил, то он с места стронется и помаленьку покажется все быстрее. А ты дави с той же силой и только за ним поспевай. Что будет? А то будет, что он будет разгоняться, пока на станцию не влетит и в тупик не врежется, как яблоко в Ньютоновом садике. Потому что сила на него давила всю дорогу одна и та же, передыху не давала.

Вот и получается, что когда камень на землю падает, то это гораздо больше похоже на то, что его какая-то сила сверху давит и разгоняет, чем на то, что его сама Земля неизвестно какой резинкой притягивает. И потому похоже, что не сами тела друг к другу притягиваются, а какая-то сила их друг с другом в одну кучу сталкивает.

Скажете, что нам неизвестна такая материя, которая давила бы на тела и сталкивала их друг с другом. Но ведь и такая материя неизвестна, которая тела друг к другу тянет. Назвали гравитацией, а что такое гравитация? Любовь, что ли? Яблоки землю любят? Или Ньютону голову? Пришло в голову Ньютону, что два тела друг к другу тянутся потому, что похоже, что тянутся. Так мало ли что на что похоже? Похоже, что солнце всходит и заходит, а пригляделись — все наоборот.

Ну, что тут поднялось, когда Сапожникову эти дефективно-

конкретные несуразности в голову пришли и он их высказал, что тут началось.

— Сапожников из шестого «Б» против Ньютона пошел! В шестом «Б» все дефективные!

— Ты обалдел, что ли? Кто Ньютон — и кто ты? У тебя вон по химии и по немецкому тройки! И макулатуры ты собрал меньше всех!

— Какое может быть давление, если всем известно, что тела притягиваются? Это же всем известно!

— Это ты где же свое давление выкопал? В велосипедном насосе, что ли?

— Ага, — сказал Сапожников. — Если в насосе дырку зажать, а за поршень тянуть, то будет пустота, а природа пустоты не терпит.

— Поэтому я тебя терпеть не могу, — сказала Никонова.

— А если поршень отпустить, то наружный воздух его обратно затолкнет. Атмосферное давление. Один килограмм на квадратный сантиметр.

— Никто меня к тебе не толкает, — сказала Никонова. — Не надо сплетни слушать! Не надо! Не говори, чего не знаешь! Не надо чужие записки читать! А Лариса дура! Это тебе Котька Глинский сказал?

— Что?

— Что Лариска меня к тебе толкает?

— Я с Глинским вторую четверть не разговариваю.

— И напрасно... Он к тебе очень хорошо относится. Гораздо лучше, чем ты к нему.

— А ты откуда знаешь?

— Я с ним разговаривала. Ты просто людей не любишь.

— А ты знаешь, какую про него эпиграмму написали?

— Кто написал?

— Не знаю...

Сводник, сплетник и дурак —
Сборник всяких глупых врак,
Облик целый тут его,
Во! И боле ничего.

— Гнусно! Наверно, ты и написал! — закричала Никонова.

— Я не умею, — сказал Сапожников.

Это была правда. Никонова это знала.

Она только не знала, что ее подталкивало к Сапожникову. И он тогда этого не знал. Узнал только потом. Время. Время толкало и кружило их в своих водоворотах-временворотах. Тик-тик, работали его часы, тик-тик — и уже Сапожникову четыренадцать лет, а Глинскому часы подарили.

- Мама, — сказал Сапожников, — зачем людей рожают?
- Людей? Детей, наверно?
- Ну, детей...
- Чтобы любить кого-нибудь.
- Кого-нибудь? — спросил Сапожников.
- Кого-нибудь, кто будет тебя вспоминать долгое время...

Конечно, бывает всякое... война, например, не дай бог... но в принципе дети должны пережить родителей... Детей рожают, чтобы любить того, кто тебя переживет.

— Мама, что такое время? — спросил Сапожников.

— Время? Откуда же я могу знать?.. Никогда не задумывалась, — сказала мама. — Как тебе в школе живется, сынок?

— Хорошо, — сказал Сапожников. — А что?

— Ты стал вопросы задавать, как Нюра. А почему ты про время спросил? Кому-нибудь уже в классе часы подарили?

— Нет...

— Глинскому, наверно, — сказала мама. — Его отец третий день в цех без часов ходит, время спросить не у кого... Мы думали, в починку отдал.

— Котька все уроки на часы смотрит.

— Я тебе тоже подарю. Отцовские, серебряные, с велосипедистами на крышке... Не знаю, ходят ли они еще или нет.

— Мне не нужно, — сказал Сапожников.

На серебряной крышке мчались серебряные велосипедисты.

— Ты не думай, это ведь все равно твои часы, — сказала мама. — Когда ты фолликулярной ангиной заболел, приехал отец. Ты, конечно, ничего не помнишь, ты без сознания был... Он оставил часы и велел продать в торгсин... Тогда еще торгсины были... Доктор велел для тебя лимоны где-нибудь достать... Сейчас уже есть новые средства, красный стрептоцид и белый... а тогда не было... Я тогда все отнесла, что было, — несколько ложек серебряных, обручальное кольцо, отцовский Георгиевский крест. Отец и в германскую был пулеметчиком, и в гражданскую у Ковтюха... А часы не продала... Я хотела, чтобы они были у тебя... Ты уже взрослый... Носить их, конечно, нельзя, они карманные, их в жилетном кармане носят на цепочке. А где теперь жилеты?.. Будут у тебя над кроватью висеть на гвоздике.

— Ма, а почему отец пошел в цирк работать? — спросил Сапожников.

— Это сложная история... Ты еще маленький, — сказала мама.

Серебряные непродажные велосипедисты мчались по серебряному полю мимо старинных серебряных трибун с навесами и оглядывались на полустершихся серебряных соперников. Время не продавалось ни за какие лимоны, его нельзя было отменить даже ради спасения жизни или ради того, чтобы быть с человеком, к которому тянет больше всего на свете. Это и есть настоящее человеческое земное тяготение, а не бессмысленный камень, который падает на землю по невидимым рельсам.

Сапожникову тогда хорошо жилось в школе. Его почему-то начали любить. То все не очень, а теперь вдруг все наоборот. Махнули на него рукой, что ли?

ГЛАВА 8 ВСЕ ЕЩЕ ОБОЙДЕТСЯ

Сапожников пришел в институтскую столовую. Гремели металлические табуретки на каменном полу и посуда в раздачной, солидные голоса просили борщ, «пожалуйста, половинку», бефстроганов, компот. Молодые сотрудники сидели отдельно, пожилые отдельно. Пожилые смеялись, молодые сидели тихо. Сапожников и Барбарисов сели в уголок. В столовую вошла молодая женщина лет двадцати пяти, в тесном платье серого цвета. У нее были длинные волосы. Она подошла к столу молодых сотрудников, о чем-то заговорила и поставила ногу на перекладину табуретки. Потом ей что-то сказала девушка с птичьим носом, она обернулась, посмотрела на Сапожникова, и Сапожников поймал сонный, но любопытный взгляд. Она смотрела чуть искоса и неподвижно и была похожа на старшеклассницу, которой тесна школьная форма. Сапожников отвернулся и заговорил с Барбарисовым, а потом спросил:

— Кто это?

— Ее зовут Вика.

— Откуда ты знаешь, про кого я спрашиваю?

— Это же ясно, — сказал Барбарисов. — Пей кофе, ненормальный.

— Скажи ей, что моя фамилия Сапожников.

— Когда?

— Сейчас.

Сапожников молчал. Барбарисов смотрел на него.

— Ладно, не тоскуй, — сказал Барбарисов. — Заводной ты.

Он поднялся, подошел к ней, взял ее за руку и подвел к Сапожникову.

— Фамилия этого дяди — Сапожников, — представил Барбарисов.

Она улыбнулась. Сапожников обмер. Вот как иногда звучит труба архангела.

— Легко на сердце от песни веселой, она скучать не дает никогда, — пел Сапожников. — И любят песню деревни и села... и любят песню большие города, — пел Сапожников.

Он шел по улицам Риги веселенький, и пел песню, и не иронизировал.

В огромных деревьях парков запутался оранжевый закат. Зеленое и золотое — что за дни стоят! Где суровое небо Прибалтики, где хмурые северные краски, которые обещало воображение при словах «Рига», «Латвия»? Не погода, одно баловство. Сапожников грыз индийские орешки без скорлупы, клевал из пакета скрюченные белые орешки, похожие на личинок, и ему казалось, что за крышами домов закат опускается на колени.

А как все хорошо начиналось, подумать только! Нет, нет, думать как раз не полагалось. И может быть, этому не надо сопротивляться, когда такая красота кругом.

Темнело постепенно, и Сапожников проходил улицы и парки и спорил с Барбарисовым, который сегодня показывал ему древнюю стену. Там, где раньше у бойниц стояли воины, теперь под черепичным навесом лежали аккуратные дрова.

Барбарисов сказал:

— Они хотят здесь все почистить и устроить кафе.

— Красивая черепица, — сказал Сапожников. — И кирпичи.

— Бар поставят, кофеварку, современная музыка. Будет занятно, снаружи старина, а внутри модерн.

«Как бы не вышло наоборот, — подумал Сапожников. — Снаружи модерн, а внутри старина».

А теперь Сапожников клевал орешки и спорил с собой.

Потому что нет, и раньше, в неподходящие самые моменты, жизнь не сдавалась. Потому что когда лошади были сытые, не так все происходило, как Сапожников вспоминал в Верее, и Рамона искала пластинку. Лошади переступали копытами, и сырая солома шелестела и перетряхивалась, и лошади тянули морды в сторону дороги, которая вся как есть была видна из сарая. Прямо-таки набегала на сарай, втыкалась в открытую дверь, и луна била в лошадиные

храпы, как будто дорога уже летела им навстречу, а ведь это еще только предстояло.

— Почему мужчины? — спросил Цыган.

— Ай-яй-яй, какой интересный мальчик, — сказала Галя Домашенко, по прозвищу Рамона. — А ты не забыл, где надо нажимать, чтобы выстрелило?

Интересный мальчик промолчал. Она имела право так спрашивать. В прошлый раз интересный мальчик действовал автоматом, как дубинкой. Он действовал экономно и удачно, и у них сейчас было три лишних диска.

— Интересно, сколько детей может родить женщина? — спросила Галя.

— Зараз или по очереди? — спросил Цыган. — И потом, смотря какая женщина.

— Вот как я, например.

Заскрипело седло. Цыган дотянулся и погладил Галю по бедру.

— Штук десять, наверно.

— И здесь погладь. — Она показала нагайкой на свои выступающие груди.

Цыган погладил ей груди.

— Приятно, — сказала она.

Она имела право говорить и делать все, что ей вздумается. Ее могли убить первой.

— Дорогу женщине, — сказала она.

Они дали ей дорогу, и луна осветила ей колени. Галя любила короткие стремена.

— А еще я бы послушал джаз, — гордо сказал Сапожников, потому что он был самый младший.

Никто ничего не ответил. Цыган рвал фотографии, и все поняли, что он их не сдал, как положено.

— Чтобы труба закричала, — сказал Сапожников.

Тогда он во всех компаниях был самый младший, а теперь он во всех компаниях был самый старший.

— Мечтательная труба, — сказал Сапожников.

— Не бойся, — сказала Рамона. — Ты красивей всех, и я тебя люблю.

Галя каждому говорила только то, что делало его человеком, но и не меньше, но и не больше. Покойники ее не интересовали.

Дорога звала, дорога заманивала. Роммелевские танки, выкрашенные в рыжий цвет, потому что их перегнали из Африки, молчали уже полчаса.

— Ну... — сказала Галя.

Сапожников вытянул ракетницу и направил ее в заднее оконце сарая, прорезанное в толстых бревнах.

— Пошла, — сказала Галя и медленно подняла на дыбы своего чалого.

Хлопнул выстрел ракетницы, чалый хрипел и перебирал в воздухе красивыми ногами. Кони дрожали.

Вспухла и развернулась осветительная ракета. Стали видны рыжие танки, торчавшие у поворота. Все дело было в ракете. Из-за нее они могли удрать только на свету.

Галя шевельнула коленями. Чалого кинуло на дорогу...

Вот как все было на самом деле. Как в замедленном кино, а не так — тыр-пыр, в два счета, и поскакали. Было даже еще медленнее...

— Я пойду провожу Вику, — сказал Сапожников, — уже очень поздно.

— Когда вернешься, звони сильнее. Я могу заснуть, — сказал Барбарисов.

Она пошла вперед, Сапожников за ней. Когда Сапожников снимал ее плащ с вешалки, он слышал, как Глаша сказала угрюмым голосом:

— По-моему, она из себя строит.

Диктор сказал:

— «Маяк» продолжает свою работу. Передаем легкую музыку.

Вика привстала на цыпочки и поцеловала его в щеку.

— Приятно, — сказал Сапожников. — Только непонятно, за что.

— За глупость.

Под эту легкую музыку Сапожников и Вика шли по ночной улице.

— Ну так вот... — сказал Сапожников. — Все будет отлично.

— О чем вы?

— Вы уже начинаете радоваться, — сказал Сапожников, не понимая, что это он говорит о себе, — поэтому держите себя на вожжах, понятно? Иначе нас разнесет к чертям от первой царапины.

Они стояли на темной улице. Начал накрапывать дождь.

— Пошли, — сказал Сапожников. — Промокнете. Рассвет скоро.

— Не беспокойтесь, — успокоила она. — Все еще обойдется. Я вам обещаю.

Подоконник был мокрый, крыши серебряные. За окнами хмурый рассвет. Дождик. Как будто кончились прологи и теперь пойдет жизнь без пустяков.

Глаша стояла и смотрела на будильник. Это будильник ее поднял, а не звонок в дверь.

— Это будильник звонит, — сказала она.

— Так что же ты?

— Все равно уже утро... Папа, вставай.

Воздух тянет с моря. Глаша догадалась, что сейчас живет в Риге, а то она забыла об этом. Все последние дни была Москва, Москва из-за этого Сапожникова. Особенного ничего не было, а весь дом покачивался на тихой волне, как ресторанчик в порту.

Глаша спросила:

— Как ты думаешь, Сапожников остался ночевать у Вики?

Отец сразу открыл глаза.

— Что ты болтаешь! — сказал он. — Ну что ты болтаешь!

— Он не должен так поступать.

— Он должен тебя спрашивать, — сказал отец, вылез из-под одеяла и начал одеваться.

Потом он прислушался. Кто-то тихо позвонил в дверь.

— Ну вот, он пришел. Иди открой, — сказал отец.

— Не пойду.

— Долго ты еще будешь мне голову морочить?

И пошел открывать дверь.

Глаша включила радио, повернула на полную мощность, и диктор сказал:

— ...дописана четвертая страница летописи советского бадминтона. Она может войти в историю под названием турнир Константина Вавилова. Военнослужащий из Москвы — сильнейший мастер волана.

Было слышно, как в прихожей шумит плащ, с которого стряхивают воду. Потом Сапожников сказал:

— С добрым утречком, Агафья Тихоновна... виноват, Глафира Александровна. Как почивали, мамаша?

Глаша обернулась.

— А вы?.. — спросила она.

И ушла.

Барбарисов сказал хмуро:

— Не расспрашиваю об успехах...

— Дурачок ты... — сказал Сапожников. — Трамваи же не ходят. Шел пешком через весь город.

И ему снова вспомнилась вся пустынная дорога, и его

громкие шаги по твердому ночному асфальту, и блеск трамвайных рельсов на перекрестках, и внезапные сутулые пары из-за угла — обязательно мужчина в ватнике и женщина в резиновых сапожках: грибники спешили за город, — а потом стал накрапывать дождик, и впереди между домами начал вспухать рассвет, и Сапожников первый раз не чувствовал себя одиноким на пустой ночной дороге.

— Окажи мне услугу, — прошептал Барбарисов. — Повтори то, что ты сказал, только погромче.

— Понятно, — сказал Сапожников, покосился на дверь и сказал громко: — Дурачок ты... Трамваи же не ходят!... Шел пешком через весь город!

— Да не ори так.

Отворилась дверь, и вошла Глаша.

— Вы хотите есть? — спросила она.

И тут опять раздался звонок.

Барбарисов сказал:

— Кого там еще черт несет?

— Это телефон... — Глаша убежала.

— Ну что Вика? — спросил Барбарисов.

— Если мне не изменяет память, я, кажется, втрескался, — сказал Сапожников.

Глаша протянула через комнату шнур и поставила аппарат на стол.

— Это вас.

Сапожников взял трубку.

— Слушаю. Привет... А собственно, почему вы не спите?.. Конечно... Я только что говорил Барбарисову, что я, кажется, втюрился... Почему потише?.. Мне приятно, чтобы об этом знала вся Рига.

Он положил трубку. На него смотрели.

— Ну, братцы, — сказал он, — я отправлюсь к Вике... Спать, видимо, буду только в Москве... Глаша, есть возражения?

Глаша смотрела на него с интересом. Подняв бровь.

— Мне понравилось, как вы с ней говорили... — протянула она. — И что все вслух... Мне это нравится.

— Вы хороший парень, — сказал Сапожников. — И я вас люблю.

— Я не парень, — сказала Глаша.

— Слушай, от тебя электричество в тыщу вольт, — сказал Барбарисов Сапожникову. — Сегодня ты на моем докладе, не забудь. В Майори... Бери Вику, и приезжайте вместе.

— Если она не заснет, — сказал Сапожников, бойко, петушком, серым козликoм выскакивая из комнаты, будто и не было

ничего, будто он хмельной, или бездушный, или легко относится к жизни и все его страдания липовые, но, слава богу, жизнь сложнее всякого мнения о ней, и это обнадеживает, надо только иметь терпение, а где его взять иногда...

Сапожников хлопнул дверью, и квартира Барбарисовых закачалась на тихой волне.

Тихая волна понесла Сапожникова, и он закачался первый раз за эти лютые годы, потому что ему не стало смысла сопротивляться, потому что первый раз он не должен был перед кем-то хранить навязанный ему облик, хранить даже тогда, когда все облики были разбиты, и его предали, и четыре года длилась эта метель, эта пытка, когда с него сдирали панцирь и ели живого, как китайцы черепахе.

Они с Викой поцеловались.

Весь день они провели вместе и ели сосиски и яичницу в каком-то буфете, у стойки пили кофе, потом обедали в ресторане «Луна», до стойки хотели спать, потом перехотелось, осталась только лихорадка и гул в ушах, потом вечерело и пришла пора ехать в Майори. Грохотала электричка. Барбарисов сидел напротив них, а Вика пыталась задремать на плече у Сапожникова. Все было открыто всем, и никто ничего не понимал, а за окошком хмурые поля и мокрые полустанки.

Лекцию Барбарисов читал хорошо, а в перерыве сказал грустно:

— Идите прогуляйтесь у моря. Потом встретимся.

— Нет-нет, — сказала Вика.

И они ушли.

Это было странное, совсем другое море, плоское, серосиреневое от вечернего неба до горизонта. По блеклому спокойному песку прогуливались люди в пальто, и на воде, как утки в пруду, сидели белые чайки.

— Иди сюда... я соскучился, — сказал Сапожников.

Она стала перед ним и подняла голову.

— Я все равно соскучился, — сказал Сапожников. — Даже когда ты рядом, я по тебе соскучился. Мне кажется, я тебя сто лет не видел.

Они поцеловались. Потом долго стояли, обнявшись, и никто им не мешал.

— Почему ты такой? — сказала Вика ему в плечо.

— Не знаю... — сказал Сапожников. — Жизнь меня дразнит, как дети мартышку. Протягивает яблоко, потом отдергивает его, и я становлюсь злым и недоверчивым. Тогда я говорю — а подите вы все, не нужен мне ваш сладкий кусок, плевать я на него хотел, обойдусь черной корочкой. И тогда подни-

мается вопль. Ах так, кричат дети, не хочешь нашего яблочка, ну мы тебе покажем! И показывают, между прочим. Я не доверяю детям.

— Я же ребенок, — сказала Вика. — Ты с самого начала меня не понял. Я здоровая баба. Это у меня только глаза жалобные. Зачем ты соврал, что получил телеграмму?

— Я не соврал, — сказал Сапожников.

Они перешли на шаг в сторону, потому что песок под ними все время проваливался, он только сверху был слежавшийся и твердый.

— Я же знаю, что никакой телеграммы не было.

— Неважно, что не было, — сказал Сапожников. — Важно, что я ее получил.

— Не смейся.

— Я не смеюсь. Я кричу... Неужели незаметно?

И тут диктор неугомонной радиостанции «Маяк» сообщил:

— Советский ансамбль «Березка» отбыл сегодня на родину, завершив триумфальную поездку по странам Среднего Востока.

— Знаешь, хорошо, что у нас не было романа, — сказал Сапожников.

— А у нас не было романа?

— Ну, всяких там плотских радостей.

— Мы просто не успели.

— Нет, не просто, — сказал Сапожников. — Просто это было не нужно.

Они слышали тяжелые шаги по песку, как будто шла статуя Командора, но ей было трудно в темноте на Рижском взморье.

— Сапожников, — сказал Барбарисов. — Я Глаше звонил, тебе телеграмма пришла из Москвы.

— Какая телеграмма? — спросил Сапожников.

— Анна Сергеевна какая-то спрашивает о твоём здоровье. Беспокоится. Всем приветы.

Абсолютно тихо было на взморье. Ни звезд не было, ни моря, и песок не скрипел.

— А, Ньюра, — сказал Сапожников. — Теперь все в порядке. Можно ехать.

— Ты считаешь, что все в порядке? — сказала Вика. — Я тебя никому не отдам, слышишь?

— Это меня и беспокоит, — сказал Сапожников.

После этого он уехал.

ПРИГЛАШЕНИЕ НА ПРАЗДНИК

Учитель сказал:

— Ребята, попробуйте сформулировать, каким должен быть, по вашему мнению, самый лучший дом, даже идеальный дом, дом будущего. Ну-ка попробуйте!

— Зачем? — спросил Сапожников.

— Сапожникова я не спрашиваю, — сказал учитель. — Конечно, лучше его Калязина ничего не может быть. Это же весь мир знает.

— Весь мир не знает, — сказал Сапожников.

— Ну, значит, ты объявишь... урби эт орби... городу и миру. Сапожников, убери с парты эту гадость.

— Это насос.

— Я и говорю, убери эту гадость.

Это было как раз в ту зиму, когда Сапожников против Ньютона пошел. И потому они с учителем были в ссоре. Вся школа про это знала, и даже из района приезжал инструктор, расспрашивал учителя и завуча.

— Все нормально, — сказал учитель. — Пусть спотыкается. В науке отрицательный результат — очень важное дело. Он сам поймет, что на этой дороге тупик.

— При чем тут наука? — воскликнула завуч. — Сейчас ему надо запомнить основные законы природы! Парень уже здоровый, шестой класс, а ему ничего втолковать нельзя. Я буду ставить вопрос перед районо.

— Ну и что же он утверждает? — спросил представитель районо. — Что закон всемирного тяготения — это ошибка?

— Нет, — сказал учитель, — этого он не утверждает... Он говорит, что закон правильный, по вычислениям все сходится. Сила действительно убывает пропорционально квадрату расстояния. Только он говорит, что это не притяжение.

— Как же так? — спросил представитель районо. — Закон правильный, а притяжения нет... А что же есть?

— Просто хулиганство какое-то, — сказала завуч.

— Погодите, — сказал представитель. — Это забавно. А что же есть?

— Он еще этого не знает, — сказал учитель.

Представитель районо засмеялся.

— Ну слава богу, — сказал он. — Я думаю, ничего страшного... А откуда у него такая странная идея?

— Из-за насоса! — воскликнула завуч. — Из-за проклятого

велосипедного насоса... Я запретила ему приносить насос в школу... Но если вы попустительствуете...

— Да вовсе я этого не делаю, — сказал учитель.

— Он молится на этот насос! Как вы не понимаете? Он часами тупо на него глядит! Это фетишизм какой-то, тотемизм! Религиозное извращение, вы понимаете или нет? Сектантства нам еще недоставало!

— Погодите, — сказал представитель.

— Я за ним с третьего класса наблюдаю... С самого прихода заметила ненормальность... Вы помните, как он заставлял просить прощения у бутерброда?! Помните?

— Не у бутерброда, — сказал учитель.

— Он упрямый, как осел! Он спорщик! Ему ничего толковать нельзя!

— А доказать пробовали? — спросил представитель района. — Ну вот вы, например? Вы же преподаватель математики.

— Во-первых, строго говоря, я физик.

— У нас вы преподаватель математики, — сказала завуч. —

И кроме того, вы классный руководитель.

— Увы, руководитель я далеко не классный...

— Что верно, то верно, — сказала завуч.

— А во-вторых? — спросил представитель.

— А во-вторых, строго говоря, наличие в природе силы тяготения не обнаружено.

— Та-ак... — сказала завуч. — Договорились...

— Обнаружено только взаимодействие между телами, подчиняющееся формулам, которые вывел Ньютон.

— Мило, очень мило, — сказала завуч.

— Сам же характер этого взаимодействия еще не изучен, и потому слово «тяготение», или, иначе, «гравитация», является рабочей гипотезой, удобной для вычислений.

— Это действительно так? — спросил представитель. — По образованию я гуманитарий.

— Да... — сказал учитель. — Это действительно так.

— Мне об этом ничего не известно! — вскричала завуч. — И не ему об этом судить! Не Сапожникову! Какой-то Калязин! Какой-то монастырь, какое-то чудо святого Макария! Вы чуе, откуда ветер дует?

— Но Сапожников как раз утверждает, что никаких чудес не бывает, что все рано или поздно объясняется... А это, простите, чистейший материализм, — сказал учитель.

— Это действительно так? — спросил представитель.

— Конечно... Можете с ним поговорить.

— Я вам верю... А как учащиеся ко всему этому относятся?

— Смеются, конечно.

Представитель района засмеялся.

— Я думаю, ничего страшного, Екатерина Васильевна, — сказал представитель. — И кроме того, этот мальчик занял первое место в районном конкурсе изобретателей...

— Это ему и вскружило голову, — сказала завуч. — За это ему надо дать по рукам.

— И кроме того, насколько мне известно, идея изобретения пришла ему в голову, когда он изучал велосипедный насос... Из-за этого случая ваша школа на хорошем счету даже в гороно... Ваш опыт изучают.

— А вы знаете, что мне сказала библиотекарь в Доме пионеров? — успокаиваясь, сказала завуч. — Когда он заполнял анкету, то в графе соцпроисхождения написал «обыватель»... Ну, Сапожников... Правда, это давно было.

— Ну вот видите? — сказал представитель района. — Когда будет вечер отдыха, позовите меня.

— А вам как классному руководителю я заявляю официально, — сказала завуч, — в присутствии представителя района — велосипедный насос приносить в школу запрещаю. Это вопрос принципа... Ну, Сапожников!..

Это еще было до всеобщего признания теории относительности, которая внесла поправки в небесную механику, и фамилия Ньютона была как фамилия Аристотеля в прошлые века, и любое сомнение считалось грехом. Теперь это происходит с фамилией автора теории относительности, имя коего называть всеу также считается грехом.

Сапожников убрал в парту велосипедный насос и стал формулировать задачу насчет идеального дома.

— Итак, к чему мы пришли? Из чего состоит дом? Давайте подведем итоги, — сказал учитель.

— Из мебели, — сказал Сапожников.

Никонова заржала. Она тоже так думала, но побоялась сказать.

— Сапожников! — сказал учитель и помолчал. — Итак, подведем итоги. Дом — это некий объем, стены которого образуют искусственно созданную среду, делающую человека независимым от влияния внешних изменений... То есть дом — это как одежда, это, если хотите, инструмент для поддержания постоянной температуры, необходимой человеку... Нас сейчас интересует именно этот вопрос — температура среды, теплопроводность изоляции, то есть стен дома, и теплообмен между внутренней и внешней средой... Почему греет одежда?

— Она не греет, — сказал Сапожников.

Никонова заржала. Она знала, что, когда она смеется, все на нее оглядываются. На нее оглянулись.

— Сапожников прав, — сказал учитель.

Теперь засмеялись все.

— Ну? Долго будем смеяться? Сапожников, еще раз вытащи насос — выйдешь из класса. Итак, одежда не греет, а является изоляцией внутренней среды от внешней. Прекрасной изоляцией является воздух. Поэтому в окнах делают двойные рамы. Если бы можно было сделать одежду из воздуха...

— То все были бы голые, — задумчиво сказала Никонова.

Мама сказала:

— Хочешь Калязин последний раз повидать?

— Почему последний? — удивился Сапожников.

— Ходят слухи, что на месте Калязина сделают море.

— А куда же Калязин денется?

— Он уйдет под воду... Ну, может быть, не весь, частично...

Но левая сторона, где мы жили, уйдет под воду.

— И наш дом?

— Не знаю... Может быть, перевезут куда-нибудь... Бабушка переезжать не хочет. Нюра уехала, мы уехали, дядя в школе весь день. Как бабушка с печкой управляется?.. Как все это будет — не представляю. Надо отцу написать, чтобы приехал. Он сейчас где-то в Калининне выступает. Мне в школе обещали, что тебя в зимний лагерь возьмут на две недели на январские каникулы, а лагерь будет как раз в монастыре... Помнишь, там был дом отдыха электрокомбината?

— Наша школа ему подшефная.

— Да, я знаю... Я как-то забыла об этом. Какое совпадение, — сказала мама, — представляешь? Кто мог подумать, что все так переплетается?

— Ведь Дунаев в трансформаторном работает, — сказал Сапожников.

— Ах да... Действительно... Хорошо, что мы все вовремя приехали в Москву... Теперь с пропиской все трудней и трудней. Если бы не Карлуша, старый папин друг, мы бы никогда в Москве не устроились... Как все переплелось. Прямо поразительно.

— А Нюру опять у Дунаева увели, — сказал Сапожников. — По-моему, она обыкновенная...

— Замолчи! — прервала его мама, не дав сказать последнее непоправимое слово. — Молчи. Ты ничего в жизни еще не понимаешь...

— Потому что частицы воздуха, — сказал учитель, — отстоят далеко друг от друга и им, чтобы встретиться и столкнуться друг с другом, нужно больше времени... Вот почему воздух — прекрасная изоляция... В чем дело, Сапожников?

— А если воздух выкачать? — спросил Сапожников.

— Откуда?

— Ну, если между окон выкачать воздух, то что останется?

— Осколки, — сказал учитель. — Давление атмосферы вдавит с двух сторон стекла. Природа не терпит пустоты, запомните...

— Значит, пустота ни на что не годится?

— То есть? — настороженно спросил учитель.

— Если в пустоте частиц нет, значит, они не сталкиваются?

— Что ты хочешь этим сказать?

— Изоляция, — сказал Сапожников. — Тепло не проводит

— А-а... — успокоился учитель. — Это термос... Так делают термосы. Колба с двойными стенками, между которыми вакуум, пустота.

— Ну да, стенки двойные, а внутри пустота. Можно стенки в доме сделать такие... Воздух выкачивать... Отопления не нужно... Печку топить не нужно будет, — сказал Сапожников.

Он хотел добавить, что бабушке уже трудно печку топить, но не добавил. Он теперь уже был немножко умный. И ему от этого было скучно. Потому что ему много раз объясняли, что умный — это тот, кто неоткрытый, а открытые только простофили. Что-то тут не совпадало с правдой, но что именно, Сапожникову еще понять было не дано. Для этого ему нужно было узнать женщину и понять, что для большинства из них главное не оказаться простофилей. И Сапожников тогда не знал еще, что обречен всю жизнь искать подругу-простофилю, чтобы и самому быть с ней простофилей. И он иногда сталкивался с такими, но потом с ужасом видел, как быстро они умнеют. И это приводило их к мелким тактическим выигрышам и имитации и к огромному стратегическому проигрышу всей жизни и к несчастью. А разве это правильно?

— Термосы все равно остывают, — сказала Никонова. — Вечером нальешь кипятка, а утром уже пить можно.

Учитель смотрел на Сапожникова не мигая. Сапожников испугался:

— Я убрал насос, убрал, честное слово, — сказал он.

Поезд остановился, и школьники начали выгружаться. Сапожников, как всегда, последний — пока слез с третьей полки, которая для вещей, пока снова наверх полез за чемоданом, пока в ночное окно смотрел, пока снова спустился, в вагоне уже никого не осталось.

— Мальчик, побыстрее, — сказала проводница.

Сапожников вылез на ночной перрон, и никто его не спросил, куда он девался. А он все равно втайне на это надеялся.

Потом поезд ушел и открыл ночное поле, где стояли лошади и много саней, в которые стали грузиться школьники — вещи отдельно, школьники отдельно. Сено в ногах, звезды наверху в небе, скрип полозьев, сопение одноклассников, ветер, ветер — это они едут. А дорога все назад бежит, назад, а впереди Калязин, который тоже давно позади, все времена перепутались, ничего теперь не понять, как время течет, то быстро, то медленно, как будто у него то узкие берега со стремниною, то широкие берега с разливами, старицами и времяворотами, где кружатся щепки, все сближаясь друг с другом, чем глубже их засасывает воронка.

Гиганты старшекласники, которые уже дожидались их на станции, теперь везли на гигантских санях гигантскую елку.

Впереди загалдели. Сапожников приподнялся и увидел теплые огни в освещенных воротах дома отдыха и холодные монастырские стены, которые построили для изоляции внутренней среды от внешней.

Потом всех школьников разгрузили по палатам — каждый чемодан под свою кровать — и велели ничего не есть из домашнего, потому что будет праздничный новогодний ужин, а в кельях было холодно, потому что стены их были цельнокаменные и внешняя среда отнимала теплоту у внутренней.

И тут, конечно, двое школьников из ихней кельи шутя подрались, чтобы согреться, а потом не шутя подрались, чтобы остыть. А третий все-таки жрал ногу от курицы, приговаривая: «Вот он, твой Калязин». Тогда Сапожников сказал, что в монастыре есть музей старого оружия и подземный ход, и это их успокоило. Они надели пионерские галсту-

ки и пошли на праздничный ужин, потому что их туда позвали.

В огромной столовой дома отдыха вдоль всех стен, кроме эстрады, стояли огромные праздничные столы, в центре стояла огромная праздничная елка, почти достававшая до огромного потолка трапезной, где еще виднелись ржавые крылатые люди и линияло-голубое штукатурное небо. А во время огромного праздничного ужина, куда добавили еще и обед — первое, второе и третье, потому что рассчитывали, что школьники приедут засветло, не пропадать же обеду, — был концерт, где артист на сверкающей дудке, похожей на никелированное пирожное, исполнял номер «Смеющийся саксофон», Дора Рубашкина из десятого «А» пела «Соловья» Алябьева не хуже Барсовой и «Санта Лючию» на русском языке, а гиганты старшеклассники показывали упражнения на брусках, с грохотом падая на подмышки.

И в огромном зале было светлым-светло от электрического освещения и от свеч на праздничной елке, а также было тепло от праздника на душе и оттого, что в огромных окнах были двойные рамы, между которыми метались эти странные частицы, которые редко сталкиваются друг с другом и потому сберегают драгоценное общее тепло праздника от внешней стужи.

И теперь уже чересчур конкретное дефективное воображение вовсе не мешало Сапожникову, а, наоборот, помогало испытывать счастье праздника, счастье теплоты, счастье песчинки, частицы, кружащейся в праздничном времявороте. И кружился пол с конфетти под музыку артиста с саксофоном, и кружилось небо с рыже-голубыми гигантами, нарисованное чьим-то конкретным воображением.

А потом снова келья, где ребята все свои. Сапожников тут пошел искать и нашел перед сном ледяную уборную, где в соседней кабине кто-то басом пел: «И будешь ты царицей мир-ра...» — а в разбитое окно была видна луна, которая убежала от облаков. Праздник кончился.

Утром было соревнование по конькам и эстафета. Сапожников свой этап выиграл, а этот паскуда, курицын сын, сначала пошел хорошо, а на финише упал на метельном льду старицы. И Сапожников не спросясь ушел к бабушке.

Белое огромное поле с вешками для тех, кто не знает дороги, заметаемая тропка, проложенная чьими-то ногами. Трезвость. Высокий звон одиночества. Слепящий белый снег. Слепящий белый ветер в лицо.

Но потом черное пятнышко на дороге — собачка Мушка, которая не узнала его и отскочила от протянутой руки, но побежала за ним вслед.

Стук, стук, стук с замиранием сердца в калитку. Открыл средний дядя тычинки-пестики, пригляделся и ахнул. Сапожников вошел во двор. Залаяла собачка Мушка и вылезла из своей конуры, она была уже совсем старенькая и на улицу не выходила, а это дочка ее попалась Сапожникову на метельной дороге. Теплота, теплота.

— Бабушка, а почему праздник не может быть каждый день? — спросил Сапожников.

Это у него всю жизнь было так.

Еще когда он совсем маленький был, лет пяти, наверно, его первый раз в Москву повезли. Отец с мамой тогда еще были вместе. И пришли они все в цирк, где работал отец, и посадили их, конечно, в ложу. Сапожников поглядывал на все без интереса. Много людей в пальто, полутьма какая-то, веревки, и пахнет, как у коновязи.

Ему только понравился красный бархатный барьер там, внизу, огромный, низкий и круглый, и здесь, наверху, маленький бархатный барьер, которым была ограничена ложа, чтобы Сапожников не выпал.

И тут вдруг ударила медь, вспыхнул ослепительный свет, заорал духовой оркестр, и в центр круга на белой лошади вылетела наездница — белое виденье, прекрасная женщина в белом платье, черной шапочке с пером и голыми руками — и понеслась по кругу. А в центр вышел черный гад, злодей в черном фраке и цилиндре, с длинным бичом, и все пытался хлестнуть красавицу женщину, но промахивался. А белая лошадь то мчалась по кругу, то вставала на дыбы, и ничего этот гад с ними сделать не мог, а только хлопал пушечно. И это было так прекрасно, что Сапожников вцепился в свой малый барьер, обшитый бархатом, и заостенел, и не слышал, как его испуганно окликали, и полюбил первый раз в своей жизни, потому что, конечно, первая любовь всякого порядочного Сапожникова — это, конечно, наездница.

А потом внизу откинули барьер и наездница ускакала, гад стал кланяться, а Сапожников заплакал.

— Что ты? Ты что? — стали спрашивать его папа и мама, которые тогда еще были вместе.

А Сапожников в ответ спросил:

— Больше уже все?.. Больше ничего не будет?

И тогда все взрослые в ложе засмеялись и объяснили ему, что это только начало и что программа длинная и еще

много чего будет, и это все подтвердилось. Но каждый раз, когда кончался номер, Сапожников никак не мог обрадоваться вздоху, потому что на доньшке всегда трепетала болевая точка, ожидавшая, что праздник сейчас кончится. И только потом, много лет спустя, Сапожников осознал, что эта болевая точка есть мечта о коммуне, о празднике каждый день, когда все как один теплый дом, где каждый друг другу в помощь и никто тебя за это не искажает. Когда не толпа, а шествие и не одиночество, а уединение. Счастье общности, где все не щепки в потоке, который сталкивает времявороты, и не гайка ты и не винтик, а человек... И эту коммуну и способы приблизить ее искал Сапожников всю жизнь, часто ошибался, торопился, срывая яблоки еще зелеными, не понимая иногда сам, чего же он ищет, чего же он мечется, отстаивая свой путь простофили среди злобы дня и запальчивости близких людей, не доверяющих друг другу. Потому что для этого одного ума мало, ум здесь бесперспективен, а у простофили перспектива есть — мудрость. И за эту коммуну, за этот праздник Сапожников воевал всю жизнь и старался понять, как же его приблизить конкретно, и потому пускался в поиск в любую область, где такая возможность брезжила, и опрокидывал столы с яствами, если они уводили его с дороги к этому празднику. Вот что такое изобретательство, если говорить всерьез, а не просто изучать насос, и любопытство.

А когда Сапожников вернулся из зимнего лагеря, учитель сказал:

— Я тут без тебя кое-что посчитал... Давай-ка напиши мне на бумажке насчет вакуумных стенок для строительства домов без отопления... ну, эти твои термосы-кирпичи. Бред, конечно. Стекло хрупкое, а в других материалах вакуума едва ли добьешься... в промышленных масштабах, конечно. Но давай попробуем оформить заявку.

Конечно, бред. До сих пор таких домов не строят, где отопления практически не требуется. То ли заявка Сапожникова затерялась, то ли еще почему. И спасательных поясов таких Сапожников ни разу не видел, чтобы раз, надел на себя — и уже надувать не надо, не потонешь. Потому что у Сапожникова характер был не пробивной. Он всегда так считал: нужен буду — разыщут под землей, а не нужен — и толкаться не стану. Так и во всем, жил и дожидался, пока заметят, и старался ничего не просить. Потому что на праздники не просят. На праздник приглашают.

ГЛАВА 10
ШАРОВАЯ МОЛНИЯ

Сапожников убежал из Риги как последний трус.

Так на нем и было написано: трус.

Когда он из Риги заявился к Дунаевым, Нюра отводила глаза от его жалкой размазанной улыбки.

Он еще хорохорился, мужественно хмурил брови и выпячивал грудь, но потом, когда пил чай, сидел за столом тяжелой грудой, снова появлялась эта улыбка, и тогда он становился похож на оседающий в морщинах, пробитый азростат заграждения или на грязный тающий сугроб на краю тротуара.

— Сапожников, иди к Нюре, — сказал Дунаев. — У тебя вид как у нашкодившего пса.

Сапожников снова улыбнулся, красиво нахмурил брови и пошел на Нюрину половину дожевывать пирожок.

Нюра старалась не смотреть на эти руины изобретателя.

...Тогда, в июне, Нюра зашла и сказала: «Твоя бывшая жена умерла», — и Сапожников ничего не понял, а потом вдруг закричал, и комната стала желтая и круглая, как шаровая молния.

— Выпей скорей, — сказал Дунаев. — И еще выпей.

И Сапожников dokonчил свою поллитровку.

— Возьми сала.

Была ночь, и они сидели у Дунаевых.

А Нюра погладила Сапожникова по голове и сказала:

— Не казись. Хуже нет начать казниться.

Дунаев сказал жене:

— Выбей из него эту дурь. Он говорит, что он бездарный. Не хватило таланта, не смог ничего придумать, чтобы вырвать ее из этой помойки, выбей из него эту дурь.

И Сапожников сказал:

— У меня тост. Если есть рай, давайте выпьем, чтобы она была в раю.

Водка была как вода.

Утром они вышли из решетчатых ворот дома и увидели, что первые прохожие идут на работу.

А потом приехал Глеб, и шаровая молния медленно растаяла...

Нюра что-то говорила ему, и Сапожников отвечал:

— Да-да, конечно... само собой.

— Что ты все бормочешь? — сказала Нюра. — Поговори со мной.

— Со мной беда, — сказал Сапожников.

— Ну.

Дунаев на кухне громил посуду. Сквозняк надувал и тормозил ситцевый занавес, отгораживавший Нюрину половину.

— Какая она? — спокойно спросила Нюра.

— Не знаю.

— Значит, влюбился...

— Поехал к Барбарисову по делу — и вот что вышло. — Сапожников кричал сдавленным шепотом. — Я ее вижу все время! Ясно? Мне все опостытело! Ясно? А вы с Дунаевым все время молчите! Ты же все время молчишь!

Нюра ничего не отвечала, только все время убирала пряжу со лба.

— Я ничего понять не могу! — шепотом орал Сапожников. — Я не знаю, похоже это на любовь или нет! Какая это любовь, если я помню все свои дурости и ошибки? Любовь должна быть беспечной, а я жду спасителя... Понимаешь? Понимаешь?

Он таращил глаза и разевал рот, как рыба.

— Трус... — медленно сказала Нюра.

И Сапожников опомнился.

— Что ты сказала?

— Трус ты, — припечатала Нюра.

— Я не трус... — сказал Сапожников. — Ты ошибаешься... Просто она очень похожа.

Нюра ничего не ответила. Сапожников посмотрел на нее пристально, уже догадываясь.

— Я тебя правильно понял? — спросил он.

— Иди к телефону, — крикнула Нюра, — иди!

— Я не трус, Нюра. — Сапожников поднялся и вытер лицо. — Я просто забыл, что надо быть храбрым.

Он вышел за перегородку, пузатую от сквозняка, и Нюра слышала, как захрипел и защелкал телефонный диск.

— Междугородная? Я бы хотел заказать разговор с Ригой...

— Не дрейфь, суслик! — тихонько сказала Нюра.

Но он расслышал, конечно.

— Ах, черт возьми, — сказал там, за перегородкой, Сапожников. — Я слышу родимый голос. Спасибо, сержант.

— Почему сержант? — тихонько спросила Нюра.

— Да... — сказал Сапожников. — Слушаю... Вика? Да... Это

я... Ты можешь вырваться на денек?.. Ладно. Жду. Ни о чем другом думать не могу... Да, кончили, кончили... отбой.

Он положил трубку, и Нюра слышала, как он сказал:
— Что я наделал?

Нюра тоже что-то сказала, но Сапожников не расслышал на этот раз.

Давайте сделаем затемнение.

И в этом затемнении Сапожников провел сутки, весь закостенев от ожидания, ходил по магазинам, подарков и антикварным, наталкиваясь на людей, — искал тяжелый цыганский браслет, твердо зная, что нужен именно такой, и не нашел его и даже сам начал делать его из куска латуни, пока не опомнился и не увидел, что у него выходит не браслет, а скорее наручник, и догадался, что барельеф из сплетенных трав и танцующих менад, который стоял у него перед глазами, видимо, должен все-таки делать скульптор, и желательно древнегреческий, и тут он испытал счастье, потому что ночь прошла и был розовый ледяной рассвет и еще куча времени на то, чтобы побриться, одеться и вымести из комнаты медные опилки. И тут он вспомнил, что до Внукова дорога в тысячу верст и надо еще искать такси, и вылетел пулей из дома. Такси он нашел сразу и разбудил водителя, который спал на сиденье, накрывшись журналом «Спортивная жизнь России». Всю дорогу до Внукова они летели по розовой дороге, в щель окна ножом входил ледяной ветер осени, и Сапожников разговаривал и разговаривал не переставая, и стрелка на часах то делала гигантские скачки, то застывала на месте, и Сапожников разговаривал и разговаривал, как контуженый.

А когда они влетели и развернулись у аэровокзала, Сапожников сразу стал железный и предусмотрительный, и хотя машин и автобусов было полно на площади, но ведь их могли расхватать пассажиры бесчисленных самолетов, ревущих на полосе и гудящих в воздухе. Поэтому Сапожников дал водителю трешку и велел запомнить его в лицо, потом вернулся и сказал ему еще одну свою приметку — зеленая кожаная куртка с вязаным воротником и манжетами, на «молнии», и дал еще трешку, потом вернулся и хотел дать еще трешку, чтобы наверняка, но водитель сказал «не надо» и трешку не взял. Тогда Сапожников обошел весь зал ожидания, и проверил все ходы и выходы, и получил информацию у всех весовщиков, кассиров и вахтеров, а также в справочном бюро устно и на матовом экране, нажав кнопку, пока методом

исключений не выяснил, что все пассажиры, все как есть, входят только в одну дверь и самолет из Риги не запаздывает. После этого он обнаружил, что сидит у стеклянной двери на столе и сидеть ему неудобно, он сидит на купленном букете, потому что всегда стеснялся цветов.

Он еще успел купить второй букет, и его чуть не постигла такая же участь, и, ничего не стесняясь, встал у двери и тридцать семь минут приставал ко всем прибывающим — не из Риги ли они. Взрывывали, гудели и кашляли моторы, слепяще покачивались винты, болтались прозрачные двери вокзала, и Сапожников выскочил на летное поле и побежал навстречу редкой цепочке людей, потому что, как только перестал вглядываться в дальние лица, сразу узнал походку Вики — она шла осторожно, как по булыжнику.

Он остановился потому, что понял — сейчас потеряет сознание. Он когда-то читал о таком в одной средневековой новелле, как любовники теряли сознание при виде друг друга, но там не было написано, что до этого они ничего не ели двое суток, а один из них пытался сделать цыганский браслет из снарядной гильзы от сорокапятки, служившей ему пепельницей.

Они кинулись навстречу, обхватили друг друга руками и застыли.

Сапожниковский букет нелепо торчал у Вики за спиной, и гул самолетов постепенно затихал. Потом Сапожников прямо ей в лицо сказал:

— Здравствуй.

И она ему в лицо сказала:

— Здравствуй.

Он взял ее сумку, она взяла его букет, и они пошли к вокзалу, ничего не стесняясь, и Сапожникову даже хотелось нести эту сумку в зубах, но этого совершенно не требовалось. И когда они сели в машину, и водитель, растроганно сопя, глядел на них в зеркальце, и Вика сидела рядом, и они проезжали по знакомым улицам, Сапожников заулыбался и понял, что он мертвый и что все пропало.

Совсем мертвый, и надо немедленно об этом сказать. Потому что он еще сутки назад боялся, что увидит сходство и этого не перенести, а сейчас, когда они ехали по всем местам, где ездили с другой тысячу раз, он увидел — с ним сидит совершенно незнакомая хорошая девушка, которая приехала по его вызову и которая там, в Риге, была слишком похожа на другую, потому что он и потом, куда бы ни приезжал, всюду видел другую, потому что он смутно верил, что

она куда-то переехала и живет, но только не в Москве, в Москве ее не было. Так.

Потом они тут же по пути в пустой центральной кассе взяли билет в Ригу сегодня на вечер и как-то провели день после того, как Сапожников все рассказал, и даже обедали в «Софии», но ничего есть было нельзя, потому что еда состояла из медных опилок и стекла.

Они еще раз сели в машину и въехали в серые сумерки, по дороге Сапожников купил две плетеные бутылки гамзы, ей на память и Барбарисову, и, когда стемнело на аэродроме, пошли на летное поле к серебристой туше с передвижными ступеньками и пробивались сквозь команду латвийских баскетболисток, которые опоздали на предыдущий рейс, и их обоих бросало в холод при мысли о том, что может не хватить мест и продлится эта мука. И пробились. У самого трапа Сапожников сказал:

— Так... все...

— Да.

Она поднялась по трапу, дверь закрылась. Сапожников прошел под крылом не оглядываясь, и его до входа в вокзал преследовал трап с мотором и на колесиках.

Сапожников пошел в вокзальный ресторан и сильно отметил конец отпуска под музыку радиолы, которая гремела, потому что в нее кидали пятаки.

Радиола играла буйную мелодию «О, мадам», и из кинофильма «Путь к причалу», и многое другое интересное.

Гуськом появлялись официантки с подносами, и каждая ставила перед Сапожниковым тарелки. Официантки двигались по кругу, и, когда последняя ставила тарелку, первая ее тут же убирала, а за ней вторая и остальные. Сапожников сидел неподвижно, и официантки ушли под музыку «Очи черные».

Сапожников лег щекой на стол и увидел того пьяницу, который месяц назад обозвал его богом. «Куда ж ты прешься, японский бог!» — сказал ему пьяница, и Сапожников понял, что стал богом и его узнают в очередях.

И тут опять загремела радиола, официантки начали танцевать танец пингвинов, а толстый пьяница стал яростно крутить твист. Потом строй официанток и гостей, красиво вскидывая ноги, прошел за спиной Сапожникова, и ресторан закрылся. А Сапожников почти протрезвел и спустился в ночной буфет, по дороге врезаясь в шествие прибывающих пассажиров.

В соседней школе девятиклассник застрелился. Дядя у него военный. Приехал в командировку, остановился ночевать, а утром выстрел — так рассказывали. Племянника в больницу. Дядьку до выяснения. Долго выясняли. Но племянник выжил и рассказал, как было дело. Дядю выпустили, а дело было так, что племянник стрелялся из-за любви.

Сапожников никак не мог постигнуть, что значит из-за любви. Но дело-то, оказывается, не в любви, а в вероломстве. Она сначала с этим племянником была, а потом не захотела с ним быть, с племянником. Сапожникову показали ее. Волосы пушистые, белокурые, а нос тонкий. Волейболистка. Глинский сказал:

— Ее все лапают.

— А ты откуда знаешь?

— И я.

— Слушай, — перебил Сапожников Глинского, — откуда у тебя шары никелированные?

— От бильярда.

— Это же подшипники...

— Не знаю... В парке бильярд сломали, а шары разобрали кто успел. Я успел. Я три штуки спер. А тебе подшипники зачем?

— Бумагу прожигают, — сказал Сапожников. — Если с двух сторон по бумаге кокнуть — прожигают.

— Покажи.

Сапожников показал. На тетрадном листе появилась дырка.

— Где же прожигает? Пробил, и все. Как гвоздем, — сказал Глинский.

— А ты понюхай, — сказал Сапожников и еще раз кокнул. Глинский понюхал.

— Паленым пахнет.

— Значит, он из-за тебя стрелялся? — спросил Сапожников.

— Нет... Ее все лапают.

— А Никонову? — спросил Сапожников.

— Нет.

— Почему?

— Она отличница, — сказал Глинский.

Ночь.

— Она от тебя без ума, — сказал Глинский.

— Без кого? — спросил Сапожников.

Переулок темный-темный, а впереди освещенная улица.
— Она так говорит, — сказал Глинский. — Она говорит, что ты ее околдовал.

— А кому говорит?

— Всем. А хочешь ее спасти? — спросил Глинский. — Я уже спасал.

— Никонову?

— Нет. Вообще. Двое сговариваются. Один пристаёт, а другой спасает. Хочешь Никонову спасти от меня?

— А зачем?

— Они героев любят. Я пристану, а ты спасешь. Только в темноте. А то она в школе на меня скажет.

— А почему они героев любят? — спросил Сапожников.

— А ты нет, что ли?

— Я их никогда не видел, — сказал Сапожников.

Никонова сказала глухим голосом:

— Ну тебе чего?.. Тебе чего?.. Пусти, ой, мама!.. Мама!

Сапожников перебежал улицу и схватил Глинского поперек живота. Он оглянулся и уперся Сапожникову ладонью в нос. Сапожников отпустил его. Никонова побежала. Глинский за ней. Сапожников за ним. Глинский обернулся и ударил его в лицо.

Сапожников поднялся с земли. Глинский схватил его за горло. Тогда Сапожников провел два апперкота ему в живот, а головой ударил ему в скулу. Глинский обмяк.

— Пошли, — сказал Сапожников.

И они с Никоновой вышли из переулка на светлую улицу.

Под фонарем стоял дрожащий, но совершенно целый Глинский.

— Ребята, вы откуда? — нереальным голосом спросил он.

— Там ко мне кто-то пристал, — сказала дрожащая Никонова, — а Сапожников меня спас.

— А кого же ты бил? — спросил дрожащий Глинский.

— Не знаю... — ответил дрожащий Сапожников.

— Будешь мне по физике объяснять? — спросила Никонова.

— Буду, — ответил Сапожников.

А они как раз тогда магниты проходили. Электромагнитную индукцию. Это когда одни магниты постоянные, а другие непостоянные.

Мама сказала:

— Она хорошая девочка, но не твоя.

— Почему?

— В ней колдовства нет, — сказала мама.

— А во мне есть, — сказал Сапожников.

— Кто тебе сказал? — спросила мама.

— Никонова.

— Это не твое колдовство, — сказала мама, — а ее самолюбие. Она перепутала.

— А в тебе колдовство есть?

— Было. Но пропало, — сказала мама.

— Почему?

— Потому что я его на твоего отца истратила.

На Сапожникова иногда вдруг накатывало.

Вдруг он застывал и отключался. Он не переставал видеть, и сознание его было отчетливо, но что-то в нем самом, внутри него, будто слышало движение невидимое.

И если кто-нибудь в этот момент задавал ему вопрос, он, конечно, отвечал невпопад. Удивительно было другое. Эти ответы сапожниковские потом странным образом подтверждались. А это раздражало.

Математику теперь преподавала завуч, а прежний учитель вел физику. И теперь Сапожникову приходилось круто. Завуч не любила Сапожникова, а Сапожников не любил завуча. Она ему мешала думать. Еще по устному счету нет чтобы сложить пять плюс семь равняется двенадцати, — он воображал столбик из пяти кубиков, надстраивал еще семь штук и, когда два вылезали поверх десяти, говорил — двенадцать. Казалось бы, Сапожников и завуч должны были ладить, потому что для завуча большинство вещей состояло из кубиков. А все остальное было отклонение. Но и отклонение можно было разбить на мелкие кубики, а если все равно получались отклонения, их можно было опять раздробить и так и далее. А до каких пор?

— Пока они не станут круглыми, — сказал Сапожников.

— То есть? — спросила завуч.

А как раз тогда проходили понятие «бесконечность», и если делить без конца, получаются частицы, из которых эти кубики состоят.

— Ну и что? — раздраженно спросила завуч. — Это физика.

А к математике какое это имеет отношение?

— Математика ведь тоже для жизни?

— Начинается... Ну и что?

Завуч хотела загнать его в угол. Вид Сапожникова вызывал у нее тоску и отвращение.

— А в жизни частицы мечутся хаотически. Броуново движение.

— Ну и что?

— А когда они сталкиваются, они друг о друга стачиваются. Как галька морская.

— Во-первых, кто тебе это сказал? А во-вторых, как же ты из круглых частиц сложишь граненые? Кристалл, к примеру?

— Приблизительно.

— Кристалл? Приблизительно?.. Сапожников!

В общем, для Сапожникова противоречие между математикой и физикой было такое же, как в свое время между физикой и законом божьим. Можно, конечно, вычислить, сколько ангелов поместится на острие иглы, но для этого надо доказать, что ангелы существуют. А пока это предположение не доказано, то и вычислять нечего. Мозг у Сапожникова был грубо материалистический, и ничто научно-возвышенное в нем не помещалось, а вернее, не удерживалось.

Сапожникову как объяснили, что весь мир состоит из материи, так он сразу и понял, что материя должна как-нибудь выглядеть. А всякие там кванты света, которые одновременно и частица и волна, его начисто не устраивали, и он полагал, что, значит, как теперь говорят, модель еще не придумана, и уж он-то, если понадобится, конечно, придумает наверняка. До сих пор у него нужды не возникало.

— Твердое тело, жидкое тело, газообразное тело, — зудело у него в ушах услышанное в школе.

— А дальше что?

— А дальше пустота, — сказал учитель.

— А в пустоте что?

— Ничего.

— Значит, мир состоит не только из материи?

— А из чего же еще? — спросил учитель.

— И из пустоты, — сказал Сапожников.

— Пустота — это не вещество, это пространство, ничем не заполненное, — сказал учитель. — Потому в космосе так холодно, почти абсолютный нуль. Нет частиц, которые сталкивались бы.

— Значит, движению тел ничто там не мешает?

— Вот именно.

— А почему же тогда все планеты и звезды не собрались в одну кучу?

— А почему они должны собраться?

— Закон Ньютона... Должны были упасть друг на друга.

— Ну ты же не веришь в притяжение, — сказала завуч.

— Но вы же верите?

— Останешься после уроков.

— Хорошо, — сказал Сапожников.

Сапожников считал, что всякая материя должна как-нибудь выглядеть. А что никак не выглядит, то и не материя. А раз не материя, то этого и нет вовсе.

— А совесть, а мораль, а чувства?

— Что чувства?

— Они же никак не выглядят. Значит, нематериальны.

— Почему? Раз я что-то чувствую, значит, что-то происходит, значит, что-то влияет на что-то, значит, какие-то частицы сталкиваются или колеблются, самая материя и есть, — сказал Сапожников. — А если не колеблются и не сталкиваются, никаких чувств нет, одно вранье. Все рано или поздно объяснится.

— Какое грубое воображение у этого мальчика, — сказала завуч. — Даже странно в таком возрасте. Ничего святого...

— А что такое святое? — спросил Сапожников.

— Святое, милый друг, это когда люди что-нибудь считают высоким... идеальным... Может быть, тебе и это объяснять надо? — спросил учитель.

— Не надо.

— Ты, случайно, не марсианин? — спросила завуч. — Ах да, ты из Калязина... Такие понятия надо всасывать с молоком матери.

— Значит, понятия — это вещества? — спросил Сапожников.

И так во всем. Кстати, это было первый раз, когда Сапожникова спросили, не марсианин ли он. Потом его спрашивали не раз. Но он не признавался. Говорил — я и сам не знаю.

— Фокусник ты, — сказал учитель после педсовета, где обсуждалась судьба Сапожникова, — фокусник ты... Зачем делаешь вид, что не понимаешь, о чем речь? Ты всерьез думаешь, что математика не нужна? Да без нее в физике ни шагу.

— Наверно, — сказал Сапожников.

— А зачем завуча дразнишь? Зачем сказал, что можешь решить теорему Ферма?

— Могу. Частично, — сказал Сапожников.

— Ну вот, опять за свое... Триста лет академики решить не могут.

— Они сложно решают. А Ферма написал, что нашел простое решение. Я же читал. Правда могу. Не для всех чисел. Для некоторых.

— Да ты сдачу в магазине толком не можешь подсчитать! Что я, не знаю?

— Я округляю.

— А для каких чисел можешь решить? — спросил учитель.

— Для Пифагоровых.

— То есть?

— Ну, которые квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов. Для других не пробовал.

— Ну?

— Ну, например, три в квадрате плюс четыре в квадрате равно пять в квадрате. Так?

— Ну? — нетерпеливо спросил учитель.

— Ну вот, для таких чисел, из которых получается это равенство, могу доказать.

— Что именно?

— Что от этих чисел все другие степени — кубы, четвертые и так далее — никогда не дадут равенства.

— Ну-ка, давай на доске.

Перешли к доске.

— Давай по порядку, — сказал учитель. — Сначала саму теорему. Надо доказать, что a в степени n плюс b в степени n никогда не равняется c в степени n , при n больше двух... Пишу $a^n + b^n \neq c^n$ при n больше двух.

— Ага, — сказал Сапожников.

— Ну и как ты это доказываешь?

— Только для Пифагоровых, — сказал Сапожников. — Для других не пробовал.

— Да, да, не тяни.

— А вот так... $3^3 + 4^3 \neq 5^3$ — могу доказать, что не равняется.

— Господи, не тяни.

Сапожников вдруг остановился и выпучил глаза:

— Ведь триста лет ждали... А если сейчас все решится вдруг...

— Да что ты за человек?! — крикнул учитель.

— Каждая степень — это умножение, так? — сказал Сапожников.

— Так.

— А каждое умножение — это сложение, так?

— То есть?.. Ну, можно сказать и так. И что из этого вытекает?

— А то вытекает, что $3^3 + 4^3 \neq 5^3$ можно записать так: $3^2 + 3^2 + 3^2 + 4^2 + 4^2 + 4^2 + 4^2 \neq 5^2 + 5^2 + 5^2 + 5^2 + 5^2$, а теперь по обеим сторонам можно вычеркивать по Пифагорову равенству.

— Ну вычеркивай.

Сапожников стал вычеркивать поштучно. Начал с левой стороны, потом перешел на правую, и когда все тройки квадратные с левой стороны кончились, то осталась одна четверка квадратная, а с правой остались две пятерки квадратные: $4^2 \neq 5^2 + 5^2$.

— Лихо, — сказал учитель.

— И всегда так, — сказал Сапожников. — Когда степень больше двух... Если начинать вычеркивать, то слева материал быстрее кончается, а справа еще остается. Это же очевидно.

— Мне надо подумать, — сказал учитель.

Он ушел думать. Думал, думал, думал, а потом на подсвете сказал:

— Этого мальчика нельзя трогать. Надо его оставить в покое. — И рассказал о теореме Ферма для Пифагоровых оснований.

Но всем было очевидно, что Сапожников, который магазинную сдачу округлял и складывал пять и семь, воображая столбик, не мог решить теорему Ферма ни для каких чисел.

— Он, наверно, у кого-нибудь списал, — предположила преподавательница литературы.

— Не у кого, — сказал учитель. — Не у кого.

Не мог Сапожников решить теорему Ферма, потому что в психбольницах перебивала куча математиков не ему чета, которые пытались эту теорему решить. Их так и называют «ферматиками», и каждое их доказательство занимало пуды бумаги.

— А может быть, этот мальчик гений? — мечтательно спросила преподавательница литературы.

— Гений?! — вскричала завуч. — Гений? Этот недоразвитый?! На его счастье, педологию отменили! А помните, в шестом раздали таблички? И всего-то нужно было проткнуть иглой кружочки с точками, а без точек не протыкать. Все справились, кроме него!

— Я тоже не справился, — сказал учитель.

— Значит, вы тоже гений?

— Упаси боже, — сказал учитель. — Но ведь потому и педологию отменили...

— Да бросьте вы! — сказала завуч. — Знаем мы, почему ее отменили! Чтобы дефективных не обижать. Все нормальные дети с заданием справлялись нормально.

— А может быть, он безумец? — мечтательно спросила преподавательница литературы.

— Его давно надо на обследование послать, — сказала завуч, — сидит всю перемену и двумя подшипниками стучит по бумаге!

— Ну-ка, ну-ка, это интересно, — сказал учитель физики.

— Раньше на насос паялся... теперь у него новая ма- ния — шары... Все у него теперь круглое.

— Раньше он в Ньютоне сомневался, — сказала литера- торша.

— А теперь? — спросил учитель.

— Вам лучше знать, вы классный руководитель, — ска- зала завуч.

Учитель подумал об Эйнштейне и похолодел. Слава богу, про Нильса Бора и Макса Планка он Сапожникову еще не рассказывал.

— Да, с этим надо кончать, — сказал он.

ГЛАВА 12

ПРИЗЕМЛЕНИЕ

— Я думаю, мы возьмем в Северный две сотни яиц и ящик помидоров, ну, конечно, и «Лайку» еще. Во-от... — сказал Фролов. — А кроме того, когда я оттуда уезжал послед- ний раз, там был только один кагор. Остался от преды- дущей навигации. Так что уж это как хотите. По паре буты- лок нужно взять. Потому что даже когда там бывает водка, то это сучок, лесная сказка, жуткая гадость местного завода.

— Ладно, — сказал Сапожников. — Если так нужно — пове- зем. Все-таки витамины. А как быть с Витькой?

Сапожников никогда в Северном-втором не был, и Вар- танов не был, Виктор Амазаспович, а Фролов Генка ездит туда все время. Генка ведет у них эту машину, но есть такие вопросы, что ему не справиться. Все-таки конвейер в километр, с выходом на поверхность, довольно сложная автоматика. Фролов — народный умелец, ездит туда все время, знает, как туда собираться и что нужно везти.

Они сдали багаж на площади Революции у бывшего «Гранд-отеля» в транспортное агентство. Все эти люди тоже летят в Северный-второй. Все очень четко считают вес вещей.

— Мы с вами каждый имеем по тридцать килограммов бесплатного груза. Свыше тридцати — рублик, — сказал Фролов.

Вартанов вез с собой семьдесят килограммов приборов. В два конца с билетами — это четыреста рублей. Денег, конечно, не дали, обещали оплатить по возвращении в Москву. Жуть. Он же там подохнет.

— Ничего, — сказал Фролов. — Скинемся.

Ночь. Спускаются и поднимаются самолеты. Где-то есть погода, где-то нет погоды. Аэропорт Домодедово. Никакой экзотики. Деловая обстановка.

— ...Рейс пятьдесят шестой Москва — Северный через Сыктывкар, Ухту и Воркуту откладывается на два часа...

Сапожников не любил летать на самолете, поэтому ему нравилось, что в Домодедове никакой экзотики, сугубо вокзальная обстановка, дети, кого-то кормят, кого-то на горшок посадили, развязывают узлы, бесконечные объявления по радио.

Два часа ночи. Ноябрь. Стекло здание модерн, зал регистрации. Народы сидят и спят на чем-то очень длинном, в линию. Вдруг служитель в фуражке начинает их будить и поднимать. Оказывается, все они сидели на конвейере, на котором транспортируют вещи. Интересно, какова производительность, сколько чемоданов в час, есть ли автоматика. Кресел мало. Сонные народы поднимаются, прихватывают детей. Включается конвейер — загружают очередной рейс, и Северный обращается в контору, чтобы прислал Сапожникова, Вартанова и Фролова: есть ряд вопросов, самим не справиться в условиях полярной ночи и отсутствия сигарет с фильтром. После чего конвейер останавливается, и люди опять раскладываются, опять укладывают детей. «Как в метро во время бомбежки», — подумал Сапожников, клонул носом и протер глаза.

Яйца и помидоры они не сдали. Фролов не позволил — побьют. Вот и таскаются по аэропорту с двумя ящиками — один деревянный для яиц, один картонный для помидоров — из-под телевизора «Темп-3».

Виктор Амазаспович сказал Фролову:

— У тебя есть ножик? — И стал проковыривать дырки в телевизионной коробке для вентиляции.

— Пожалуй, одну бутылку можно распить, — сказал Генка. — Холодно, скучно.

— Давайте по мелкой банке, — сказал Сапожников. — Виктор, как ты смотришь насчет горлышка?

— Можно и из горлышка.

— Нет, нет, все-таки так нельзя, — сказал Генка. — Сейчас достану стакан.

— Украдешь? — спросил Виктор.

— Что ты! Сейчас все сделаю.

Через минуту он вернулся с тонким стаканом.

Заплатил честно двадцать копеек.

Он попросил в буфете, и ему продала буфетчица. Такой изобретатель. Закусывали уткой в пакете.

— Может, телевизор тронем? — спросил Сапожников.

— Не-не, не! — замахал руками Фролов.

— Объявляется посадка Москва — Северный-второй! — крикнуло радио. — Через Сыктывкар, Ухту, Воркуту. Пассажиры просят пройти на летное поле.

— Самое главное, сколько детей на этот раз будет, — сказал Генка.

Он знает все на свете. С ним не пропадешь.

— Где наша беременная лошадь? — спросил Генка, когда вышли на поле в прожекторах.

— Какая беременная лошадь? — спросил Виктор.

— «АНТ-10», — сказал Генка.

Сапожникову тогда было сорок три года, Генке и Виктору по тридцать четыре. Негатив и позитив. У них все еще было впереди.

Сапожников все смотрел на футляр от телевизора «Темп-3» с проковыренными дырками.

...Он вспомнил песню «Калеми банана». Это когда еще они пытались укрепиться на твердом фундаменте и поселились наконец вместе, он работал как зверь, появились деньги, и купили телевизор. Они долго выбирали его в магазине, и продавец выбрал им самый лучший. А потом привезли телевизор домой, и не верилось, что в их комнате стоит такая красивая машина и это значит — кончилось бездомье и можно не бояться холода на пустых улицах и по вечерам смотреть дома кино. И вообще не верилось, что он заработает, этот ящик. Заработал. Зеленоватый экран, полоски — их сразу перестали замечать. Поставили на стол еду, погасили свет и не замечали вкуса еды. И почему-то не верилось, что это может быть. А потом кончилась передача, но хотелось еще и еще, и Сапожников включил старень-

кий приемник, и какой-то иностранный голос запел экзотическую песню, там были отчетливые и непонятные слова «калеми банана» — не поймешь, на каком языке. И Сапожников дурачился, и пел «калеми банана», и дурачился, а на душе было предчувствие, что все плохо кончится и все разлетится. Потому что они предпочли общению с людьми общение с машинами, забыли, что человек рожден для общения и дружбы. И в этом была их трусость. И она их погубила и их любовь. Вот такая песня «Калеми банана». Интересно бы узнать, о чем она...

Они, трое командированных, шли в толпе к самолету, который повезет их в зону вечной мерзлоты, и, может быть, наконец все застынет, и здесь ледок еще тоненький и хрупкий под каблуком...

...Сначала Сапожников услышал шаги в коридоре и не поверил. Она целый месяц не выходила из комнаты, лежала. Потом шаги остановились, и под дверь пролез конверт. Пока Сапожников поднимал, она ушла.

«Неужели ты не понимаешь — то, что нас связывает, это поверх всего. Не могу больше. Мне нужно с тобой встретиться. Ответь. Никому не говори. Ответ положи в карман своего пальто в коридоре. Я возьму».

Конечно, поверх всего. Где и когда, как это сделать, если супруг вопит в соседней комнате и следит, чтобы муха не сорвалась с паутины. Супруг всегда очень страдал, что его недооценивают. Он любил свое тело и занимался зарядовой гимнастикой.

Во втором конверте было: «Завтра в три часа у кинотеатра «Россия».

Боже мой, как она доберется, она же еле ходит.

Сапожников понимал, что ей нужны деньги всегонавсего, но это уже не имело значения.

Они встретились у кинотеатра «Россия» и прошли в скверик на Страстном бульваре. Снег утром таял, а после полудня замерзал. Она сидела на скамейке в белом кожаном пальто, совсем холодном, и каблуки-шпильки проламывали тонкий лед. Она была чуть жива, в чем душа держалась, боже мой! Она сказала:

— Я не буду с этим человеком — это очень плохой человек. Я выздоровею, и мы опять будем вместе.

Сапожников не знал тогда, что видит ее в последний раз.

— Пойдем отсюда, ты замерзнешь, — сказал он.

— Мне надо позвонить по телефону.

Они пошли к автомату на углу Петровки, и она позвонила супругу, что скоро вернется, все в порядке. Но это уже не имело значения. Ничего уже не имело значения, кроме того, как она выглядела.

— Давай я тебя покормлю, — сказал Сапожников.

— Я хочу мороженого, — сказала она.

Они спустились по улице Горького до кафе-мороженого, и Сапожников ловил взгляды, которыми ее провожали.

В кафе-мороженом она разделась, и гардеробщик испуганно взял у нее пальто. Она подошла к зеркалу и поправила волосы. Сапожников видел это в последний раз.

Они взяли разноцветное мороженое, и она жадно пила фруктовую воду. Она пила, как птица.

Сапожников тоже видел это в последний раз.

— Сколько тебе надо денег?

— Триста рублей, — сказала она наугад, — займы.

— Займы... — сказал Сапожников. — Не говори глупостей... Я попробую.

Это было очень много, это было гораздо больше, чем он тогда мог рассчитывать добыть. Потом у него были деньги. Но это было потом.

Они вышли, и Сапожников взял такси.

— Подожди немножко, — сказал он, когда машина остановилась.

Он забежал к сослуживцу и сказал, что ему нужно на короткий срок триста рублей. Сослуживец сказал, что у него нет, потом ушел в другую комнату и принес деньги. Сапожников кивнул и ушел. В машине он отдал ей деньги. Она заплакала.

— Прости меня, — сказала она.

— Не вешай носа, — сказал Сапожников. — Держись.

Потом он вылез, прикрыл дверцу, и машина укатила, а Сапожников пошел пешком туда же, куда укатила машина, где за стеной его комнаты высасывали и забивали человека, потому что человек сделал ошибку, был гордый и не позволял себя спасти и вырвать из грязной паутины.

Потом Сапожников пришел домой, чтобы ничего не слышать за стеной, включил радио. И тогда здесь, в комнате, он услышал японскую песенку о двух супругах, разлученных, которые умерли, и каждый год в какой-то праздник их души подходят к двум берегам Млечного Пути, и смотрят друг на друга через белую реку, и не могут

встретиться никогда, — такая в Японии есть сказка. И об этом песня.

Есть такой стих: ты домой не вернулась...
Я плачу в углу...

Сапожников сидел и плакал.
Что делать? Что делать?..

Самолет разогнался и взлетел. Огни провалились вниз. Теперь Сапожникову было... было... сколько же ему было? Было сорок три, а Фролову и Вартанову по тридцать четыре. У них все еще было впереди.

ГЛАВА 13 БЕЗЫМЯННЫЙ МЛАДЕНЕЦ

А это тоже еще до войны было.

Серый день был и бледные лица. Сапожников из парадного вышел, а двор пустой. Осень холодная. По переулку мокрые бульжники текут, деревья черные во дворах, облетевшие, а у черного забора — зеленая трава, пронзительная. Так и осталось — бледно-серое, черное и мокро-зеленое, пронзительное. Мимо две женщины прошли в беретиках, вязанных крючком, жакетики и юбки длинные. Друг с другом тихо переговариваются, а глаза напряженные и бегают.

— А где он?

— В дровах лежит... Возле дома девятнадцать.

И прошли мимо.

Выходной день. Уроки утром не готовить, в школу не идти. Где все?

Сапожников пошел на уголок, а там никто не стоит, не курит.

Прошел трамвай третий номер, потом четырнадцатый. Прохожих один-два и обчелся. Пустынно, как после демонстрации. И такую Сапожников тоскливую радость почувствовал, что горлу поперек. Стоит на углу двух улиц, и идти можно куда хочешь, как будто ты подкидываешь и теперь обо всем должен думать сам.

Мама хорошо пела, когда одна оставалась и думала, что никто не слышит. Доставала из заветной театральной сумочки листки с песнями и раскладывала рядом с собой на диване. Сумочка желтой кожи, на никелированной цепочке, а внутри запах духов, белый бинокль на перла-

мудровой выдвижной ручке и листки с песнями, карандашными и чернильными, разного почерка. Разложит, посмотрит на первую строчку и поет, глядя в окно, старые песни и романсы, еще девические. А тут вдруг согласилась учиться петь. Познакомилась на родительском собрании с учительницей Аносовой, и та ее уговорила учиться петь. У Аносовой Веры Петровны многие учились и с Благуши, и с Семеновской. Бесплатно учила, для души. Сапожников и сына ее знал, Лешку, первый из ребят радиотехник в районе, и компанию всю ихнюю знал, Панфилова и Якушева. Сапожникову они нравились, но уж больно тесно держались, никого к себе не пускали, дружили очень, да еще родились тут же, а Сапожниковы калязинские, да и школа соседняя, ну, Сапожников и не притыкался.

Аносова бесплатно учила, а все же учила. А после учения, сами знаете, кто плохо пел, поет лучше, а кто хорошо пел, поет хуже. И все уравниваются. Мастерства больше, таланта меньше. По системе. А искусство какая же система? Искусство — нарушение системы. Хоть в чем-нибудь. Иначе зачем ты в искусстве, если тебе своего сказать нечего?

И мама стала хуже петь, по чужим правилам и не про свое, мамино. До того пела про сирень, про калитку, про ямщиков, про разлуку. А теперь стала петь Корчмарева и Раухвергера — современный репертуар. А его только можно петь под рояль — белые клавиши. Мама эти песни наедине с собой петь стеснялась, и они с Сапожниковым стали отдаляться друг от друга.

Вот и стоит теперь Сапожников на осеннем перекрестке, и смотрит Сапожников в серые тучи, и в душе у него тоскливая радость свободного подкидыша, безымянного младенца.

Зашел вчера Сапожников к Аносовым:

— Мама не у вас?

— Проходи, — сказал Леша.

— Что такое? — спросила мама, когда Сапожников в комнату вошел, где рояль, и кудрявая посторонняя женщина петь учится, и яркий свет из-под стеклянного абажура с голубой оборочкой.

— Письмо получили, — сказал Сапожников. — Дунаев велел за тобой сходить.

— От кого письмо? — нахмурилась мама.

— От отца...

— Это не спешно, — сказала мама. — Погуляй... У меня еще урок не начинался.

А Вера Петровна сказала женщине в кудряшках:

— Ну, давайте, Лида, еще раз Корчмарева.

И Сапожников узнал библиотекаршу из Дома пионеров. Пожилую женщину, лет двадцати.

Сапожников спросил у Лешки:

— Что читаешь?

— «Двадцать лет спустя».

— Не знаю.

— А «Три мушкетера»? Это продолжение.

— Начал, да отняли. Давали на один день.

— Так это моя книжка была. На, читай.

Сапожников приткнулся у рояля и стал мушкетерами захлебываться. Не д'Артаньяном, конечно, — Атосом: бледный и не пьянеет, терпеливый, одно слово — граф де ла Фер.

А кудряшки поют:

— Нынче в море кач-ка-а высока-а... не жалея, морячка-а, мо-ря-ка... Тру-убы... ма-ачты... За кормою пенится вода... Ча-айки пла-а-чут... — И бодро: — Но моряк не плачет никогда!

Тут д'Артаньян заглянул в окно павильона, увидел раздавленные фрукты и с ужасом понял, что госпожу Бонасье сперли.

А кудряшки заглянули через плечо и спросили:

— А что д'Артаньян — армянин?.. Тру-убы, мачты... Но моряк не плачет никогда.

Заморосила водяная пыль, и через улицу на уголок перебежал парень с соседнего двора.

— Смотрел? — спросил он у Сапожникова.

Вытащил из пальто две папироски «Норд», почти выпавшиеся в кармане, потом они стали «Север».

Но Сапожников курить отказался.

Парень закурил сам.

— Что видал-то? Кино, что ли? — спросил Сапожников.

— Какое кино?.. У дома девятнадцать ребеночек мертвый лежит, Гольый, — сказал парень.

Трава была пронзительная, торцы поленницы черные, а кожа на ней белая с червоточиной, березовая, и завитками отставала. В одном месте у самой земли дрова вдвинуты вглубь, и под навесом верхних рядов, чтобы дождь не лил, лежало синее тельце, голенькое, чтобы быстрее умер, и головка уходила вглубь, в темноту, или у него это были темные волосики, — одну секунду это все видел Сапожников, и его тут же оттолкнули люди в пальто, а потом оттащили туда, где толпились пацаны и уходили

по одному. А милиционер и доктор в пальто поверх халата писали бумаги. Люди стояли.

— Подкинули, — сказал один.

— Бывает, — сказал другой.

— Сука, — сказал третий.

И эти три слова Сапожников запомнил навсегда. И когда вспоминал их, приходило одиночество.

— Что с тобой? — спросила мама.

Сапожников запел громко:

— Нынче в море качка высока-а! Тру-бы! Ма-ачты!.. Но моряк не плачет никогда!

— А-а... — сказала мама. — Значит, ты ходил смотреть?

— Тру-убы... ма-ачты...

— Подкинули... — сказала мама.

— Это я слышал.

— Бывает...

— И это я слышал...

— Я больше не буду учиться петь, — сказала мама.

— И еще слышал, что она сука...

— Отец пишет, что приедет, — сказала мама.

— Он и раньше приезжал.

— Нет, он хочет еще раз попытаться с нами жить.

— Ты пой. Только по-старому, — сказал Сапожников.

— Смешной ты... Неужели ты мог подумать, что я тебя подкину?

— А если ты умрешь раньше меня?

— А если ты раньше меня? Что тогда?

— Не знаю, — сказал Сапожников.

— Ничего не изменится. Человек умирает, только когда его забывают.

— Он лежит там на самом деле мертвый, хоть помни его, хоть нет...

— Нет, — сказала мама. — Ты ничего не понял. Его живого забыли. Вот почему он умер.

ГЛАВА 14 ОЖИДАНИЕ

Самолет взревел и затих. Люди зашевелились и стали подниматься, разминаться и потянулись к выходу сонные, помятые.

Сапожников вышел последним.

Внизу его поджидали Виктор и Генка Фролов.

Рассвет был бледно-синий и морозный. Снега не было. Пассажиры тянулись к аэровокзалу, одноэтажному зданию из белого кирпича.

— Торопиться не будем, — сказал Фролов. — Столовая еще закрыта, и все равно сначала будут кормить команду. Предлагаю выскочить в город, в магазин. Тут близко четвертый гастроном.

Земля была твердая, как керамика.

— Четвертый закрыт, — сказал им на улице сонный дядька в кепке. — Придется вам в первый бежать.

Рассвет стал розовым.

— Далеко это? — спросили они.

— Нет, близко. Минут семь. За угол, пройти новостройку, ну а там увидите.

Дядька потер уши и ушел.

— Рискованно, — сказал Виктор.

— Вы как хотите, а я хочу бутылку достать, — сказал Сапожников.

— Ну, побежали, — сказал Фролов.

— Побежали.

И тут начался кошмар.

Они бежали по узким дощечкам мимо строящихся домов, и тут навстречу им люди двинулись на работу, и разойтись нельзя, начались объятия на жердочках. А люди все шли и шли, нескончаемая цепочка людей, и с каждым надо было обняться, чтобы сделать шаг вперед, и обратно повернуть нельзя, ну точь-в-точь как в жизни. Наконец они вырвались на улицу и побежали мимо обыкновенных новых четырехэтажных домов. Они бежали, прогсняли холодный воздух через легкие, сонная кислотина полета испарилась из мозгов, и на душе было просторно и ветрено. И Сапожникову теперь было все равно, опоздают они на самолет или нет.

Он знал это состояние безвольной решимости, когда не надо никуда стремиться и хорошо там, где стоишь, бежишь — живешь, в общем. Многие боятся толпы, барахтаются, а Сапожников любил, когда толчея, когда толпа тебя несет, куда — сам не знаешь. Не надо только барахтаться.

Бульжная мостовая, деревянные высокие тротуары, современный магазин, а за окнами вид на замерзшие огороды.

Схватили бутылку — глядь, а она московская. Побежали обратно, и у новостроек все сначала — стали пробираться с объятиями.

— Куда?.. Куда?..

— Граждане, на самолет опаздываем, — резво отвечал Сапожников, и ему пришло в голову, что бутылка, за которой они бегали, — это предлог для объятий. Впрочем, это с ним бывало довольно часто, и не с ним одним.

Хмурые попутчики галопировали рядом. Всем троем пот заливал глаза. Они мчались, как говорится, теряя тапочки, и самолеты гудели в сплошной облачности. Но это были не их самолеты. Самолеты Сапожникова давно уже улетели, а у Генки и Виктора не прилетали еще.

На аэродроме даже столовую еще не открыли.

Ну, открыли столовую. Люди стали в очередь, получили талончики в кассе. А тут объявили посадку, все побросали талончики, ринулись к самолету, посидели минут двадцать. Посадку отменили.

— Хочешь быстро — летай на самолете, — сказал Фролов. — Хочешь вовремя — поезжай в поезде.

Они пошли к столовой.

И Сапожников опять увидел очередь в кассу. Он удивился, и ему объяснили, что те талончики, которые побросали, пропали и надо выбивать новые.

Тогда Сапожников разыскал начальницу в фуражке и сказал ей, чтобы немедленно возвратили людям деньги.

— А вы кто такой? — спросила начальница.

— Неважно. Требую, и все, — сказал Сапожников.

Та улыбнулась эдак с толком и сказала:

— А что вы можете сделать? Жаловаться? Жалуйтесь. Трасса северная? Условия особые. Полетайте-ка, поработайте.

— Что я могу сделать? — спросил Сапожников. — А вот я пойду в клуб, и сорву фотографии с Доски почета, и отвезу в Гэвээф.

У начальницы вытянулось лицо.

— Да что вы! С Доски почета за талончики?

— Не за талончики, а за нахальство.

— Это же политически неверно, — сказала начальница обалдело. — Вы знаете, какой эффект?

— Я и хочу эффекта, — сказал Сапожников и пошел прочь.

— Гражданин... постойте... — сказала начальница ему вслед.

— Накормите людей и верните деньги.

— Так бы и сказали! — крикнула начальница и отошла

в сторону размахивать руками перед хмурой женщиной в наколке и в переднике поверх пальто.

После этого Сапожников с приятелями поели и закусили компотиком, а водку пить почему-то не стали и вышли на воздух, и тут они увидели начальницу, которая стояла на крыльце и глядела в сторону.

— Вы Сапожников, — спросила она, обращаясь к Сапожникову утвердительно. — Вам телеграмма-молния.

И Сапожников прочел: «Беспокоюсь здоровье, настроение. Коллектив нетерпением ждет приезда. Блинов».

— Бред, — сказал Сапожников. — Почему коллектив беспокоится здоровье, настроение? Бред какой-то.

— Шикует Блинов, — сказал Генка.

— Аэродромы задыхаются, — сказала начальница в фуражке, обращаясь неизвестно к кому. — Раньше принимали четыре самолета, теперь по сто... Раньше десятиместные самолеты местного сообщения раз в неделю. А теперь ежедневно четыре самолета по тридцать и сто двадцать человек... Все захлебываются, и столовые тоже, а стулья гнутые, современные... И во всем Гэвээфе так... Не хватает красивых стюардесс. Завод выпускает самолет, а сменных летчиков не хватает, бензовозов, грязь — не хватает дорог...

Все так толково объяснила, и все только из-за проклятых талончиков и Доски почета.

— Жуткая картина, — сказал Сапожников задумчиво. — По-моему, вас пора снимать с работы.

И они сошли с крыльца.

— А вообще надо летать днем, — сказал Генка.

— Любишь виды? Это для девиц, — рассмеялся Виктор.

— Нет, — объяснил Генка. — Днем кормят, а ночью минводы. Раньше в «Ту-104» отбивные давали, а теперь легкая закуска. В гробу я видел этот чай с лимоном... Видишь, самолет загружают? Два ящика загружают. А ночной рейс — один ящик, только к чаю.

Удивился Сапожников такому знанию жизни, и они обошли весь вокзал в поисках, где бы отдохнуть, потому что Сапожникову было приятно, что он человек нужный и его ждут ради реального дела и ради его сапожниковских способностей, в которые он последнее время вовсе перестал верить. А теперь это снова было как первый снег — такая свежесть души. Они увидели клуб авиаотряда, деревянное здание барачного типа, поломанные декорации на

сцене, крашенные тряпки, в углу куча трубчатых раскладушек. Доска почета с портретами передовиков девять на двенадцать, кипяtilьный бак с краником.

— Отдых, — сказал Сапожников.

И потащил на сцену раскладушку.

— Как бы не заснуть... — сомнительно сказал Фролов, но раскладушку взял, Виктор Амазаспович тоже.

Улеглись, вытянули ноги.

Сапожников думал о телеграмме. Потому что никто не знал, а он за доброе слово готов был горы перевернуть. На этом его всегда и ловили.

Вбежала женщина и сказала:

— Самолет наш улетел.

Они подскочили.

Сапожников любил оставаться один добровольно и ужасался, когда его бросали без спросу. Это он заметил еще в войну — больше всего он боялся отстать от эшелона, хотя привык, казалось, к ситуациям и похуже.

Выбежали на летное поле, а там такая картина: на ветру стоят четыре самолета и винты воют, у кого один, у кого два. Тоскливое пустынное поле.

— Скорей, скорей, бегите за мной! — со злостью, со слезой кричит начальница. — Ну что я с вами буду делать?.. Здесь же билетов фактически никогда не продают!

И тут подходит давешний мужик, который им насчет гастронома объяснял и уши потирал от холода, когда они за бутылкой бегали, и был синий рассвет, а потом стал розовым, и они на жердочках обнимались. Уже воспоминания, черт возьми! Теперь мужик в замасленном комбинезоне, и уши не потирает, и спокойно так говорит:

— А ваш самолет-то еще не улетел. Вот он стоит на старте.

Они видят самолет, который не заметили сразу, и этот самолет сдвигается с места — доезжает до самого конца, разворачивается, тут он может брать разгон, и стартовик стоит рядом с ним.

— Так давайте бежим туда скорей, — говорит Сапожников.

А давешний мужик говорит спокойно:

— Да не догоните.

Виктор сказал начальнице:

— Немедленно бегите к радисту... задержите самолет.

И в тот момент, когда начальница убежала, они с ужасом увидели, что самолет разворачивается на дорожке, на разгон пошел... Едет...

Сапожников впервые подумал: «Почему такая паника? Почему такой страх?! Ну не сядем на этот, сядем на другой, ведь не война же, не гибель?» И опять ужаснулся и понял, что он по-детски загадал: если улетим на этом самолете, значит, будет жизнь, если нет — нет. Вот какая боязнь отстать от эшелона — смешно, в конце концов... «Кто может, смейтесь, — подумал Сапожников. — А я не могу».

Тут самолет подъезжает прямо к зданию вокзала и останавливается. Открывается дверца, бежит обратно начальница, не успев сказать радисту, — видимо, сам догадался.

Опустился трап — железная плоская лесенка на крючках, — и они побежали к трапу.

— Только ни с кем не спорить, — сказал Сапожников. — Молча. Не отвечать ни на одно слово.

Генка полез первый, за ним Виктор. Сапожников чмокнул начальницу в щеку и сказал спасибо.

— Что вы наделали! Мне теперь голову оторвут, — сказала она.

Кто ей голову оторвет, Сапожников не понял.

Он влез по трапу и услышал дикий крик:

— Трое суток ждали!.. Сию секунду закроют небо!.. У нас дети!.. Они здесь амуры разыгрывают, а мы опять на сутки застрянем.

Постепенно крики затихли.

Пассажирские самолеты улетали, как эскадрилья.

— А ты им еще талончики добывал, — сказал Генка Сапожникову.

— Последний раз видим солнышко, — сказал Генка, когда самолет пробился через облака и лица пассажиров стали розовые. — А там ночка темная на полгода. Вечная мерзлота. Летом на полметра оттаивает.

Летчик прошел по проходу и сказал сердито, но довольно спокойным голосом по сравнению с криком, которым их встретили:

— Так нельзя, товарищи. Это все-таки не железная дорога.

— Чертова телеграмма, — сказал Генка Сапожникову. — Если бы не она, я бы и бегать не стал, плюнул.

— Срочно мы им понадобились, — сказал Виктор.

Он совсем задохся. Набегались за это утро. Не инженеры, а кенгуру какие-то, честное слово.

— Всегда одна и та же ловушка, — сказал он. — Вернее, приманка... Блинов знает, что делает.

И Сапожников с ним согласился. Блинов ударил без промаха. Сапожникову только неприятно было, что Блинов, может быть, знает, что они тают от доброго слова, и поэтому будет излучать профсоюзную ласку. Но у него это быстро пройдет, когда Сапожников возьмется за конвейер как надо и все увидят, что Сапожников — бог в автоматике, и полуторакилометровая лента потянет уголек из шахты наружу.

ГЛАВА 15 ВРЕМЯВОРОТ

«Знаменитая заслуженная артистка, иллюзионистка поэзии, красоты, грации, пластики, художества и науки Ля Белла Франкарио, италианка. Артистка, имея великолепное сложение, принимает перед экраном требуемые картиной позы. Пять программ. Исключительно для взрослых».

Такие объявления сопровождали Сапожникова всю жизнь. Отец вваливался в дом огромный, красивый, с хохотом швырял на стол афиши и читал объявления и анонсы.

— Запомни, — сказал отец, — работа должна выглядеть так, как будто ее делали играючи.

Сапожников запомнил.

И Пушкина полюбил, а Достоевского не полюбил. Ну это его частное дело, верно? Каждый имеет право на своего классика и свои причуды. Вон ведь и Пастернак мечтал под конец жизни впасть, как в ересь, в неслыханную простоту. И если Сапожников видел, что ученый или артист держится таинственно, как загипнотизированная курица, ему хотелось крикнуть простакам: «Пан Козлевич, берегитесь, вас охмуряют ксендзы!»

Простота — это не элементарность. Простота дело таинственное. Помните «Даму с горностаем»? Или «Мадонну Литту»? Или руки Моны Лизы? Их писал Леонардо из маленького города Винчи, бастард, незаконный сын нотариуса.

— А как ты борешься? — спросил Сапожников отца. — По правде или для цирка?

— Не знаю, — сказал отец.

— Мне говорили, ты всех кладешь, — сказал Сапожников. — Ты самый сильный?

— Под настроение, — ответил отец. — Не люблю чемпионов. Сопят, воняют.

— А зачем бороться?

— Как зачем?.. Для веселья, — сказал отец.

— Я в секцию бокса пойду, — сказал Сапожников.

— Можно, — согласился отец. — Можно и бокс, если играючи.

Сапожников вспомнил этот разговор, когда увидел Кассиуса Клея и Фрезера. Кассиус делал что хотел, а Фрезер сопел и бил Кассиуса. А потом Фрезер упал.

Тренер у Сапожникова был Богаев, худой человек. Первый чемпион-олимпиец. Об этом теперь забыли, а зря. Была в двадцатых годах всемирная рабочая олимпиада. Забыли рабочую олимпиаду. Была она для веселья, а теперь другой раз смотришь — сопят. И еще грудные дети вращаются. На брусках. С пустышками во рту. Дети с вывернутыми в обратную сторону биографиями, где начинают с триумфа, а потом всю жизнь его вспоминают. А жизнь не состоит из триумфов, дети-то, может, и сильные, да вот, ставши взрослыми, не опростоволосились бы.

Богаев Сапожникова взял.

— Ты игру понимаешь, — сказал он.

А давным-давно Богаев Маяковского тренировал.

— ...Просто частицы в веществе не изнутри друг к другу притягивает, а снаружи в кучу сгоняет. Как щепки в водвороте, — сказал Сапожников.

— Какое странное предположение, — сказал учитель.

Сапожников, когда вырос и вернулся с войны, потом много раз в жизни слышал эту фразу. И каждый раз ее произносил думающий человек, а все остальные или разговор переводили, или слюной брызгали. Но не сразу. Примерно сутки дозревали, а потом переставали здороваться. Как будто Сапожников у них трешку спер. Или уверенность.

— Ерунда все это, — сказал учитель. — Земля вращается вместе с воздухом, а если давление снаружи, то воздух или сгустился бы, или отставал бы от вращения.

— Я и говорю, — сказал Сапожников. — Велосипедное колесо можно раскручивать за ось, а можно за обод.

— Чушь, — сказал учитель. — У тебя выходит, что некая

движущаяся материя раскручивает Землю за воздух? Так, что ли?

— Ага, — сказал Сапожников. — За ветер. Я узнавал у географички — есть такие ветры. Постоянные — дуют с запада на восток, как раз куда Земля вращается.

— Ладно... Хватит, — сказал учитель. — Так мы с тобой до новой космогонии договоримся.

— А космогония — это что? — спросил Сапожников и добавил: — И никакого притяжения нет. Есть давление. Оно тем слабее, чем больше расстояние.

— Ты только не ори, не ори, — сказал учитель.

— Я не ору, — ответил Сапожников.

— Ладно, — сказал учитель. — Все хорошо в меру. Пошли спать. Завтра у тебя последний экзамен. Физика. Не вздумай там фокусничать в ответах. Спрашивать буду не я, а комиссия.

С тех пор Сапожников и не встретил больше такого собеседника, который выслушал бы все, а возражал бы только в главном, не цепляясь самолюбиво к подробностям и стилю изложения. А не встречал потому, что после экзаменов за десятый класс началась война и учитель был убит во время второй бомбежки, как раз когда Сапожников присягу принимал на асфальтовом кругу в Сокольниках.

— Вот и свет, — сказал Сапожников. — Свет — это сотрясение материи, которая на все давит и все вращает за обод.

— Ну что? Эфир, значит?

— Пусть эфир, — сказал Сапожников. — Только я не слышал, чтобы эфир двигался. А потом, зачем другое название давать, если одно уже есть?

— Какое? — спросил учитель. — Какое название уже есть?

— Время, — сказал Сапожников.

Но это он уже потом сказал, несколько лет спустя и несколько эпох спустя, после войны, когда записывал свои конкретно-дефективные соображения в тетрадку под названием «Каламазоо» и продолжал мысленный разговор со своим убитым на войне учителем, красным артиллеристом. Он и потом многие годы вел с ним мысленный разговор, как и со всеми людьми, которых уже нет на свете, но которых Сапожников любил и потому они были для него живые.

А тогда реальный разговор кончился тем, что сошлись на ошибочном слове «эфир», справедливо отброшенном, хотя и не по тем причинам, что у Сапожникова. И это

понятно, потому что «эфир» отбросили до расцвета ядерной физики, а Сапожников додумался до энергии материи — времени как раз перед тем, как физику начали захлестывать факты противоречивые и парадоксальные и возникла необходимость в теории, которая, как сказал один американец на симпозиуме в Киеве в семидесятые годы, была бы понятна ребенку. И высказана она была Сапожниковым, фактически ребенком. Была ли она правильна — вот вопрос. Но в семидесятые годы Сапожникова это уже мало интересовало.

ГЛАВА 16 ИЗ ШАХТЫ НАРУЖУ

— Братцы, — сказал Виктор, — когда к нам в Ереван приезжал сценарист из Москвы, меня пригласили консультантом на киностудию по технике... И я присутствовал на художествах. Знаете, за что больше всего ругали автора? За то, что у него отрицательный герой получался неживым и стандартным.

— Уймись, — сказал Генка.

Сапожников только плонул.

Но Виктор не унялся.

— Чего только не делали на киностудии, чтобы его оживить! И личную жизнь ему придумывали, и сложные мотивы его сволочизма, и характерные словечки, делали его не грубияном, а ласковым человеком, а все получался стандарт... И никто не догадался, что они и в жизни такие... Вот, скажем, как описать Блинова, если он не живой?..

— Очень даже живой, — сказал Генка.

— Не живой, — сказал Сапожников. — Он оживленный.

И все было неточно. У них слов не хватало, но все понимали, что к чему. Просто когда Блинов ушел, они остались в гостинице, оплеванные его лаской, а за окном была ночь, которая должна продлиться еще полгода. Ну, это уж чересчур! Надо было как можно быстрее закончить свои дела и сматывать удочки. Но именно это и стояло под ударом.

— Если мы всё так здорово понимаем, — сказал Виктор, — почему же мы тогда будем делать то, что он велит?

— Потому что Блинов прекрасно знает наше положение, — сказал Сапожников. — Мы все равно будем работать. Мы же не можем плонуть и вернуться ни с чем. Стало быть, мы будем работать всю ночь.

Это был тот случай, когда все стало ясно с первого разговора, но ничего не могло изменить.

В нем, Блинове, было что-то детское. И голос его, слегка вибрирующий, казался почти сентиментальным. И все в нем было бы симпатичным, если бы от него не исходило тягостное ощущение бездарности. Ему надо было объяснять самые простые вещи, и он их выслушивал с восхищением. Но радости это восхищение не доставляло. Потому что все время видно было, как работают в нем какие-то быстрые механизмы, и стучат молоточки, и морзянка тук-тук отстукивает на ленте разговора — ну хорошо... ты прав... и я восхищаюсь тобой... а что это мне даст?

И он даже не скрывал этого. Зачем? Все равно все работали как чумовые независимо от его качеств, потому что по самым разным причинам все были заинтересованы в этом проклятом конвейере больше, чем сам Блинов. Сам он был увлечен только великим стимулом той уходящей вдаль эпохи — материальным фактором. И не обязательно деньгами. Как раз с деньгами он не спешил и мог подождать, пока упрочится его положение. А тогда уж деньги сами примагнитятся. И на быстрой его физиономии было написано: «Зачем тебя только мама родила, если ты ничего не можешь мне дать?»

Плохи были дела троих приезжих. Они поняли, что судьба столкнула их с законченной сознательной дрянью.

Блинов сделал простую вещь. Он выслушал их благодарность за телеграмму, а потом, глядя им руки и обнимая за плечи, заглядывая в глаза, снова внимательно наклоняясь вперед и записывая все их предложения в импортную книжечку на «молнии», дал им понять, чтобы они не слишком старались перед приездом приемочной комиссии и что вообще-то лучше бы им не приезжать, но если уж так вышло, то давайте жить мирно, а для него этот разговор мучительный, и они еще не знают условий Севера. А потом он ушел, обещая непременно встретиться и посидеть за бутылкой вина, как люди, и поговорить по душам. Как люди.

Они ничего не поняли сначала, потому что в ушах у них стоял гул от их собственных речей, полных энтузиазма и клятв положить жизнь, если понадобится, за этот конвейер и за хорошего человека Блинова.

А потом, когда поняли, какими идиотами они выглядели в его глазах, стали плевать. Что это с ними? Не маль-

чки уже и всякое видали, а вот сели на голый крючок без приманки. Не поняли, что главное для Блинова было произвести в Москве впечатление руководителя, рвущегося в бой за новые технические высоты, главное было отчитаться в своем энтузиазме, чтобы в министерстве нужным людям и академику Филидорову было от этого приятно, и это ему, Блинову, многое могло дать.

Когда они приехали в эту гостиницу, к ним стали входить гости, хорошие люди, инженеры, и техники, и рабочие, и мастера — все, кто делал этот конвейер и был заинтересован в приезде трех москвичей, мастеров-спасателей из главной аварийной электрической конторы, — душа отдыхала, глядя на них, и каждый вытаскивал из карманов полушубка по две бутылки, как будто гранаты.

Ну, познакомились, подняли тосты — с приездом, потом за знакомство, потом за конвейер, тьфу, тьфу, тьфу, пора бы ему уже и работать.

— Да... кстати, — сказал Сапожников. — Уладим одно дело.

И вытащил ящики — «Телевизор „Темп-3“» и прочее.

— Ну, мужики, говорят, вам витамины нужны. Генка подсказал. Вот вас десять человек. Здесь двадцать килограммов помидоров и двести штук яиц... — сказал Сапожников.

Веселье прекратилось.

Все стали деловитые и разочарованные.

Ну что ж. Жизнь есть жизнь.

— Помидоры сорок копеек килограмм. Яйца по рубль тридцать, диетические. За битые яйца и мятые помидоры не отвечаю. Все, — сказал Сапожников. — Цена магазинная.

Генка смотрел на него напряженно. Лица прояснились. А что особенного? Все боятся разочарования.

— А провоз? — сипло спросил механик Толстых.

— Ну-ну... Мы не нищие, — сказал Виктор. — Не обижай.

— Что касается сигарет, — сказал Сапожников, — это уже перед отъездом. Что останется — отдадим.

— Дай закурить, — сказал механик Толстых.

Потом еще посидели, договорились о деталях, потом открылась дверь и парень спросил:

— Есть здесь кто с Игарки?

А когда узнал, что нет, вошел и сказал:

— Ну все равно.

А потом все попрощались и разошлись.

— Ты что? — спросил Виктор у Генки. — Действительно

хотел заработать на помидорах и яйцах? Я только теперь понял.

— Не хотел я... — хмуро сказал Генка. — Все так делают. Здесь так принято.

— Твое счастье, что я не догадался об этом в Москве, — сказал Виктор. — Сапожников догадался.

— Я опытный, — сказал Сапожников.

На самом деле он догадался, только когда помидоры раздавал и увидел глаза Генки. А пора уже быть опытным.

После этого все разошлись по своим номерам готовиться в город. Потому что Блинов встретил их прекрасно, обо всем позаботился и добыл каждому по одиночному номеру.

Сапожников гостиниц не любил.

То есть он любил приезжать в гостиницу. Особенно если это было утром, а номер заказан и никаких хлопот. Тогда он поднимался по лестнице или в лифте, брал у дежурной ключ, разглядывал в коридоре неразборчивые подписи на картинах, изготовленных при помощи разноцветных масляных красок, входил в номер, вешал в шкаф одежду, ставил чемодан, отдергивал занавеску, разглядывал улицу, еще незнакомую, и понимал, что лучше этого номера он в жизни не видел. Потому что в нем есть все для хорошей жизни — стол с ящиками, кровать, лампа на столе, кресло, иногда телефон. Запереться, положить на стол бумагу, подумать о жизни или купить журналов, улечься на кровать, пепельницу на пол — и так жить. Правда, надо еще и есть иногда и, говорят, работать тоже надо, и причем каждый день, — и Сапожников откладывал встречу с номером до вечера, но весь первый день его грела мысль об этом номере, который дожидается его веселый и прибранный.

Но потом он возвращался вечером в гостиницу, полную запахов еды, разговоров, коридорных прохожих и музыки из репродукторов, входил в номер и понимал, что его сюда заперли.

Как Сапожников лежал на кровати, отвернувшись к стене, разве может он это забыть?

— Идите вы все... — сказал Сапожников.

Все у него дрожало внутри.

Лампа освещала его затылок, и тень от носа на стене наискосок перерубала пятно масляной краски, так похожее на лицо Нефертити, опухшее от недоедания.

Все у него дрожало внутри, и уже через несколько секунд он не мог понять, воображает ли он себе кое-какие вещи

или это ему снится. Лопнула перегородка между сном и воображением — и уже воображение плясало бесконтрольно, а сон подчинялся хотениям.

А еще из жизни шла чужая воля и оклики, и тогда действительность, воображение и сон толклись на одном пяточке, переплетаясь и пиная друг друга, возились в жуткой тесноте, и возникали руки, ноги, лица, детали толстых и худых предметов, и уже нельзя было определить, к какому ведомству они относятся — дню, сну или фантазии.

А где был он сам в этой пляске деталей? А ведь вся эта каша кипела и металась у него в мозгу, который все старался понять себя самого и вывести на простую дорогу его сопротивляющееся смерти тело.

Тут Сапожников открыл глаза и увидел, что на пачке с сигаретами, которые оставили гости, было написано «Прима». «Латынь, — подумал Сапожников. — Почему у сигарет латинское название?» Перевернул пачку, как рыбу, и на белом ее брюшке прочел название «Дукат». Послышался звон золотых монет и невнятные крики дуэлянтов. Фантастические сигареты. Он закурил фантастическую сигарету и не почувствовал дыма. Сигарета все время гасла.

Он погасил лампу и заснул. А потом проснулся и вышел в коридор.

ГЛАВА 17 ТИХИЕ ЧУДЕСА

Упала бомба. Взорвалась. Осколки вверх пошли. А когда взрывается мина, от нее осколки по земле стелются.

Бобров сказал:

— Поэтому когда ранение в ягодицу — это человек не спиной повернулся, это он голову успел зарыть, а тут ему бугор и срезало. Значит, человек был не трус, а, наоборот, смелый. Атаковал. Его в бою в чистом поле ранило.

Бобров Сапожникова к себе взял, потому что любил образованных, а Сапожников и на мотоциклете ездил, и на лошади катался, и мины вслепую собирал и разбирали, и бокс умел — его Маяковский боксу учил.

— Не Маяковский, Богаев. Он и Маяковского учил, —правлял Сапожников. — Тренер Богаев.

— А ты помолчи, — говорил Бобров, — когда старшие по званию рассказывают. Маяковский — лучший поэт нашей эпохи, так?

— Так.

— Ну вот, а ты споришь. Не люблю я этого, не люблю.

И еще Сапожников читал книгу «Гаргантюа и Пантагрюэль» и мог рассказывать. Бобров это любил. И еще Сапожников был неплохим сапером. Так всю войну и провел сапером в группе Боброва. «Рамона, — пела пластинка. — Я вижу блеск твоих очей...»

Ну конечно, у Сапожникова опять появились завиральные идеи, и он их не скрывал. А в палате лежал военный инженер второго ранга с челюстным ранением, и потому лица его Сапожников толком не видел, а от голоса только бульканье. Но тот, однако, сапожниковские байки слушал, особенно насчет надувного моста для тихих ночных переправ — его бы привозили свернутым в рулон, а потом он разворачивался бы на тот берег, как игрушка «тещин язык». Инженера второго ранга быстро увезли, а потом, в конце месяца, когда Сапожникову выписываться, из Москвы бумага пришла, и Сапожников поехал.

Его в Москве расспросили и сказали:

— Малореально. Но попробуем. Хотите в конструкторское бюро?

— После войны хочу, — сказал Сапожников.

— А в отпуск хотите? — спросили у него. — Дней на пять?

— Очень, — сказал Сапожников.

Ему дали на десять.

В их квартире теперь никто не жил. Комендант с пустым рукавом дал ему ключи от комнаты. Сапожников посидел один в холодной полутьме, потом пригляделся и увидел записку, которая была прижата стаканом, как будто мама на минутку к соседям вышла, а не идет страшная война и города дыбом. Сапожников взял записку, а под ней чистый квадрат без пыли. Два года лежит записка, и никто ее с места не сдвигал. Маме всегда удавались такие тихие странные чудеса, теплые и мирные, не совпадающие с громкими обстоятельствами. Сапожников прочел:

«Мальчик мой, я знаю, что ты останешься жив. Мама. Если вернешься раньше меня — у Ньюры для тебя письмо».

Сапожников поцеловал записку, спрятал в карман на груди, запер комнату, а из соседней вышел комендант.

— Я из вашей комнаты клещи взял, — сказал он. — Мне позарез.

— Конечно, — сказал Сапожников.

— Мама твоя квартплату присылает. Комнату сохраним, — сказал комендант.

Сапожников покинул и пошел к Дунаевым.

Сапожников как уткнулся носом в теплое Ньюрино плечо, так и стоял не двигаясь, а она держала его одной рукой за шею, а другой вытирала слезы со щек — у себя и у него.

— Это как же ты? — говорила она. — Как же ты, а?

— А ничего, — говорил Сапожников, — ничего...

И была ему Ньюра теперь как весь Калязин, а значит, и вся родина.

Потом чай пили с сахаринном, и Сапожников показал Ньюре записку от матери.

— Значит, будешь живой, мама знает, — сказала Ньюра. — Сейчас принесу.

И принесла пакет, склеенный из газеты. И в том пакете толстая тетрадь и письмо от учителя к сапожниковской матери.

— Его в бомбежку убило, — сказала Ньюра. — В октябре.

Учитель просил передать пакет Сапожникову; когда он вернется с войны. Все одно к одному. И этот верил, что Сапожников вернется, и в конструкторском бюро сказали: возвращайтесь к нам.

— Я Лиду видела, библиотекаршу, — сказала Ньюра. — На горфе познакомились. Помнишь ее? Она тебя хвалила, что ты у нее все книжки прочел. И маму твою знает, они вместе петь ходили к учительнице.

— А-а... — сказал Сапожников. — Трубы, мачты, за кормою пенится вода...

Он читал письмо и перелистывал толстую тетрадь, где учитель записал все свои разговоры с Сапожниковым о том о сем, о велосипедном насосе, о притяжении и отталкивании и что свет — это сотрясение материи, неизвестной пока.

«Передайте ему тетрадь, если останется жив, — писал учитель. — Я считаю, он не должен бросать думать обо всем этом. Никто не знает, кому дано сказать для жизни главное слово, но каждый должен пытаться его выговорить. Пусть пытается».

— Она говорила, что ты был хороший мальчик, но дефективный, — сказала Ньюра.

— Кто говорил?

— Лида, библиотекарша. Она и сейчас в хоре поет. На фабрике. Ты уже с женщиной был?

— Как был?

— В постели был с женщиной?

— Сколько раз, — сказал Сапожников. — А что?

— Ну, значит, не был, — сказала Ньюра. — Мне завтра в ночную, а ты приходи сюда. Я Лиде скажу, придет тебя покормит.

— Нюра, а Нюра?.. Обалдела? — спросил Сапожников.

— Ну что? — сказала Нюра. — Мне-то что врать? Али я тебе не своя? А то убьют, не дай бог, и не узнаешь ничего! Проста была Нюра.

Сапожников замечал: читаешь какую-нибудь книжку, будто интересно читаешь, увлечешься, про войну или про любовь, а потом вдруг дойдешь до одного места, где про это, и уже только про это и думаешь, а про все остальное думать неинтересно. А писатель дразнит, заманивает, — дескать, один раз про это рассказал, значит, жди другого раза. И каждый раз просчет у писателя, потому что сразу бежит глаз по строке, как обруч под горку, только слова камешками тархтят да кустарник страницами перехлестывает, и уже нет ни смысла, ни толку. Значит, самого писателя в этом месте понесла вода, и, наверно, думал Сапожников, бросил писатель в этом месте рукопись и побежал к любовнице или схватил за рукав проходящую мимо жену, потому что зачем писать про то, без чего сию секунду не можешь? Секунда прошла — и нет ее, а в книжке надо только про то, что важно. А про это важно или нет? Заранее не скажешь. Смотря про что книжка написана. Маяковский поэму написал, так и назвал: «Про это», а на самом деле не про это написал, а про любовь. А про это?

— Сапожников, а правда, балерины на мысках танцуют, а под мысками пробки от бутылок? — спросила Нюра.

— Почему ты его по имени не зовешь? — спросила Лида.

— А привыкла... Все Сапожников, Сапожников, и я — Сапожников... Я слыхала, дирижеры зарабатывают много, — сказала Нюра. — А сами музыку не играют, только палочкой махают. Сапожников, ты после войны в дирижеры ступай... Ну, я пошла. Будете уходить, ключ под коврик положите.

Сапожников вдруг открыл глаза, и она вдруг открыла глаза. И Сапожников увидел огромные черные зрачки от века до века. Так они смотрели друг другу в глаза, и вдруг она схватила его за плечи и стала вырываться.

— Не надо... Боюсь... — прохрипела она.

Но Сапожников вдруг стал как каменный.

Сапожников прождал ее напрасно еще неделю и уехал дальше воевать до следующего госпиталя.

Сапожников встретил ее еще раз перед концом войны. Снова приехал в Москву по военным делам. Он уже теперь

был офицером, и его всего два раза задерживал комендантский патруль за какие-то не такие штаны. А какие штаны нужны для полного победного блеска, Сапожников уже забыл, а в Москве как раз перед победой вспоминать начали. Ателье работали круглые сутки, и все такое по части галунов, нашивок, лампасов, «крабов» и «капусты» на фуражки и так далее.

Она пела в хоре соседней фабрики и по-прежнему работала в библиотеке. Сапожников сидел во втором ряду, и со сцены пахло пылью и потом после танцоров. Он приподнялся уходить, но женщина из хора вдруг поглядела на него одного, и Сапожников сразу сел и просидел до конца. Потом ушел, не дождавшись.

А на завтра зашел в библиотеку.

— А-а... Сапожников, — равнодушно сказала она.

И, закутавшись в пальто, снова стала заполнять чью-то карточку.

Сапожников читал подшивку. Свет был неяркий. Уходили последние посетители. Стекла в книжных шкафах читальни сверкали.

— Я закрываю, — сказала она.

Она скинула платок с ситцевого платья и стала надевать пальто, как школьница, поднимая руки вверх и вытягиваясь, и увидела, что Сапожников на нее смотрит.

Они вышли из читального зала в темный тамбур, потом на холодную улицу, и она заперла дверь на ключ. Как будто они из чужого мира вошли в свой и заперлись на ключ. Сумерки. Сырость. Запах мокрых листьев под ногами.

— Смотри, живой, — сказала она. — Я думала, ты убит.

Они шли медленно.

— Твои живы?

— Да, — сказал Сапожников. — А твои?

— Убивать было некого.

Он взял ее за руку. Она отняла.

— Объясните мне, — сказал Сапожников.

— Не надо.

— Вы не помните?

— Не надо.

Она остановилась у подъезда и стала смотреть на носки своих туфель, потом на него исподлобья.

— Лида, я выяснил, — сказал Сапожников. — Д'Артаньян не армянин.

— Ну... — сказала она. — Иди...

Сапожников ушел.

Сидел в сквере на мокрой скамье, пока не промок.

Потом перешел улицу и вошел в подъезд. Хотел позвонить на втором этаже, не нашел звонка. Хотел постучать, но она открыла дверь сама, впустила его в переднюю, запахивая халат. В полутьме они прошли в ее комнату. На табуретке красным глазом сияла спираль электроплитки.

Она не раздеваясь легла под одеяло, высвободилась из халата и кинула его на стул.

— Скорей... — сказала она.

Когда они глядели в потолок и Сапожников курил, она сказала:

— И больше никогда не приходи.

— Приду.

— Ничего нельзя вспоминать.

— Почему?

— Не знаю.

— У меня никогда потом так не было, как тогда с тобой.

— И у меня, — сказала она. — Потому и не надо.

Никто не знает, почему мужчине и женщине надо быть вместе. Потому что хочется? А если перестало хотеться? Надо бороться с собой? А кому из них? Тому, кому первому перестало хотеться? А можно жить с тем, кто с собой борется?

— Неужели жизнь прошла? — спросила она.

А Сапожников, конечно, не догадывался, что ему или ей на роду написано. А если бы догадался, что ему на роду написано, то вцепился бы в эту дуру мертвой хваткой и не послушал бы ее горделивого приказа не приходить.

ГЛАВА 18

ПЕРЕГРУЗКА

Сапожников всегда знал, когда будет авария, хотя не часто мог ее предотвратить. Понимающих его людей в этот момент не находилось. А потом уже все было поздно. Собирались вместе и вспоминали про Сапожникова. Он не отказывался. Зачем? В нем всегда жила надежда, что, может быть, в другой раз послушаются. Иногда бывало и так. Прислушивались, аварию проскакивали благополучно. Но в этом случае о Сапожникове уже не вспоминали. Разве композитор-профессионал захочет вспомнить, от какой уличной песенки он оттолкнулся, когда сочинял свой шлягер?

Сапожников всегда знал, когда будет авария. Тут не было

никакой мистики. Старый охотник знает, когда в лесу зверь. Одни говорят, что это шестое чувство, другие — жизненный опыт, а третьи, что, мол, за битого двух небитых дают и то не берут, а Сапожников был жизнью бит многожды, но не очень верил, что только в этом дело.

Последние дни Сапожников толкался среди рабочих и понял, что авария на носу. Чересчур все было гладко для работы, которую собирались сдавать комиссии.

Да не потому, что люди, соорудившие этот конвейер, халтурили или еще как-нибудь иначе проявляли свою самостоятельность. Просто это носилось в воздухе, в морозном ночном воздухе, пробитом светом прожекторов.

«Что же это получается? — думал Сапожников. — Все канатно-ленточное хозяйство работает как заводное, и автоматика срабатывает. Полуторакилометровый механизм при пробных пусках исправно тянет руду из шахты, не конвейер, а невеста, ну прямо под венец. И крыть нечем».

— Чего ты беспокоишься? — сказал Виктор. — Показания приборов отличные.

Сапожников только сопел.

Они стояли и слушали, как рокочет бесконечная лента, и смотрели, как масляно вращаются ведущие звездочки.

— Лифт, — сказал Генка.

— Что?

— Не конвейер, а лифт, — сказал Генка, снял рукавицы и зажал пальцами уши.

Сапожников сделал то же самое.

Гул стал тихим, ровным и каким-то неустойчивым. Он оглянулся на Виктора. Тот что-то кричал. Сапожников опустил руки.

— ...во! — докричал что-то Виктор.

— Что?

— Я говорю, это ничего!

— Что ничего?

— Есть небольшие перегрузки, но это ничего!

— Виктор, это шахта, — сказал Сапожников. — Ты с этим не сталкивался. Маленькая перегрузка может мгновенно стать завалом. Все будет рваться и лететь к черту. Генка, давай еще прозванивай всю схему.

— Не учи меня, — сказал Виктор.

— Правильно, — сказал Блинов.

Он подошел к пульта веселый, в расстегнутом полушубке и сдвинутой на затылок пыжиковой шапке.

— Я думаю, можно подписывать акт, а послезавтра ту-ту —

и вы уже в Москве. Я вам завидую. Поработали вы классно. Я специально сообщу об этом в вашу контору.

— Мы еще не начинали работать, — сказал Сапожников и протянул Блинову «Краснопресненские».

Они давно уже разыгрывали восхищение друг другом, и было ясно, что и эта авария тоже приближается.

— Мне кажется, — сказал Блинов, закуривая, — что вы меня все время хотите поддеть чем-то... Я говорю — я принимаю у вас работу... ваш участок работы. А всю работу будет принимать комиссия согласно договору.

— А я вам ее не сдаю...

— Аварийная автоматика работает отлично. В чем дело?

— У вас питатели работали плохо, плохо подавали руду. Образовались завалы... Совсем недавно...

— Это уж не ваша забота.

Блинов бросил сигарету на землю, топнул по ней, и ее тут же умело. Вверху под прожекторами летел колючий снег. За забором шахтного двора стояло бурое зарево. Небо было бурое от далеких коксовых батарей.

— Да вы не обижайтесь, — сказал Сапожников. — Датчики показывают перегрузку на сгибах. А ведь конвейер еще не гоняли как следует.

— Да-да... конечно, — сказал Блинов. — Вот сейчас и попробуем.

— В смысле прозвоним схему — тогда попробуем, — сказал Генка.

— Щекотеев! Костин! — крикнул Блинов. — Передайте там вниз! Сейчас погоним на повышенном режиме!

Потом он повернулся к ним с улыбкой. Но это была не улыбка. Просто он так щурился от ветра.

— Я моложе вас, товарищ Сапожников, — сказал он, — но хочу дать вам совет. Вы очень эмоциональный человек... Вы...

— Летом, летом... — сказал Сапожников. — Летом будете советовать. Сейчас чересчур холодно.

— Пошел! — крикнул Блинов вдаль и приблизился к пульту. — Позвольте.

Виктор отодвинулся, и Блинов кинул рубильник.

Медленно стал нарастать грохот. Тонкий ручеек подскакивающей на ленте руды плавно превратился в черный пласт.

Блинов убежал. Вдоль конвейера стояли люди и напряженно глядели на маслянистую цепь, которая текла по барабанам. Все шло гладко.

— Работает старушка, — нерешительно сказал Генка. — В смысле конвейер.

Сапожников, не отвечая, глядел на приборы. Все шло гладко. Сапожников отошел от приборов. У ленты его догнал Виктор.

— Что тебя беспокоит? — спросил он.

— То, что Блинов боится комиссии больше, чем аварии.

— Ты думаешь?

Сапожников не ответил.

— В конце концов, черт с ним... За электрическую схему я ручаюсь, — сказал Виктор.

— А за человеческую?

И тут их окликнул Генка:

— Ребята... живо!

Они подбежали.

Приборы показывали аварийную перегрузку.

Все переглянулись.

Стоял дикий грохот. Приборы показывали аварийную перегрузку, но автоматика почему-то не срабатывала, не отключала механизмы.

Тогда Виктор кинулся к ленте, от которой стали медленно отходить люди.

Сапожников подбежал к Виктору в тот момент, когда он обалдело смотрел на безмятежный аварийный выключатель, под который кто-то подсунил лом. Обычный лом, которым лед с тротуаров скалывают.

Сапожников кинулся к этому лому и дернул его. Лом не поддавался, его заклинило. Сапожников увидел руки Виктора, протянутые к выключателю, и свои руки, выдергивающие лом. Услышал треск и увидел, как лопнувшую цепь завело под барабан и стало наматывать на звездочку вместе с рукой Виктора, и стало пучить конвейер и поволокло Виктора, и Сапожников свободной рукой еще успел рвануть аварийный выключатель.

Грохот стал затихать. Только несколько секунд падали на землю возле Виктора какие-то вывернутые куски металла.

Виктор стоял, протянув руку, и тихо стонал.

Крик. Топот. Тяжелое дыхание людей.

— Витя... ничего... Только палец... Рука свободна, — сказал Сапожников, обжигая лицо спичками, пачкая лоб горелым маслом и вглядываясь во тьму, где дрожала черная рука Виктора.

Сапожников осторожно завел конец лома под цепь до упора где-то в глубине и, распрямляя согнутые ноги, стал поднимать цепь, прохрипев:

— Берите его...

Механик Толстых и рабочие осторожно, как неживую, вынули руку Виктора, и Сапожников опустил цепь.

Виктора держали за плечи. Зубы его лязгали.

— Витя, сейчас... потерпи, — сказал Сапожников и оглянулся.

По шахтному двору бежали люди.

Сапожников увидел Блинова, расталкивающего толпу.

— Я ни при чем... — проскрипел он сквозь сжатые зубы. — Я не виноват...

И это были первые его слова.

— Машину... Убью!.. — крикнул Сапожников и замахнулся.

Блинов отскочил, поскользнулся, но удержался на ногах и побежал прочь.

В воздухе стояла вонь от сгоревшего мотора.

Потом взревел вездеход и ослепил всех фарами.

Виктора посадили в кабину, и Сапожников сел рядом.

Только когда они выкатили за ворота, Сапожников разглядел, что за баранкой сидит Блинов.

Они молчали всю дорогу, и Виктора привезли к большому зданию, похожему на гибрид дворца рококо с Парфеноном. Это была травматологическая больница.

Когда Виктора вели по двору, они услышали, как густой приятный голос тянул песню в темноте ночи: «Па тундыря... па железыной даррогя... Хде мчится поязыд... Ва-ар-кута — Леныхырад...» — и Виктор спросил:

— На каком языке поют?

Сапожников не стал объяснять, что поют на языке Блинова, только произношение другое.

ГЛАВА 19

ПИСЬМО К СЕБЕ

Немцы подкатили установку и орали всякие слова насчет того, чтобы не суетиться и сразу тихонько сдаваться в плен. Кричали, конечно, по-русски, но акцент выдавал. Так волк кричал семерым козлятам: «Ваша мама пришла, молока принесла».

— Началось, — сказал Цыган.

— Надо попробовать, — сказал Танкист. — Я знаю, где у их

танков слабина. Переднюю машину подорву, проход узкий. Остальные сами станут.

Взрыв. Гул танковых моторов.

— Не вышло, — сказал Бобров. — Больше резервов нет...
Рамона, разбей рацию. Цыган, прикрой ее.

Рамона оттащила рацию, рванула крышку и стала хрустеть лампами. Цыган прикрыл ее огнем. Началась ответная стрельба.

— Цыган, — сказала Рамона торопясь, — когда прикажу — стреляй в меня, как сговорились. За Ваню я не боюсь...

— Рамона, Галочка, королева моя, чайка моя заморская... — сказал Цыган, ведя огонь. — Беги... Есть шанс для женщины! Он ошибся. Шанса для женщины не было.

Письмо к себе. Я, Сапожников, сын Сапожникова, записываю в эту особую тетрадь сообщения о событиях важных и печальных, чтобы не изгладились они в моей памяти, так легко затемняемой страстями.

Я помню блевотину желтого дня и безумие темноты. Я помню смерть городов и трупы лошадей с окаменевшими ногами, торчащими вверх, и внутренности их, вывернутые наружу газами разложения.

Я помню, как везли на телеге пленных карателей, и люди деревни хотели их истребить. Но пожилой автоматчик, охранявший их по приказу, кричал: «Не подходи!» И как старая женщина разорвала на себе рубаху, и открыла иссохшие груди, и пошла на автоматчика, приговаривая: «Стреляй, сынок, стреляй...» И как возница ударил по лошадям, и телега помчалась, гремя ведром, и лошади понесли прямо под виселицу, которая стояла среди улицы и поперек дороги, и один каратель завизжал, увидев, куда летит телега, и когда он привстал, его ударила в лоб босая нога повешенного, и он упал навзничь, потеряв доступное ему сознание.

И я помню, как в госпитале в отдельной комнате лечили раненого нациста и мимо нас сестричка носила ему еду и бинты. А вчера она вывалилась из двери и на пороге комнаты остановилась с перерезанным горлом, из которого била струя крови, и упала у нас на глазах. А сегодня мы узнали, что он спрятал суповую ложку, и точил ее под матрацем о железную раму кровати, и зарезал сестричку, которая его лечила, когда она меняла ему бинты.

И я помню последний бой, когда полегла вся группа Боброва — и Танкист, и Цыган, и Рамона, и сам Бобров.

И я был убит взрывом и завален обломками. И когда меня нашли и откопали для второй жизни, они все стали приходить ко мне, и я опять нескончаемо слышу взрывы и их голоса.

Я помню, но не понимаю. Я хочу забыть и не могу. И меня, Сапожникова, сына Сапожниковых, привыкших гордиться силой работы, война научила убивать, а мы, Сапожниковы, веками презирали убийц.

И потому я, Сапожников, сын Сапожникова, потомок бесчисленных Сапожниковых, утверждаю, что все фашисты, всех видов и толков, которых я встречал, были параноиками, кататониками и шизофрениками. Очевидно, именно поэтому они провозглашали себя расой полубогов. Может быть, в смутное время переворотов они целеустремленно просачиваются вверх, потому что знают все слова и доктрины и безумие их некому и некогда разглядеть.

Я, Сапожников, двадцати одного года от роду, сын Сапожникова, если останусь жив, до тех пор обещаю не рассказывать про войну, не читать про нее книжки, не смотреть про нее кино, не слушать радио, не читать в газетах, не изучать ее, не анализировать, не стараться понять или обобщить опыт, пока не придумаю, как ее казнить. Потому что война, будь она проклята, должна быть убита.

И если, как нас учили, война есть продолжение политики, а политика — продолжение экономики, то, значит, без энергии нет экономики и в чьих руках энергия, у того и власть. И если раздать энергию всем, то она уйдет из рук шизофреников.

И потому я, Сапожников, сын Сапожникова, клянусь, что придумаю автономный двигатель, который любого человека сделает независимым от шизофреников, и война умрет.

Госпиталь. Карельский фронт. Ноябрь. 1944 год.

ГЛАВА 20

ДОМОЙ!

Сапожников вернулся в Москву из командировки холодным солнечным вечером и увидел, что все люди бегут и бегут по улицам и их очень много. «Куда же они бегут?» — подумал Сапожников и постеснялся спросить.

Тогда Сапожников пошел в магазин подарков на улице Горького, чтобы купить галстук, и тут он увидел, как перед огромным зеркалом десятки мужчин примеряют галстуки.

Они стояли рядышком и сами на себе добровольно затягивали петли, сами себе вздергивали подбородки разноцветными узлами, а потом выходили на вечернюю улицу болтаться на галстуках. «Нет... какого черта? — подумал Сапожников. — Мы же сами подвешиваем себя, а потом стонем».

Он не стал покупать галстук и купил рубашу без воротника. Он переделался в сторонке, и многие оборачивались. Потом, распахнув пальто, подошел к зеркалу и увидел, что шея из такой рубашки торчала голая и какая-то беззащитная и пиджак явно не годился для этой рубашки. Бездомьем несло от этого наряда.

Сапожников вышел на вечернюю улицу, где голые тротуары костенели от холода и синий снег на крышах. «Нет, — подумал Сапожников. — Все-таки я иду по улице, и меня не задавило на улицах, где такое большое движение, и у меня есть комната с окном и зарплата, и я не купил галстук».

Он пришел домой и разделся в пустой комнате, подошел к зеркалу и понравился себе в новой беззащитной рубашке, надел куртку и почувствовал себя значительно лучше.

Ему мешала только пушистая шляпа, которая смотрела на него со шкафа. В ней было все дело. Под нее строились самые большие планы, прекрасные и совсем чужие.

Сапожников снял шляпу со шкафа, подошел к окну, распахнул фрамугу и запустил шляпу в небо.

Представляете себе?

Нет, вы только представьте себе это реально или попробуйте сделать это сами — выкиньте в окно новую шляпу. И вы увидите, что у вас ничего не получится. Чувство, близкое к суеверию, остановит вас. Как будто вы этим поступком расстаетесь с чем-то важным в самом себе. Вот что такое кинуть шляпу в окно, вот чем она отличается от других предметов.

Она планирует, вращаясь над крышами зимнего города, одинокая под вечерним солнцем, среди всех голубей детства и воздушных змеев, над синими тенями дворов и переулков. Сапожников захлопнул фрамугу и спустился на улицу.

Прозрачные тени тянулись до площади, а там московские дома теплого цвета и розовое вечернее небо.

Розовый город раскинулся перед Сапожниковым. Город, который все перенес и все выдержал.

На лотке мужчина продавал журналы и книжки и топал ногами, ему было холодно. Синий берет прикрывал жирные вздыбленные волосы лоточника. И на этом лотке Сапожников увидел свою шляпу. Она прижимала газеты. Сапожников

посмотрел на нее пристально. Продавец поймал его взгляд и сказал:

— Мальчишки принесли... Не ваша?

И приподнял шляпу за продавленную макушку. Под шляпой на газете лежала жестянка с медяками.

— Не ваша?.. Могу продать, — сказал продавец.

— Носите сами, — грубо сказал Сапожников и ушел.

Он позвонил по телефону и сказал:

— Нюра, я приехал. Ты мне друг?

— Сапожников, Дунаев говорит — приезжай немедленно! — громко сказала Нюра.

— Случилось что-нибудь? — спросил Сапожников.

— Да! — сказала Нюра. — Мы соскучились.

И Сапожников повесил трубку.

И пошел куда-то в сторону. Он еще не готов был к тому, чтобы ходить по гостям.

Потом он поехал на чем-то. И чем дальше он ехал, тем светлее становились весны в его воспоминаниях, и резче пахли цветы, чище помыслы его возлюбленных, а ведь, наверно, это было не так, потому что и в те времена его обижала жизнь, но он вспоминал это со смехом.

Он шел и ехал, ехал, пока не понял, что забрел совсем не на ту улицу.

Был счастлив, несчастлив, но не в этом дело.

Домой, домой, что-то кричит — домой!

Туда, где не надо притворяться. Домой — это туда, где можешь быть самим собой, а не тем, кем ты стал, будучи постоянно настороже.

А когда поедешь домой, сразу узнаешь тех, кто тоже туда устремился.

По дороге их становилось все больше, и наконец он понял, что все мчатся домой, все истосковались об одном, и поэтому давка, как во время эвакуации. Это только кажется, что бегут из дому, на самом деле бегство — это всегда бегство домой.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ГОНОЧНАЯ КОРОВА

Человечья родословная — это родословная тех, кто успел дать потомство. Родословная живых.

Поэтому история только внешне история войн, то есть смертей. А на самом деле это история мира, то есть жизни.

И так как до сих пор, несмотря на кровопускания истории, жизнь все же существует и есть надежда, что так будет и дальше, то давайте подумаем, как же это все-таки случилось, что родословное дерево каждый год в цвету.

— ...Что ты ищешь на рынке, Сапожников? — спросил Глеб.

— Я ищу редиску моего детства. Чтобы она щипала язык. А я вижу только водянистую редиску, жалобную на вкус.

— Эх, Сапожников, — сказал Глеб. — Эту редиску, которую ты ищешь, можно отыскать только вместе с самим детством. Она там и осталась, Сапожников. Вместе с клубникой, от которой кружится голова. И черникой, которую покупали ведрами. В отличие от клюквы, которую покупали решетатами.

— Ого! — сказал Сапожников. — Тебе знакома такая черника? И такая клюква?

— Да-да, ты угадал, — сказал Глеб, снова надевая очки. — Я из Калязина. Я думаю, ты знаешь. Только я жил по другую сторону великой реки.

— Твоя сторона города уцелела, Глеб, — сказал Сапожников. — А моя ушла под воду. Мой город под водой, Глеб, а твой возвышается.

ГЛАВА 21

АПРЕЛЬ

Поезд лупил к горизонту. Налетали голые рощи. Пахло пивом и гарью. Ветром отдувало занавеску, и девочка по откосу гнала козу. О, дорога, дорога, всегда ведущая туда, где нас нет.

Всю дорогу они ссорились с Барбарисовым, потому что для этого не было причин.

Но Сапожников устал от чванства Барбарисова и пытался объяснить ему, что никогда Россия не жила только ради заработка. Ну а на лице Барбарисова было написано согласие с Сапожниковым, хотя оба знали, что никакого согласия быть не может. Потому что Барбарисов был умный и всегда знал, чем сегодня торгуют, и откликнулся. А для главного разговора ума было мало, даже если его палата. Но и палаты не было.

— Болгарский композитор Панчо Владигеров, — оживленно сказал репродуктор, — фрагменты из «Скандинавской сюиты». Исполняет оркестр венгерского радио.

— В Москве, — добавил Сапожников.

— Ты чего, ты чего? — привычно пробормотал Барбарисов, застегиваясь перед дверным зеркалом, в котором отражался он

сам на фоне бескрайних полей. — Подъезжаем, — сказал Барбарисов, отодвинул дверь в сторону и перестал отражаться.

Тра-та-та-та... — загремела пулеметная очередь.

По коридору промчался мальчик с автоматом, что-то изрыгавшим. Он схватился за грудь и сполз по стене. Потом опять побежал по коридору, стреляя из автомата, и опять упал, хватаясь за живот, и так много раз подряд. Пока его чемоданом не загнали в купе.

Потом поезд остановился, и оказалось, что Барбарисов уже одет и портфель в руках, а Сапожников даже еще галстук не повязывал. Вошла проводница, совсем девочка, и сказала мягко-мягко:

— Та вы здесь поселяетесь?

И Сапожников понял, что приехали.

Он приукрасился кое-как и вышел в пустой коридор, стесняясь, что несет портфель.

Это у него всегда были дурацкие мучения из-за предметов, которые его унижали и не позволяли ходить, чтобы руки болтались, как им самим хочется. С портфелем ему казалось, что он солидный, как шиш на именинах, а с авоськой ему казалось, что он нищий, и все видят, что за ним присмотреть некому, а о зонтике, например, он даже помыслить не мог без ужаса: человек идет и несет крышку над головой. Стыдно, как в страшном детском сне, когда видишь себя в комнате, полной гостей, и вдруг оказывается, что ты без штанов. Этот сон по Фрейду означал что-то сексуально нехорошее, но Сапожников уже забыл, что именно. Времена пошли такие, что и наяву люди без штанов стали ходить, — нудизм, акселерация, сексуальная революция, и римский папа борется с противозачаточными средствами, хотя, с другой стороны, демографический взрыв и перенаселение, а почему перенаселение? Потому что рождаемость понизилась, а к тому же в огороде бузина, а в Киеве дядька. Логичное настало время. Разум вступил в свои права и научно мыслит.

Никто их не встречал, и они вышли на ледяную площадь, где транспорт пытался приспособиться к внезапным морозам, — Барбарисов впереди стремительно, а Сапожников на полшага сзади. Сапожников ленился ходить быстро, и Барбарисова это устраивало, так как подчеркивало.

«Куда вы идете, люди? — думал Сапожников в отчаянии. — И я с вами. Куда вы идете, люди, и я с вами? Пропадаю, мальчики, — думал Сапожников, глядя на гордый полупрофиль Барбарисова, — не любитесь, не работаете и, стало быть, не живется, потому что пропадаю. Призвание у каждого чело-

века должно быть, призвание. Человек должен быть призван». Сапожников был призван любить и работать. Больше он ничего не умел. Когда трещало одно, немедленно обесмысливалось другое. Чудеса, да и только! Что делать, мальчики, пропадаю! И они вошли в гостиницу.

Было очень холодно. Номер им не дали, и они напрасно толкались у прилавка администратора, где оттаявшие пальто командированных пахли кошками, как в обшарпанном подъезде.

Они отдали в ледяную раздевалку пальто и портфели и прошли в кафе. Там они съели по бледному куску колбасы, измазанному картофельным пюре, и две женщины-соседки в простодушных кудряшках были морально убиты барбарисовской элегантностью. В левой руке у него была вилка, а правая делала чудеса. Она отрезала кусок анемичной колбасы, накладывала ножом плевочек пюре, примазывала все это горчицей и придерживала все сооружение, пока оно не отправлялось в рот. И ледяная великосветскость стала кругами замораживать кафе. Кудряшки быстро нарезали свою колбасу на мелкие кусочки и, не глядя друг на друга, начали быстро съедать их поштучно. И отставили тарелки, потому что не знали, как едят пюре там, в Монте-Карло или Майами-Бич, ореол которых сиял над головой Барбарисова. Кудряшки быстро высосали свои чашечки кофе, оставив на дне неразмешанные куски железнодорожного сахара, и ушли голодные и напуганные. А Сапожников все перекладывал нож из правой руки в левую и корнал эту колбасу, и ему хотелось выть. Ему хотелось есть колбасу руками, слизывать пюре с тарелки и макать пальцем в горчицу, ему хотелось запустить колбасой в плакат «У нас не курят» и размазать пюре по оконному стеклу, а горчицей что-нибудь написать на стенке, потому что все детство его учили держать вилку в правой руке и не подготовили его к жизни, где важным считается все, что таковым не должно считаться.

— Васька! — крикнул Сапожников.

И к столу подошел Васька Бураков, археолог из московского института, и Сапожников встал и расцеловался с ним, и в несчастном, заледеневшем от светской жизни кафе переменился климат.

— Васька, хочешь, я научу тебя жрать левой рукой? Это жутко неудобно, но так надо, поверь. Иначе мы с тобой не попадем в Пукипси.

— Я не хочу в Пукипси, — сказал Васька. — Я выпить хочу.

— Я тоже.

— После совещания, — сказал Барбарисов. — Он уже и так хорош. — И указал на Сапожникова салфеткой.

— Познакомься, это Барбарисов. Он умеет левой рукой есть, — сказал Сапожников. — Я не завидую! Я умею ушами шевелить вместе и по очереди.

— Что это с ним? — спросил Васька у Барбарисова.

— Всю дорогу меня изводит, — сказал Барбарисов. — Я совершенно одурел. Хорошо, что вы появились.

Сапожников полез в задний карман за трешками, но Барбарисов раздраженно опередил его, заплатил сам и пошел к выходу, задрвав подбородок. Барбарисов по старой памяти думал, что Сапожников с ним соперничает, и ошибался. Сапожников давно уже понял, что они в разных весовых категориях. Барбарисова сбивало с толку возвышение Сапожникова, случившееся внезапно.

Впрочем, не только Барбарисова это сбивало с толку. Еще пробовали с ним обращаться по-прежнему, но получалось неловко. И все злились. На Сапожникова, конечно. Кто же в XX веке злится на себя? Дураков нет. На Сапожникове давно все крест поставили, а он взял и учудил — придумал вечный двигатель. Ха-ха. Когда всем известно, что этого не может быть, потому что этого не может быть никогда. А почему, собственно? Движение вечно, вечно течет река энергии. Значит, если в поток сунуть вертушку, она будет вертеться вечно, пока ось не перетрется, но это уже принципиально.

О господи, какой шум поднялся, какой смех! Вечный двигатель! Подумать только! Никто уже в суть не вдумывался, а Сапожников ходил по компаниям и на пальцах показывал, как это сделать, а потом оглядывался по сторонам, искал карандаш или авторучку, или потом стали фломастерами рисовать — годы проходили, пока до фломастера додумались, — но ему ничего этого не давали, а, беззлобно смеясь, загибали его растопыренные пальцы, на которых он объяснял схему. Нет, рук, конечно, не выламывали, но так загибали пальцы, что получался кукиш. Очень все веселились.

Странное это было время, без счастливых событий. Холодно, очень холодно. Все призывали друг друга улучшаться, и каждый ждал, что первым это сделает сосед.

Вы видели когда-нибудь крыши? Зеленые, золотистые? А красно-ржавые? А увядающие цинковые? А стены домов до горизонта, и на их фоне стволы деревьев цвета подсолнечного масла, и золотистый хаос ветвей без листьев? Это

апрель, апрель, и глаза захлебываются от цвета, и колени проходящих по тротуару женщин, чуть пухловатые после зимы.

Это было странное время, без счастливых событий.

Наконец Барбарисов дозвонился, и им сказали, что до совещания остается час.

Они сидели без пиджаков в номере у Васьки Буракова, куда все время кто-нибудь заглядывал из экспедиции, и Васька отдавал распоряжения.

— Уедем сегодня вечером. Билеты нам сделают. Так что номер нам не понадобится, — сказал Барбарисов. — А на совещание пройдемся пешочком. Иначе я засну.

— Обедать будем вместе, — предупредил Васька. — Часика в три.

— Меня тошнит, — сказал Сапожников.

— Начинается, — вздохнул Барбарисов, надевая пиджак. — Я тебя жду внизу.

И вышел. Васька спросил озабоченно:

— Что с тобой? Ты ведешь себя как укушенный...

— Меня тошнит от погони, — сказал Сапожников. — Что на нас накатывает? Почему все время дай-дай-дай?.. Уже все есть, что нужно человеку для существования, а все дай-дай-дай...

— А что нужно человеку для существования?

— Человеку нужны штаны, пельмени и чтобы крыша не протекала.

— Ты как Толстой, — сказал Васька. — Толстой считал, что человеку нужно всего полтора метра земли... Но на это Чехов ответил: полтора метра нужны не человеку, а трупу. Человеку нужен весь мир.

— Толстой не о том говорил. Полтора метра земли в собственность действительно нужны трупу. А человеку земля в собственность вовсе не нужна. Если Чехова тоже понять буквально, как он понял Толстого, и человеку нужен в собственность весь мир, то где набрать этих миров, чтобы поштуче на рыло? Меня тошнит.

— Хочешь воды?

— Меня сердцем тошнит, — сказал Сапожников. — Тут так. Либо все классики вралы, когда писали о России, либо всякий искусственный динамизм — это не России.

— Россия тоже уже другая, — сказал Васька. — Россия — европейское государство.

— Что значит — европейское? Головастики, что ли, глав-

ное? В России талант главное. А талант — это дойная корова. Ему нужно, чтобы его доили. Недоеная корова болеет... Я дойная корова! Я болею, когда меня не доят... Корова любит ласку, и музыку, и зеленые поляны. Тогда она перевыполняет план по маслу и простокваше... Корову надо доить, чтобы она не болела... Но ее нельзя заставлять участвовать в скачках!.. Я не хочу быть гоночной коровой!..

Раздался телефонный звонок.

— Да иду я, иду, — сказал Сапожников.

— Он сейчас идет, — сказал Васька, послушав захлебывающуюся трубку, и обернулся к Сапожникову: — Твой товарищ шумит... Он сейчас выходит, пиджак надевает. — И осторожно придавил никелированную пупочку на телефоне.

— Ну, помчались, — сказал Сапожников и вышел.

Он шел по мягкой коридорной дорожке, на него накатывали пылесосные вопли из полуоткрытых номеров, и Сапожников бормотал:

— Я иду по ковру... он идет, пока врет... вы идете, пока врите...

Потом он сбегал в вестибюль и распахнул стеклянную дверь на улицу.

— Не надо врать, — сказал Сапожников Барбарисову, который гневно шел по серому тротуару. — Не надо врать, Барбарисов... Тебе вовсе не хочется, чтобы наш проект сегодня прошел удачно.

Это было странное время, без счастливых событий. Холодно, очень холодно.

ГЛАВА 22

ТРЕТЬЯ СИГНАЛЬНАЯ

Это было утром в сорок седьмом году, в мае, когда Сапожников с хрустом открыл слежавшуюся обложку и записал в «Каламазоо», что, по его предположению, основная форма движения материи — шаровая пульсация. А из этого вида движения вытекают все остальные. Ему тогда было двадцать четыре года.

Сапожников сидел как-то с Дунаевым, который демобилизовался уже давно, в сорок четвертом году, а Сапожников только что, в сорок седьмом, и потому Дунаев уже адаптировался в мирной жизни, а Сапожников еще не адаптировался.

— А это что? — спросила Нюра.

— Что? — спросил Сапожников.

— Ну, это, адап... как это? — сказала Нюра.

— Адаптироваться, — сказал Сапожников.

Нюра помолодела за эти годы — прямо ужас что такое. Сапожников когда маленький еще был в Калязине — Нюра была старая, а теперь с того времени еще двенадцать лет прошло, и Нюра стала молодая, а все постарели.

Все думали — когда война первый перелом прошла, отступление, эвакуация, а потом стала очень трудной жизнью, голодом стала, тоской от потери близких, иногда грязью стала, потому что не все выдерживали такое, но все же осталась жизнью, тогда думали: уж теперь-то для Нюры все. Не иначе, шлюхой будет. И ошиблись. Сколько жен не выдержало, сколько вернувшихся с войны нашли свой дом разрушенным не снаружи, а изнутри, а Нюра всех обманула.

Вернулся Дунаев, Нюра дверь открыла и улыбнулась медленно.

— Здравствуй, — сказала. — Соскучился?

Как будто он с рыбалки пришел.

— Ага, — сказал Дунаев.

И сел на вещмешок дух перевести.

Все соседи притихли, и правые и виноватые, и все старались услышать, что у Дунаевых будет, а ничего весь день не услышали.

На другое утро мать Сапожникова пришла. Она тогда еще ходила, потому что дожидалась, чтобы Сапожников вернулся и застал ее на ногах. Только потом слегла.

Мама спросила Дунаева:

— Вы про Нюру знаете?

— Знаю, — сказал Дунаев.

— Она вам всю войну была верная.

— Да, знаю, знаю, — сказал Дунаев.

Как же ему было не знать, когда в короткую майскую ночь, еще когда они в постели лежали, Нюра в голос голосила и просила прощения у Дунаева, а он все твердил: «Нюра, дай окно закрою, от людей стыдно». А соседи наутро пришли выпить и помолчать.

Потому что все слышали, как Нюра просила у Дунаева прощения не за военные верные годы, а за довоенные беспутные.

И оказалось тогда, что никакая Нюра не глупая, а просто росла медленно, как дерево самшит, и так же медленно выросла среди неосновательных скороспелок.

— Ну вот, — сказала мама. — Я же вам всегда говорила... не торопитесь.

— А я вам всегда верил, — сказал Дунаев.
— Ну а что такое адап... — спросила Нюра.
— ...тироваться, — сказал Сапожников. — Это значит привыкнуть... Это когда из темноты на свет выходишь, не видишь ничего... Глаз должен к свету привыкнуть.

«Каламазоо» — это была пузатенькая книжка небольшого формата, оставшаяся на память от отца. На переплете бордового цвета было напечатано выцветшим золотом: «Каламазоо рейлвей компани». Это был дореволюционный каталог компании «Каламазоо», выпускавшей инструменты и приспособления для железных дорог. Книжка состояла из коричневатых фотогравюр, изображавших разводные ключи, тиски, рельсы и дрезины. И между каждыми двумя картинками имелось несколько листков великолепной писчей бумаги в мелкую клеточку — для записей конкретных мыслей. Книжка была компактная и архаичная, и ее не брало ни время, ни неурядицы, и потому в нее хотелось записывать только начисто, только отстоявшееся, только необычное. Это Сапожников сразу ощутил, когда взял в руки тяжелый томик. И еще название «Каламазоо» будило фантазию. Оно разом напоминало индейское племя на Амазонке и кунсткамеру. То есть это было то, что нужно для ребенка, притаившегося в Сапожникове, которого не сумели убить ни война, ни возраст, ни истребительные набеги возлюбленных, уносивших кусочки сердца, но не умевших затронуть душу. Правда, кроме двух случаев, первый из которых закончился прахом, а второй все еще мчался в бешеном времявороте к чему-то непредсказуемому.

И тут Дунаев сказал непонятно про что:

— Как же мы с ними жить будем?

— С кем? — спросила Нюра.

И Сапожников тоже хотел спросить, но привык уже, что с Дунаевым не надо торопиться. Дунаев говорил — как бомбу разминировал, а это дело задумчивое.

— С кем... С немцами, — сказал Дунаев даже с некоторым напором. — С американцами, с японцами.

А сказал он это в ту пору, когда еще дымилась развалинами и ненавистью отошедшая горячая война и надвигалась холодная. И это впервые тогда услышал Сапожников спокойные слова о будущем, которое только вот теперь начинает стучаться в двери и называется разрядкой международной напряженности.

Конечно, Дунаев и Сапожников в войну были саперами, только служили в разных частях. Однако Дунаев и в мирной жизни продолжал обезвреживать невидимые мины, а Сапожников по своей недостойной торопливости считал, что все взрыватели уже вывернуты, и очень огорчился, когда оказывалось, что это не так.

Тайна и предвкушение... тайна и предчувствие... Почему голова у Сапожникова кружилась от счастья, когда он думал о будущем? Многие тогда, после Хиросимы, думали, что все катится в кровавый тупик.

— Что делать? — по привычке спросил Сапожников у Дунаева.

— Жить, — ответил Дунаев.

— Так ведь могут и не дать... — сказала Нюра.

— Кто?

— Ну эти, которые с бомбой.

— Ну-у... — протянул Дунаев, — это все до первой бомбы, которую мы сделаем.

— Значит, все одно воевать?

— Не обязательно, — сказал Дунаев. — Обыватель сразу умный станет и забастует... Никому ничего не скажет, может, еще больше орать начнет для порядку, а каждый сам по себе, поштучно, саботаж устроит... Жить он хочет, обыватель, негодяй этакий, а? — как бы спросил Дунаев.

— Обыватель всегда прогресс тормозил, — сказал Сапожников.

— Вот и сейчас пусть тормозит, ежели прогресс не туда заехал, — сказал Дунаев.

— Может, это тогда не обыватель вовсе?

— Дело не в слове...

— Интересно, — сказала Нюра. — Я тоже замечаю. На выставке «Воды — соки», а зайдешь — одни ханыги...

— Кто о чем, а вшивый о бане, — сказал Дунаев. Он хлопнул Нюру по мягкому плечу и сказал: — Вот тут этой бомбе и конец.

И тогда Сапожников решил жить и вернулся к своим конкретно-дефективным мыслям, и они, цепляясь одна за другую, стали громоздиться в какие-то постройки и частично оседать в «Каламазоо». Потому что в те времена к изобретателю относились почти что как к частному предпринимателю и была популярна идея — сейчас не время изобретателей-одиночек. И эта светлая идея наделала опустошений. И надо было ждать, когда идеи признают производительной силой, а ждать Сапожников не мог, его бы разорвало, и была такая

полоса и такая жажда придумывать, что он каждый день высказывал идеи, которые потом назовут «пароход на подводных крыльях, конвертолет и видеозапись». И до сих пор еще в журналах «Техника — молодежи» и «Наука и жизнь» появляются давние, отгоревшие сапожниковские новинки, но уже и многие люди умерли, которым Сапожников мог показать журнал и сказать: «А помните?» — и в доказательство открыть нужную страницу «Каламазоо». А кунсткамеры тогда еще не было, и теперь ее нет.

Все это кончилось разом, когда разрываемый на части этими конкретными мыслями Сапожников однажды опять услышал тихий взрыв и догадался, что всей этой изобретательской свистопляской должна заведовать в мозгу какая-то сигнальная система, не похожая на известные, которые открыл академик Павлов, — на первую, которая для ощущений, и на вторую, которая заведует речью человеческой. Потому что ведь откуда-то же приходило к Сапожникову неожиданное конкретное видение предметов, которых еще не было в природе или их еще не изобрели, и, стало быть, это какая-то третья система. Третья сигнальная система — назвал ее для себя Сапожников и записал в «Каламазоо», что она заведует вдохновением.

И это теперь становится известно, что открытия совершаются на эвристическом уровне, а не логическим путем, и даже есть такая наука эвристика, от слова «эврика», которое крикнул Архимед, когда мокрый выскочил из ванны, где он догадался о своем великом законе насчет тела и вытесняемой им жидкости. А в те времена такой науки не было, и слово «вдохновение» отзывалось мистикой, и лучше было бы его не употреблять в разговоре.

И Сапожников понял, что его начинает заносить в биологию. Это было в сорок восьмом году, и Сапожников ошибочно поступил не в тот институт, а кибернетика считалась адским порождением, придуманным для соблазна честных членов ученого профсоюза.

— Торопливость и бешенство — это у тебя от отца, — сказала мама. — Раньше, до войны, ты был другим... ты был гармоничным. Торопись все. Я понимаю, конечно, — жажда жить. Хочешь все наверстать побыстрее.

— Это понятно, — ответил Сапожников. — Кто-то сказал — если бы Адам вернулся с войны, он бы в раю сорвал все яблоки еще зелеными.

— Впрочем, бабушка рассказывала, что и отец твой до гражданской войны был другим... А при мне это был хотя и сентиментальный, но добрый человек, — сказала мама. — Это сочетание встречается редко, но все же встречается... Доброта предполагает терпение, а сентиментальность требует, чтоб сейчас, сразу же пришло добро, а зло было наказано. А это невозможно. И потому вы очень быстро разочаровываетесь и впадаете в священную ярость... Потому что доброта — это сила, а не слабость, и она самая трудная вещь на свете.

Вот как говорила мама. Сапожников только глаза таращил. Все в точку.

— Машины должны работать быстро, чтоб человек мог жить медленно, — сказал Дунаев. — Тогда ему в голову такое придет, что он любую машину перекроет и отменит.

Опять в точку. Потому что Сапожников чувствовал — да, да, так, именно так. Сапожников рядом с ними ощущал себя полным идиотом.

Мама в то время уже не вставала с постели, а Дунаев не вставал со стула возле ее постели, кроме тех случаев, когда его подменяла Нюра или Сапожников.

— Ма, а как отличить сентиментальность от доброты? — спросил Сапожников.

— Сентиментальность — это чувство, оно приходит и уходит... а доброта — это позиция, — ответила мама. — Пушкин такой был.

Да, это так. С матерью и Дунаевым Сапожникову неслыханно повезло.

— Мама, откуда ты все знаешь? — спросил Сапожников.

— Если бы я знала все, я бы не была одна, — ответила мама.

ГЛАВА 23

ДАРОМ ИСТРАЧЕННОЕ ВРЕМЯ

Сапожников приехал в Киев, потому что он придумал вечный двигатель.

Ну конечно же колесо! Полый диск с хитростью.

Если внутрь запустить пары аммиака и начать вращать диск, то от центробежной силы аммиак начнет сжиматься. И если края диска охладить, то аммиак станет жидким. И если теперь приоткрыть косую щель на краю диска, то аммиак выплеснется реактивной струей. Потому что, становясь паром, начнет вращать диск. А если пар этот собрать и снова охладить,

дуть, то можно снова запускать его в диск, и диск будет вращаться. И никакой вони, никаких газов выхлопных и никакой тары горючего, потому что ничего не горит. Замкнутый цикл. Собирать, охлаждать, сжимать центробегом, выпускать в камеру — и все сначала. Откуда берется энергия? От малой разницы температур между воздухом и водой, или для автономного двигателя использовать холодильную трубку. Ну, это отдельная проблема, не Сапожников ее выдумал. Кому интересно, могут посмотреть в справочнике.

Это принцип. А конструкции могут быть разные. Сложность в многочисленности точек разогрева и охлаждения, которые никак не удавалось скоординировать в расчетах. Где греть? Где охлаждать? Как отделить одно от другого? И это запутывало конструкцию и термодинамические расчеты.

Проще было изготовить, искать в материале, на модели. Но для этого нужны были база и деньги. И пугало, казалось чересчур просто и чересчур похоже на вечный двигатель. Хотя источник энергии был. Только не верили в его доступность и силу.

Вся новинка была в диске и вращении.

А Сапожников придумал это по аналогии с сердцем. Оно сжимается, выплескивает струю крови, которая энергетически обогащается в легких и снова возвращается в пульсирующее сердце.

Он вообще считал этот цикл универсальным, считал его аналогом и микро-, и макро-, и мегавселенной и всюду искал пульсацию: выплеснутый поток — обогащение — возврат к пульсирующему двигателю.

Сначала были компрессоры, которые жрали много энергии. Диск и беспроягрешное центробежное сжатие пришли потом.

Мы все объяснили на пальцах. Кому интересно, тот прочел. Кому неинтересно — пропустил.

Идем дальше. Дальше нормально — про войну и про любовь, характеры, конфликты, все, что положено, все как у людей.

В ресторане гостиницы сидели люди и разглядывали тех, кто вновь приходил.

Еда шла вяло, музыки еще не было, и новенькие проходили под взглядами тех, кто пришел раньше, как члены президиума на сцену. Официант показывал им, куда сесть, и они тоже начинали глазеть на новичков, притворяясь старожилками.

— Все как на совещании, — сказал Сапожников. — Специалист от неспециалиста отличается тем, что раньше за столик сел.

У Сапожникова глаза слипались.

Барбарисов сказал, что пить не будет, но потом сказал, что будет пить. Сапожникову хотелось спать, и скатерть была как фанера, и салфетка фанерная. Да еще галстук. Он опять начал носить галстук. Он думал: «Вот, может быть, музыканты придут, тогда я встряхнусь».

— Пошли с нами в гости, — сказал Сапожников официантке. — Мы куда-нибудь пойдем, и вы с нами.

— И еще «Столичной» бутылку! — прокричал Барбарисов, потому что стало совсем шумно.

— Мало, пожалуй, — сказал Васька.

— Я пить не буду, — сказал Сапожников. — Я засну.

— Я по гостям не хожу, — сказала официантка. — Я дома сижу. Мне гости — вот они у меня где, гости. Сегодня КВН будут показывать. Наш город с соседним сражается. Капитаны, капитаны, мы противника берем улыбкой в плен... «Столичной» не будет, будет «Российская». А вы веселые.

— Ну, как ты ко всему этому относишься? — спросил Сапожников у Барбарисова.

— Все прекрасно, не кисни, Сапожников. Все прекрасно. И минеральной парочку... Мы напишем манускрипт, и все будет прекрасно.

А потом они наперебой стали говорить официантке комплименты в развязной форме и выпендривались друг перед другом.

— У вас что, неудача какая-нибудь? — спросила она.

— Мы сами этого еще не знаем, — ответил Барбарисов.

Тогда она ушла. Ноги у нее были красивые, бедра у нее были красивые, и все посетители провожали ее отрицательными глазами.

— Знаем, — сказал Сапожников. — Скорее всего удача. Но противная. Мы доказали свое «я». Всех там расколошматили, и решено продолжать работу. Хотя и они и мы понимаем, что никто больше этим заниматься не станет и нас спустят на тормозах. Правильно я говорю? И самое главное — я рад, что все рухнуло. Только времени жаль и самолюбие страдает.

— Не только времени, — поправил Барбарисов.

И видно было, как он жалел, что связался с Сапожниковым и поставил не на того коня. Ему было стыдно, что он так опростоволосился, и поэтому он улыбался ласково. И еще его раздражало, что Сапожникову было наплевать на поражение.

ние. Получалось, что Сапожников не тонул, и Барбарисов не стоял на берегу, и сочувствовать было некому, и от этого Барбарисов был не в порядке. Получалось, что Сапожников всех облапошил — не страдает, и точка.

Конечно, совещание кончилось крахом всей барбарисово-сапожниковской затеи.

— В одну телегу впрячь не можно коня и трепетную лань, — сказал профессор Филидоров. И Сапожников понял так, что трепетная лань — это Барбарисов или, в крайнем случае, он, Сапожников, но оказалось, что Филидоров имел в виду себя. Он лань. Потому что Сапожников в ответ на простые вопросы мямлил и раздражающе нарушал тон демократической бодрости и деловитости — папиросы «Казбек», товарищи, откройте фрамугу, короче, будем придерживаться регламента, Василий Федорович хочет сказать, не хочет? Переходим к следующему вопросу. А на вопросы сложные, где сам черт ногу сломит, где в загадочной полутьме мерцал профессор Филидоров, освещая собравшихся улыбкой чеширского кота, — на эти вопросы Сапожников отвечал с легкомысленной радостью и неприлично четко. И вот пожалуйте: Филидоров — трепетная лань.

— Товарищи! Товарищи! — сказал председатель, покосившись на Сапожникова. — Не будем переходить на личности.

И Сапожников понял, что его обозвали конем. «Эх, если бы так», — взгрустнул он и неожиданно приободрился и вдруг объяснил собранию то, что его мучило всю дорогу. Что он пас и что если идея сама себя не может защитить, то вся эта затея, в которую он влез с Барбарисовым и на которую он, Сапожников, возлагал столько надежд, гроша ломаного не стоит. Лично он пас. Все это было хорошо раньше, когда он надрывался до обмороков и гнал к сроку листы, листы, чуть ли не молился по ночам, чтобы очередное влиятельное лицо обратило к ним свое влиятельное лицо, и сам, теряя надежду, старался пробудить таковую у Барбарисова, который, поскуливая от ужаса, учил его жить.

— Ты игрок, — говорил Барбарисов. — Ты игрок, а я инженер.

— Я человек, — говорил Сапожников, — а ты...

— Инженер, — быстро и упрямо говорил Барбарисов, чтобы не дать произнести Сапожникову какое-нибудь непоправимое слово.

Разве растение знает, зачем оно привлекает бабочку? Не то страшно, что человек произошел от обезьяны, страшно, если он ею останется.

Почему история человечества наполнена воплями изобретателей? Что это? Почему? Почему изобретению сопротивляются именно те, кому оно должно принести пользу? Почему любое изобретение, любое, не выполнить в одном экземпляре, не поставить в кунсткамеру, пусть оно работает вхолостую и будет всегда под рукой на случай промышленной нужды? Почему, черт возьми, губят веру патриота в то, что отечество любит его при жизни, а не после смерти?

— Если сильный человек знает, что он сильный, — это еще не сильный, — сказал Васька. — Вот если сильный не знает, что он сильный, тогда он сильный.

— Я бы с вами пошел, — сказал Барбарисов. — Мне даже очень хочется. Но надо позвонить домой. Я могу это сделать из вашего номера, Вася?

Освободился Сапожников, и теперь его в бутылку никакими заклинаниями не загонишь и не заманишь.

Заиграла музыка, и Сапожников очнулся от сообразительности.

За их столом уже давно сидел профессор Филидоров со своими. Толя — кандидат наук. И сочувственно-спокойный Глеб. Как будто и не они сегодня утопили абсолютный двигатель Сапожникова — Барбарисова, впрочем, теперь уже только Сапожникова.

— Вы же прекрасный электроник, — сказал Филидоров. — Мы же с вами встречались в Северном, помните, несколько лет назад? Зачем вам понадобилось лезть в термодинамику?

— И в литературу, — сказал Глеб. — Вернее, в фантастику... Сапожников не электроник. Он народный умелец. Он книжку написал «Механический мышонок». Про машину времени. Не читали?

— Нет. Фантастика не литература, — сказал Филидоров. — Фантастика — логическая модель, разбитая на голоса. Для оживления.

— Восемь, — сказал Сапожников.

— Не понимаю.

— Восемь лет назад мы встречались. Я помню точно, — сказал Сапожников. — Я не электроник, я наладчик. Я обслуживаю весь белый свет.

— ...Все объемно, — сказал Толя, кандидат наук, когда уже охрипли от спора. — Только объем и есть.

— Строго говоря, объема тоже нет, — неожиданно сказал молчавший до этого Сапожников.

На него посмотрели озадаченно.

— Вихри, — сказал Сапожников. — Вихри есть... Система пульсирующих вихрей... возникающих в потоке праматерии... вытекающей из пульсирующего центра вселенной... А дальше еще не знаю.

— Да-а? — длинно спросил Толя. — И давно вы до этого додумались?

— Давно, — сказал Сапожников. — В сорок седьмом году додумался...

До этого момента разговор шел довольно мирно.

Барбарисов уехал в Москву, а Сапожников собирался ехать завтра с археологами.

Эпоха индустриализации кончалась, и Барбарисов никак не мог поверить, что научно-техническая революция относится к нему иронически. Но впереди брезжила эпоха, которой еще имени никто не придумал, ей понадобятся несурзные люди вроде Сапожникова, если, конечно, они к тому времени не передохнут в райских садах квантовой механики и теории информации. Но есть серьезное предположение, что выживут.

А вот и немецкая певица. Она как бы шла навстречу Сапожникову, производя впечатление неустойчивости. Она состояла из туфель, длинных ног, длинных бус, длинной шеи, длинного лица, длинных серег, короткого платья и волос, и вся эта неустойчивая постройка покачивалась и пела под музыку немецкую песенку про Унтер-ден-Линден и голубей. А впереди нее пели девицы, такие хорошие девчата, если смотреть на всех сразу. А по отдельности Сапожников смотреть не хотел. Как помотришь по отдельности — проблемы.

Сапожников в балете больше всего любил кордебалет, ансамбли любил, толпу на улице. Когда он разглядывал вид, у него появлялась мечта о человеке, а когда сталкивался с индивидом, эта мечта помаленьку усыхала от реальных поправок. А в жизни, как и в поэзии, важна не ученость, а мудрость.

Мудрости не хватало Сапожникову. Вот в чем штука. А как мы с вами понимаем, на каждом уровне знания своя мудрость, важно, чтобы они совпадали по времени и по фазе. Иначе беда.

А теперь знаменитый эсградный певец пел и разливался, и вслед Сапожникову летели слова «в синем просторе», «корабли», «космос», «жди», «очи любимых», «плещет волна», «клубится», «Экзюпери»... Сапожников подумал, что, если бы певца звали Пупсин или Антилопов, он бы не был так популярен.

Так давайте же веселиться, по крайней мере. А веселье-то

все скучней. «Улыбку дарит мне», — пел Пупсин. «С солнцем я и ты», — пел Антилопов. С чего бы это? Не с того ли, что перспектив у веселья не видно? Сапожников помнит — веселье было как перышко на ветру, передышка между боями, как ласточка той весны, которая придет после ледового побоища, как обещание. А теперь веселись каждый день, войны — нет. Так вот веселишься, веселишься, да и заплачешь. Ну, тут как тут лезут из щелей пьяные тарзаны и вопят у пивных: «Раньше лучше было!..» Это когда же раньше? Когда война? Когда живых людей убивали?

Вот и выходит, что для хорошей жизни никто не готов. Потому что как ни определяй хорошую жизнь, а не уйдешь от того, что хорошая жизнь — это когда приятно. Еда есть, крыша над головой, одежда — что еще? Искусство? Ну конечно, это дело великое. Дело-то великое, да великого сделано пока мало. Как же выглядит все-таки хорошая жизнь? Позанимался физкультурой, конечно, бегом от инфаркта, стишки почитал — и все? Как же все-таки выглядит хорошая жизнь?

Нужно, чтобы ты мне нравился до смерти, а я тебе, а мы бы с тобой остальным, а остальные нам. Если мы друг другу не понравимся, как же мы хотим, чтобы нам жизнь понравилась? А ведь не нравимся мы друг другу. Вот правда. А если нравимся, то на минутку. Короткое дыхание у нашего дружелюбия. Вот правда.

— Ученые все думают, как с нами поступить, — сказал Сапожников, когда притащил конфеты. — Но сегодняшняя мысль всего лишь рациональна. Ей проблемы не охватить.

— Что же вы предлагаете? — спросил Филидоров. — Возврат к природе?

— Нет, — сказал Сапожников. — Нужен возврат к природе человека счастливого.

— Хомо сапиенс — это человек разумный... А человек счастливый по-латыни как будет? — спросил Толя.

— По-латыни я не умею, — сказал Сапожников.

— Хоть бы соврал что-нибудь красиво, — лениво сказал Глеб, — а мы бы поверили, что так может быть, и попробовали бы сделать. А то умничаешь, умничаешь. Сплошное «Горе от ума». Всякое горе — от ума. (И тогда Сапожников впервые на него внимательно посмотрел.) Чересчур вы все умные. Поэтому Софья и выбрала Молчалина, а не Чацкого.

— Это верно, — сказал Сапожников. — Софья выбрала Молчалина, а Нина Чавчавадзе — Грибоедова.

— Не надо, — поморщился Глеб. — Не надо.

«Почва вокруг меня была иссушена. — Сапожников на ми-

нуту перестал слышать разговор. — Но я протянул свои корни, и они нащупали свежую почву. И вот в этот момент мои корни встретились и сплелись с их корнями...»

— Меня всю жизнь грабили и спасибо не говорили. А когда я хотел давать, вот как сегодня, у меня не брали. Прощайте, — сказал Сапожников.

Сапожникову казалось, что все это происходит не с ним, а в какой-то книжке, которую тихонько читаешь на уроке и можешь отложить, когда станет страшно, и выйти на перемену, когда зазвенит звонок. Но звонок не звенит почему-то.

Когда садились в поезд, Сапожников был уже совсем хорош.

Мы ждем, когда на товаре будет написано «окончательно-замечательно», и толпимся у одного прилавка. А на соседнем стынут другие, которыми неизвестно как пользоваться.

Понимаете? Это рассказ о человеке, который изобрел, как надо изобретать, и считает, что это может делать каждый.

ГЛАВА 24

ЗАПАЛЬНЫЙ ШНУР

Конечно, институт — это институт. Там мозги взбудоражены, и заодно еще там и учатся.

Но в институт полагается поступать после школы, а не после войны.

Сидят рядом с тобой на лекции чудные собой ребята, все умные, все попали в институт, всё могут вычислить и тебя уважают. Весь первый курс уважают, а перед весенней сессией не очень уважают. Стыдно фронтовику шпаргалки в столе перелистывать. Почему стыдно — неизвестно. Но стыдно. А провалиться нельзя. Лишат стипендии. А лишат стипендии — будешь искать халтуру, иначе не выжить. А найдешь — ее придется делать на совесть, даром не платят. А учиться когда? Уже следующая весенняя сессия тишиной звенит. А тут еще гонор у вояк — наши не хуже ваших; вы можете, и мы можем. А что можем? Зубрить? Но ведь это же невозможно — зубрить? Зубрить невозможно! Нельзя сначала вызубрить жизнь, а потом жить! Уже есть справочники на все случаи жизни, а что понадобится, запомнится само! Помнить без доказательств надо только таблицу умножения, а все остальное надо понять.

— Ньюра!

- Ая?
- Ты в колдовство веришь?
- Во что?
- Колдовство есть? — спросил Сапожников.

— А как же!.. — ответила Нюра. — Колесо вверх по дороге покатилося. Или бочка. А то еще свинья в овсах... Свояк верхом ехал вечером и на нее наехал. Он ее палкой, а она в подворотню. Просочилась... А у соседки утром синяк. Это еще в Калязине было... Колдовство свое колдун перед смертью через веник передает... А то еще соседская бабка четыре дня маялась, помереть не могла. Две доски в потолке выломали — через два часа отошла... Если нож в притолоку воткнуть, то колдунья из гостей выйти не может... Я еще девушкой была, случай был... она взмолилась — отпустите, девки. А девки не знают. А брат вернулся, нож вытащил. Она взяла сумку и вышла... У колдунов, как чирей, назревает зло. Чтобы избавиться — делают зло. Чирей лопаются. Если колдун со зла чего хочет — ничего не выходит, если ласково — зло получается. Алферов Иван ягненка в лесу подобрал, на лошадь положил, лошадь потеет. Смотрит — ноги у ягненка по земле волочатся, тонкие выросли. С лошади скинул, выстрелил — его нет... А у Печатновых было: сука при пахоте прыгает, лошадь за губы хватает. Печатнов встал, тпру! — а это его жена обернулась. Она могла. Ножи разложит, через них перекатится — пестрая собака...

- Да-а, — сказал Сапожников. — Ты специалист.
- Чего это ты? — обиделась Нюра.
- А что?
- Ругаешь меня... А за что?
- Разве я ругаю? Я сам на специалиста учусь.
- Зря ты это, — сказала Нюра. — У нас специалистами жуликов обзывали. Или, может, я не так сказала?
- Не знаю, — сказал Сапожников. — Еще не разобрался... Нюра, а сколько тебе лет?
- Точно не скажу. Надо в паспорте поглядеть, — сказала Нюра. — Считаешь, устарела?
- Да ты что?
- Вот и я говорю. Вроде бы не должна. Я как в баню пойду — на тело самая молодая. Представляешь?
- Нет, — сказал Сапожников.
- Почему же?
- Не хочу.
- Вообще-то правильно, — задумчиво сказала Нюра. — А то мечтать про меня станешь.

— Хватит, Нюра, хватит.

— А что такого? Про меня все мечтают. Только я теперь — все. Я теперь Дунаеву верная жена. Он воевал. Нельзя. Бог накажет.

— Зачем про это говорить?

— Про все надо говорить, — сказала Нюра. — До войны я была блудница, а теперь наоборот.

— Святая, что ли? — спросил Сапожников.

— Не... — сказала Нюра. — Святая — это вроде как из другой губернии... Тебе колдовство-то зачем?

— Да вот зубрить надоело. Может, колдовать начать? — сказал Сапожников и пошел на семинар.

— Да подожди ты!.. Говори, доктор Шура!

— Еще раз... Теория говорит — если две частицы тождественны, то различное положение в пространстве не может служить основанием для их различия. Их нельзя различить. Следовательно, они представляют собой одну частицу, одну и ту же частицу, но находящуюся одновременно в разных местах.

— Что «следовательно»? — спросил Сапожников и вдруг захохотал.

— Уймись.

— Значит, если Глеб не может различить издалека, кто из нас с тобой идет, по какой стороне улицы, значит, это я иду по обеим сторонам? Так? Или ты идешь по обеим?

— Лучше ты, — сказал Глеб.

— Сапожников, — еле сдерживаясь, сказал доктор Шура, — запомни. Твоя старая элементарная логика здесь не годится.

— Годится, — сказал Сапожников. — Очень даже годится... Не годится только ее идиотское применение... Если получился идиотский вывод, следовательно, надо изучить факты, из которых он получился.

— Да пойми ты! Саму логику надо менять! — закричал доктор Шура. — Старая логика отражает старый опыт. Да и то возникали неразрешимые парадоксы.

— Например?

— Пожалуйста. Парадокс Зенона. Летит стрела. Значит, в микроскопическую дозу времени она неподвижна. Как же из суммы неподвижностей получается движение? Вот тебе и логика.

— Почему же из суммы неподвижностей? Неподвижна она будет, если я рядом с ней лечу, а для всех остальных она

в любой момент движется. Не бывает неподвижной летящей стрелы. И логика тут ни при чем.

— Ну хорошо, а Буриданов осел?

— Что Буриданов осел?

— Стоит между двумя одинаковыми стогами сена. Он может подохнуть с голоду, так как не сможет выбрать.

— Это теоретический осел не сможет. Живой осел возле сена голодный не ходит.

И так далее. Без конца. Весь институт. Все пять курсов и диплом. Сапожников ни в какие построения не верил, если их нельзя было представить себе наглядно. А это считалось устарелым способом мышления, и потому Сапожников от порога был устарелый.

Это было время, когда кибернетика считалась исчадием, а к генетике относились хуже, чем сейчас к сексологии и тем более к кожному зрению и Атлантиде, не говоря уже о неандертальской цивилизации, камнях Икки и летающей посуде.

Компания подобралась большая, из разных институтов, физтехи, университетские биологи, из ГИТИСа были, историки из педагогов, Якушев Костя из Суриковского.

Ну, ГИТИС — это поприще. Играют «внимание». К кому угодно. Хорошо пьют. Легенды из жизни Чехова (актера, конечно) и Комиссаржевской. Суеверное почтение к физикам. Бросает сигарету в раковину (Убей меня! Ведь ты умеешь это делать! Убийца! Убийца! Во мне нет больше жалости! Кх, кх), стреляет из двух писголегов — она мертвая падает в его объятия, — вполголоса проговаривает ремарку. Ну, и из системы Станиславского кое-что. Тут все понятно. Живых людей изображают. А как же! С суриковцами сложней. Костя Якушев у физиков и биологов спрашивает:

— Ребята, что такое цвет?

Ему отвечают:

— Мы тебе потом скажем.

А сами не знают. То есть они-то думают, что знают, а на самом деле не знают. Они думают, что цвет — это свет, а свет — это волна и частица. Эйнштейн с Бором договориться не могли, чего же от студентов требовать? Студенты как семинаристы — верю, ибо это абсурдно.

— А зачем тебе? — спросил его Сапожников.

— Не могу с фотографией разобраться, — сказал Якушев. — Цветное фото видел недавно. Лицо как живое. Зачем же мне руками делать то, что аппарат может?

— А ты не делай, — сказал Сапожников.

— А как портрет писать?

— А не пиши.

— Хочется.

— А почему хочется?.. Для художника натура — толчок. Запальный шнур. Художник-то картину сочиняет.

— Конечно, — сказал Якушев. — При удаче получается колдовство. Только редко получается. Как бы почаще?

— Кому не хочется, — сказал Сапожников.

Доктор Шура был биолог. Барбарисов — конструктор. Но главный, конечно, был Глеб.

Глеб был чемпионом во всем и курил трубку.

Глеб улыбался и хорошо жил. Он был высокий, и вокруг него всегда теснились. Он был немногословный, и несмотря на то, что казался умным, он и был умный.

Но ум у него был другой, чем у Сапожникова, и другой, чем у других. Он умел сделать так, что все старались ему понравиться. И раздражало, что Глеб разговаривал с Сапожниковым ласково. Уже тогда принято было хлопать Сапожникова по плечу. А Глеб не хлопал. Потому что Сапожников говорил при нем, как при всех. А с Глебом так не полагалось. Если кто-то пробовал, его остальные съедали. Еще бы! Этак каждый начнет! Но и под крыло Глебу Сапожников не шел. И несмотря на то, что на все вопросы Глеба отвечал откровенно, однако не волновался от этого. И получалось, что Сапожников кому хочешь будет отвечать так же, а это опять раздражало, и Глеб улыбался.

Мама вздохнула:

— Хочу тебе напоследок сказать...

— Перестань... почему напоследок? — сказал Сапожников.

Мама переждала, когда он утихнет.

— Тебе нужна женщина, — сказала мама, — которая бы о тебе заботилась... А ты влюбляешься в женщин, о которых ты сам желаешь заботиться. Это твоя постоянная ошибка... Трудно тебе будет.

— Ма, а разве нельзя, чтобы оба заботились друг о друге? — тихо спросил Сапожников.

— Это один случай на миллион, — сказала мама. — Тогда тебе будет еще трудней.

— Слушай, какая любовь? — сказала Сапожникову знакомая женщина. — Очнись! Обучили вас, дураков, на нашу голу.

— Кого обучили? — спросил Сапожников, тупо глядя на ботинок, который держал в руке.

— Скажи, а тебе самому врать не надоело?—спросила знакомая женщина.— Вот ты сейчас сидишь на кровати и ботинок держишь... Что ж, ты ко мне любовь испытываешь?

— Нет.

— Правильно... Дай закурить... Спасибо... Хорошо, что правду сказал... Я думала, не осмелишься... А по правде, ты сейчас думаешь одно— как слинять от меня так, чтобы я не разозлилась и опять в гости пустила.

— Так ее с самого начала у нас не было,— сказал Сапожников.

— Кого?

— Любви.

— А-а... — сказала она. — Понятно. Дурачок ты. А ее и нигде нет... А хочешь, я тебе любовь мигом организую?

— С кем?

— Со мной, с кем... Вот давай на спор? Не пущу тебя в гости, скажу— устала, работы много. Потом ты придешь, а у меня другой сидит, и мы оба смеемся. Ну?

— Что?

— Врешь, заревнуешь... Любовь— это когда кусок хлеба высоко висит, а ты допрыгнуть не можешь... А допрыгнул, голод прошел— ты на хлеб и смотреть не станешь, дайте севрюжки. Любовь, она либо с голоду, либо с жиру. А когда все в норме— никакой любви нет.

— Значит, нельзя любить человека, который рядом?

— Нельзя,— сказала она. — Баб ты не знаешь. Бабе одной страшно и перед другими бабами стыдно, бабе дом нужен— муж, дети, это ясно... А когда все есть и она еще в теле— ей одного мужика мало. Вот, к примеру, выйди Анна Каренина замуж за Вронского без помех— она бы ему первая рога наставила, а уж тогда бы он под поезд кидался.

Вот такой разговор был.

Холодно стало Сапожникову. Потому что на всеобщем свинстве, если его признать нормой, мир держаться не может. Если пропадет последняя вера, что человек рядом с тобой не подведет, а если подведет, то это случайность, трагическая авария, если поверить, что свинство— это норма, а все остальное иллюзия, то детей нужно будет разводить в колбах, никому лично не нужных детей, не нужных друг другу, детей энтропии и распада, детей хаоса.

Нет. Искать надо. Что-то тут не так, дамочки.

Правда, она, конечно, правда. Но правда еще не истина, а только ее малый обломок. Видно, и бабе не только постель нужна, когда она человеком становится.

А что ей нужно? Что человеку нужно?

— Так что же это за система, до которой ты додумался? — спросил Глеб.

— Третья сигнальная, — сказал Сапожников. — Я так назвал. А можно как-нибудь еще...

— А двух тебе мало? — спросил доктор Шура.

— Подожди, — сказал Глеб. — Первая заведует ощущениями, грубо говоря... Вторая — речью. А третья?

— Вдохновением, — сказал Сапожников.

— Оно случайно и ненадежно. Зачем тебе оно?

— Для нетривиальных решений.

Тут как раз телевизоры стали продавать. «КВН». Экран большой, величиной с открытку. Все видно. А ходили слухи, что когда-нибудь экран еще больше будет. Передача несколько раз в неделю. Хорошенькая девушка программу объявляет. И чуть улыбается. Сразу пошел слух, что ей выговор закатили за кокетство с экрана. Потому что вошла в каждый дом и улыбается. Влюбились, конечно, все. Кто такая? Тайна. Еще бы! Было как чудо. С экрана, живьем, одному тебе улыбается. Сапожников подумал: «Переворот полный... Душа эпохи меняется...»

Над ним смеются:

— Чудак. Так и насчет кино тоже думали — эпоха. А дело свелось к обычному развлечению. Чтобы было куда вечером пойти.

— Ребята, ребята, это все другое... Это станет как книгопечатание, а может, еще важнее.

— Чушь! Книги остаются, а эта — показали, и нет.

— На пленку можно снимать.

— Дорогое удовольствие. Никакой кинопленки не хватит, — сказал Барбарисов. — Да еще проявка, печатание, тираж...

— Сапожников, мы топчемся на месте, — вмешался Глеб. — Подкинь завиральную идею. Я так и не понял: ты за нормальную логику, с одной стороны, а с другой — за всякую зврику, озарения, вдохновения и прочее.

— Зря вы против вдохновения, — сказал Костя Якушев. — Оно есть. Это вам любой живописец скажет... Вдохновение — это когда пишется.

— И все?

— Когда не пишется — кистей десять перемажешь, и все мимо. А когда пишется — одна грязная кистенка из палитры торчит, патлатая, а на холсте — колорит...

— Вдохновения не должно быть, — сказал доктор Шура. — Если допустить вдохновение, наука не нужна.

— Почему? Наука — это знание, — сказал Сапожников. — А каким способом его добывать — дело десятое. Лишь бы все подтверждалось...

— Значит, ты теперь гений? — спросил доктор Шура.

— Ага, — сказал Сапожников. — И ты... И остальные... Только ты мешаешь своей третьей сигнальной системе действовать, как ей положено.

— А ты?

— Стараюсь не мешать.

— А что ты для этого делаешь? Сдвигаешь брови? Собираешь волю в кулак? Напрягаешься, в общем, — так? Пыхтишь?

— Расслабляюсь.

— Ну, а дальше?

— Не скажу.

— Почему?

— Вы безжалостные, — сказал Сапожников. — У вас не получается.

— Ну ясно, — сказал Глеб. — Сошествие Сапожникова в Марьину Рошу.

Остальные улыбались.

И Сапожников впервые увидел, что у Глеба огромные зрачки, как будто он глядел в темноту.

— Ладно, не злись, — сказал Сапожников. — Вот Барбарисов сказал, что киноплёнки не хватит, если с телевизора снимать. А зачем она?

— То есть?

— Если свет превратить в электрические импульсы... ну как в фотозкспонометре...

— То что?

— То их можно записать на магнитофонную ленту и, значит, можно снова воспроизвести — будет изображение... А можно стереть ненужное... Представляете? Лекцию читают Ландау и Капица, а записывают кто хочет, а потом воспроизводят... Глеб, давай заявку подадим?

— Уволь.

— Почему?

— Это невозможно.

— Разве я не логично рассуждаю?

— Рассуждений для заявки мало. Это одно. А потом, если такая простая мысль пришла в голову тебе, будь уверен, пришла еще кому-нибудь... И если этой штуки нет, значит, почему-то не получается... Жизнь коротка, Сапожников. Логично? Жить надо. А не заниматься выдумками.

— Нет, — сказал Сапожников. — Не логично. Если не заниматься выдумками, жизни не будет. Мы сейчас все живем, потому что кто-то занимался выдумками. С тех пор как у человека мозг, жизнь и выдумки — это одно и то же, Глеб... Глеб, а хочешь, я еще чего-нибудь придумаю? Например, вечный двигатель? Нет, не пугайся. Не такой, который энергию берет ниоткуда, а который откуда-нибудь... Ну, вроде ветряка, что ли? А, Глеб? Или придумаю, как лечить рак?.. Или решу теорему Ферма?

— Братцы, — сказал Костя Якушев, — а за что вы Сапожникова ненавидите?

— За это, — сказал доктор Шура.

— Ну что ты, Костя, — сказал Глеб. — Нам просто горько смотреть, как у Сапожникова живот растет. А ведь был такой стройный.

— Нет... Раньше я живот втягивал, а теперь выпячиваю, — сказал Сапожников. — Чтобы штаны не падали... Штаны у меня без ремня, вот поглядите... Глеб, ты очень ладный и красивый. Ты похож знаешь на кого?

— На кого?

— На Николая Первого... Шучу, шучу... Николай к способным людям плохо относился, а ты сам еще не знаешь, как ты относишься, правда?

— Зато Пушкин еще при жизни устарел, — сказала Мухина, искусствовед из хорошей семьи. Она присматривала Глеба в мужья.

— Заткнись, — сказал Глеб. — А лучше — пошла вон.

Мухина не обиделась.

А Сапожников замолчал. Странная и нелогичная к разговору мысль вдруг пришла ему в голову. Ему почудилось, что Глеб должен умереть какой-то удивительной смертью. Так и получилось много лет спустя, но до этого еще была бездна времени, и в эту бездну много чего унеслось, и поэтому она мелькнула как один день. И когда они снова встретились с Глебом, оказалось, что ничего не изменилось между ними. Потому что оба как сразу поняли друг друга, так и дальше пошло. Они только себя не могли понять — тянет их друг к другу или отталкивает.

Ну, тут как раз институт кончился.

Шесть лет армии, да пять лет не тот институт, да восемь лет неудачного брака — это сколько будет? Девятнадцать лет из жизни долой. Из жизни в том смысле, что можно было их потратить на дела более продуктивные. А как об этом узнать заранее? Разминировать планету надо было или нет? Надо. Учиться систематически надо? Наверно, тоже. Профессия есть профессия. Жениться надо? Вот тут логика спотыкается. Черт его знает. Надо, наверное. Но только как-то не так. А как?

Каждая любовь — это исключение.

А что такое исключение? Исключение — это первый звонок завтрашнего правила. Или вчерашнего. Вот тут и догадайся, почему от исключения отмахиваются.

Идеи плясали, как искры над костром. Не заметил, как начал глеть торф под ногами, уползал в сторону подземный пожар. И вдруг в стороне мелькнули языки пламени, и вот уже золотая сосна детства стоит в оранжевых лохмотьях и сажа летит черными ласточками. Эгей!! Где мое детство, золотые кони заката и рассвета? Почему зима на дворе и ничего нельзя изменить? Уходят милые, уносят клочки сердца, и догорает золотая сосна.

Перед смертью мама подозвала его, и он сел на стул возле кровати.

— Я умираю, сынок, — сказала она с трудом. — Больше не могу... Ничего не говори.

Сапожников ничего и не мог сказать, даже если бы старлся.

— Тебе неинтересно знать, что я чувствую?

Сапожников пытался продохнуть лютый комок.

— Я хочу тебе рассказать... чтобы, когда ты будешь умирать, ты бы меньше испугался.

Сапожников много раз видел, как умирали — и мгновенно и медленно. И, может быть, еще больше читал об этом. Да нет, конечно, больше читал, чем видел. Потому что, когда он видел смерть, он был занят смертью или собой, а когда читал — думал о том, что читал, то есть жил. Но он никогда не читал и не видел, чтобы умирали так, чтобы другие не испугались того, что им тоже предстоит.

— Это не страшно, сынок... Я знаю — что-то во мне скоро оборвется...

Пятно солнца ползало по мухам, по стене. Гудели дальние городские машины.

— Мне кажется, я знаю, почему мне не страшно... Я никогда не жила для себя.

Мухи готовились жить вечно, потому что у них не было сознания.

— Ма...

— Прогони их... — сказала мама.

Сапожников взял вафельное полотенце со спинки кровати и махнул по солнечному пятну. Мухи воскрылили к стеклянному абажуру и, покружив, вылетели в открытое окно. Сапожников сел на пол у кровати.

— Пришел в себя? — спросила мама.

Сапожников кивнул.

— Мы не мухи... — сказала мама. — Сынок, спустись вниз... там у забора... нет... заборы давно сломали... Там в зеленой траве всегда росли желтые одуванчики... нарви... принеси мне...

— Да, мама... — сказал Сапожников.

И кинулся из комнаты, из квартиры вниз по лестнице, из дома.

Рвал желтые нежные цветы и скрипел зубами.

Обратно он шел медленно.

Пока его не было, она вдруг села на кровати и попросила свою театральную сумочку. Ей не отказали. Она вынула оттуда и раскинула на одеяле листочки с выцветшими песнями и романсами, которые уже давно никто не пел, и начала сперва тихонько, потом все громче петь. Эти песни. Одну за другой. Голос ее становился все громче и страшнее. И все вышли из комнаты. А потом что-то щелкнуло у нее в горле. Голос превратился в хрип. И она медленно повалилась обратно на подушку. Хрип был равномерным, как дыхание.

Сапожников вернулся.

— Мама, — сказал Сапожников, — это я...

Но она его не услышала. Кто-то отобрал у него одуванчики.

— Агония, — сказал врач.

Она длилась долго. Потом прекратилась. Отец услышал тишину и крикнул что-то. Потом замолчал. И все остальное время молчал. Разговорился в похоронном автобусе. И говорил все время в крематории. А потом ушел. И Сапожников увидел его не скоро.

Ночью скрипнула дверь. И дед вошел в квартиру. А в коридоре лампочка не горит.

— Доигрались, — зловеще сказал дед.

Вся квартира спала. Застучал и выключился холодильник. Потом дед прошлепал к себе в комнату. Опять загудел и выключился холодильник. И вдруг стало ясно, что он действительно дед. А раньше только посторонние люди в троллейбусе иногда называли его дедом, а все близкие называли его отцом.

Утром его увезли в больницу. А Сапожников переехал к Дунаевым. Прошло полмесяца, и отец стал выздоравливать от инфаркта. И был любимцем всей палаты. Однажды ему принесли чаю. Он взял стакан, не прерывая рассказа о делах давних и блистательных. Потом сказал:

— Ах...

И уронил стакан.

— Не надо, — сказал Дунаев Сапожникову, — он легко отошел. Всем бы так.

— Жил как хотел, — сказала Нюра. — И умер как хотел. Никто ему не судья. И больше о смерти не будем. Не надо об этом.

Нюра включила радио.

Передача, в которой пародировали гениальную песню из «Шербурских зонтиков», называется «С добрым утром». Но это ничего, ничего, Сапожников разносторонний. Он был рад послушать эту песню даже в пародии. С Сапожниковым так было всю жизнь. Шекспира он впервые узнал от пародиста в концерте, и Евангелие тоже, «Веселое евангелие» называлось. И все самое великое ему приходилось выковыривать, как изюмину из сухаря.

ГЛАВА 25 ЧУЖАЯ УЛИЦА

Ну, значит, приехал Сапожников домой из триумфальной поездки с проектом двигателя, и стало ему непонятно, как быть.

Коты в этом году начали завывать гораздо раньше, чем обычно, хотя весна не горопилась и ветры дули такие, что выбивало слезу. Но это по ночам. А днем казалось, что весна уже вот-вот.

Что же касается голубей, то они изгадили все подоконники и уже не воспринимались символом мира, а тем более прогресса.

В пятницу утром позвонила Сапожникову жена Барбарисова:

— Короче, сегодня вечером идешь в гости.

— Куда это?

— К Людмиле Васильевне... Ты ее знаешь. Ты ее видел у нас в гостях. Очень милая женщина. Сорок один год, незамужняя, заведующая научно-технической библиотекой. Ты ее прекрасно знаешь. Ты ее видел у нас. Она удивительная хозяйка. Будет тебе хорошим товарищем.

— Так это свататься идти, что ли?

— При чем тут свататься? — крикнула жена Барбарисова. — Посидеть вечерок, поболтать. Я ей сказала, что ты просишься к ней в гости. Хватит с нас выдумок. Для мужа моего это нехарактерно. А все твои несчастья из-за выдумок. Я рада, что вы провалились... Впрочем, я тебе добра желаю.

Ночь за окном.

Мокрый снег. Огоньки непогашенных окон. Сто дорог прошагал я по этой земле! Это стихи. Или так: а снег все падает и падает, а снег на камушки садится, и ничего не видно впереди. Или так: хорошо бы лежать медведем и всю зиму лапу сосать. Или так: стучат дожди по черепу дороги, цыганский полк запомнил путь.

— Вы романтик, Сапожников, — сказала Людмила Васильевна.

— Да, — подтвердил Сапожников. — Я люблю луну как явление природы, Изабеллу Юрьеву и шпроты. Чем это так воняет у вас в коридоре?

— Это сосед жарит осьминогов, — сказала Людмила Васильевна.

Где-то играют скрипки, где-то пекут оладьи. Каждый живет как может, хочет прожить до ста. Только вот я, бродяга, жизнь не могу наладить! Господи ты мой боже, до чего я устал!

— Я тоже, — сказала Людмила Васильевна.

Но потом она его пожалела. Все ж таки он сидит в незнакомой квартире, неженатый мужчина, а у нее груди вздымаются, и себя ей жалко, потому что коридорная система, на входной двери звонков-пуговок как на баяне, семь почтовых ящиков для газет и общая кухня с кафельным полом. Правда, в комнате у нее мебель красного дерева, островочек культуры, а если с сапожниковской комнатой сменить вместе на двухкомнатную отдельную квартиру, то одежда у нее есть зимняя, демисезонная и

летняя, а чулки можно будет подкупать, лучше сразу несколько пар, вдвое экономнее выходит; чаю, правда, хорошего не достанешь из-за конфликта с Китаем.

По чердаку кто-то все время ходил, топал и скрипел песком. Может быть, это ловили весенних котов, а может быть, это выживший из ума старый вор перепутал эпоху и по довоенной привычке хотел уворовать с чердака белье, хотя уже давно пропала интимная атмосфера чердака, где сушилось белье и валялись обломки сундуков и фисгармоний. Чердак стал сухим и официальным.

«Ну а дальше что?» — подумал Сапожников.

— Вы, наверно, думаете, что вы еще молодой? — сказала Людмила Васильевна.

— Сейчас посмотрю, — сказал Сапожников и встал из-за стола. Но подошел не к зеркалу, а к распахнутому окну посмотреть в черное стекло.

Серый пепел луны. Татарская гармонь за окном. У ворот псы болтают конечностями.

— Я не романтик, — сказал Сапожников. — Я социалистический сентименталист. Карамзинист. Ибо пейзажи тоже чувствовать умеют. Я бедная Лиза.

— Простудитесь, — сказала Людмила Васильевна.

В новой квартире нужен трехламповый торшер, а на стенку Хемингуэя. Белье дома не стирать. Ни в коем случае. Только прачечная.

— Людмила Васильевна, когда вы приходите на пляж, в Серебряный бор, и видите много молоденьких девчонок в бикини, вам никогда не хочется расстрелять их из пулемета? — сказал Сапожников.

— Из чего?

«Нет-нет, — подумал Сапожников. — Никаких художеств. Скука, конечно, не двигатель прогресса, ну а с другой стороны, зачем он, прогресс-то?»

Вот мы и прожили еще один год, дорогой Сапожников. Теперь вы катаетесь на каруселях и кушаете мороженое пломбир. Ах, почему вы не остались таким наивным и не верите, что все образуется? Мой век! Что происходит? Пришла пора говорить прямо».

— Вы, наверное, считаете меня обывателем? — сказала Людмила Васильевна.

— Нет, — сказал Сапожников. — Что вы!

— А я и есть обыватель, — сказала она. — Пока вы тут

сидите и маетесь, соображаете, как вам со мной от скуки не умереть, когда мы поженимся, я прикидываю, чем мне вас кормить, чтобы вы с голоду не подохли и не растолстели до противности.

— Ну и ну, — сказал Сапожник.

— А вы как думаете? — сказала она. — Жена — это профессия. Я смотрю на вас и смеюсь, а вы думаете, что это вы надо мной смеетесь.

— Я над собой смеюсь.

— Вижу. Но это все равно надо мной... Думаете, вот я и становлюсь таким, как она. Жизнь кончилась, женюска я на ней, и будем тлеть вместе... Мне в войну один мальчик стихи написал: «Эти звезды сгорят над городом, расцветет на годах седина. Будут жены таскать за бороду за излишнюю стопку вина. Будем жить разговорами, слухами, будем вместе качать внучат. Ты, красавица, станешь старухой, я с годами стану ворчать. А мечты о высоких материях, те, которыми жил и гадал, будут вместе с душой потеряны в невозвратных лихих годах...» Так вы считаете?

— Примерно так.

— Вы прогрессист! — торжествующе сказала она.

— А что плохого?

— Вот я сижу и думаю — образование у нас одинаковое, ума у меня не меньше вашего.

— Вижу, — сказал Сапожник.

— Вообще-то я из вежливости... — сказала она. — А на самом деле я умнее вас раз в десять... Вот я женщина, можно сказать, баба, я сижу и думаю: не знаю, какие были прогрессисты раньше, а теперь прогрессист — он какой? Он теперь не думает. То есть он-то уверен, что он думает, а на самом деле он свои интересы выдает за мысли.

— А кто не так? — спросил Сапожник.

— Все так. Только мы не притворяемся.

— Это кто «вы»?

— А вот которых вы обывателями называете. Мы и говорим — мы хотим обывать, то есть жить, а не докапываться до смысла, зачем живем. Будет жизнь — она сама докопается. Радоваться хотим. А для прогрессиста слеза — как горчичка к сосиске, а он изображает из себя печальника за человечество. Очень любит он горестные истории. Выслушает прогрессист горестную историю, крупная слеза выкатится у него из очей, скользнет по ланитам и упадет на эти, как их... на перси.

— А вы язва, — сказал Сапожников.

— Уж не взыщите... Всплакнет прогрессист после горестной истории и пойдет себе восвояси... А в этих своясях у него электричество, водопровод, газ, телефон и сидячая ванна... И после горестной истории все это ему дорого и мило, и горестная история ему как рюмка водки перед обедом. Разденется он, произнесет вечернюю молитву из Гёте — лишь тот достоин счастья и свободы, кто каждый час идет за них на бой, — накроется одеялкой, и прогрессивный сон до утра. А расскажи ему, как человек всю жизнь радовался, несмотря на бедствия, в глазах у него только словечко «та-а-ак»... и ты уже отлучен. Доказывай потом, что ты прогрессист... А ведь хочется. Неудобно как-то. Прогресс все-таки...

И Сапожникову стало неудобно, что он прогрессист, но потом он подумал, что, может быть, он все-таки не прогрессист, и он сказал:

— Вот вы говорите — любовь и голод правят миром, ну, может, не говорите, это все равно. Думаете так. А я бы хотел вас спросить — а куда? А в какую сторону они правят корабликом, который мы называем мир? Вот сидел у костра пещерный дядя, и мы сейчас смотрим про него телефильмы... Но он уже запускает ракеты в космос. Неужели он этого достиг только с голодухи и оттого, что нашел партнершу по вкусу? Не чересчур ли простое объяснение, дорогая Людмила Васильевна?... Жрать и сливаться в экстазе могут и мухи. Но у них есть эволюция, а у нас только история... Не пора ли внести в эту формулу насчет любви и голода еще третий элемент — тягу к необыденному? Что с вами?

Людмила Васильевна отвернулась, всхлипнула, приложила к глазам чайное полотенце, потом повесила его на спинку стула, вытянула нижнюю губу и подула снизу вверх, чтобы глаза просохли и краска не потекла, и сказала поглубевшим голосом: «Нас не понимают» — и у Сапожникова стиснулось и заныло сердце — он сразу вспомнил.

— А я знаю, жизнь важнее ее смысла, — сказала она. — А вы все анализируете, все разбираете, разъедаете... Все проклятый ваш анализ. Разбираете дом на кирпичи, а потом жалуетесь, что дует...

Да, дует. Все вспомнил Сапожников, когда сидел у Людмилы Васильевны, хорошей женщины. Ветер такой идет по миру, что выбивает слезу. И не в горестных историях тут было дело, то же самое и со смехом бывает.

Смеется человек, а потом догадывается, что смеется по чужому заказу, потому что боится оглянуться на жизнь, которую прохотал не своим смехом. И впору заплакать или сглотнуть пулю и хоть тем остановить свой смех, похожий на закаты-вающийся гогот человека, которого щекочут до смерти.

А он очень старался понять, честно, как голодный: искусство, техника, биология, история, отношения — во всем хотелось разобраться, подвергнуть анализу, объяснить.

Пока не затлел торф под ногами.

— Заходите как-нибудь еще, — сказала Людмила Васильевна.

— Ладно, — сказал Сапожников. — Я вам подарю портрет Эйнштейна или Шаляпина... а может быть, Жана Габена. Можно еще Есенина... На выбор, кого хотите.

— Я повешу его над сервантом, — сказала она.

Сапожников нахмурил брови, освоил космос, заплатил за квартиру, разбил фашизм, побрился, упустил жизнь и вышел на улицу.

На улице он понял, что, в сущности, еще не жил. А так как он много раз еще не жил, то он решил зайти к Барбарисову, потому что чувствовал нелюбовь от их семьи, которая накатывала волнами. Сапожников любил нарываться. Он знал причину их раздражения. Они считали, что для носителя истины он выглядел чересчур несерьезно. Чересчур много всего в нем было наворочено. Его никто всерьез не принимал.

У Сапожникова было много идей, но он их не скрывал, потому никто его и слушать не хотел. Серьезными идеями не бросаются, их приберегают для себя, а несерьезные — кому они нужны.

Так Сапожников и ходил по жизни с очередной своей идеей, болтающейся изо рта, и был похож на повешенного.

У всех делались сонные глаза, когда он приближался. А уж жена Барбарисова — та человек и вовсе деловой. Что мужу полезно, то и хорошо. А Сапожников такого накрутил в своей жизни, что сам черт не разберет. Жена Барбарисова — человек четкий, и запах ненадежности ей ни к чему. У них с мужем одна задача — вести свой парный конферанс в жизни так, чтоб не освистали. А для носителя истины Сапожников выглядел до безобразия несерьезно.

Как она могла любить Сапожникова, если слышала,

как он, вместо того чтобы поведать, как было у Людмилы Васильевны, сказал:

— Я бы хотел идти ночью по улице, а в домах горят окна. И чтобы я зашел в любой подъезд, поднялся по лестнице, и позвонил в любую дверь, и сказал хозяевам: «Здравствуйте. Я — Сапожников. Можно, я у вас в гостях посижу? Я обещаю любить вас весь вечер и постараюсь быть не скучным».

— Я бы тебя сразу выперла, — сказала она.

— Это потому, что ты не знаешь, что такое счастье.

— Я не знаю?! Ну ты, конечно, знаешь! Еще бы! Голодранец несчастный. Никак в себя не придешь, не угомонишься. Зачем опять все разрушил? Зачем от Людмилы отказался? Она бы тебя из дерьма вытащила. Ну? Отвечай, зачем?

— Зачем? — я ответить не могу. Могу ответить — почему.

— Ну?!

— Так надо.

— И все?

— И все.

Она хлопнула дверью. Закачались бомбошки на люстре. А Барбарисов спросил, понизив голос:

— Ты что же, действительно знаешь, что такое счастье? Ну, обрисуй, обрисуй.

И тогда Сапожников сказал:

— Туман шел клочьями через лес. Крикнула птица. Велосипедист приостановился и позвонил в колокольчик. Потом вытащил губную гармошку и протрубил сигнал «Солнечного зайчика»...

Барбарисов сказал: «Н-да...» — и хотел добавить в смысле «и все?», но жена крикнула из-за двери:

— Ты слушай его, слушай! Он тебя образует... дрянь неблагодарная! Барбарисов, сделай звук потише, я по телефону говорю!

Барбарисов погасил звук в телевизоре. К роялю подошел певец в манишке и разинул рот. Он все надувался внутри манишки и разевал рот.

— Включай! — крикнула жена. — Можешь включать!

Появился звук.

— Скорей на балкон! — закричал певец, взмахнул руками и попытался взлететь. Но не взлетел.

— Это он про Нисетту, — сказал Сапожников. — Чтоб на балкон шла. Про Альпухару и гитару. Слова и музыка не скоординированы с поведением артиста...

— Это тебе не балет, — сказал Барбарисов.

На экран выпорхнула балетная пара. Он был в трико, она в шароварах. Некоторое время балерина, разминаясь, ходила вокруг партнера и примеривалась. Потом разбежалась и вскочила на него. Но он не поддался и отшвырнул ее. Но она снова кинулась на него и вцепилась как клещ. Тогда он стал бороться с ней, пытаясь ее стряхнуть, но она не уступила. Сколько он ни швырял ее, ни крутил по воздуху, ничего не получалось. Тогда ему ничего не оставалось, как унести ее за кулисы и там прикончить под вой труб и фуканье барабана.

— А ты знаешь, жена права, — сказал Барбарисов. — Насчет Людмилы Васильевны.

— Да, права, — сказал Сапожников. — Но и я прав.

Сапожников вернулся домой. Он не раздеваясь заснул и плакал во сне.

... — Кто живой? — спросила Рамона. — Эй, кто живой?

Никто не откликнулся.

Тогда Сапожников подошел к ней, тихонько опустился в воронку и сказал ей на ухо:

— Рамона...

Галка оглянулась.

— А ведь мы с тобой вдвоем остались, — сказал Сапожников.

— Вдвоем, — согласилась Рамона. — Теперь у нас пойдет хорошая жизнь. Как на курорте... Детей мы эвакуировали, мужчины наши убиты, бояться нам нечего...

— А дальше что?

Галка пожала плечами.

— Будем пугать фрица, пока сможем, — сказала она, — а дальше помрем.

— Страшно? — сказал Сапожников.

— Я знаешь почему в разведку пошла? — спросила Рамона. — Потому что всю жизнь боялась.

— Ты?! — изумился Сапожников.

— Ага... — сказала Рамона. — Я всегда за кого-нибудь боялась. За детей, за чужих жен и мужей, за солдат, за командиров... Когда им что-нибудь угрожает, у меня в кишках холодно... А когда я одна — тут я становлюсь ловкая. Меня теплую не возьмешь. За себя чего бояться? Со мной ничего сделать нельзя. Убьют? Так ведь мне незаметно будет. А в плен захватят, станут пытаться?..

Что ж, боль, она и есть боль. Потерплю сколько смогу, потом буду кричать. Громко... Главное, не боюсь ни хрена. — Тут она выматерилась и сказала: — Извини. Распустились мы на войне. У вас, наверно, девушки не матерятся...

— Еще как, — ответил Сапожников. — И женщины и дамы матерятся накрашенными ротиками, простота нравов.

— Хуже страха нет ничего, — сказала Рамона... — А ты испугался.

— Нет! — сказал Сапожников.

— Факт, испугался. Слушай, — сказала Рамона нежным своим и глуховатым голосом, — мы выиграли войну... Неважно, что я не дожила, но мы выиграли войну, отвечай?

— Да.

— Да, мы выиграли войну, — сказала Рамона. — И я вижу знамя над рейхстагом и фашистские знамена в грязи на мостовой... Знаешь, почему мы выиграли войну, а они проиграли? Потому что нас спасли будущие, еще не рожденные дети... Если бы не они, нам бы не выдержать! Стреляй! — крикнула Рамона. — Стреляй, пока есть пули!

Началась стрельба, и рассвет стал лимонный и лихорадочно-прекрасный.

— Запомни! — крикнула Рамона. — Нам без них не выдержать, но и они без нас пропадут!..

Тут стрельба кончилась, и рассвет опять стал глядеть серым глазом, налитым слезой.

— Давай гляди, — сказала Рамона. — Сейчас снова пойдут... Что-то больно тихо.

Она приподнялась поглядеть, и в нее попала пуля.

— Ах, — удивилась она и повалилась на бруствер.

Подполз Сапожников.

— В воронку меня не клади, — сказала Рамона. — В ней воды пол-лопатки. Дай здесь полежу. Меня отсюда не видно.

Язык у нее стал заплетаться.

— Рамона, когда ты умрешь, мне что тогда делать? — спросил Сапожников.

Она вдруг сказала совершенно отчетливо, с силой:

— Иди! Иди и скажи им... История складывается из наших биографий. Какие мы — такая история. Другого материала у нее нет!..

И голова ее откинулась. Сапожников взял автомат и пошел по полю, ничего не боясь.

«Рамона, — думал Сапожников. — Ваня Бобров. Цыган. Танкист. Я не знаю, где вы похоронены! Поэтому я хожу

сюда, к большой стене! Считается, что это могила неизвестного солдата. Нет! Это могила солдата, известного всему свету!..»

Сапожников открыл глаза и долго курил в темноте.

ГЛАВА 26

МЕХАНИЧЕСКИЙ МЫШОНОК

В жизни Сапожникова готовился поворот.

Собралась как-то вся прежняя компания, которая собиралась в институтские еще времена, а потом естественным путем распалась. Много лет прошло, как они расстались. Кого вирус пришиб, кого жены, а кого лавина в горах. Поредела компания.

Доктор Ника погиб в снежной лавине. Это совершенно случайно узнал Сапожников от аспирантки-психолога и засуетился, затосковал, стал по телефонам звонить. Все загрустили и собрались. И Сапожников пришел, смотрит — он такой же облезлый, как все, а потом смотрит — да нет же, это ему показалось, никто не облезлый. Подняли тост за тех, кого нет с нами, выпили за тех, кто есть с нами, за плавающих и путешествующих.

— Как же это Ника? — жалобно спросил Сапожников.

— Судьба прибрала.

— А куда? — спросил Сапожников.

— Перестань.

— Нет, я бы хотел знать, куда уходят люди? — настаивал Сапожников.

Но ему деликатно не отвечали.

Только постепенно заводились.

— Ну и как твоя третья сигнальная? — спросил Барбарисов, чтобы разговор перевести.

И все вдруг замолчали. Каждый замолчал сам по себе и не думал, что замолчит сосед. А когда оказалось, что замолчали все, стало ясно, что это главный вопрос, который хотела выяснить старая компания. Ничего не забывшая и ничего не упустившая из прошлых дебатов и прошлых уколов самолюбия.

— А что вас интересует? — спросил Сапожников.

— Существует она или нет.

— Существует.

— А где плоды?

— А это кто? — Сапожников кивнул на даму.

— Это Мухина... Не узнал? Помнишь, она училась в ГИТИСе на актерском. Она теперь художественный критик.

— Обучает, значит?

— Ага... Якушев выставил картину, а она его разнесла. Подошла Мухина и посмотрела на Сапожникова.

— Он меня не помнит, — сказала она.

— А-а... кикимора, — сказал Сапожников.

— Почему кикимора? — испугался Барбарисов. — Не дурачься.

— Это я выступала о детском рисунке, — ухмыльнулась Мухина. — По телевизору... Сапожников, поговори с женщиной.

И села рядом.

— Ты не помнишь, Сапожников. Я из хорошей семьи и муж из хорошей семьи... Но он меня не любит. И никогда не любил...

— Делов-то... — сказал Сапожников. — Ну а ты-то его любила?

— Это неважно.

— Тоже верно, — сказал Сапожников. — А что важно?

— Важно, что Якушев сказал, будто у меня ноги кривые. Якушев! Зря на меня обижаешься! У тебя своя профессия, у меня своя!

— Цыц, — сказал Якушев. — Тримальхион.

Сапожников смотрит — а у нее правда ноги кривые. А до слов Кости были прямые.

— Костя... Якушев, — сказал Сапожников. — Ты талант.

— А здесь все таланты, — сказал Якушев. — Кроме нас с тобой.

Глеб верил в актерские способности. Он верил, что, войдя в образ ученого, легче стать ученым, чем просто напрягаясь. Глеб был достаточно умен, чтобы не болтать о своем предположении, и так и жил. Но почему-то в его карьере наступил стоп. Вдруг он заметил, что на каком-то уровне с ним становятся только вежливы, а интерес вызывают совершенно другие люди, неспособные быть лидерами. Глеб был уверен, что талант, о котором все столько талдычат, это тоже облик, который можно сыграть, если понять, как его играть. Глеб мог бы простить Сапожникова, который догадался, как играть талантливого неудачника, и даже удачу ему бы простил. Но он не мог

простить Сапожникова за то, что тот утверждал, будто знает, как сделать любого человека талантливым. Любого! Черт возьми! Наступит инфляция — кому нужны таланты, если они станут шляться толпами? Кто будет им платить?

— Бесплатно будут работать, — утверждал Сапожников.

— Бесплатно работать — значит плодить паразитов.

— Придумают, как избежать паразитов. Глеб, а разве ты паразит?

— В чем-то да, — сказал Глеб.

— В чем-то и я паразит и все остальные. Но ты ошибаешься, мы с тобой не паразиты, мы с тобой симбионты. Симбионт кормится отходами своего партнера, а паразит самым партнером.

— Заткнись, Сапожников, ладно? — сказал Глеб.

Глеб потянул ноздрями, и ему вдруг почудился запах ладана. Как в детстве. На похоронах деда. Как будто весна, деревья голые еще. А на могилах первая трава. Только бумажные цветы, крик галок и запах ладана.

— Почему ты подумал о смерти? — спросил Сапожников.

— Помолчи, — сказал Глеб.

— Мне так показалось.

— Я тебя ударю, — сказал Глеб.

— А я тебя, — сказал Сапожников. — Почему ты все время думаешь о смерти?

— О чьей? — спросил Глеб.

— Я не знаю, — сказал Сапожников.

У человека сто сторон и миллион состояний. Каждым из своих ста тысяч боков он к чему-нибудь принадлежит. И не успеешь оглянуться, как ты уже систематизирован. Никак не хотят поверить всерьез, что человек — это штучный товар.

По Сапожникову выходило, что если не начинать с самого детства, то нельзя научить человека быть талантливым, чтобы он делал талантливые вещи, но можно научить его приходить в такое состояние, когда он делает талантливые вещи. Талант по-особому связан с миром. Значит, надо помочь ему эту связь не прерывать. Тогда мир вдохнет в него свое нетривиальное отражение.

Талант — редкость?

Кто это сказал? Кто утвердил? Кто доказал?

Практика доказала?

Какая практика? Какого народа? Каких времен? Времен унижения? Когда тысячи лет пережигали духовную энергию народа? Который не хотел трудиться на дядю Тримальхиона, потому что дядя Тримальхион считал его вторым сортом, развращая его идеалом своей судорожной и бездарной жизни, призывая сдаться поштучно и подчиниться скопом. Кому? Ну, это слишком хорошо известно, и это тоже — практика. Леонардо знал их лично, это было тримальхионово. Он их называл — проходы пищи, умножители дерьма, те, кто, кроме переполненных сортиров, не оставляет в мире ничего.

Мало того, что тримальхионы сжигали физическую силу народа, они пережигали его духовную мощь, убеждая народ в его бездарности. Это, может быть, самое страшное преступление. Убедить народ в его бездарности — значит закрыть перспективу.

И сейчас еще осталось это проклятие: талант — редкость и сборище талантов — элита.

Когда же поймут, что талант — это не чемпион и вовсе не дело таланта гонка по шоссе, где у одного лопнула шина и мимо него проносится потная орда.

Все видели ворон на снегу. Но только у одного родилась из этого «Боярыня Морозова». Надо ли поэтому заставлять художников глядеть на ворон? Чтобы получилась «Боярыня»? Нет. Так как, во-первых, незачем делать вторую «Боярыню», а во-вторых, даже у самого Сурикова «Боярыня» родилась при взгляде на ворону только в тот единственный блистательный миг, а в другой раз он прошел бы мимо, как всю жизнь ходил.

У человека в мозгу, видимо, теснятся образы. У кого теснятся, у кого нет.

Если нет — значит, он их заболтал.

У ребенка, практически у каждого, теснятся. Не успел еще заболтать. Талант — это способность не спугнуть образы (если приходят или вызваны чем-то) и начать с ними работу. А потом и пустить в дело.

Фотоотпечаток на пленке — это еще не образ. Это память. Материал для образа. «На сейчас» или «про запас». Образ — это не отпечаток, а переработка бесчисленных отпечатков и сигналов, и потому образ — это всегда открытие. И от нас зависит не отшвырнуть образ, а догадаться, в чем его открытие. Талант в том и состоит.

Образы есть и у собаки. Но в дело пускает их только человек. Это невидимый труд, который потом становится

видимым. Мудрец, когда описывал разницу между пчелой и архитектором, сказал, что позади труда обычного лежит «идеальное». Об этом почему-то предпочитают не помнить.

Труд действительно создал человека, но труд не по обработке камня, а сперва по обработке его образа. То есть физическому труду умственный труд предшествует. Потому что умственному труду предшествует сам материал труда — образ. Как физическому труду предшествует сам материал труда, подлежащий обработке, — камень, к примеру.

Человек зашевелил мозгами не тогда, когда применил камень — его применяли и животные, — а когда увидел образ камня в мозгу, на внутреннем экране, и понял, что может им манипулировать, в воображении. Мозг живой и продолжает работать, когда ты спишь. А образ — это самодейтельность мозга. Мы еще и сейчас боимся снов и стараемся понять, какое отношение они имеют к дневной жизни.

Воля — это торможение своих желаний или чужих. И человеческая речь возникла из повелительного наклонения. Спросите у лингвистов — глаголы в повелительной форме древнее всех слов. То есть речь мешает мозгу заниматься самодейтельностью. Ребенку не мешает почти.

Поэтому воля может только набрать материал, а образ приходит, когда воля спит... Хотя человек может бодрствовать.

Все люди видели ворон на снегу...

Гёте говорил: «Наше дело набрать хворосту. Приходит случай и зажигает костер». Суриковская ворона — это случай.

Вот к каким выводам пришел Сапожников.

— Ты чудак, — тихо и даже ласково убеждал Барбарисов. — Неужели ты до сих пор не понял, что дело не в том, прав ты или не прав, а в том, выгодна ли твоя правота или нет. Ты замахнулся на устоявшуюся шкалу оценок. Потому что если ты прав, то образование не нужно!

— Ты обалдел? Как это не нужно? — спросил Сапожников. — Информация не нужна?

— Придет талантливый вахлак и решит задачу, которая не по силам доктору наук. Кто тебе это простит? Вот возьми Мухину... Муж у нее из хорошей семьи, но не любит ее и никогда не любил, но она кое-что знает!

— Ни черта она не знает! — сказал Якушев.

— Неважно, считается, что знает, она думает, что она знает. Диплом есть диплом, звание есть звание.

— Она пышет злобой, но показать ее боится, — сказал Якушев.

— Да, она боится, — сказал Сапожников.

— Кто тебя боится, дворняжка ты... — сказала Мухина.

— И потому, Сапожников, у нее один выход — уничтожить тебя высокомерием...

— Тримальхион ваша Мухина, — сказал Якушев. — Вот кто ваша Мухина.

Мухина ушла. Хлопнула входная дверь.

— Совсем девушку обидел...

— Пошла отравлять колодцы, — сказал Якушев.

— Ты бы поостерегся, — предупредил Сапожников. — Пушкина убил не Дантес. Дантес — пешка. Пушкина убили бабы. Полетика, жена и прочие графини Хрюмины.

— Для этого ей надо признать меня гением, — сказал Якушев. — А это для Мухиной страшной войны.

— Кстати, кто такой Тримальхион? — спросил доктор Шура.

— Был такой один. В Риме... Лакей-вольнотпущенник, — сказал Якушев. — Спекулянт... Пиры задавал, чтобы его хвалили, — сволочь бездарная.

— Вернемся к третьей сигнальной, — сказал Глеб. — Вон сейчас сколько болтают об инопланетной сверхцивилизации... Предлагай нетривиальное решение, ну? Только сразу... Тогда поверю в твою третью сигнальную.

— Если сверх, — сказал Сапожников, — значит, могли до машины времени додуматься.

— Ну и что? — спросил Барбарисов.

— Тогда эти сверх могут быть нашими потомками... которые к нам навевываются иногда.

— Что? — сказал Глеб. — Забавно... Впрочем, чушь.

— Чушь! Чушь! Чушь! — сказал доктор Шура.

— Да дайте ему сказать! — крикнул Якушев. — Что за дела? Ни у него, ни у вас никаких фактов нет, но его предположение логичней.

— Логичней?!

— Он исходит из будущих возможностей, а вы из сегодняшних!

И опять стал молчать и сопеть над набросками.

— Значит, ты считаешь, что сверхцивилизация не будет к нам враждебна? — спросил Барбарисов.

— Наверно, не будет, — сказал Сапожников. — Если они нас угробят — их самих не будет. Ведь они наши потомки, а не мы их.

— Прилетать назад нельзя, — сказал Глеб. — Можно повлиять ненароком на свое прошлое и тем испортить будущее... У Брэдбери есть рассказ.

— Почему ненароком? — спросил Сапожников. — А если специально прилетят, чтобы изменить свое прошлое? Тогда у них жизнь изменится в желаемом направлении... Мы устроим их жизнь, а они нашу... Может, поэтому мы до них дозвониться не можем... Мы им сигналим в пространство, а надо во время, — сказал Сапожников и сам удивился.

— Передвижение во времени принципиально невозможно, — поправил Барбарисов.

— А ты докажи! — сказал Сапожников. И усмехнулся: — Ладно, забудем. Это все фантастика.

И тут же он увидел Скурлатия Магому, человека будущего, только очень смешного. Он был по-ихнему молодой и писал сочинение. И Сапожников понял, что сам уже пишет.

Сочинение Скурлатия Магомы:

«Утверждают, будто Великий Сапожников, основоположник науки, искусства и мышления последних тысячелетий, никогда на самом деле не существовал, а является фигурой вымышленной. Это утверждают только на том основании, что все сведения о нем получены нами из отрывков его жизнеописания, явно состряпанного, как считают гиперкритики, не раньше чем двести — триста лет спустя после описанных там событий.

Про Сапожникова следует сказать, что, если бы его не было, его бы следовало выдумать, хе-хе, как говорили древние.

*Скурлатий Магома, ученик 19-го класса
Высшей Начальной школы Московской области
3377 года нашей эры.*

Постскрипtum. Я, как и все ученики нашей конноспортивной школы имени Сапожникова, готов смотаться в 1977 год, чтобы проверить события, изображенные в жизнеописании. И прошу специального разрешения для общения с Сапожниковым. Поскольку я один из отстающих учеников, нет никакой опасности передачи ему слишком ценных сведений из нашего времени, потому что я сам не знаю ни фига».

Вскоре после Тримальхионова пира Сапожникову позвонил Барбарисов:

— Здравствуй, старик. Куда ты пропал?

— Я не пропал, — сказал Сапожников. — У меня сердце болит.

— Что так?

— Не знаю.

— А чем же ты занят? — спросил Барбарисов.

— Рассказ сочиняю... Финал не могу придумать, — сказал Сапожников.

— Рассказ?

— Ну да, байку, — сказал Сапожников. — Да ты помнишь... Про Скурлатия Магому. Слушай, что будет, если кто-то докажет теорему Ферми?

— Теорему Ферма... Ферми — это другое.

— Я знаю, я оговорился. Потому что Ферми тоже считал, что идея не созрела, если ее нельзя объяснить на пальцах... Так что же будет?

— Старик, эту теорему уже доказали для многих чисел, — сказал Барбарисов. — Вот жена хочет поговорить с тобой.

— А если для всех чисел? — спросил Сапожников. — В общем виде?

— В общем виде ее доказать невозможно. Это доказано.

— Доказано?

— Почти.

— А-а... — сказал Сапожников. — Почти... Вот я про это и сочиняю. Про почти.

Зачем пишут книги, стихи, музыку или картину?

Почему — более-менее понятно. Также непонятно, но все же понятно. А вот зачем?

Затем, что в глубине души живет у поэта тайная святая надежда повлиять на мир.

Он, конечно, понимает, что ни одна книжка не перевоспитала сукина сына. Сукины сыны почему-то не перевоспитываются. Либо они не читают полезных для них книжек, а может быть, эти книжки их еще больше злят. Либо влияние книжки так незначительно, что оно затухает сразу по прочтении. И все же идет постоянная святая работа тех, кому хочется изменить мир, чтобы он стал как материнская ладонь. Так почему же неистребима эта работа?

Помимо общей работы, помимо времени, которое все фильтрует и промывает, еще есть индивидуальная надежда. Она вот в чем. Никто не может дать гарантии, что не его слово окажется решающим, когда исполнятся сроки и понадобится последнее прикосновение, последняя пушинка на весах, чтобы воспрянул род людской. Поэтому работа должна быть сделана и продолжена.

Глеб приехал, и Сапожникову передали его просьбу прийти на демонстрацию механического мышонка, который почти что мыслит.

Но Сапожников на лекцию опоздал.

Сапожников гулко топал по цементному полу. Пол-то был паркетный, конечно, но казался цементным из-за своей вековой немытости. Куриный помет втерся в щели и был отполирован ногами паломников. Такие полы Сапожников видел только в раздевалках поликлиник и в суде. Наконец Сапожников по речке спустился к морю, пересек его, увертываясь от колонн и сдвинутых стульев, и вышел к противоположному берегу. У стола с выдвинутой трибуной и экраном, на котором испокон веку показывали только результаты и никогда борьбу, которая кипела в зале, то есть всю гибельную схватку страстей, затемнявшую познание истины, Сапожников увидел группу ученых забавников, которая во главе с Глебом возилась с механическим мышонком, который жужжал на полу и двигался по команде туда-сюда.

Взбунтовался Сапожников.

Надоело ерничать и шутовать. Надоело высмеивать самого себя и тайно лебезить перед профессионалами.

Специалист — это не господь бог. Это всего лишь квалификация. Но сама систематичность его знаний относи-

тельна. Кто поумней, сам это понимает и признает, да и системы пересматриваются. На то они и системы. И хотя каждая наука исходит из нескольких главных оснований, сама логичность ее выводов относительна и не может быть замкнутой и навеки законченной, иначе придется ее признать истиной в последней инстанции. Не может быть логически замкнутой системы даже в математике — на то есть теорема Геделя, который это доказал. Имеет право дилетант думать, не имеет права думать — кто должен это решать, кто арбитр? Ученого делает не звание и даже не знания — знания меняются, — ученого делает ум. Иначе все не в пользу. Наука не закрытый распределитель. Ну и будьте ласковы.

Да, Сапожников додумался до идеи, которая, оказавшись она верной, ставит на голову, а может, и на ноги множество сложившихся представлений. Ну и что плохого? Если идея верна — слава богу, нет — она усохнет на корню. Время покажет. Но если она верна, из нее вытекает множество интереснейших последствий.

Как только Сапожников догадался, что нет притяжения тел, а есть их сталкивание из-за внешнего влияния, скручивание во времяворотах, так ему сразу, хочешь не хочешь, пришлось ответить на основной вопрос философии — идеалист он, Сапожников, или материалист?

На основной вопрос философии Сапожников отвечал материалистически. Причина причин — бесконечная материя и ее развитие.

Но если материя бесконечна и она развивается, то никакого первого толчка, с которого все началось, быть не может, во-первых, потому, что и у первого толчка тоже должен быть толчок, то есть своя причина, а у нее своя и так далее, а во-вторых, если материя развивается, то развиваются и сами причины. Причины не стоят на месте.

Но из этого вытекало множество интересных последствий и насчет неживой материи и насчет живой.

Неживая материя, чем дальше в нее внедряются, тем более странно себя ведет. Электрон, например, перескакивает с орбиты на орбиту. Непредсказуемо ведет себя электрон. Появилось даже скоростистое мнение о «свободе воли» у электрона.

По Сапожникову же выходило, что он не исчезает и не объявляется, а просто распадается до полной (нынешней) невидимости, а потом снова собирается в очевидный электрон, но на другой орбите. Ну вроде как если

с вертолета смотреть на толпу на улице. Люди разойдутся и их не видать, а потом соберутся на другой улице на новый митинг.

А чтобы собраться на другой улице, у них на то были свои причины: либо у каждого свои — и тогда толпа на другой улице состоит из других участников, а первые разошлись по своим делам, либо это те же люди, но митинг перенесли на соседнюю улицу. Причины могут быть любые.

Причины любые, но они есть.

Или, к примеру, кучу песка подняло ветром. Песок не исчез. Он стал невидим. А потом снова упал в кучу в другом месте. Но для этого нужен ветер.

Казалось бы, все складно.

Но Сапожникову не нравилось сравнение людей с песком. Вот в чем штука. Не нравилось, и все тут.

Потому что между песком и людьми наблюдалось явное различие. И различие состояло в том, что песок был поднят ветром, а люди вроде бы сами разошлись. Сами — понимаете?

Если у механизма много степеней свободы, ну, скажем, палка на шарнире болтается во все стороны, то никакой воли у палки нет. Куда толкнут, туда и повернется. Она неживая.

А у живого, извините, кое-что не так. Конечно, ударь мышонка, он побежит в другое место. Внешние причины влияют. А как же! Но дело в том, что мышонки может побежать в другое место и не будучи ударен. Вы скажете, он побежит туда потому, что там приманка, то есть тоже причина внешняя? Это не ответ. Можно палку сделать железной и притянуть магнитом. Сходство явное. Сходство. Но не тождество. А разница в существовании дела. У мышонка было желание, а у палки нет.

То есть позади воли у живого — желание, а у неживого — нет.

Что такое желание, Сапожников, конечно, не знал. И полагал, что ответить на этот вопрос значит ответить, что такое жизнь. Но догадка потому и догадка, что она часто идет впереди знания. А верная она или нет — узнается на практике. Об атомах догадались прежде, чем их открыли. Об Америке, говорят, тоже.

Но если догадка Сапожникова верна и желание — это особое явление, то выходило, что и материя, из которой состоит живое, тоже особая материя.

Что такое эта особая материя, Сапожников не знал, но выходило так, что ее все же надо искать.

Где? Во времени.

И тогда Сапожников подумал: а, собственно, что такое время?

Он подумал об этом еще мальчиком, а потом всю жизнь испытывал на прочность эту идею, сталкивая ее с любыми новинками научной мысли, и все больше убеждался, что без материи времени никуда, а с ней, похоже, есть куда двигаться.

Когда Сапожников подошел, большинство его не заметило. Шло восторженное обсуждение. И слышались слова.

— Вы замечаете? Противоположные команды сбивают его с толку...

— Он хочет налево.

— Он хочет развернуться.

— Обратные связи... Все как в жизни...

Сапожников поглядел-поглядел на этого несчастного механического мышонка и понял наконец, кого больше всего напоминает этот мышонок — блюдечко на спиритическом столике, а вовсе не живого мышонка.

— Веселый охмуреж, — сказал Сапожников.

Все на секунду остановились, как на хоккее в видеозаписи, которую легкомысленно недооценил и высмеял Глеб, не догадываясь, что ей предстоит совершить переворот не меньше гутенберговского книгопечатания, а потом снова задвигались, разве что чуть более нервно.

— Веселый охмуреж, — раздельно повторил Сапожников.

Глеб слез со стола, на котором сидел боком, по-ямщицки, управляя своей лихой научной тройкой.

— Ну ладно. На сегодня хватит.

И пошел мыть руки. Сапожников пошел вслед за Глебом. Никто больше не шел.

— Почему же охмуреж? — не оглядываясь спросил Глеб.

— А потому, что ваш мышонок так же похож на живого, как блюдце.

— Какое блюдце?

— Спиритическое... «Он хотел, он повернул, он не может выбрать», — сказал Сапожников. — Ни черта он не хочет и не выбирает, потому что он машина, выполненная в виде мышонка, с чужой программой поведения. И ника-

кой он не мышонок, вполне мог быть паровозиком или столиком на колесах, это без разницы.

— Короче.

— Не в командах дело, не в рефлексах и обратных связях.

— Тебе уже не только Павлов мешает, но и Винер.

— При чем тут Павлов и Винер? Они же не описывали жизнь в целом, они изучали отдельные ее проявления. Они ученые, а не иконы.

— Ладно, дальше.

— Пока не поймут, что такое желание, не поймут, что такое жизнь, — сказал Сапожников.

— Ишь ты! — сказал Глеб. — Не меньше?

— Не меньше, — сказал Сапожников.

— Тогда подробней.

Сапожников рассказал.

Пока не узнают, что такое желание, не узнают, что такое жизнь. И никакие механические и кибернетические модели не помогут. Вот сделали искусственного мышонка и пускают его в лабиринт, датчики всякие чувствительные при нем. Он попытается туда, попытается сюда, найдет дорогу. У него же запоминающее устройство, и потому эту дорогу он сразу находит. Внешне все как в жизни, а по существу — ничего общего. Это как в ковбойской пословице: никому еще не удавалось силком напоить лошадь. Поэтому машина штука дрессированная, а живое существо — самодеятельное. А как же!

— И больше мне не попадайся, — сказал Глеб без всякой логики.

— Это ясно, — сказал Сапожников. — Так вот запомни, когда сам приползешь...

— Я? — перебил Глеб.

И они расстались.

И впервые после ссоры Сапожников увидел Глеба на совещании, когда профессор Филидоров громил его и теперь уже барбарисовский двигатель. Глеб был ласковый и улыбался, как улыбаются у них в научном зазеркалье чеширские коты. Запонки его мерцали, и Сапожников вдруг понял, почему он, Сапожников, проектирует этот провальный двигатель именно с Барбарисовым. Это ведь Глеб велел Барбарисову связаться с Сапожниковым. Вот так. В порядке старой дружбы.

Глеб ничем не рисковал. Если вдруг Сапожников придумал толковый двигатель, то Глеб участник-вдохновитель.

Если же нет — горит Барбарисов, ну и, конечно, Сапожников. Да, собственно, как горит Барбарисов? Ну, помог Сапожникову по совету Глеба разобраться. И все. Бредни, и все! Это блистательно доказал Филидоров.

Доказывал, доказывал, а потом вдруг устал, что ли, вытер лоб белейшим платком и сказал:

— Прошу сделать перерыв.

Филидорову дали воды, а Глеб смотрел на свои ногти.

Ну что ж, Сапожников, реванш так реванш. С видеозаписью Глеб ошибся, вышла промашечка, старая идея твоя оказалась триумфально верна. С мышонком Глеб тоже маленько перебрал, действительно жизнь оказалась сложнее и не состояла из рефлексов, по крайней мере очевидных, но вот с двигателем у Сапожникова полный затык и кранты, выражаясь научно. Ну и, естественно, идиотская идея вдохновения — чистая фантастика.

Вот так-то.

Сапожников вспомнил, как, возвращаясь из Киева, увидел на перроне Глеба, который предложил Сапожникову подвезти его, куда ему надо. Доктор Шура поехал с ними.

Когда они шли к машине, доктор Шура озабоченно спросил:

— Ну что слышно начет того?

— Насчет чего? — Сапожников думал, что это к нему.

— Пока ничего, — ответил Глеб и пояснил: — Затевется кой-какая лаборатория.

И Сапожников понял, что он им неинтересен.

А потом в казенной машине Глеб обернулся с переднего сиденья и объяснил Сапожникову все, что он думает о нем, о его двигателе и о его маловразумительных гипотезах.

Мы, конечно, могли бы рассказать здесь, какими доводами и в каком тоне разнес малограмотного Сапожникова Глеб, свирепый оппонент. Но скажем только о тоне.

...Как велел он ему внимательней читать книжки, хотя бы вузовские учебники, если уж ему другого понять не дано, и так далее... Как советовал ему повышать общую грамотность, а не дискредитировать науку дилетантским и нигилистическим к ней отношением, ну и прочее в том же знакомом духе.

В общем, высек Сапожникова как хотел. В науке это

как делается? Секущий делает вид, что раздражение его — от зряшной траты времени на пустышки. А на деле копни поглубже — обнаружишь раздражение житейское. Но кто в этом признается? Никто? Дураков нет.

Но Сапожников высеченным себя не почувствовал и спросил себя: означает ли, что всякий, кто выскажет предположение, которое другим в голову не приходило, непременно Коперник? Нет, конечно. Однако каждое, заметьте, каждое нетривиальное предположение должно быть рассмотрено, чтоб, не дай бог, Коперника не пропустить. Иначе нечего болтать о научно-технической революции, а надо так и говорить — престиж.

Потому что наука — это не девица, которую никто не хочет, так она всем надоела воплями о своей невинности, наука — это в конечном счете фило-софия, то есть любовь к мудрости, если перевести это слово.

Это о тоне.

Что же насчет научных доводов, которые оппонент привел против доводов Сапожникова, то они изложены в отличных вузовских учебниках, и желающие могут там с ними подробно ознакомиться. Однако ни в одном учебнике не сказано, что любой вопрос закрыт раз и навсегда. Нет там такого довода.

Все высказал Глеб, свирепый оппонент, и ему наконец полегчало. Сапожников сказал «ага» и попросил его высидеть. А продолжение этого разговора Сапожников вспоминать не мог, потому что ничего об этом не знал.

— А зря ты его так, Глеб, — сказал доктор Шура, когда поехали дальше.

— Чтобы всякий дилетант не лез со своими идеями. Только дешевая суета. Обнаглели.

— А мне его жаль.

— А науку тебе не жаль? А меня тебе не жаль? Два дня на него убил, а ведь у меня давление и своих дел полно.

— Тебя мне не жаль, — сказал доктор Шура. — У тебя была задача растоптать профана, а он думал, что нам от его идеи будет хорошо.

— Погоди, — сказал оппонент. — Ты еще меня поймешь. Тебе еще самому с ним придется столкнуться.

— Свят, свят, — сказал доктор Шура.

Но оппонент и здесь оказался прав — доктора Шуру это не миновало. Но это не сейчас. Об этом будет рассказано дальше.

А оппонент, расставшись с доктором Шурой, поехал к себе в институт, где он был почти главным, весь день занимался четкими делами, а потом, поздно ночью, вернулся в свой дом, расположенный напротив зоопарка, в свою квартиру. Зажег свет в комнате, хотел выпить чаю, но не выпил. Хотел зайти к жене, которая уже спала в соседней комнате, но не зашел. Хотел включить приемник, но не включил. Потом погасил свет и подошел к окну. А за окном была ночь и фонари и на асфальте — невидимые следы оппонента, ведущие к его собственному дому. На улице было очень хорошо, и оппоненту вдруг захотелось туда, в зоопарк, где моржи и где белые медведи печенья ловят. Но для этого нужно было дожидаться утра, а дожидаться было почти невозможно. Потому что где-то сейчас посреди Москвы брел Сапожников, который совершенно задаром хотел сделать, чтобы оппоненту было хорошо, и время бежало, и бежало, и было необратимо, и оппонент заплакал — да что толку?

— Ужасно это все... — сказал оппонент. — Ужасно... Ужасно, что я прав.

— Глеб, — позвала жена, — ты пришел?

— Нет еще, — сказал Глеб...

И на этом две параллельные истории из жизни Сапожникова — прошлая и нынешняя — сливаются в одну, и дальше, как говорят музыканты, оркестр играет тутти, то есть все разом.

ГЛАВА 27 ФЕРДИПЮКС

Была в свое время знаменитая фраза одного искусствоведа, который объяснил, как обезьяна стала прямоходящей, — «в этот момент руки обезьян потеряли почву под их ногами».

Нечто подобное, в переносном смысле конечно, произошло с Викой — когда она встретила на своем пути Сапожникова. Ей показалось, что горизонт от нее малость отдалился. Это первый признак того, что человек, как говорится, растет над собой.

Как ни странно, Вика была чем-то похожа на Ньюру. И еще, представьте себе, — на Рамону. Но как бы на Рамону в переложении для электрогитары.

Чем похожа? Сразу и не скажешь. Какими-то исходными данными, породой, что ли. Ну, а дальше все другое. Дальше — воспитание, индивидуальное развитие, эпоха — в общем, на какой грядке выросла.

Перед тем как на ее пути споткнулся и упал Сапожников, в ее жизни тоже наступил стоп.

Она в общем-то знала, что хороша собой, это знают с детства, в зеркало смотрятся и люди говорят. И еще она всегда помнила, что родилась в августе, да-да, в том самом августе, и что с того самого августа есть бомба, которая может однажды остановить жизнь.

И для нее эта бомба была всегда, и потому она торопилась жить, торопилась выйти замуж, развестись, торопилась получить профессию. Торопилась. А о другой жизни она знала понаслышке и не могла ее себе представить, потому что душа у нее созревала так же медленно, как у Нюры, хотя жизнь требовала скоростей, и фантазия ее еще не проснулась и не было прозрения, а вокруг были факты, факты, вращающиеся в водоворотах, по которым представить себе будущее невозможно, если нет ощущения потока, который эти водовороты создает, сталкивает и уносит вниз по реке, и, значит, надо торопиться жить, если тебе говорят, что ты хороша и желанна, иначе ты постареешь и будешь нехороша и нежеланна, и лучше не привязываться всерьез и не прислушиваться к внутреннему голосу, который говорит, что нельзя ускорить роды и бутон, раскрытый лапами, это еще не цветок, но уже труп, поэтому бутон лапами не раскрывают, и что надо жить со скоростью травы и в ритме сердца.

...Листья были еще зеленые, когда Сапожников ее встретил впервые и с трудом узнал по медленной Нюриной улыбке, и у него стало холодно в сердце, когда он понял, кого он пропустил в жизни и от кого унесло его время на двадцать лет вперед, в прошлое от ее тогдашних двадцати пяти. Сорок пять лет ему было, Сапожникову, и ни секунды меньше.

— Двуривенный меня смущает, — сказал Сапожников. — И ничего больше... Двадцать лет разницы... Ты подумала об этом?

— Я люблю тебя, — сказала Вика.

— Ты представь себе... через пять лет тебе тридцать, а мне пятьдесят... Ты однажды просыпаешься и видишь, что мои жубы в штакане лежат, — прошамкал Сапожников.

— Я люблю тебя, — сказала Вика.

— Вика... Вика... — сказал Сапожников. — Ты совсем промокла... Какой дождь.... какой дождь идет... а запах какой... это листья так пахнут...

— Я люблю тебя, — сказала Вика.

И Сапожников ловил ее дыхание, когда она закрывала глаза.

А Вика? Что Вика?

Странное это дело. Многими замечено и в быту и, наверно, в изящной словесности, что ежели двоих тянет друг к другу, то они все время случайно встречаются хоть у метро, хоть на ярмарке, хоть где. А не тянет, то и не встречаются. Объясняйте это как хотите, а мы не решаемся.

...У Сапожникова было детское впечатление, которое так и жило в нем все годы, и он никому об этом не рассказывал, потому что не мог понять, в чем его суть. Слушайте внимательно. Когда он подходил к морю, или реке, или пруду, где у берега качалась привязанная лодка, его самого начинало качать и сердце бухало от тайны и предвкушения. Он садился в лодку и чуть отталкивался рукой от берега. Гремела цепь и уключины, и все звуки были громкими и секретными, как шепот на ухо, который гремит для тебя одного и не слышен другим. И Сапожников отплывал на привязанной лодке, и это были самые лучшие секунды. А потом он отвязывался от берега и выгребал на вольную воду пруда, или реки, или моря и греб, греб, и ему становилось скучно, и он не видел, какой в этом толк, и не понимал, в чем тут дело. Он тогда еще не понимал, что, когда он садился в привязанную лодку, он собирался отплыть в другую жизнь, а когда отвязывался, выходило, что плывешь в другое место... Та же самая жизнь, только тесно и много воды. Земная программа и космическая. В земную грядку сажают семя моркови, и вырастает морковка. От земной грядки зависит, какая будет морковка — хилая или цветущая, но превратить морковку в другой овощ она не может. Это может сделать только вся Вселенная, а Земля — лишь малая ее часть. Иначе почему человек от века вглядывается в звезды и чувствует их некое значение для себя и ищет влияние? Он только не может догадаться, какое оно. И в любви так. Начинается как предчувствие другой

программы жизни, продолжается однообразие пути и заканчивается усталостью — лучше бы уж и не отплывал. И человек смотрит на звезды, и тоскует, и спрашивает себя — в какой неуследимый момент он потерял вселенскую программу пути и стал болтать веслами в соленой или пресной воде, — и ждет ответа. Но тоска сильнее недоумения, и каждый раз, когда возникает предчувствие, человек снова идет к берегу, будто хочет что-то вспомнить, и все пруды для него чистые, даже если они совсем маленькие и на них плавают прошлогодние листья и обертки от карамелек, а мимо них лязгают трамваи и весенние форточки хлопают в окрестных домах, потому что для космической дороги жизни всего-то и нужно — пара деревьев на берегу да качающаяся лодка на воде. И еще нужно замереть, как замер Сапожников, который вылез из Глебовой машины, пошел пешком по Москве, добрал до прудов и увидел, как Вика садится в лодку. Как в лодку садится любимая женщина. И непонятная судьба людей, которых тянет друг к другу, позволила ему подглядеть, как Вика перешагивала с берега на качающуюся лодку и села на сырую доску. Боже мой! Он потом гнал от себя это видение, а оно не уходило.

А она поболтала рукой в мокрой воде, потом провела по щеке — не то остудила лицо, не то согрела ладошку, а потом взялась руками за борта и так сидела, раскинув руки, будто ждала кого-то. А Сапожников смотрел и не подходил. Долго смотрел. Потом медленно подал ей руку и помог снова перейти на берег. Он это сделал, потому что хотел еще раз увидеть, как она перешагивает. Она наедине с собой была совсем другая и нежная. А на берегу поправила юбку и выпрямилась.

Кто из женщин не разглядывал себя в зеркале? Вика не разглядывала. Девочке, жившей в ней, чтобы хорошо выглядеть, надо было захотеть хорошо выглядеть, и Вика смеялась не зажмуриваясь. Когда она проходила мимо вас, казалось, ее сопровождает беззвучный топот скакуна. Она оборачивалась на зов, будто она амазонка и на скаку натягивает лук. Казалось, еще секунда, и они вместе с конем ринутся в пропасть.

Вольная воля в ней была. И ошибка.

Сапожников прочел однажды в старой книге про лошадей: «Совершенно особый отдел составляют русские лошади, выведенные искусственно, но под местным влиянием почвы, климата и ухода получившие особый, свойствен-

ный им, русский отпечаток». Иван Мердер. «Конские породы». Париж, 1895 год.

...А часы тикали недели, месяцы, годы. Вика была в расцвете и уходила все дальше от того, что было положено ей природой. Скорей, скорей! Выявить себя, реализовать себя, пусть уйти в сторону от своего пути, но освободиться горделиво, до конца. Никто не видел, не знал еще, но назревала трагедия амазонки.

И не у нее одной.

Ведь вместо того, чтобы искать связи, они искали разрыва.

...Сапожников, я догадалась... я всю жизнь шла к тебе. Я бегу, я бегу, я уже задыхаюсь от встречного ветра... Я двинулась в эту дорогу еще в детстве... Я забиралась на сундук в прихожей и ждала, когда придет сказка... В одну дверь я видела коридор и дальше окно, в другую — половицы комнаты, такие старые, что скрипели, если на них посмотреть... Я ждала... Мимо меня сказка не могла пройти... Но она просто не пришла...

Дунаевы принимали гостей.

Так уж давно пошло. Если у Сапожникова гостей больше, чем один, он бежал к Нюре:

— Нюра... понимаешь...

— Значит, так: смотаешься на рынок, возьмешь там (ну, и дальше, что взять и почему — по сезону)... А гостей сколько?

В этот раз гостей было не так чтоб много, но порядочно, два стула заняли в квартире напротив, у Александры Львовны из бухгалтерии. И гости важные, трое — профессор с заместителем и физик молоденький, звать Толя, но в очках, и со службы сапожниковской двое — ну, этих Нюра знала, такие же командировочные-транзитники, как Сапожников, — Фролов Генка и Виктор Амазаспович Вартанов, армянин, но говорит чисто, как русский, да еще женщина молодая, не поймешь с кем.

— Вика, — сказала женщина.

— Вижу, — сказала Нюра. — Точно... вика...

— Это растение такое, — пояснил Дунаев на тот случай, если б Вика обиделась. — Из семейства мотыльковых... Имеет пятизубчатую чашечку... Корни сильно развиваются в глубь почвы.... Очень полезная.

— Интересно, — вежливо улыбнулась Вика.

— Это последнее, что я у сапожниковского дядьки изучал, — добавил Дунаев. — Сапожников, принимай.

Вика улыбнулась медленно и прошла в комнату, вздернув подбородок. Сапожников встал со стула, снова сел. Толя поднялся с соседнего стула и усадил Вику. Сапожников притих.

— Ну, все, — сказала Нюра, глядя из прихожей. — Сейчас Сапожников спорить будет.

— Почему? — спросил Дунаев. — Может, еще обойдется...

— Девка больно хороша.

«Фердипюкс» — это слово в стихийном порыве родилось во время великого спора Сапожникова с Фроловым. Хотя все понимали, что причина спора Глеб и Вика. А профессор тут — судья со свистком.

Глеб пришел потому, что Филидоров пришел; Филидоров пришел потому, что Толя пришел; Толя пришел потому, что Вика попросила, Вика — журналистка, которой нужно взять интервью у ученых. И Глеб чувствовал себя репкой, которую в конечном счете вытащила из грядки эта красивая мышь. Первый раз Глеб сидел в компании, которая собралась не ради него... Он курил трубку «Пунте оро», набивая в нее «Кепстен» из жестяной банки, и чувствовал себя на сквозняке — без свиты, которая обычно делала за него черновую работу. А Вика эту свиту как бы отсекала. И приходилось самому доказывать, что король не голый. Но не в этой же компании!

Вику тоже чем-то задевал Глеб. Только она не могла понять чем. Чужой, в общем, человек, высокий красивый Глеб. Когда она на него смотрела, ей казалось, что, проходя на ахалтекинце коротким галопом по вольному шоссе, она заглянула в пролетающую «Волгу» сквозь ветровое стекло. Пролетели навстречу друг другу с удвоенной скоростью, и разнесло их в разные стороны.

Вика и Глеб холодно переглядывались поверх головы Сапожникова, и все понимали, что, как это ни смешно, между этими двумя идет борьба за душу Сапожникова.

Глеб разглядывал ногти, как отрицательный герой в детективе. И поддакивал Фролову. А Фролова эта поддержка унижала, как похлопывание по плечу. Вика записывала высказывания Сапожникова и не записывала Глебовых. Филидоров с Варгановым с высоко поднятыми бровями сидели на разных концах дивана, каждый у своего валика. А Толя улыбался и вертел головой — то на Сапожникова, то на Филидорова поглядит — как при помолвке. Нюра

входила и выходила и говорила что-нибудь мимо смысла, и голоса у мужчин становились низкими. Вика тогда бросала писать и старалась понять, как у Нюры это получается. А Дунаев посмеивался.

Вот такая психология.

Сейчас есть инженерная психология, и социальная психология, и еще разные отростки этой науки. А какая здесь была психология, когда на одном конце цепочки расположилась Вика, а на другом проживала Нюра, а все остальные — только перегруппировались?

Мы пока еще сознательно не говорили о психологии Сапожникова, потому что нам стыдно.

Вместо того чтобы думать о двигателе, он страдал оттого, что через часок-другой Вика уйдет. Когда он думал об этом, в спине у него начиналась боль, а когда не думал — боль начиналась снова. И тогда Сапожников видел, как Вика переходит в качающуюся лодку.

Глебу была неприятна возня вокруг Сапожникова, которую явно пыталась устроить Вика. Он спервоначалу было решил — начинается, пресса, дебаты о том — мученик Сапожников или нет, бороться ли обществу за его двигатель или сдать в архив. Это Глебу было совсем ни к чему. Изобретатели, хаотическое племя, от которого у порядочного исследователя тошнота. Но дело повернуло совсем в другую сторону.

Один из болельщиков понахрапистей — некий Фролов, бывший токарь, явно обиженный разговором, который, по мнению Глеба, был выше его понимания, вдруг перевел дискуссию в общую плоскость, где буйствует хаос амбиций и теряется всякая конкретность. Генку задело, что вроде бы получалось — есть обычные люди и есть особенные. И он, Генка, и Вартанов, и хозяева дома, Дунаевы, — обычные, а залетные профессора с секундантами — особенные. Вика не в счет, так — неандерталочка.

— Творчество, творчество... Творчество — это работать без халтуры, — сказал Генка. — Работай на совесть — вот и будет творчество. Совесть — вот и все творчество.

— Верно, — сказал Глеб.

И Генка осекся. Он животом, кожей, раньше говорили — фибрами души, чувствовал, что поддержка с этой стороны полностью корежит то, что он хотел сказать.

Совесть — великое слово, совесть по отношению к делу — может быть, великое вдвойне. Вся штука в том, что считать делом. Генка не мог объяснить, почему ему

нельзя объединиться с Глебом, но знал твердо — нельзя. И кроме того, он не знал, куда девать Сапожникова по этой раскладке.

— Гена, — сказал Сапожников, — ты на чем сидишь?

— Ну?

— На стуле сидишь?

— Ну, сажу.

— А кто изготовил?

— Мебельная фабрика. Мастер. Ну и что?

— Изготовил, — сказал Сапожников. — А придумал кто?

— А это одно и то же, — ощерился Генка. — А потвоему, стул — дело нетворческое? Так, что ли?

— Я работаю на стекольном заводе и выпускаю стакан, понял? И делаю это хорошо. Это ремесло, понял? — сказал Сапожников. — Или так: беру каплю расплава и начинаю выдувать пузырь и по дороге соображать — что из него можно сделать. Это творчество, понял? Стакан я планирую, заранее знаю, а насчет капли догадываюсь по дороге, понял? Прежде чертежа нужна догадка.

«Фердипюкс» — это слово такое, которое в стихийном озарении родилось во время великого спора Сапожникова и Фролова.

Глеб слушал напряженно, и все понимали, что он наконец дождался и нарвался и теперь его медленно раздевали.

И ничего Глебу поделать было нельзя. Ни уйти, потому что всем ясно было бы, почему он это сделал, ни вступить в спор — потому что не хотел он поставить себя с Генкой на одну доску, ни приказать замолчать — потому что в этом споре начальников не было. И оставалось ему только ждать, когда Сапожников с его тупой основательностью либо поскользнется на натертом полу расхожей публицистики, и тогда можно ему будет припаять образ мыслей, опасный для общества, либо вызовет стихийную социальную ярость Фролова.

Но покамест ничего этого не происходило, и Сапожников не давал спору возвыситься до уровня «а ты кто такой» и «наши не хуже ваших».

«Фердипюкс» — это слово такое. Им Сапожников предложил заменить слово «творчество». Поскольку слово «творчество» помаленьку начинает терять свой всякий смысл и ощущается только престижем и похвалой. И сказать про какое-нибудь дело, что оно не творческое, значит

оскорбить всех в этом деле участвующих и отворратить к нему стремящихся.

Вот Сапожников и предложил заменить слово «творчество» словом «фердипюкс» ввиду его явной противности. Чтобы тот, кто не умеет или не хочет делать кое-что без предварительного чертежа, не стремился бы к этому занятию только из-за клички «творец». Это же ясно! Одно дело сказать про человека, что он на творческой работе, а другое — объявить во всеуслышание, что он занимается фердипюксом. Кому это приятно? Фролову это было неприятно, и он как-то сразу скис.

Но Сапожников, который всю жизнь ехал куда-то и никак не мог доехать, обижаться ему не велел и заявил, что лично его вполне устраивает, если все будут знать, что он занимается фердипюксом, лишь бы езде в незнаемое не путали с ездой по адресу. И что обществу нужны и ремесленники, и фердипюксы, и если Фролова оскорбляет когда-то великое, а ныне затрепанное и уничижительное слово «ремесленник», то есть человек, знающий свое дело до тонкости и умеющий сделать нужную вещь, то Сапожников со своей стороны добровольно отказывается от престижной клички «человека творчества», то есть человека, имеющего не чертеж впереди, а убегающий горизонт, и согласен быть «фердипюксом», раз слово «творчество», бывает, приманивает бездельников на нужную обществу работу.

— Так против чего же ты все-таки выступаешь, Сапожников? — спросил Глеб и стал ждать ответа.

— Я не против. Я — за, — сказал Сапожников. — Я за ремесло и за фердипюкс.

— Ремесло — это стандарт. Стандарт противен, — сказал Глеб. — И мы со стандартом боремся.

— Это ужасно, — сказал Сапожников. — Ужасно, если вы победите. Но я думаю все же, что вы не победите. Стандарт — это великое достижение в технологии. Я хочу позвонить по телефону, чтобы мне на дом привезли телевизор «Электрон», а я бы его только включил и смотрел бокс, где Кассиус Клей делает что хочет с Фрезером, потому что Кассиус Клей фердипюкс, а Фрезер выполняет программу и каждый раз ошибается. А не хватать за локоть молодого продавца и жарким шепотом просить его подобрать за дополнительную плату телевизор «Электрон», но не жирный, а попостней и с мозговой косточкой.

— А если токарю надоест крутить гайку по чертежу?— спросил Глеб, ища союзника в Генке.— Тогда как? То есть ему надоест работать руками и он захочет работать головой? Тогда как?

— Во-первых, нет такого ремесленника, который бы не работал головой. Ты просто не пробовал, Глеб. Не путай стандарт и однообразие. А если ему надоест однообразие, он должен придумать, как сделать две гайки вместо одной, или придумать автомат для нарезки гаек, или придумать элемент, заменяющий гайку вообще. То есть перейти в фердипюксы.

— Я не хочу переходить в фердипюксы,— сказал Фролов.— Я хочу резать свою гайку. Я люблю однообразие. Оно успокаивает.

— Тогда о чем спор?— спросил Сапожников.— Я же знал, Гена, что ты не захочешь перейти в фердипюксы. Но ты, как и Глеб, почему-то считаешь, что в науке и в искусстве...

— Ничего я не считаю...— вызывающе сказал Фролов.— Почему ты объединяешь меня с Глебом? Я говорил о со- вести.

Так. Слово было сказано. Хотя и не Сапожниковым, но было сказано— объединяешь.

Глеб поднялся, подошел к Сапожникову и стал смотреть ему в глаза.

— Ты сумасшедший, Сапожников,— сказал Глеб.

— Это я уже слышал,— сказал Сапожников.— Я алжирский бей, и у меня под самым носом шишка.

— Почему ты людей обижаешь?

— Ничего ты не понял, Глеб,— сказал Фролов.— Мы об него сами обижаемся, как о булжжик... Все важно— и ремесло, и фердипюкс. Не надо только перепутывать. А то одна показуха получается. Сапожников— фердипюкс, это ясно. Верно я говорю, Сапожников?

— Не подсказывай мне ответ, Гена,— сказал Сапожников.

Потом он засмеялся, сделал танцевальное па в центре комнаты, закрыл глаза и повалился на пол.

— Неожиданности хороши в меру,— сказал Глеб.

Фролов кинулся поднимать, но Глеб остановил его.

— Нельзя...— сказал Глеб.— Скорую помощь... Быстро... Инфаркт, наверно.

Палец Вартанова не попадал в единицу на диске и все промахивался мимо.

— Допрыгался, фердипюкс...— сказал Филидоров, кото-

рый во время дебатов не произнес ни одного слова и настолько затих в своем углу, что о нем постепенно забыли, хотя вначале явно старались показаться и понравиться ему.

— Эх, вы! — наконец крикнула Нюра. — Ему же людей жалко! Понятно вам? — И снова крикнула: — Сапожников!

ГЛАВА 28 БАГУЛЬНИК

Как на самом деле было, никто не знает, но рассказывают вот что: шел по улице человек, шел и шел, а потом вдруг упал. Подбежали к нему, смотрят, а он не тот. Какой он прежде был, никто, конечно, не знал. Шел себе по улице и шел, а когда упал, смотрят, он совсем не тот. Ну конечно, тут шуры-муры, туда-сюда, то-се, подбежал второй, поднял человека, пустил его по улице — идет. Как колесо покатился. Опять стал тот самый. Никакого интереса.

Вика сказала Сапожникову:

— Ну что ты мне всякую чушь рассказываешь... Ну, а кто он, тот человек?

— Кто?

— Который упал?

— А-а.

— Нет, правда, кто?

— Это был я.

— А второй, который его поднял?

— Это был тоже я, — сказал Сапожников. — Однажды раненый бык упал на льду и разбил лицо. Это был тоже я, а однажды я замахал крыльями, взлетел на забор и закукарекал. Это был тоже я.

— Ты очень чувствительный.

— Нет, — не согласился Сапожников. — Я задумчивый.

— Ничего, все еще наладится, — сказала Вика. — Ты еще выпутаешься.

На подоконнике стояла хрустальная ваза колокольчиком. Вика воткнула в нее какие-то прутья и налила воды. Два дня они стояли веником, а на третий брызнули розовыми цветами.

Сапожников только хотел было сказать ей, что вот, мол, сухие прутья, если их поставить в вазу да налить воды — и другое в этом роде, — только рот раскрыл, а она тут же все сообразила.

— Ты мыслишь образами, — сказала Вика, — не инженер, а прямо какой-то Белинский.

— Я — сломанный придорожный цветок татарник, — сказал Сапожников. — Я — Хаджи Мурат. Меня теперь только в хрустальную вазу ставить... Ничего нельзя, двигаться нельзя, пить нельзя, курить нельзя...

— Только без пошлостей.

— Я ни слова не сказал о женщинах. Что ты взвилась?

— Я тебя знаю.

— Вот-вот, курить нельзя, пошлости говорить нельзя... Слушай, — сказал Сапожников, — мне сегодня улица снилась. Лето, а по асфальту идут глазастые девчонки в мини-юбках, с вытарашенными коленками...

— Противно, — сказала Вика.

— Ты же сама такая.

— Я бы их из пулемета расстреляла.

— А не жалко?

— Жалко, — сказала она.

А Сапожников вдруг откинул одеяло и выскочил на холодный пол. Ничего. Жив.

Вика крикнула:

— Ты что?!

Сапожников стоял на паркете на дрожащих ногах.

— Совсем с ума сошел, — сказала Вика, — совсем...

Сапожников похлопал себя ладонью по ноге.

— Волосики... — сказал он.

Вика вылетела из комнаты.

— Не сердись, — крикнул Сапожников. — Пошлости тоже зачем-то нужны.

Хлопнула входная дверь.

— Тишина, ты лучшее из того, что я слышал, — сказал Сапожников и, держась за стенки, выбрался в коридор, где у него возле холодильника имелась гиря.

— Лучше умереть стоя, чем жить на коленях, — сказал Сапожников и нагнул за гирей.

Тут на него упала щетка, потом рулон чертежей. Они показались ему очень тяжелыми. Он запихнул их в угол. Отдохнул немножко. Потом рывком поднял гирю, поддержал ее над головой и осторожно опустил на пол.

Ничего не случилось.

— А ну, — сказал Сапожников сам себе и поднял еще раз.

Потом он доплелся до кровати и сел на краешек. В гру-

ди булькал, толкался и бил крыльями недорезанный петух.

— Болит, — жалобно сказал Сапожников, но никто не услышал. — Ну и хрен с ним. А раньше, что ли, не болело? Уж лучше от гири.

Тогда он встал, повторил все сначала, и пот заливал ему лицо, и слезы заливали ему лицо, а на улице нерешительно бренчали первые гитары, ничего, они разойдутся еще. Скоро лето. И тогда он обнаружил, что стоит на коленях перед гирей.

— Нет... — сказал Сапожников сам себе. — Зачем же умирать стоя. Лучше все-таки жить стоя, чем умирать на коленях. Если сейчас не умру — буду жить, а как же!

Потом дополз до постели, улегся и дышал.

— Курить бы надо бросить, — сказал он.

И тут чмокнул замок и вошла Вика.

— Отдышалась? — участливо спросил Сапожников.

— У меня голова болит от тебя, — ответила она.

— Я одинокий, — сказал Сапожников.

— Ну уж нет, — сказала она. — Прежде чем помереть, мы с тобой еще поживем, Сапожников.

Он и раньше замечал, что им разом приходят одни и те же идеи, но не знал, что это бывает на расстоянии.

— А то еще был такой случай, — сказал Сапожников. У него этих случаев было сколько хочешь.

Вика перебила:

— Они мне сообщили, что у тебя инфаркт был из-за меня.

— Они романтики.

Она усмехнулась пренебрежительно, а Сапожников, чтобы ее утешить и выделить из общей массы людей, сказал:

— Им непременно надо, чтобы из-за любви был инфаркт, а еще лучше — помереть. Тогда будет о чем рассказывать и бегать из дома в дом высуня язык.

— У нас же ничего с тобой не было, — сказала она.

— Им это не интересно. Им интересно, чтоб было.

— Мне тоже.

— Но тут уж ничего не поделаешь.

— А может быть, ты циник? — спросила она.

— Нет, — сказал Сапожников. — Я механик.

— Ты всем голову морочишь.

— Что правда, то правда.

— Слушай, а из-за чего у тебя был инфаркт?

— Ну-у, товарищи! — сказал Сапожников. — Медицина

этого не знает, а ты хочешь, чтобы я знал! А был ли инфаркт? Может, инфаркта-то и не было?

— У тебя ужасное отношение к женщине.

— Да, — подтвердил Сапожников, — что правда, то правда. Хотя, скорее всего, нет.

— А зачем ты мне тогда в любви объяснялся? Откуда я знаю, может быть, ты каждый вечер объясняешься?

— Господи, — удивился Сапожников. — Если б я мог каждый вечер объясняться, я бы объяснялся! Нет, каждый вечер я не могу. Я бы тогда был не Сапожников, а господь бог.

Вика поплакала немножко, а потом сказала:

— Я тебе прощаю.

Тут пришла Нюра, и Вика распорядилась:

— Все-таки нужно, чтобы он жил.

— Ладно, — сказала Нюра. — Будет сделано.

— Я так думаю, вы с ним еще хлебнете горя.

— Сапожников, — сказала Нюра, — ты почему девушку обидел?

— Это я его обидела.

— Вы не огорчайтесь, — утешила Нюра. — Кому он в любви объяснялся, потом удачно замуж выходит.

— Вот это самое ужасное, — сказала Вика. — Ну, я пойду. У вас грузовой лифт работает? Я люблю на грузовом.

— Вика, а почему на грузовом? — спросил Сапожников. — Разве ты шкаф?

— Он автоматический, — сказала Вика. — В нем двери сами открываются.

— Все это любят, — сказала Нюра и пошла ее провожать.

Потом загудел лифт и Нюра вернулась.

— Вот почитай литературу.

Сапожников почитал.

Хватит про осень и зиму. Наступило лето.

Горожанин днем обливался потом, а после захода солнца глубоко дышал ночным бензином. Горожанин работал на славу и из-за денег, курил и перевыполнял планы, ссорился с начальством и домашними, глож от шума машин и собственного темперамента, ходил в кино и орал: «Гол! Гол!» — на стадионе и перед телевизором, разводил цветы на балконе и хомяков в банке, покупал свечи и керамику, эстампы и старую мебель, французские туфли и японские купальники, подыскивал комнату для любовных упражнений

и боялся любви больше голода. Складывалась какая-то новая эпоха, и ее старались угадать по случайным приметам. Одни говорили, что современность — это модерн, другие — что современность это лапоть на стене и самовары. Одни считали, что современность — это моя хата с краю, другие, что современность — это смирно и не могу знать. Одни считали современным город, другие — деревню. Рождаемость падала — перенаселение возрастало. Одни глядели на восток, другие — на запад, воздевали очи горе и зрили в корень. Бог и дьявол поменялись обличьем и за мир дрались оружием, а война лезла в души писком транзисторов. Микроскопическое и большое, пошлое и великое перебалтывались в одном котле, и клокотало варево, опрокидывающее банальные прогнозы отчаяния и оптимизма.

Наверное, и во все времена было так, что от великого до смешного один шаг, но Сапожников в другие времена не жил, и старушечий лозунг «раньше было лучше» действовал на него как предложение о капитуляции, и он вовсе не считал, что дорога через хаос должна быть усыпана выигрышными билетами.

Через два месяца Сапожников уехал в Ялту.

На берегу, скрестив руки, стояли старики в футбольных трусах и жокейских кепочках. Девочка-балерина, опираясь на ржавые перила, делала батманы. Другая некрасивая девочка прижималась к некрасивой матери и твердила: я тоже хочу так... О, ей предстояла трудная жизнь. По пляжу ходил человек в белой кепке, заломленной набок, из-под которой выглядывали седеющие кудри. Он поводил плечами и все время как бы собирался сделать что-то вызывающе спортивное. Но не делал. Эта выставка искореженного комнатной жизнью тела была чудовищна. На каменной набережной бушевал голый старик. Он бегал, приседал, размахивал руками, прыгал, как обезьяна, и вздымал руки к солнцу. На топчане сидела, расставив ноги, огромная старуха. Другая, в очках, приветствовала подружку воинственным жестом. Все это живо напоминало сумасшедший дом.

— Ксс-ксс, — слышался сзади голос нянечки, которая общалась с котенком. — Ешь, ешь... да пей молоко, чертенок... Ну, на тебе с пальца... Надо его в столовую отнести... Да где же его мамаша, черт ее побери...

— Она боится нас, — сказал Сапожников, содрогаясь своего сходства с купальщиками, и отошел от пляжа.

Ночью был дождь с градом. Под крыльцом пищал мокрый котенок. А утром на пляж море выкинуло мертвого дельфина. Плавник его костяно смотрел в солнечное небо, на боку была кровавая рана, глазки его были закрыты, и он был тяжелый. Большую муху сносило ветром, и она никак не могла сесть к нему на смеющуюся губу.

На завтрак давали сосиски с картофельным пюре, манную кашу и тертую морковь. Вечером будет кинофильм. Индийская картина «Материнская любовь» в двух сериях. Сапожников знал этот фильм. Там поют.

По террасе все время ходил артист балета в кровавом кимоно с двумя белыми иероглифами — на груди и на спине. У волнолома среди желтой пены плавали бледные презервативы. Кипарисы, кипарисы. Море было лазурное и, как писала чеховская девочка в диктанте, море было большое. Оно действительно было большое, но утыкалось в низкий горизонт. В низкий горизонт теперешнего Сапожникова, человека без перспектив.

— По-моему, критик — это человек, у которого не хватает смелости попробовать свои рекомендации на собственной шкуре, — сказал Сапожников.

— Так бы сразу и говорил, — сказала Неля. — А то деушка-деушка, который час?

— Который час? Восемь пятнадцать. Сейчас кино начнется. «Материнская любовь» в двух сериях.

— Учти, я не с каждым в кино хожу.

— Слушай, мартышка, — сказал Сапожников. — Ты какая-то чересчур умная. Тебе не трудно?

— Между прочим, я не глупей тебя.

— Это уж точно, — сказал Сапожников. — Глупей меня еще поискать. Давай разговаривать на близкие нам темы, а то мы запутаемся. Вот скажи, может пьеса состоять не из героев, а из прохожих?

— Легче надо жить, легче, — сказала Неля.

— Я знаю, — сказал Сапожников. — А как это сделать?

— Ха-ха, — сказала Неля. — Надо б лампочку повесить, денег все не соберем.

— Пошли купим завтра белые кепки, — сказал Сапожников. — А то у нас мозги расплавятся.

— Я стройненькая, — сказала она. — Мне кепка пойдет. Ты знаешь, у меня такое состояние, мне музыку нужно. За их спиной хихикнули. Сапожников обернулся и встре-

тил взгляд мужчины с хамоватым лицом курортного чтеца. Есть такие чтецы с сытыми многозначительными лицами. Особенно они любят читать Превера. «Луч солнца упал на подоконник, и я вспомнил тебя — Мари». В этом роде. И пожилые дамы чувствуют себя вознесенными... А чтец тут же им читает Пастернака, а потом Аверченко. О дураках.

— Они считают, что я чокнутая, а я не чокнутая.

А Сапожников взял ее за руку и сказал погромче:

— Идем, мартышка... им до тебя еще расти и расти. Они всего лишь слегка начитанные... А ты дикий зверек. Они живут чужим умом, а ты своим. Ты необработанный алмаз. А они обкатанные, как голыши на берегу. Из них только узоры на стадионе делать.

После этого часть людей стала относиться к Сапожникову плохо, а часть — хорошо. И, естественно, ему нравилась эта, вторая часть. Особенно Сапожникову понравилась спина одного дядьки, потому что хотя тот и стоял к нему спиной, но с явным одобрением прислушивался к его тираде.

Дядька обернулся и оказался профессором Филидоровым.

ГЛАВА 29

ГЛИНЯНЫЙ КОТ

Профессор Филидоров не любил проводить отпуск в доме отдыха. Там расписание, четыре раза в день столовая и в одно и то же время. А потом вокруг клумбы ходить в компании и все время быть интересным. И рассказывать иронические байки из поездок по чужим территориям. Ну, знаете эти разговоры: «Помнится, когда я был в Поукиппси... Или нет, это было в Майами-Бич... Простите, это было в Монте-Карло...» Или: «Помню один вечер в Париже... Все было очень просто — я, Пикассо, томик Гейне, легкое вино...» И еще профессор Филидоров страдал на секс-фильмах. Из-за голых актрис. И думал про их мужей. А Венера Милосская нравилась ему, потому что была толстая. А как признаешься?

И еще сувениры. Никто из его коллег не купил бы на рынке глиняного кота. Разве что под пыткой. Бесформенный серый кот с розовым носом и щелью на спине. Это низкий вкус. Другое дело глиняный кот с мексиканского рынка. Это высокий вкус. А так как иностранный

коллега не покупал котов у себя на рынке, а гонялся за ними в Москве, то высота вкуса была прямо пропорциональна расстоянию до рынка. Вкус шел на километры. Ну, и так и далее — как говорил Сапожников.

Но отпуск есть отпуск. А на даче жена, дочь, гости жены, гости дочери, гости гостей и другие гости. Поэтому профессор Филидоров снимал частным образом комнату в курортном месте, сговаривался с хозяйкой о еде и считал дикарями тех, кто так не поступал. А как организовать орду отдыхающих, профессор Филидоров не знал. В конце концов, каждый устраивается как может, если ищет уединения.

...Сначала на пляже он встретил физика, который вернулся из Швеции. Выпили саперави.

— Миин скооль, дин скооль, але вакра фликуш скооль, — сказал физик.

И профессору Филидорову было стыдно. Он не знал этого тоста и за что пьют. Оказалось, что пьют за девушек. Физик сказал:

— Тут на пляже есть наши.

И опять Филидоров не знал, кто эти наши. Он уже сам не помнил, в скольких местах он консультировал. Потом подошли трое наших с восклицаниями:

— Профессор! Отлично!

Они все были в плавках.

— Сегодня День шахтера. Надо отметить!

Ага. Это шахтеры.

— Сапожников тут... Вы знакомы?

Профессор Филидоров дал им адрес своей хозяйки.

Он жил на втором этаже, и в три стороны было видно море. Каменистая улочка вела вверх к его дому, а над ней зелень, зеленый навес листвы. Свет, тень, живое и каменное.

Профессор Филидоров нес авоську с сухим вином и печеньем. Посидим тихонько у распахнутых окон. Будем дышать морем, пить сухое вино, глядя на луч пурпурного заката, а потом на большое лунное море.

Не постучавшись, вошли два незнакомых парня с лицами гангстеров.

— Здесь День шахтера? — спросили они.

— Здесь... Но... — сказал Филидоров.

Парни внесли ящик водки и два ящика пива, поставили у стены рядом с двумя филидоровскими «сухонькими».

— Мы за закуской, — сказали они.

И ушли.

Профессор Филидоров похолодел. Он выглянул в окно. Много людей поднимались вверх по улице. Они размахивали руками и показывали на профессора. Они шли к нему.

Потом, перекрывая пение Нели, рев голосов и вой магнитофона, шахтер с лицом артиста Бориса Андреева и фигурой Ильи Муромца воскликнул:

— Надо выпить за самого старшего среди нас шахтера! Профессора Филидорова!

— Я не шахтер... — стеснительно сказал Филидоров.

— Не верьте ему, — сказал Сапожников. — Он шутит.

— Ура! — крикнули все.

Кроме Сапожникова — абсолютно незнакомые лица. Ни «швед», ни трое «наших» в плавках так и не появились.

Со двора два гангстера подносили шашлыки, дым поднимался, как при казни еретика Джордано Бруно, и профессор Филидоров уже не боялся хозяйки, он боялся дружинников. И жителей города.

— Ты хороший человек, — говорил ему Илья Муромец.

А Добрыня Никитич доливал ему в бокал пиво:

— Запей... Хорошо будет.

— Я не пью, — говорил Филидоров.

— Только один шахтер не пьет, — говорил Алеша Попович. — Памятник на министерстве.

— Я не шахтер, — все более весело говорил Филидоров.

— Он шутит, — говорил Сапожников.

И профессор Филидоров уже ничего не боялся.

Только один раз он испытал чувство ужаса и паники. Это когда все, и он с ними, оглашая ночь песнями, спукались вниз к морю и в нижнем конце улицы увидели слепящую фару и услышали треск милицейской коляски. Пропало все. Доброе имя, уважение общественности.

Гости окружили патруль. Профессор отчаянно и благородно выступил вперед.

— Я профессор Филидоров... — сказал он. — А это мои ученики...

— Потише, граждане, — сказал милиционер. — Поздно уже.

С песней: «А кто твой муж, гуцулочка? Карпа-аты!..» — гости двинулись в дом отдыха. А профессор Филидоров, Сапожников и тихий человек, которого все шахтеры называли Аркадий Максимович, сели возле тихого моря на теплую гальку. Последней подошла Неля.

— Стыдуха, — сказала Неля. — Ну прямо стыдуха.

Она сегодня шепелявила, у нее губа треснула. И еще она боялась лететь на самолете, а ей улетать послезавтра.

— А почему боишься? Тошнит?

— Да сто ты? Мозно аэрон принять. Я на самолете не боюсь... Просто если он навернется, сто тогда будет?..
Смотри, губа треснула... Слушай, а это не рак?

— Не надо на ветру целоваться, — сказал Сапожников.

— Да ты сто? Откуда целоваться? У меня зених в Донецке... Видись, ессе треснула? Это не рак?

— Рак, — сказал Сапожников. — Ну что ты пристала?

— А мне сёрт с ним, сто рак, — сказала она. — Мне главное дело с родителями попроситься... Ах, сёрт возьми, заль, сто не в Донецке заболела, не успею с родителями попроситься...

— Не рак у тебя, не рак, успокойся, — сказал Сапожников.

— Сестно?

— Честно тебе говорю. Я знаю. Иди.

И Неля тоже ушла.

— Странно... — сказал профессор Филидоров. — Все это чудовищная дикость, варварство... Водка эта, пиво... Но я никогда не проводил такого чудесного вечера... Все так непривычно... Вот вы шахтер, Аркадий Максимович... объясните мне...

— Я не шахтер, — сказал Аркадий Максимович. — Я археолог.

Он увидел светлячка и нагнулся. Сапожников увидел светлячка и нагнулся, и они стукнулись лбами.

Так Сапожников познакомился с Аркадием Максимовичем.

Так в эту ночь возник, и, быть может, главный для Сапожникова, поворот на его жизненной дороге проб и ошибок. Но он этого, конечно, не знал тогда, и тем более не знал, к каким это его приведет выводам.

Аркадий Максимович перебирал камешки на берегу теплого моря и вдруг сказал, что в сборнике фантастики он читал сапожниковский рассказ о Скурлатии Магоме,

нерадивом ученике будущего, и что его, как археолога, привлекла там одна мысль.

— Какая? — спросил Сапожников.

Оказалось, мысль о том, что если машина времени возможна, то она уже изобретена в будущем, и в этом случае поездки в прошлое наших потомков неизбежны, а также неизбежны их скрещивания с нашими предками, и этим объясняется разнообразие рас. Это очень простое объяснение и очень смешное.

— Из-за того, что смешно, — сказал Сапожников, — редактор и не хотел печатать. Солидности ему не хватало... А без солидности какая наука?

— При чем здесь наука? — сказал Филидоров. — Это же фантастика. А фантастика для возбуждения фантазии.

Аркадий Максимович засмеялся и стал вспоминать сапожниковский рассказ. А Филидоров засмеялся и сказал, что это, конечно, не литература и не наука, а черт те что, но читать можно.

«Он только уснул, как вдруг услышал:

— ...И выходит, что интуиция, то есть предчувствие, — это момент восприятия информации из будущего, момент стыковки прошлого с будущим через настоящее, — сказал Скурлатий.

— Но если время движется вперед, почему оно вдруг с нами стыкнется? — спросил Сапожников.

— А потому, что оно движется не только вперед, но и вихрем по спирали, и потому оно набегает сзади и проскакивает мимо нас, — сказал Скурлатий.

— И снова набегает сзади?

— Да... Но оно уже не то самое, что было... То есть мы то гонимся за прошлым, то отстаем от будущего и только моментами движемся с временем наравне. Мы не можем двигаться быстрее времени, но можем перескакивать на виток, бегущий обратно, или на виток большего диаметра и, значит, летящий быстрее. У нас поэтому и логика совершенно другая. У вас линейная...

— А у вас нелинейная, — сказал Сапожников. — Я давно об этом догадался.

— А если это мы догадались?

— Нет... Я сам до всего дошел, — сказал Сапожников.

— Почему ты так решил?

— А потому, что если в моей природе нет способности воспринимать будущее, то никакие сигналы не помогут. Это раз, а во-вторых, если у меня нет хотя бы зародыша этой способности, то и у вас бы ее не было... Вы— мои потомки, а не я—ваш. И выходит, что передача от меня к вам важнее, чем от вас—ко мне,—сказал Сапожников. И вдруг сообразил:— Но ведь тогда совсем по-другому объясняется такая вещь, как расы и прочая этнография... Вы прилетали уже изменившиеся во времени и плодились здесь, скрещивались и выводили новую породу.

— И не один раз,—сказал Скурлатий.— Саморазвитие— медленная штука. А так—мы вас развивали, а вы нас... Жизнь—то колесом катится, а не копьем летит.

— А что вам-то предстоит?

— Ну, судя по тому, что мы есть,—наше будущее нас не угробило.

— И то хлеб...—сказал Сапожников.— Интересно... Выходит, возникновение новых рас—это скрещивание с будущим... Будущее влияет на нас сознательно и бессознательно, а вовсе не только прошлое, как мы предполагали. То есть причины наших поступков лежат и после нас, а не только до нас... Но почему вы считаете, что если переменить причину, то изменятся и последствия?

— Как же иначе?

— Господи, уткнулись носом... Дескать, вот пара— молоток— гвоздь... Молоток ударил, гвоздь вошел в стену. А это все ерунда. Главная причина—твое желание вбить гвоздь. А бить можно и не молотком, а микроскопом. А можно вообще не бить. Поставь с другой стороны магнит— гвоздь сам влезет... Каждое явление есть следствие бесчисленных причин, а не одной...

— Вот ты как... Это надо запомнить,—сказал Скурлатий.— Вообще мы тебя у нас в школах проходили... Ты у нас считаешься основоположником.

— А тебе сколько за меня поставили?

— Пару.

— Малограмотный, черт. Никакого от тебя толку... Хотя к двоечникам я почему-то испытываю слабость. А почему— непонятно.

— Понятно,—сказал Магома.— Мы развиваемся по неизвестной программе, а отличники по известной.

— А почему бы вам просто не улучшить нашу жизнь! Ну, сделать ее хотя бы похожей на вашу... А мы бы тем самым еще более улучшили бы вашу жизнь...

— А почему именно вашу жизнь улучшать? — спросил Магома Скурлатий. — А до вас что? Не люди жили?

— Тоже верно... Значит...

— Ага, — сказал Магома. — Мы этим и занимаемся... Мы ищем, как запустить в оборот такой главный фактор, который бы выстроил и выправил всю человеческую историю заново и сделал бы ее счастливою.

— Ну? И нашли такой фактор?

— Нет. Ты должен найти этот фактор.

— Я?!

— Ты.

— Ну почему я?! Почему опять я? — завопил и заныл Сапожников и проснулся».

В черном небе стояли неподвижные звезды. Аркадий Максимович и Филидоров смеялись, когда вспоминали сапожниковский рассказ и его нелинейную логику.

— Хотя в этом что-то есть, — сказал Филидоров, — В нелинейной логике...

Пахло олеандрами и прочими магнолиями, и посторонний мужчина в шляпе и белой майке скрипел галькой, укладываясь спать у тихого моря на надувном матрасе.

— Слава богу, машина времени принципиально невозможна, — сказал Филидоров. — Иначе пришлось бы допустить, что время это материя.

— Я допускаю, — сказал Сапожников.

— Ну, это понятно...

— Нет, я серьезно!

— Ага, — сказал Филидоров. — Это я понял... Все сверхъестественное вам по душе.

— Кстати о сверхъестественном, — сказал Сапожников. — Если завтра кто-то пройдет пешком по воде — это тут же перестанет быть сверхъестественным... Доказать же, что такого не может быть ни при каких условиях, — тоже невозможно. Если захотеть, можно придумать, как это сделать... Можно только сомневаться, так ли это было, как рассказано в мифе... Да и в мифе, я думаю, фантастичны не факты, а их объяснение.

— Вы это к чему? — спросил Аркадий Максимович и напрягся.

— Возьмите Посейдона, — сказал Сапожников. — Что в древние времена мог подумать человек, впервые увидевший колесницу, которая летит по морю-окияну, а перед

ней мчатся дельфины? Он решил бы, что колесницу везут дельфины... А что подумали бы мы, впервые увидев это? Мы бы начали искать скрытый мотор. Чье же объяснение фантастичней, если факт относится к прошлому? Конечно, наше. Потому что дрессировать дельфинов можно было и тогда, а для мотора нужна технология... А что это значит еще?

— Что?

— Что люди уже знали колесницу и могли ее отличить от лодки.

— Колесница Посейдона — это просто метафора, — сказал Филидоров. — Это метафора.

— Пусть метафора. Но за метафорой лежит нечто реальное и привычное, иначе не поймешь, что с чем сравнивается, что на что похоже... За мифом всегда почва... Если завтра окажется, что гравитации нет вовсе, то ньютоновское притяжение окажется мифом, и от него откажутся. Но это не будет означать, что яблоки перестанут падать на землю.

— ...Значит, вы считаете, что был некто реальный, кто мчался по морю на чем-то похожем на колесницу? — спросил Филидоров.

— Я пока ничего не считаю, — сказал Сапожников. — Я думаю... А вообще нужна сравнительная мифология... Есть такая наука?

— Нет пока, — сказал Аркадий Максимович.

И вдруг занервничал так очевидно, будто пытался заглушить некое соображение, которое явно просилось наружу.

— Что с вами? — не выдержал Сапожников.

— Значит, вы считаете, что в мифе фантастичны не факты, а их объяснения? — спросил Аркадий Максимович.

— Ну?

— Я с этим согласен... И я считаю, что была цивилизация в Атлантике...

— Атлантида? — обрадовался легкомысленный Сапожников.

— Ну, пусть Атлантида, — сказал Аркадий Максимович. — Я гоню от себя эту идею... и не могу прогнать.

— Ха-ха-ха... — сказал Филидоров. — Я вас вполне понимаю...

Еще бы не понимал! У него самого сапожниковский абсолютный двигатель не шел из ума.

Сапожникова всегда поражало, что научные люди относятся к некоторым проблемам со злорадством и него-

дованием. И даже самый интерес к этим проблемам грозит человеку потерей респектабельности.

— Ну почему же вы так мучаетесь и страдаете, Аркадий Максимович? — спросил Сапожников. — Ведь если вам пришла в голову мысль, то ведь она же пришла вам в голову почему-нибудь?

— Так-то так... — ответил Аркадий Максимович.

— Ведь ничего из ничего не рождается, закон сохранения энергии не велит. Вот спросите у профессора. Все из чего-нибудь во что-нибудь перетекает, — сказал Сапожников. — Значит, были у вас причины, чтобы появилась эта мысль. Вот и исследуйте все это дело, если оно вас волнует. Почему вы должны отгонять ее от себя, как будто она гулящая девка, а вы неустойчивый монашек?

— Так-то оно так, — сказал Аркадий Максимович. — Но вокруг проблемы Атлантиды образовался такой моральный климат, что ученого, который за нее возьмется, будут раздраженно и свысока оплевывать, как будто он еще один псих, который вечный двигатель изобрел.

Филидоров засмеялся.

— Ну и что особенного, — сказал Сапожников. — Я вечный двигатель изобрел.

— То есть как? — спросил Аркадий Максимович. — Вы же сами говорите, что энергию нельзя получить из ничего?

— А зачем ее брать из ничего? — спросил Сапожников. — Надо ее брать из чего-нибудь.

А Филидоров только крякнул.

— Но тогда это не будет вечный двигатель.

— Материя движется вечно. Если на пути движения поставить вертушку, то она будет давать электричество.

Аркадий Максимович догадался сам про себя, что Сапожников говорит серьезно, и посмотрел на него с испугом.

— Однако вернемся на землю, — сказал Филидоров и посмотрел на часы. — Ну, что у нас на земле?

Часы на земле показывали без десяти полночь.

— Пора... В дом отдыха не пустят, — сказал Аркадий Максимович. — На земле у меня трудности... Я не выдержал нервного напряжения, и мне достали путевку.

И заторопился:

— И жена от меня, кажется, сбежала, и вообще!..

— Что вообще? — спросил Сапожников.

И Филидоров тоже поднял голову от своего светяще-

гося циферблата. Потому что слово «вообще» Аркадий Максимович выкрикнул.

И тут Аркадий Максимович заговорил медленно и наизусть:

— Я, Приск... Сын Приска...

...Я, Приск, сын Приска, на склоне лет хочу поведать о событиях сокрушительных и важных, свидетелем которых я был, чтобы не угасли они в людской памяти, столь легко затемняемой страстями.

Сегодня пришел ко мне владелец соседнего поместья и сказал:

— Приск, запиши все, что ты мне рассказывал. Оно не идет у меня из ума и сердца. Ходят слухи о новом нашествии савроматов, я буду прятать в тайнике самое ценное имущество. Но кто знает, что сегодня ценно, а что нет, когда люди сошли с ума и царства колеблются. Запиши, Приск, все, что ты мне рассказывал, и мы спрячем свиток в амфору, неподвластную времени, и зальем ее воском, выдержанным на солнце, который употребляют живописцы из Александрии. И зароем в землю в неприметном месте, чтобы, когда схлынет нашествие или утвердится новое царство, можно было продать твоё повествование новому властителю. Потому что опыт жизни показывает, что...

...Бульдозерист Чоботов собрал осколки глиняного старинного горшка, лежавшие на вывороченной им куче земли, и немножко подумал — стоит ли связываться. И так уже план дорожных работ трещал по швам, а до конца квартала оставалось десять дней. Но потом все же заглушил мотор и сказал Мишке Греку, непутевому мужчине, чтобы позвали Аркадия Максимовича. Дескать, опять выворотили горшок целый, но разбитый, а он над каждым черепком трясется.

Аркадий Максимович пришел и долго кудахтали и причитали, зачем Чоботов собрал черепки с кучи, а не позвал его сразу сфотографировать, как они лежали все врозь, и все такое.

Чоботов стал есть ставриду, потому что он любил есть ставриду, а Аркадий Максимович начал по-собачьи рыться в развороченной земле и махать своими кисточками, и стало ясно, что дорогу они продолжат примерно лет через двадцать, аккурат ко второму кварталу двухтысячного года.

А потом Чоботов доел ставриду и увидел, что Арка-

дий Максимович сидит на земле, вытянув вперед ноги, держит в руках коричневые бумаги и плачет.

Море было спокойное в этот вечер, а над горой Митридат стояло неподвижное розовое облако.

...И Аркадий Максимович рассказал про бульдозериста Чоботова и про древнюю рукопись, выкопанную в районе Керчи во время земляных работ... в районе города Пантикапея, столицы великого Боспорского царства, которое тыщу лет как сгнуло и теперь его только раскапывать, и что это было не где-то в греческих или римских краях, а тут, под боком, на нашей территории, и туда ходит транспорт и можно купить билет.

— Море было спокойное в тот вечер, — сказал Аркадий Максимович. — И над горой Митридат стояло розовое облако.

Сапожников с Филидоровым просидели всю ночь, разговаривая о том о сем, и оба не могли остановиться. Разговоры мы пока опустим. Скажем только, что, когда профессор ушел, Сапожников пролежал до рассвета на теплой траве, что росла на берегу там, где кончалась галька, а потом пошел искать Аркадия Максимовича.

Когда он припелся к дверям его номера, оттуда вышла женщина и остановилась на пороге.

Солнце просвечивало ее всю, и Сапожников понял, что это не женщина, а блюдо. Лучшие кулинары всего света потрудились, чтобы у каждого при взгляде на нее возникал волчий аппетит. Сервировка ее дышала духами и туманами, и было показано все, что нужно показать, и было прикрыто все, что нужно прикрыть. И Сапожников сообразил, что это и есть жена Аркадия Максимовича, только когда услышал его голос.

— Я не лакомство, — говорил Аркадий Максимович. — И не котлетка, понятны? Я человек и к тебе отношусь как к человеку... Если ты станешь некрасивой или больной, это я как-нибудь переживу... А вот если ты обезьяной станешь — тут все... конец...

— Я тебя так любила... — сказала жена. — Так любила... А ты убил мою любовь...

Из комнаты раздался собачий лай.

Она закрыла дверь. Погасла. И тяжелыми шагами ушла по коридору.

Когда Сапожников вошел, Аркадий Максимович стоял на четвереньках, задница его была отключена, а пластиковый передник свисал с шеи строго вертикально. Он черпал антикварной ложкой суп из миски, облизывал сам и протягивал трехногой собачке.

— Ешь, ешь... — говорил он. — Делай вот так, ешь...

У Сапожникова сердце заныло.

Аркадий Максимович поднял голову и слепо посмотрел на Сапожникова.

— Извините, — сказал Сапожников. — Я не вовремя.

Трехногая собачка выскочила из-за миски и загородила Аркадия Максимовича. Она смотрела на Сапожникова отчаянно и свирепо, и в глазах у нее было — ну, признай нас, признай немедленно, иначе я тебе враг. Видно было, что она за этого балду на крест пойдет. «Все... — понял Сапожников. — От этого не отделаешься... Конеч... До конца дней буду защищать эту пару».

Аркадий Максимович поднялся с колен, взял на руки собачку и стыдливо прикрыл передником покалеченную собачью ножку.

— Она непородистая, — сказал Аркадий Максимович. — Но ужасно талантливая. Конечно, медали ей не дадут, но это неважно, правда?

— Перестаньте, — сказал Сапожников. — Я сам чистокровная дворняжка... Как ее зовут?

— Атлантида, — сказал Аркадий Максимович. — Вы знаете, существует неверное отношение к помесям, а ведь это приток свежей крови и обновление генетического фонда.

— Кто ей лапку отключил? — спросил Сапожников.

— Что вы? Это не я... — испугался Аркадий Максимович. — Она уже была такая, когда я с ней познакомился... Врач сказал, что это, видимо, транспортная травма... Может быть, электричка...

Атлантида залаяла.

Так они и познакомились — Аркадий Максимович, который занимался историческими науками, и Сапожников, который историческими науками не занимался, однако был битком набит бесчисленными историями и разными байками. У него этих баек было сколько хочешь.

Потом в коридоре раздался топот, и в комнату заглянул давешний Илья Муромец, совершенно умытый и ни в одном глазу.

— Здесь они, здесь, — сказал он.

Пропустил Филидорова, прижимавшего к груди три бутылки кефира, и ушел.

— Надо немедленно ехать в Пантикапей, — сказал Филидоров. — Простите, в Керчь... Немедленно...

— Вот это по-шахтерски, — улыбнулся Сапожников.

— Перестаньте... Гостиницы все забиты... — сказал Аркадий Максимович.

— Ничего. Надо будет позвонить властям. Меня там знают. Я в этом городе консультировал, — возразил Филидоров.

Так совершился главный поворот в сапожниковской жизни, в которой, как ему казалось, каждый поворот был главный и их у него тоже было сколько хочешь.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

КРИК ПЕТУХА

...Зачем мы так подробно излагаем все эти его соображения? Ведь нормально для художества рассказывать о страстях и вытекающем из них нравственном пути персонажа, полезном для читателя, — не так ли? Но дело в том, что Сапожников родился в двадцатом веке, а не в каком-нибудь другом, а именно в этом веке было постановлено, что наука должна разобраться, почему человек никак не поумнеет и по-прежнему воюет с собой, с другими такими же образованными, как он, и со средой, в которой он живет и которую частично создал он сам.

ГЛАВА 30

ГЕОРГИН

...Они все-таки приехали в Пантикапей, они все-таки приехали.

Сказано — сделано. Такая на них напала жажда, такое нетерпение. Видимо, пришла пора, когда душе требуется голос прошлого и ничем его не заменишь... «Я, Приск, сын Приска...»

«...Я, Приск, сын Приска, родился в год, когда Антиох из Сиракуз утонул в порту вместе со своей триерой, напоровшись левым бортом на поваленную в море статую бога Гермеса, не замеченную им во время шторма. Потом статую увезли римляне, а триеру разметали волны. Это мне рассказывал мой отец, а сам я еще не мог видеть. А в осталь-

ном этот год был тихий, обильный вином и хлебом, и ничто не предвещало появления Ксенофонта.

Потом, правда, вспомнили, что когда он первый раз вышел на берег и, стоя спиной к морю, долго смотрел на прекрасный наш город Пантикапей, раскинувшийся по склону горы, то рыба перестала брать приманку и легла на дно. Но это вспомнили много позднее досужие люди. А тогда странное это дело отнесли к рыбам, а не к нему.

... — Приск, — однажды сказал мне отец, когда мне было уже шесть лет, — посмотри на того человека с короткой тенью и большой головой... вон на того, который идет по середине дороги, там, где самая мягкая пыль... Посмотри на него, Приск, и скажи — нравится ли он тебе?

Я посмотрел на того человека, и он мне понравился.

— Да, отец, — сказал я. — Он мне нравится.

— Городу будет большая беда, — сказал отец.

Я тогда ничего не понял, мне было шесть лет, как сказано. Но и многие мудрые ничего не поняли. А когда поняли, кто такой Ксенофонт, было уже поздно. А дальше, когда он был убит рассердившимся фракийцем, который долго не размышлял, а отсек ему голову коротким мечом, уже ничего нельзя было поделать. Сам Ксенофонт как пришел, так и ушел в мир теней, но искра, которую он заронил, обернулась пожаром, в котором сгорели все мы, и души наши сгорели еще при жизни, и город наш, прекрасный Пантикапей, стал таким, какой он сейчас, а не как прежде, когда не было ему равных на всем берегу Понта Евксинского.

И я, Приск, сын Приска, сижу на ступенях дома своего и думаю — почему боги не дали нам способности знать, что выйдет из наших намерений, даже самых лучших из них? Но тщетно. Ответа на этот вопрос я не знаю, и я не слышал о ком-либо, кто бы знал ответ. Разве что рыбы, которые не взяли приманку и легли на дно, когда Ксенофонт щурился на город Пантикапей и тень Ксенофонта была короче вечерних теней других людей. Но рыбы молчаливы...»

Травяной аэродром. Прохладный каменный зал ожидания. Небо солнечно-белое. Машина, которую они ожидали, конечно, не пришла.

Посовещавшись, взяли левака-частника. «Бьюик» тридцатых годов. Приборная панель светлая, деревянная, с боль-

шими часами. Рваная обивка, но — лимузин. Просторный. Честь по чести.

Белые домики с древней черепицей. Воздух, воздух. Весь серебрится от близости моря и степи.

Въехали в город Керчь. И он такой же — невысокий, заваленный близким простором. Афиши — Тимошенко и Березин, портрет красивой певицы. Книжные магазины, универмаги, открытые закусочные на углах.

— Надо будет в парикмахерскую зайти, — сказал Сапожников.

— Во-он там Тамань... Представляете — лермонтовская Тамань, — сказал Аркадий Максимович. — Я в войну там служил. В воздушной армии. Вершинин командовал. А вот там катакомбы. Ну, это не расскажешь... Вошла дивизия, а вышло несколько человек. Жгли автопокрышки для освещения. Лечить нечем, хоронить негде, пить нечего. Ноздреватый камень сырой. Группы специальные высасывали воду из камня и поили раненых прямо изо рта. Не расскажешь... А вон гора Митридат.

— Так и называется? По имени царя Митридата? — спросил Сапожников.

— Да, — сказал Аркадий Максимович. — Две тысячи лет так и называется. Там он отбивался и погиб на вершине. И настала Римская империя, которая думала, что будет существовать тысячелетия, а продержалась еще пару сотен лет.

Ветер и солнце выворачивали наизнанку верхушки деревьев.

— Как ни странно, об этих катакомбах знают меньше, чем об одесских, — сказал Филидоров.

— Чересчур страшно все... В местном музее есть материалы. Зайдите — увидите.

— Нет, — сказал Сапожников. — Не зайду.

— Мне надо, — сказал Аркадий Максимович. — К сотрудникам.

Навстречу шли старшеклассницы и преувеличенно ахали, потому что ветер заворачивал им подолы.

— Зачем носить короткие платья, если ветер в городе всегда? — удивился Филидоров.

— Для этого, — объяснил Сапожников. — Чтобы пищать и ахать.

В продуктовом магазине продавалось много копченых рыб.

— Нужна сравнительная мифология, — сказал Сапожников. — Никуда без нее не денешься — такая наука нужна.

— А зачем она? — поинтересовался Филидоров.

— Ну вот сопоставлять с археологией и историей... с установленными данными.

— Опять лезете не в свое дело? — сказал Филидоров.

— Нет, — сказал Сапожников. — Только готовлюсь. Насчет Посейдона пока дело темное... Но вот такая эмблема — конь топчет змею. А всем известно, что коня обожествляли и змею обожествляли. Вот и выходит, что новая религия топчет предыдущую. А не просто лошадь с гадюкой подрались... Что Зевс был критянин, то есть фактически финикийнин, и что сын его Аполлон, игравший на арфе, наказал Пана за игру на свирели, то есть за свист...

— Куда вы клоните? — спросил Аркадий Максимо-вич.

— Еще не знаю, — сказал Сапожников. — Я еще пока вспоминаю... А замечал ли кто-нибудь, что в Библии, в описании Моисеева похода из Египта, который длился почему-то сорок лет, хотя там ходьбы как от Москвы до Ленинграда, ну это ладно... а вот другое... Там нет ни одного упоминания африканской фауны — фауна не африканская.

— А откуда вы это знаете?

— Я внимательный, — сказал Сапожников. — Не упомянуты ни слоны, ни жирафы, ни носороги, ни бегемоты, ни страусы, ни обезьяны...

— Ну и что из этого вытекает?

— Похоже, что поход-то был откуда-то из другого места и занял сорок лет... а приплели его к бегству из Египта потом. Для солидности. Потому и написали, что Моисей умер перед концом похода. А в страну вступил Иисус Навин, исторический уже... Ясно только одно — до сих пор делали упор на фантастическое отображение действительности в религиях и мифах и только сейчас помаленьку заинтересовываются самой действительностью, которая в них отражалась. Сравнительная мифология нужна. Фактов разбросано много... сопоставлять их надо научиться.

— Прелестный разговор, — сказал Филидоров. — Обожаю светские разговоры... На все темы... И все верхушечно...

Гостиницы в Керчи действительно были переполнены. И даже Филидорову не удалось достать номер, где бы их приняли с трехногой собачкой Атлантидой, и потому они сняли комнату частным порядком.

— Где-то я читал, в какой-то книжке, — бормотал Сапожников, — кажется, называлась «Открытие Америки»... там еще была карта Америки, сделанная Леонардо да Винчи, и материк был назван Америкой до путешествия Америго Веспуччи... полная каша в голове.

— Вот именно, — подтвердил Филидоров.

— Что вы плетете? Ничего понять нельзя, — рассердился Аркадий Максимович.

— Это я так... Погодите, — сказал Сапожников. — Помоему, именно в этой книжке я прочел в одном месте слово «Атл», а в другом слово «Ант», и автор эти два слова почему-то не связывал. А между тем на каких-то индейских языках одно из них означало «человек», а другое — «море». И получалось, что вместе они означают не то «морской человек», не то «человек моря», не помню... «Атлант» получалось... а «ида» — это просто греческое окончание. Эней — «Энеида» и так далее... Известно у вас такое в вашей науке?

— Мне неизвестно, — сухо сказал Аркадий Максимович.

— Ну тогда и хрен с ним, с этим вопросом, — сказал Сапожников. — Я думал, может, вам пригодится.

Филидоров и Аркадий Максимович раскладывали чемоданы. Сапожников, как всегда, сидел на подоконнике.

— Так как же насчет «Атланта»? — спросил Сапожников.

— Не ваше дело, — сказал Аркадий Максимович.

И он был прав. Какое дело было Сапожникову до атлантов. Но вот до Аркадия Максимовича ему было дело. Страшно ему было видеть, как ученый человек не то что от споров, от собственных мыслей убегал. А ведь его только затем и держали в ученых, чтоб мыслил.

— Я боюсь не споров, — сказал Аркадий Максимович. — Я боюсь профессора Мамаева. Не знаете? Ничего. Я вас с ним познакомлю...

Но уже наступили времена, когда всем до всего было дело.

В летней столовой за обедом, где из керченских жителей были только сотрудники музея, Сапожников встретил московскую свиту Глеба, уже второе или третье ее поколение.

Годы шли, а свита не уменьшалась, и все так же начинающие старались произносить слова небрежно и чуть врасстяжку, и все так же не понимали, какая роль отведена Сапожникову в глебовской табели о рангах.

Много спорили, Сапожников высказывался, и, естественно, по всем вопросам.

Гомон стоял в гулкой столовой, отделанной светлым деревом и с трепещущими от ветра занавесками.

Потом, естественно, перешли в гостиницу, где свита занимала три многоместных номера. И там Сапожников узнал, что четвертый номер пустует и дожидается Глеба.

Считалось, что он и вся его свита подтянулись в Керчь, потому что здесь профессор Филидоров, который должен вот-вот возглавить проблемное учреждение широкого профиля. Но какая-то недоговоренность витала в воздухе и раздражающая неопределенность, так несвойственная отчетливым Глебовым людям. Складывалось впечатление, что они готовились к поразительной перемене стиля и что в этом деле, как ни странно, должен помочь Сапожников.

Похоже было, что Глеб намекнул им, что в новой проблемной лаборатории, которую, конечно, будет курировать Глеб, фактический заместитель Филидорова на любом посту, потребуются люди с новой хваткой и новым стилем мышления, и они нащупывали этот стиль в спорах с Сапожниковым, которого обычным дилетантом в науке не назовешь, но и ученым обозвать — тоже язык не поворачивался.

Как-то все вдруг перемешалось в это лето буйного ветра — археология, термодинамика, жизнь прошлая и жизнь настоящая, интересы переплелись, как у гриба и водорослей в странном полусущество лишайнике, и спокойствие во всех перепалках сохранял один Сапожников, для которого состояние неотчетливости и несистемности было привычным, как для младенца в кунсткамере.

Свита у Глеба была сметливая, и если нынче почему-то нужны широта и вольное общение с проблематикой, то умные люди ориентируются быстро и успеют занять ключевые посты, пока узколобые мух-мухают. В общем, картину они себе представляли довольно правильно, если не считать малости — они путали талантливость с хлестаковщиной.

Это и пытался объяснить им Сапожников, успевший и тут вызвать раздражение, их раздражало то, что он не имел права на мысли, которые высказывал. Потому что для носителя истины он выглядел до безобразия несерьезно.

Он привык к этому и уже почти не обижался. Серьезность нужна, респектабельность, и, главное, нужно твердо знать, откуда почерпнуты эти идеи, из какого авторитетного источника. Иначе не может быть. Не может быть — и точка. Это главный признак. Не может быть, чтобы крестьянская девка в средние века спасла Францию, не может быть, чтобы полуграмотный актер написал «Короля Лира», не может быть, чтобы на Карпатах полудикий певец написал поэму о пограничной стычке давно забытого князя, в которой заключены идеи мировой истории следующей тысячи лет и мировой литературы.

И все-таки его не гнали, потому что всегда хотели куда-нибудь приспособить.

И даже посылали встретить Глеба, мягкого человека, которого все любили, он был свой и определенный. Глеб приезжал скоро.

«...Потом, когда мне было уже четырнадцать лет, мой отец подыскал мне невесту хорошего рода, чтобы если боги благословят — сочтаться браком, когда нам минет шестнадцать. В этот год было явление. Над горизонтом стояла звезда с хвостом, подобным сирийскому мечу, потом пропала. Пришел скиф, имени его я тогда не знал, друг одного вольноотпущенника из гавани, владевшего хлебными складами. Он сказал, что Понтийский царь разбил войско скифов. Знал ли я, что судьба сведет меня с царем Митридатом и начиная с того давнего дня, когда пришел этот пегобородый скиф, и до сегодняшнего судьба моя будет судьбою шепки, попавшей в водоворот. Будь проклят тот день моей жизни, когда я вмешался в разговор старших и сказал пегобородому, что слышал, будто не сам царь Митридат разбил скифов, а Диофант, его полководец. Будь проклят тот день, когда пегобородый скиф, про которого иные говорили, что он фракиец, посмотрел на меня и спросил вольноотпущенника: кто этот юноша? И вольноотпущенник ответил: «Это Приск, сын Приска. Он разумен, знает меру и счет и письмо и тверд в слове. Ты можешь положить на него, Савмак».

У нас в Пантикапее тот год правил царь Перисад, слабый человек...»

— Боже мой, — сказал Аркадий Максимович. — Боже мой!.. Все сходится... Я так и думал... Это Савмак...

— Аркадий Максимович, очень трудно работать, —

сказал реставратор. — Вы все время дышите мне в шею.

— Вы не представляете, — сказал Аркадий Максимович. — Это Савмак...

— Я вот чего не пойму, — сказал Сапожников, который опять сидел на подоконнике. — Если на Чукотке останкам человека двадцать тысяч лет, а на Аляске в Америке — тридцать тысяч лет, то почему же говорят, что человек пришел в Америку с Чукотки, а не наоборот.

— А откуда он тогда взялся на Аляске? — спросил Аркадий Максимович. — Придется предположить, что с другой стороны Америки, с какой-то суши в Атлантике. Мифическую Атлантиду? А это для всех нож вострый.

— А почему?

— Никаких прямых доказательств.

— Что значит прямых? — спросил Сапожников. — Материальных, что ли?

— Да.

— А косвенные?

— В основном мифы, сопоставления культур по обеим сторонам Атлантического океана, некоторые геологические данные... В общем, мифы.

— Интересное дело, — сказал Сапожников. — С каких пор на следствии разбирают одну версию?

— Ну, это в кино проверяют все версии, — сказал Аркадий Максимович. — В науке все тоньше. Темпераменты. Авторитеты.

— Ладно. Об этом потом, — сказал Сапожников. — Значит, доказательства надежные только материальные?

— Они неопровержимы.

— Ну да? А шведская спичка? — сказал Сапожников. — Рассказ Чехова. По спичке искали убийцу, а нашли прохиндея, которого любовница в бане заперла. И потом — почему мифы после Шлимана, который Трою откопал, считаются ненадежным источником?

— Этого никто не знает, — сказал Аркадий Максимович. — Религия все-таки.

Много людей примчалось в Пантикапей в то лето буйного ветра. И Аркадия Максимовича совсем оттеснили — как казалось. Но Сапожников заметил, что Аркадий Максимович сам тушуетя и уходит в тень, когда вся археология до-

прашивала бульдозериста Чоботова — да что, да как, да где лежали черепки от того греческого горшка, да кто первый увидел те черепки, — Чоботов или, может быть, Мишка Грек, непутевый мужчина?

А Мишке Греку попервоначально понравилось, что вокруг него такой шухер, но потом и он сник.

— Аркаша! — кричал он Аркадию Максимовичу поверх лысых и кудрявых голов. — Чего они хотят от меня?! Я уже раскололся давно! Гражданин доктор наук, не тискайте меня. Не брал я те черепки, их Вася Чоботов выколулал своим могучим бульдозером из глубин земли, а я в другую сторону глядел! Товарищ участковый, подтвердите, что я уже полтора года правдивый.

— Не хулигань, Миша, не хулигань, — говорил начальник. — Я тебя вот как знаю.

— Аркаша! — кричал Миша Грек. — Выручай! Прошу как специалист специалиста!

Но Аркадий Максимович уходил в тень и вел себя странно.

— Что с вами, Аркадий Максимович? — спросил его Сапожников. — Почему вам не нравится вся эта история?

— А вы не допускаете, что это подделка? — спросил Аркадий Максимович.

И посмотрел на Сапожникова неподвижными глазами. Вот так номер...

— Я не археолог, — сказал Сапожников. — А вы допускаете?

Аркадий Максимович не ответил, а все только смотрел.

— Я разговаривал с реставраторами, — сказал Сапожников, — их пока ничего не смущает.

— Не смущает, не смущает... Не смущает, — бормотал Аркадий Максимович и смотрел неподвижно, невыразительно, как в зеркало.

Сапожников не торопил его. Захочет — скажет.

И правда сказал.

— Я в девятом фрагменте разобрал имя, — и задохся, — ...разобрал имя Спартак.

— Савмак, — сказал Сапожников, который уже был в курсе, что нашли документ очевидца первого народного восстания на территории нашей родины, — Савмак...

— Нет... Спартак, — сказал Аркадий Максимович. — Есть сведения, что Савмак был фракиец и Спартак был фракиец царского рода.

— Ну и что?

— А первого боспорского царя звали Спартак. И еще были цари с таким именем. Вся династия называлась Спартокидами. Это все здесь было, в Керчи, где мы сейчас с вами на асфальте стоим... Пойдемте на уголок по рюмочке выпьем.

— По рюмочке мне мало. И потом, я пью только вечером, — сказал Сапожников. — Вы что же, предполагаете, что Савмак и Спартак одно лицо?

— Я вижу, вас ничем не удивить, — сказал Аркадий Максимович. — Нет, не одно лицо, года не сходятся... Восстание Спартака было на тридцать лет позже восстания Савмака... Савмак Спартаку в отцы годится... Что?

— Вы сказали, что Савмак Спартаку в отцы годится.

— Не морочьте мне голову, слышите? — бледно улыбнулся Аркадий Максимович. — Не морочьте мне голову.

— А чего вы, собственно, испугались? — спросил Сапожников. — Либо Спартак сын Савмака, либо нет. Что-нибудь одно подтвердится.

— Чудовищно, — сказал Аркадий Максимович. — Чудовищно.

— Не понимаю вас, — сказал Сапожников.

— Невозмутимость ваша чудовищна! — сказал Аркадий Максимович. — Ну, если вы такой невозмутимый, то я вам скажу, какое слово я прочел в тринадцатом фрагменте... Поклянитесь мне, что до конца реставрации вы никому об этом не скажете.

— Да не мучайте вы себя. Говорите, — сказал Сапожников. — А то вас разнесет.

— Да... разнесет, — сказал Аркадий Максимович и улыбнулся светло и отрешенно, как будто вышел ранним утром на загородное шоссе и с обочины до него долетел запах земляники. — В тринадцатом фрагменте я прочел слово... я несколько раз проверил себя, и это был не сон и не описка. Я прочел слово «Атлантида».

— Забавно, — сказал Сапожников.

«...Ксенофонт был в то время уже другом одного человека из племени Танаитов, который был сыном управляющего рынком, где продавали рабов. И потому Ксенофонт носил хорошие одежды. Но он все так же любил снимать сандали и ступать по мягкой пыли посредине дороги. И сердца людей холодели от бессильной ненависти, когда люди видели, как при каждом шаге пыль поднималась фонтанчиками между пальцами его коротких ног. Потому

что много людей уже делали то, чего хотел он. Хотя каждый из них думал, что делает нечто против его желания.

— Отец, почему, ответь, все идет на пользу этому пришельцу? — спросил я однажды своего отца.

— Потому что он умеет вызывать ненависть к себе, — ответил отец. — Мы ненавидим его и хотим поступить наперекор его желаниям. А когда поступаем так — оказывается, что он именно этого и добивался.

— В таком случае надо поступать так, как он хочет...

— Он всегда хочет того, что нам во вред. А кто же решится поступить себе во вред?

— Но ведь, когда мы идем наперекор его желаниям, вред для нас еще больший? — сказал я.

— Ослепленные ненавистью, мы не видим этого своего будущего.

— Значит, он знает наше будущее? — спросил я.

— Он знает нас...»

Все устали до чертиков и поэтому встречать Глеба посылали Сапожникова. Но потом доктор Шура тоже решил пойти, и остальные вдруг сразу согласились, что это правильно. И Сапожников понял — мало чести Глебу, если его будет встречать Сапожников. А потом еще кто-то потянулся, но третьего Сапожников не запомнил. Получилась некая процессия. Вот мера отношения к Глебу — три человека его должны встречать, меньше нельзя, больше — демонстрация пылких чувств, а все очень боялись преувеличений и любили достоверность.

Ай-яй-яй, какие красивые цветы купил доктор Шура на горке у кафе для встречи Глеба, а Сапожников чуть было не испортил все дело, когда хотел добавить еще большой георгин.

— Ни к чему, — решил доктор Шура.

Но потом сонно прищурился и купил георгин, но уж всю дорогу разговаривал только с третьим, которого Сапожников не запомнил.

Глеб вышел из автобуса загорелый и усталый, расцеловался с доктором Шурой и стал платком вытирать шею под расстегнутым воротничком.

— Ну, здравствуй, — сказал он Сапожникову.

Сапожников заулыбался и пожал ему руку и понял, что от него все чего-то ждут. Если уж он здесь, то должен оправдать свое присутствие.

— Глеб, этот георгин Сапожников купил, — сказал доктор Шура.

— Не купил, — сказал Сапожников, — предложил купить. Чужая слава ему была ни к чему.

Он весь похолодел и изготвился. Печальная практика его жизни подсказывала — когда ему начинали воздавать должное и хвалить за пустяки, это означало, что он должен будет породить некий важный для них безымянный ответ, который они авторски унесут в клюве.

Что и воспоследовало.

— Тебя очень хвалил Филидоров, — сказал Глеб. — Говорят, ты опять до чего-то додумался?

И в первый раз Сапожников не разозлился, не отчаялся, а просто не захотел ответить. Не захотел, и все. Надоело быть кормушкой. Чересчур дорого ему достались эти идеи. Щедрость — это, конечно, хорошо, но зачем же плодить паразитов.

— Не скажу, — подумав, ответил он.

— То есть как?.. Почему не скажешь?

— Не хочу, — сказал Сапожников и почувствовал, как светлеет у него на душе, как занимается веселая озорная заря простых ответов, какая легкость и как пахнет травой.

— Не хочешь?..

Сапожников сказал:

— Отдайте мой георгин.

Он отнял у них огромный цветок вишневого цвета, но без запаха и, стало быть, без воспоминаний, красивый сам по себе, а не потому, что торчит в ихнем букете, и пошел по улице. А через семнадцать шагов его догнал третий.

— Они спрашивают, что же все-таки произошло? — сказал третий. Это был Толя, физик, он любил таких людей, как Сапожников. И это ему зачтется.

— Я хочу сам быть автором своих идей. Я устал от паразитов. Они затронули главный фактор, — сказал Сапожников.

— Так и передать?

— Так и передай.

— Ну, я думаю, они и сами догадаются, — сказал Толя, глядя в землю. — А тебе спасибо.

И Толя не стал возвращаться, а двинулся куда-то в сторону, и Сапожников пожалел, что так и не успел его разглядеть и запомнить. Но разве всех разглядишь в такой суматохе на площади.

«...— Я в то время был уже крепкий, и отец дал деньги одной вдове, чтобы она меня обучила, как быть с женщиной. Тело мое проснулось, и я стал как безумный. Лето было жаркое в тот год, и пшеница опять поднялась в цене, царю Перисаду привезли коней из Бактрии, но не самых лучших. Рабы стали дешевы. В храме Сераписа нашли мертвую змею больших размеров. Жену мою звали Кайя. Ей было столько лет, сколько мне. Голос ее был подобен голосу четырехлетнего ребенка, а тело как у взрослой женщины, но светлее тех, кого я знал до нее».

«...— Спой мне песню, жена моя,— сказал я жене на третью ночь после брачного пира.

Она спела мне на незнакомом языке. Я запомнил слова, не понимая смысла. Через много лет, когда я узнал этот язык и много языков, на которых говорят народы, я вспомнил эту песню и переложил ее на язык эллинов.

С деревьев солнечного бога
Срываю ветвь себе на опахало,
Лицом я обернулась к роше
И в сторону святилища гляжу.
Отяжелив густым бальзамом кудри,
Наполнив руки ветками персеи,
Себе кажусь владычицей Египта,
Когда сжимаешь ты меня в объятьях...

Имя Кайя — египетское имя. Я спросил, откуда она знает язык этого народа, она не ответила. Она была очень молчалива.

А потом все погибло».

ГЛАВА 31

СОШЕСТВИЕ ПРОФАНА

Может быть, все и прошло бы тихо и академически и тексты, «опубликованные» бульдозером, тщательно изучили бы подходящие специалисты, но словечко «Атлантида» выпорхнуло, спутало все карты и стало творить чудеса.

— Надо позвать Сапожникова на диспут,— сказал Глеб Мамаеву и Филидорову.

Филидоров тихоенько собирался, стараясь не разбудить Сапожникова, а Аркадий Максимович кормил Атлантиду.

— Все, что Сапожников утверждает, вроде часть какой-то огромной картины мира. Вам не кажется?

Профессор Мамаев начал зеленеть, а Филидоров ответил:

— Кажется... Но это какая-то не наша картина.

— Вот именно! — шепотом воскликнул Мамаев.

Но Филидоров отверг подсказку и разбудил Сапожникова:

— Скажите, Сапожников, а вы случайно не марсианин? — Он толкнул его и разбудил совсем. — А?

— Я бы сам хотел это знать, — отвечал Сапожников.

Потонувшая Атлантида — проблема одиозная. Имеет бешеных противников, а также сторонников со страдальческими лицами.

Противники стоят твердо — цивилизация возникла среди кроманьонцев тысяч девять лет назад, раньше этого — никаких следов. Это правда. Они только не могут объяснить, откуда у кроманьонца возник современный мозг, когда в нем еще не было нужды. Приходилось либо допустить, что мозг возник по своей собственной программе, независимо от работы, чур меня, чур, либо отнести цивилизацию туда, где не было никаких следов. Да и потом — откуда взялся сам кроманьонец, поскольку из неандертальцев и питекантропов он явно не произошел — переходных звеньев не найдено, да и времени маловато. Неувязочка.

Этой неувязочкой пользуются наглые атлантологи. Они упорно тычут перстами в научные язвы противников и говорят, что должна была существовать где-то цивилизация, от которой не найдено следов, но во время которой сформировался кроманьонец, одичавший потом до полной забывчивости. Однако когда противники спрашивают — куда же это девались материальные следы этой цивилизации, то сторонники, кроме Платонова описания Атлантиды, ничего реального предъявить не могут. И выходило, что в руках противников факты археологии и истории, а у сторонников — логика и домыслы специалистов пестрых научных профессий. И казалось, что хуже «Атлантиды» для диспута ничего не придумаешь.

Но случай, бог-изобретатель, как сказал Пушкин, тут как тут — и шварк на стол козырную карту из рукава судьбы — пресловутые камни Икки. Несколько тысяч черных камней, твердых, с процарапанными рисунками, да такими, что дух захватывало: хирургические операции и человеки

на ящерах катаются. Запахло такой древностью, что и атлантологи скисли. Хотя все роли теперь вроде бы переменились — противники стали греметь логикой, а атлантологи из смельчаков — новыми фактами.

На этот диспут пришли все.

Это был диспут о чем-то более важном, чем проблемы ушедших веков, и чем-то большим, чем склока между специалистами.

Если храмы науки превратятся в обыкновенные церкви, куда мирян приглашают благоговеть, послушать пение жрецов и разглядывать ризы, то это конец всему, и прежде всего — науке. И тогда по прошествии времени снова ереси, а потом снова учить азам и писать мелом на стене — мы не рабы, рабы не мы. Не чересчур ли высокая плата для науки за фанаберию ее служителей?

Мамаев свое войско привел, Глеб — свое.

И странно распределились силы в их войсках. Все категории перепутались, и за них было не спрятаться.

Никакое деление не проходило по привычной шкале примет. Не отцы и дети, не физики и лирики, не естественники и гуманитарии, не специалисты и дилетанты и так далее — как ни раскладывай, а все получалось это «не-не», и ни одной внешней приметы не угадывалось. Каждый лагерь имел непонятно смешанный состав, и все же два лагеря стояли друг против друга перед закрытой дверью.

Мамаев свое войско привел. Глеб — свое.

Сначала отстаивали протокольные права — кто имеет право что-то утверждать, а кто не имеет — и махали дипломами.

— Ну хорошо... плевать мне — было государство Атлантида или нет. Оставим! Меня интересует, соединял сухопутный мост Европу с Америкой или нет? — это из лагеря Глеба.

— Нет!

— Докажите!

— Докажите обратное!

— А почему именно он должен это доказывать?

— То есть?

— Он утверждает — Атлантида была, вы его за это обвиняете... Вот и докажите свое обвинение... Как в суде.

— Здесь не суд! — это уже опять из мамаевского лагеря.

— Это не суд, но это дуэль аргументов. А дуэль вещь

непочтительная. Нельзя, чтобы один был в латах, а другой был голый.

— Никто этого не требует!

— Требуется. Давайте мы с вами напечатаем статьи под псевдонимами и без ученых званий?

— Это смешно!

— Я тоже так думаю, — сказал Глеб. — Вы не решитесь... Это касается и Мамаева.

— Профессора Мамаева! — крикнули ему.

— Мамаева, — сказал Глеб. — На равных так на равных... Каждого, кто занимается Атлантидой, обвиняют в шарлатанстве.

Потом Глеб повел атаку на систему аргументов профессора Мамаева. Глеб сказал:

— У профессора Мамаева доводы ребяческие.

— Что? — приподнялся профессор Мамаев.

— Детский лепет... — сказал Глеб. — Видите ли — как они могли рисовать динозавров, если они их не видели? Детский лепет, а не аргумент... А вы их видели, профессор? А ведь рисуете... Да и во всех музеях Георгий Победоносец динозавра бьет и прочие Персеи и Андромеды. Вы скажете, что это мифы? Ну и что? У нас, видите ли, могут быть свои мифы, а у них не было! А откуда вам это известно? Если известно — сообщите откуда. Доказывать надо. А горлом в науке не возьмешь.

— Вот именно, — сказал Мамаев.

— Что вот именно? — спросил Глеб. — А это, по-вашему, аргумент? Динозавры, видите ли, вымерли до появления человека. А кто рыбу целаканта поймал недавно? Тоже считалось, что вымерла до вашего появления. Или такой довод — у нарисованного динозавра по спине гребень, а науке такие неизвестны. А то, что этот же целакант, оказывается, не икру метал, как порядочная рыба, а яйца нес, — это науке было известно, пока не увидели? Ей-богу, вы нас за дураков считаете... И действительно мы дураки... Мы пытаемся думать, сопоставлять факты, вами же добытые, а нам говорят «цыц!» и пишут статьи под названием «Дискредитация науки». Науку могут дискредитировать только статьи с таким названием...

— Ближе к делу!

— Дайте ему говорить!

— Когда выступает специалист, — продолжал Глеб, — то люди ждут, что он сообщит нечто известное только ему и тем сокрушит выдвигаемую гипотезу. И научное звание —

это только аванс доверия к тому, что он скажет. Но как только он вступает в область здравого смысла, тут уж извините, тут специалист тот, у кого голова на плечах. Все остальное возня самолюбий. Науку не могут оскорбить дилетанты, науку могут оскорбить только дураки.

— Вы не учитываете общественного вреда, который приноят непроверенные сведения! — одним духом выкрикнул Мамаев.

— Учитываю. Я об этом и говорю... Когда в философском словаре четко написано, что кибернетика и генетика это лженауки, придуманные буржуазией для совращения трудящихся, то это были непроверенные сведения, хотя писали их не дилетанты, а профессиональные ученые... Это не ваши статьи?

— Нет, не мои, — сказал профессор Мамаев. — Не надо заниматься демагогией.

— И я говорю, не надо, — сказал Глеб.

Шумели. Звенел карандаш о графин с водой.

Потом, когда все стихло, профессор Филидоров спросил Глеба:

— Короче... что вы утверждаете? Мы так и не поняли.

— Я хочу сказать, что в науке сам характер разговора имеет общественное значение. Я хочу сказать, что наука, если она наука, призвана заставлять людей думать, а не благоговеть. Я хочу сказать, что разговор в науке должен происходить на равных, независимо от состава участников, на равных, даже если в нем принимают участие неспециалисты, или не происходить вообще. Потому что неспециалисты в одной области могут оказаться специалистами в другой, — сказал Глеб и с некоторым испугом посмотрел на Сапожникова, как будто сам удивился своей неожиданной позиции.

Вот как Глеб заговорил! Глеб, дипломированный всеми дипломами лидер. К нему стоило прислушаться.

Сделали перерыв.

Многим поведение Глеба казалось неожиданным. Но это так казалось.

Мы упоминали о проблемной лаборатории, для которой Филидоров присматривал сотрудников и которой должен был руководить Глеб.

Новому делу нужны были люди, для которых хотя бы в начале работы щедрое мышление было бы привычным. Потом все, конечно, покатится по своим рельсам, но для затравки

нужны были свежие головы и, значит, новый, раскрепощенный стиль поведения.

Глеб на этом диспуте бил двух зайцев. Во-первых, Глебу нужно было доверие Сапожникова, который конечно же был на стороне Аркадия Максимовича, и потому Глеб тоже стал на его сторону.

— Мамаеву кажется, что он защищает основы, а он им только вредит. В глубине души он еще надеется, что камни Икки дискредитируют науку. Надо их проклясть, и они исчезнут. Он думает, что все дело в подходящем проклятии.

Во-вторых, Глеб показывал Филидорову и своей будущей команде, как должен выглядеть молодой стиль молодой лаборатории, и лучший способ показать это — ударить по Мамаеву.

— А вам-то зачем этот Тетисов, этот Аркадий Максимович? — спросил Мамаев у Глеба. — Почему вы решили вступить за этого аутсайдера?

— Хотите откровенно?

— Да.

— Как говорил гражданин Паниковский, вы из раньшего времени. Вы мне мешаете, — ответил Глеб.

Глеб ничего не терял. Лишь авторитет его приобретал новые, неожиданные оттенки.

Все было продумано и взвешено на чашах Глебовых весов, но у судьбы свои весы.

«...— Приск — имя древнего племени, сын мой... Это имя так и означает — «древние» или «первые». И они жили в Италийской земле, когда еще не было Рима, и не было римлян, и не было этрусков, которые были до римлян... Мы самые древние... Приски... Человек не должен гордиться, что у него много предков... потому что у каждого человека их одинаковое число... Но человек может гордиться тем, что он их помнит и сохранил предание. ...Мы приски, мы гордимся тем, что мы помним...»

Аркадий Максимович присел возле Сапожникова, который дремал на вестибюльном диване и возвращаться на диспут явно не собирался.

— Всё качают права? — спросил Сапожников.

— Устали.

Фамилия Аркадия Максимовича была Фетисов, но поскольку все русские слова, начинающиеся с буквы «Ф»,

греческого происхождения, а в Древней Греции букву «Ф» прежде произносили как «Т» — Фекла — Текла, Анфиса — Антиса, то Мамаев упорно называл его Тетисов, и Аркадий Максимович страдал.

Ну а диспут, как и полагается диспуту, тем временем постепенно заходил в тупик.

— Глеб... — сказал кто-то из свиты. — Мы топчемся на месте. Мамаев приободрился, и Аркадий Максимович совсем скис... Нужна завиральная идея.

— Ладно... — сказал злой и веселый Глеб. — Спускайте с цепи Сапожникова.

— Может быть, не стоит?

— Стоит... Они сами запросились.

— А в чем идея его выступления, вы хотя бы знаете?

— Нет, конечно.

— А как же?

— Начнет думать вслух — к чему-нибудь приползет...

— Скажите ему, чтоб хоть повежливей.

Кто-то хохотнул.

— Сапожникова... Сапожникова найдите! — зашумели в коридоре.

— Ну зачем это, зачем! — в отчаянии зажал уши Аркадий Максимович.

— Здесь я!.. — раздался нереальный голос Сапожникова.

Кто-то опять нервно хохотнул.

— Поднимите ему веки, — сказал Глеб.

Сапожников почесал бровь и начал рассматривать, кто где сидит.

— Ну, что там? — раздраженно спросили из заднего ряда. — Поздно уже.

Сапожников поднял глаза вверх и стал смотреть в потолок. Потом сказал:

— Дело в том, что такое доказательство, что Европа и Америка соединялись сухопутным мостом, — есть...

— Ну да? Бесспорное?

— Пока не найдут опровержения.

— Ну и какое же это доказательство?

— Лошадь.

— Какая лошадь?

— Обыкновенная, с хвостом.

— В самом деле, при чем здесь лошадь? — спросил Аркадий Максимович.

— А при том, что люди в древней Америке есть, а лошади нет... Как же это? А дело простое — люди приплыли, а лошадь пешком ходит.

— К черту все! Бессмысленный разговор, — закричал Мамаев.

— Люди пришли из Азии! Через Берингов перешеек! Понятно вам? Пришли, а не приплыли!

— А почему лошадь не перешла? — спросил Сапожников.

— А почему она должна была перейти?

— Потому что мамонты перешли, бизоны перешли, а лошадь почему-то не перешла, — сказал Сапожников.

— Ладно, разберемся, — сказал Мамаев. — Но к Атлантиде это отношение имеет?

— А действительно — при чем тут Атлантида? — спросил Аркадий Максимович.

— А при том... — сказал Сапожников, — что если двенадцать тысяч лет назад люди в Америке уже были, а лошадей еще не было, то это может означать только одно...

И остановился.

Потому что прислушался к себе — захватило у него дух от того, что он собирался сказать, или, быть может, нет? Нет, нехватило. Устал. Устал от идей, которые всегда сначала считались дефективными, а потом оказывалось, что они хотя и дефективные, но не совсем, а в чужих руках играли и переливались и приобретали утилитарную ценность, для Сапожникова недостижимую почему-то.

— Что одно? — спросил оппонент. — Ну что?

Сапожников здесь, в Керчи, много чего узнал и не заметил сам, как вовлекся в чужие древние дела. А как вовлекся, так они сразу стали современными, эти дела, и, мы бы даже сказали, в чем-то животрепещущими.

А так как голова его была устроена таким образом, что не сопоставлять новые сведения со старыми он не мог, то как возьмется сопоставлять, так его дефективное воображение начинает рисовать ему конкретные картины. И он по своему легкомыслию этому не сопротивлялся.

Вот он услышал, что монголы перешли в Америку из Азии, с Чукотки, и заполнили пустой материк.

И не поверил этому.

А откуда взялись на пустом материке крючконосые индейцы, ничего общего не имеющие с эскимосами? Для эволюции времени не хватает, а скрещиваться монголам было

не с кем. Не проще ли предположить, что люди пришли на пустой континент из другого места? Сначала эскимосы, потом индейцы.

А потом он узнал, что потоп, о котором говорилось в мифах всего мира, есть не всемирный потоп, а воспоминание о местных катастрофах различных племен.

И не поверил этому.

Он подумал — все исторические народы пришлые для той местности, где их знает история. Откуда же они знают о катастрофах, которые случились до них в этой местности? Не проще ли предположить, что они принесли с собой воспоминания о своих катастрофах?

Понимаете? Если в греческих мифах есть миф о всемирном потопе, то не надо искать его рядышком, в Эгейском море, а надо искать его там, откуда они пришли.

А потом он узнал, что Платонова Атлантида это описание идеального города, придуманного Платоном для улучшения реальных городов Греции. То есть утопия.

И не поверил этому.

Он спросил — чем же собирался соблазнить Платон греков-демократов в этой утопии? Уж не царями ли? И еще одна поразительная подробность — откуда Платон узнал планировку ацтекских городов?

А поскольку индейцы-ацтеки и слыхом не слыхали о Платоне, то не проще ли предположить, что и у ацтеков и у Платона были общие сведения?

И тогда Сапожников понял, что все вертится вокруг потопы.

Если был потоп, от которого бежали народы в разные стороны, то была Атлантида. А если потопы не было, то и Атлантиды не было.

...И закрыл тогда глаза Сапожников и еще раз проверил доводы. И увидел небывалое.

...Пыль стоит до неба от движения бесчисленных племен и кровавая пестрота...

И удивился Сапожников не тому, что в Атлантиду многие верят, а тому, что в Атлантиду многие не верят.

«Лошадка! Вывози!» — возопил Сапожников.

И, отбросив все сомнения, поскакал на неоседланной лошади фантазии и сопоставлений. Позволил своему мозгу думать так, как ему самому хочется, не ограничивая его оглядками и испугом перед чужими мнениями.

И тогда Сапожников вспомнил две научные теории, о которых он узнал в разных местах и в разное время. Он не мог

вспомнить авторов этих теорий, но это теперь не имело значения. А имело значение только то, что они у него прежде в голове жили поврозь, а теперь вдруг встретились.

Он вспомнил, что по одной теории ледники в горах тают и намерзают не плавно, а по ступенькам. 1475 лет, так, кажется, одна ступенька. И что этих ступенек одиннадцать штук. Полный цикл. Сейчас как раз идет седьмая. Осталось еще четыре до полного цикла, а потом все сначала. 1475, умноженное на семь, — это приблизительно одиннадцать тысяч лет.

И еще он вспомнил по другой теории, что от теплого течения Гольфстрим тают льды в Арктике. И когда вес их становится достаточно малым — поднимается подводный порог между Гольфстримом и Ледовитым океаном и перегородивает теплое течение воды в Арктику. Тогда в Арктике снова начинает намерзать лед. И его становится столько, что Европу покрывает ледник, от которого прогибается суша. От тяжести. А когда прогибается суша — опускается и подводный порог. И тогда Гольфстрим снова прорывается в Арктику. И все начинается сначала. Начинает таять лед и так далее.

Тогда надо спрашивать не «был ли потоп?», надо спрашивать: «А могло ли его не быть?»

Ведь если вода хлынула через порог, а суша опущена, то вода неминуемо затопит Европу, а лед всплывет. Вода понесет с собой плывущий лед. А что может устоять перед айсбергами, какая цивилизация? Это механика.

Но оказывается, можно узнать и время катастрофы. Но об этом уже было сказано выше — примерно 11 тысяч лет тому назад. То есть столько лет, сколько, согласно мифам, прошло с момента всемирного потопа, и столько лет, сколько прошло с момента гибели Атлантиды.

То есть потоп был на самом деле всемирный, и он был на памяти людей.

Он, конечно, понимал, что картина, возникшая у него в мозгу, имела логику тех связей, которые уже накопились в опыте Сапожникова, и что любая внезапная подробность может в чем-то изменить эту картину. В чем-то, но не в главном. Потому что на американском материке — лошади не оказалось!

Почему же она не пришла с Чукотки, как мамонты и бизоны?

И тогда спросил Сапожников себя: а откуда известно, что мамонты и бизоны перешли на Аляску именно с Чукотки?

И тогда Сапожников понял для себя, что надо спрашивать не о том, могла ли существовать Атлантида, а о том, могла ли она не существовать?

И спросил тогда Сапожников — а откуда известно, что и человек в Америку перешел из Азии, а не из Европы? Говорят, потому, что на Чукотке и на Аляске одна культура — эскимосская, монголоидная? Но ведь эскимосским останкам в Америке 30 тысяч лет, а в Азии 20 тысяч. Спрашивается — кто же куда и откуда перешел?

Так почему же этого стараются не замечать? Потому что пришлось бы признать мост из Европы, то есть мифическую Атлантиду.

Ну, а если на Чукотке вдруг откроют кости еще более древние, чем на Аляске? Изменится ли картина? И понял, что — нет.

Все равно атлантический сухопутный мост был. И вот почему.

Люди на Аляске и люди на Чукотке были монголоиды. Спрашивается — откуда в Америке взялись индейцы? Из Азии индейцы прийти не могли — их там нет и не было. Стало быть, и индейцы могли прийти в Америку только по атлантическому мосту. Или приплыть. Но не с Чукотки.

И тогда Сапожников понял, что все вертится вокруг потопа.

Если был потоп, от которого бежали народы в разные стороны, то была Атлантида. А если потопа не было, то и Атлантиды не было.

Сапожников высказал все эти соображения, и тут бы ему остановиться, но он добавил:

— Я хочу сказать, что если бы родина монголов была Азия, то они бы пришли в Америку вместе с лошадью, так как сухопутный мост между Чукоткой и Аляской был. А вот мост в Атлантике, видимо, состоял из островов — люди приплыли, а лошадь нет. И выходит, что пра-монголы пришли не из Азии в Америку и не из Америки в Азию, а из Атлантиды через Америку в Азию. И получается, что Америка для атлантов была перевалочным пунктом.

— Когда неграмотный человек берется не за свое дело... — сказал Мамаев в полной тишине.

— ...Сначала в Америке появились монголы — это известно. А за ними индейцы — последняя волна переселенцев из Атлантики... Они перешли с атлантического моста, состоявшего из островов, который рушился постепенно. Может быть,

это действительно была Атлантида... Тогда индейцы принесли, вернее, все время приносили в Америку остатки этой культуры... Потому что если Атлантиды не было — откуда Платон знал об устройстве индейских городов? Такое не вообразишь.

— Почему? А если это утопия? Проект идеального города?

— Чушь! Чем Платон мог соблазнить греков-демократов? Для них идеальный город был полис, демократия... а там цари, потомки Посейдона, кстати...

— Почему кстати?

— Об этом потом... — сказал Сапожников. — И тогда теснимые индейцами эскимосы стали переходить с Аляски на Чукотку, на новый для них азиатский материк, где их раньше никогда не было, и там они встретились с лошадейю в азиатских степях.

— Чушь! Все вверх тормашками.

— Стали переходить на новый для них материк, спускаться на юг и скрещиваться с местными племенами и постепенно становились чукчами, якутами, японцами, корейцами, китайцами, монголами... Они расселялись все дальше на запад, пока не столкнулись с волной переселенцев с запада, которые уходили подальше от мест атлантической катастрофы и оседали на материке. И возникли новые цивилизации... всякие там шумеры, аккады, египтяне, иудеи, хетты и прочее... Поэтому евразийские кроманьонцы и не произошли от местных неандертальцев и питекантропов. На это переселение у них как раз времени хватило, несколько тысяч лет после ледника... А вот для появления современного мозга двенадцати тысяч лет мало.

— Какая странная идея, — сказал Аркадий Максимович.

— Это не идея... Это картина, которая может возникнуть из сегодняшних данных... Появятся другие данные — появится и другая картина, а не появятся — значит, картина верна. Рациональное зерно во всем этом одно — мир был един всегда и человек не мог остаться единым видом биологически, если бы он не был единым видом общественно... и нужно искать гипотезы, объясняющие это всемирное человеческое единство... Лучше какая-нибудь гипотеза, чем никакой.

— Кто это вам сказал?

— Это слова Менделеева, — сказал Сапожников.

Профессор Мамаев ничего не сказал. Он сидел, стиснув зубы, и бил себя кулаком по колену.

Но тут отпуск у Сапожникова закончился, и он уехал в Москву в свою шарашмонтажконтору широкого профиля, где работали такие же, как он, специалисты-наладчики всего того, что само автоматически не налаживалось.

А в Москве он пробыл недолго, так как они с Фроловым и Вартановым двинулись еще дальше в северную сторону, в район города Риги, но Сапожников туда ехал и не волновался уже.

Там на диспуте Толя спросил Глеба:

— Глеб, скажите честно... какую практическую пользу вам принесет Сапожников?

— Меня к нему человечески тянет, — ответил Глеб.

Все засмеялись. И ни одна душа на свете и сам Глеб не знали, что это так и есть. А сам Глеб узнал только сейчас. Он хотел пошутить и вдруг с ужасом понял, что сказал правду.

ГЛАВА 32

РУКА

— Я хочу с тобой поговорить, — сказал Вартанов.

— Говори, — согласился Сапожников.

Это был последний вечер их пребывания в Саласпилсе.

Они опять приехали втроем — Фролов, Сапожников и Вартанов, опять были все вместе. Но на этот раз Сапожников приехал в Ригу по прямой своей профессии наладчика и аварийщика и был забронирован и от воспоминаний, и от потрясений души. Кроме того, с ним были еще двое со своим житейским опытом, и он мог на них рассчитывать.

Они прибыли на Балтийскую ГЭС, где строилась намывная плотина. И вчера они прощались с этим местом работы. Еще одним местом работы в жизни Сапожникова. На этот раз работа троих приезжих прошла стандартно. Стандартно спокойно и стандартно неспокойно.

Аппаратура, которую по договору их фирма должна была наладить, была налажена. Заинтересованные люди остались с ней работать. Под конец, конечно, была гонка, как всегда. То есть все прошло более или менее благополучно. И вот в последний день они запаслись едой и минеральной и расположились на моложавой траве у каких-то давних руин. И Вартанов сказал Сапожникову, что хочет с ним поговорить.

Стояла огромная жара. Торф горел. Вдоль дорог костенели деревья, ставшие похожими на эвкалипты, с сухими листьями в трубочку. Гарь не чувствовалась только у самой земли. За год до этого была холера. Землетрясения шевелили глобус. Природа взбунтовалась и заявляла о себе. Но многим все еще казалось, что этим можно пренебречь. Наступил энергетический кризис, но богатые люди умудрялись спекулировать и на этом. Вычисляли циклы природной аварийности и продолжали ее усиливать. Половина мира все еще плохо понимала, что все плывут на одной лодке и раскачивать ее — безумие.

После диспута, уже в Москве, произошел маленький эпизод, после которого все начало сплетаться в непонятный узор, похожий на движущийся иероглиф, и разгадать его пока было некому.

Провожали Аркадия Максимовича, который уезжал в Ленинград со своими археологами и потому оставлял на несколько дней у Сапожникова свою Атлантиду и очень боялся, как она перенесет с ним разлуку. Он все объяснял ей, что это всего ничего, всего несколько дней и что Сапожников свой, и уговаривал ее доест колбаску.

Собрались у Сапожникова все знакомые люди. Посмеивались, вспоминали диспут и старательно обходили завиральную гипотезу Сапожникова. Но все же примолкли, когда Сапожников ну конечно же не угомонился и начал логически мыслить:

— Сегодня мы умные и у нас цивилизация... А у дикарей нет цивилизации, а мозги не хуже наших... Неувязочка... Но если человека сделала работа, то цивилизация есть причина сегодняшнего уровня человеческого мозга, и, значит, даже у давних дикарей должны быть ее следы... А если таковых нет, то и дикарей нет, а есть одичавшие... Третьего не дано... Время для формирования мозга теперь есть — пять миллионов лет... А следов формирования нет. Опять неувязочка... То есть цивилизации, которая была бы до кроманьонского одичания, не найдено... А потому и Атлантида не выход — там уже дворцы, крепости, металлы и прочие цари... Значит, либо цивилизация такая была, но ищем не там... либо ищем ее совсем не в том.

— Ну и где же выход? — осторожно спросил Аркадий Максимович и тем самым спросил неосторожно.

— Может быть, надо переменить взгляд на цивилизацию, — сообщил Сапожников. — Цивилизация — это, конечно, прежде всего совершенствование орудий труда... Но где

доказано, что орудия труда должны быть такими, какими мы привыкли их видеть?

— То есть? — спросил Глеб.

— А если они живые?

Ах, Глеб, Глеб! Тебе стал нужен Сапожников. Интрига твоя злая, веселая и безошибочная. За то, что ты заступился за Аркадия Максимовича, Сапожников снова, как в давние дни, пошел с тобой на сближение.

Но вышел казус. А казус — это почти конфуз. Это когда человек все рассчитал и стал действовать, а все и вышло наоборот.

По формуле все сходилась — Глеб берет Аркадия Максимовича под крыло и получает расположение Сапожникова. Это раз. Глеб совершает это в раскованном и свободном стиле и тем приводит в восторг Филюдорова. Потому что Филюдоров теперь не просто сбивает в кучу умников разных наук, а таких, которые бы идеи своей профессии подкидывали бы в чужую. Это два.

Один выстрел супротив двух зайцев. Полвыстрела на зайца. Все учел Глеб, от природы лидер. Не учел только одного — себя. Это бывает.

Потому что на этом диспуте Глеб испытал счастье.

Счастлив стал Глеб на этом диспуте и не мог об этом забыть. Вот какое дело.

Безоколичная манера выкладывать доводы, которую Глеб перехватил у Сапожникова, вдруг и внезапно перестала быть манерой и на короткие часы стала свободой.

Но и это еще не весь казус, а только его половина. А вторая половина была в том, что Глеб заступился для дела, а вышло, что для души. И это бывает.

Если защитишь кого-нибудь, то это безнаказанно не проходит. Привязывается душа к тому, кого защитил.

И вышло так, что это Сапожников ненароком, сам того не зная, положил двух зайцев в потемках застывшей в гордости Глебовой души.

Глеб понял это не сразу, но сразу испугался.

А как испугался, так разозлился вдвойне. И это обычно.

— Ты когда-нибудь задумывался о своей судьбе? — спросил Глеб, когда они остались одни, а остальные разошлись, пообещавши прийти прямо на вокзал.

— Сколько раз, — ответил Сапожников.

— Ведь одной сотой того, что ты выдумал, могло бы хватить...

— Отстань, — сказал Сапожников.

— А все же?

— Я предоставляю мозгу думать. Видимо, для меня надо так.

— Ты житейский дурак, — сказал Глеб. — Идеи продаются. А ты пытаешься их всучить даром... Понимаешь — ты выпал из нормы. Если ты изобрел что-то или думаешь, что изобрел, — оформляй заявку и отсылай, а если ты совсем умный, то сначала проведи патентный поиск, все равно заставят, чтобы узнать, не опередил ли тебя кто... А ты придумываешь что-то и тут же выбалтываешь... Что происходит?

— А что происходит? — как эхо спросил Сапожников.

— У моего знакомого есть сука, — сказал Глеб.

— Не ругайтесь, — сказал Аркадий Максимович. — Я не люблю.

— Нет... Реальная собачка женского пола, — сказал Глеб. — Она родила щенят. Мой знакомый — интеллигентный человек, хотел раздать щенков даром. Ветеринары ему сказали — хотите, чтобы щенкам хорошо жилось у новых хозяев? Продайте их... У хозяев будет к ним са-а-авсем другое отношение.

— У меня у самого баек сколько хочешь, — перебил Сапожников.

— Ты проиграл свою жизнь, — сказал Глеб. — Никого ты не отстоял, никого не защитил... Благородные мотивы изобретательства? Пожалуйста. Только надо, чтобы все выдумки были реализованы... Благодетель... И реализованы тобой! Пойми ты... иначе часть их пропадет в суматохе и шутовстве, а часть — разворуют паразиты... Пойми — ты развращаешь людей. Ты плодишь паразитов.

— Это верно, — подтвердил Сапожников. — Это я понял.

— Ты пойми — ты придумал себе абстрактного человека... а человеки все разные... То, что нужно одному, для другого отравя... Ты асоциальный тип, понимаешь? Кого ты защищаешь? Кого?

— Себя... Свою натуру, — объяснил Аркадий Максимович... — У него такая натура. Он защищает право быть самим собой.

— И все?

— Не так мало, — возразил Аркадий Максимович.

— Нет, — сказал Сапожников. — Еще кое-что защищаю.

— Что именно?

— Выдумки. Саму способность и необходимость выдумывать.

— Ясно, мы ленивы и нелюбопытны, — поморщился Глеб. — Это для школьников и старо.

— Верно. Нелюбопытны, — сказал Сапожников. — И если мы хотим, чтобы мир стал миром, мы должны совершить скачок в самом способе мыслить. Я не настаиваю, но мне так кажется.

— Бытие определяет сознание, а не наоборот.

— Точно, — сказал Сапожников, — я так думаю, что мое бытие и определило мое сознание.

— Не корчи из себя праведника, — сказал Глеб.

— Я праведник? Во мне дерьма не меньше, чем в тебе. Просто я догадался, что, если мы хотим, чтобы от каждого по способности и каждому по потребностям, надо менять потребности. Иначе придет один болван и заявит, что у него потребность владеть миром. А где набрать вселенных, чтобы по штуке на рыло?

— Ты сумасшедший, — сказал Глеб, — нет, ты нормальный кретин, ты даже не Дон Кихот. Тот хотя бы был благородный сумасшедший, и принято ему сочувствовать. Лично я не сочувствую. Считаю, что его образ плодит прекрасных безумцев... Его образ плодит диссертации Мухиной, которая спит, жрет и портит бумагу, и ее вполне устраивает, что Дон Кихот бумажный. Живые Дон Кихоты ей не нужны... Ты никому не нужен, Сапожников, у Дон Кихота был хотя бы один верующий — Санчо Панса, а у тебя и его нет.

— Есть, — сказал Сапожников.

— Кто?

— Ты, — сказал Сапожников.

— Я?! — закричал Глеб.

И Сапожников первый раз в жизни услышал, как кричит Глеб.

Он кричал громко.

На тебя падает камень. Это, конечно, не очень хорошо, но один раз будет правильно отскочить, и даже второй. Рефлексы нужны. Рефлекс — это ответ, реакция на воздействие извне, и даже безусловные когда-то, видимо, были условными.

Но потом надо будет придумать, чтоб на тебя камни не падали. Ходить другой стороной или построить навес. То есть или бежать, или бороться. Это выход. Но выход по линейной логике рефлексивный, реактивный — ответный. Так поступали тысячи лет — или избегали, или боролись.

Другой же способ не рефлективный, не реактивный. Он результат нелинейной логики.

Судите сами. Линейная логика — камни падают. Следовательно, надо бороться или драпать. Нелинейная логика — камни падают — надо это использовать.

Вот взять хотя бы метод дихотомии — такой способ поиска. Надо найти иголку в стоге сена. Делят его пополам. Отбрасывают ту половину, в которой заведомо нет иголки. Оставшееся сено опять делят и отбраковывают заведомо пустую. И так далее. Таким методом можно найти одну молекулу в космосе. Машина делает это быстро. А Сапожников с детства не верил в слово «заведомо» и считал метод очень удобным, но ограниченным и искал там, где другие отбрасывали. И чего достиг? Кустарь-одиночка без мотора. Мог бы достичь и большего.

Все это доктор Шура рассказывал Вике, когда они с Толей спешили на вокзал проводить Аркадия Максимовича, уезжавшего в Ленинград. А как вы помните, Толя любил таких людей, как Сапожников, и это ему зачтется.

— Вика... — окликнул Толя институтскую свою приятельницу. — Какими судьбами?

— Толик!

— Вика, почему, когда ветра нет, ты в штанах, а когда ветер, ты в короткой юбке?

— Прекрати...

Вика поймала свою юбку, и Толя познакомил ее с доктором Шурой.

Ну то-се, и доктор Шура с негодованием рассказал о дихотомии и о сапожниковском к ней небрежении.

— Представляете себе?

Но Вика сказала:

— А почему только два способа искать иголку в стогу? Либо по соломинке перебирать, либо ваша дихотомия? Да и как еще узнаешь, что вместе с ненужным и нужное не выкинешь?

— Третьего не дано, — сказал доктор Шура.

— Ну да, не дано!.. — не согласилась Вика. — Если иголка важная, можно стог поджечь. Если нельзя поджечь — можно промыть. Если нельзя промыть — можно просеять через магнит. Я вам еще сто штук придумаю.

— Ты знаешь, — сказал Толя. — По-моему, ты Сапожникову годишься.

— Главное, чтобы он так думал, — сказала Вика.

Доктор Шура поскучнел.

— Ну, вы идете?

— Да уж опоздали, пожалуй, — сказал Толя.

И доктор Шура пошел на вокзал один.

— Я ничего не успел для нее сделать, — сказал Аркадий Максимович, когда стоял уже на площадке, а молодая проводница плиту-ступеньку опускала.

— А ничего и не надо, — успокаивал его Сапожников. — Сначала Атлантиду буду кормить я. Она ко мне привыкла. А когда уеду — у моих друзей проживет, у Дунаевых. К Нюре всякая живность липнет.

— Как бы она меня не разлюбила за это время.

— Что она, человек, что ли? — сказал Сапожников. — Чересчур многого вы от нее хотите.

— Чересчур умные все стали, — сказала проводница.

Поезд тронулся. Проплыли белые вывески на вагонах — откуда идет поезд и куда. Ушел поезд, и открылась другая сторона перрона, на которой стоял запыхавшийся доктор Шура, только что вбежавший, и смотрел на Сапожникова.

— Эй, как тебя... Ботинков! — крикнул доктор Шура. — Почему нынче идеи?

— Полтора рубля ведро, — ответил Сапожников. — Слушай, отличник учебы... говорят, в Москву еще лучший профессор приехал, чем твой... Учеников набирают для полной шифовки... Хочешь, устрою поноску носить?

Доктор Шура оскорбительно показал ему язык и хотел уйти.

— Стой! Пивом угощу! — воскликнул Сапожников.

И доктор Шура остался.

Из этого в дальнейшем вышло много последствий.

А потом Сапожников поехал в рижскую сторонку и не волновался. Там он будет занят работой.

— Рыбы там поедем, — сказал Генка Фролов.

— А зачем? — спросил Сапожников. — Ты рыбу любишь?

— Неважно, — сказал Генка. — В каждом месте надо есть то, что оно производит...

В общем-то правильно.

— Но это не главное... Главное, там кековское пиво.

— Какое?

— Кековское... Там есть такое место Кеково. Совхоз или колхоз — они пиво производят. Даже ларьки в городе есть.

— А чем оно замечательно? — спросил Вартанов.

— Говорят — с четвертого стакана ломаются. Чудо, а не пиво.

— Откуда ты все знаешь, Гена? — спросил Сапожников.

— Живу, — ответил Фролов.

«...Полак, сын Скилура, напал на Херсонес, и жители его просили помощи у царя Митридата Евпатора.

В то время Митридат владел уже Югом и Востоком Понта Евксинского, а теперь он пожелал захватить наши берега.

Митридат послал Диофанта с флотом, и тот разбил скифов Полака и тавров и вернулся в Понт.

Но через год скифы снова напали на жителей Херсонеса, и Митридат снова послал Диофанта, и тот разбил скифов в Каркептиде в жестокой битве мечей и занял Скифию, города и столицу их Неаполь. Но Херсонес перестал быть свободным и подпал под силу Митридата и державу его.

И Пантикапей, город наш прекрасный, ждал, что будет, потому что с Востока шли сарматы. И некоторые племена, подвластные нам, отпали от нашего царства, и царь наш Перисад посылал дары сарматскому царю.

И жители города роптали и вспоминали о вольности своей. В Феодосии и Пантикапее среди скифских и мотийских рабов было волнение».

— Я хочу с тобой поговорить, — сказал Вартанов.

Это был последний день перед отъездом, и Вартанов сказал:

— Я хочу с тобой поговорить.

Они расположились на моложавой траве у каких-то давних руин.

Дышали, смотрели вдвоем в розовое небо, в котором летали райские птички.

Вартанов сказал:

— Зачем тебе все это нужно?

— Ты про что?

— Ну ты знаешь, про что... Зачем ты живешь так, как ты живешь?

— А как надо? — спросил Сапожников.

— Надо заниматься своим делом, — сказал Вартанов. — Зачем ты лезешь в те области, где ты не специалист?

— Может быть, именно поэтому, — ответил Сапожников. — Я ничего не пробиваю из своих выдумок, я высказываю

соображения. Налетай, бери. А зачем ты лез в здешние дела и махал руками? Вот и я поэтому.

— Но я же махал руками, потому что было все очевидно!

— А может быть, и мне очевидно?

— Не может этого быть, — сказал Вартанов. — Ведь я тебя знаю вот уже сколько лет. Ты теперь и в историю лезешь.

— Да, — сказал Сапожников. — Я влез в историю. Потому что без истории уже нельзя.

— Но у тебя нет достаточных знаний. Знаний. А все знать нельзя.

— Одному знать нельзя, — возразил Сапожников. — А всем вместе можно.

— Но так оно и происходит на деле. Знают всё больше и больше... а разве все счастливы, — сказал Вартанов и перебил сам себя: — Это поразительно и смешно. Сегодня Станиславского не приняли бы в театр потому, что он не кончал студию имени Станиславского... а Ван Гог и Гоген считались бы самодеятельностью. А уж о Циолковском и говорить нечего. С ним и говорить не стали бы. Он не окончил Авиационного института, не служил в НИИ и не имел звания.

— Ладно... разберемся, — сказал Сапожников. — Могу еще добавить монаха Менделя, основателя генетики, каноника Коперника, основателя нынешней астрономии, химика Пастера, основателя микробиологии. Ну, этого все знают.

— И химика Бородина тоже все знают, — резвился Фролов, — и доктора Чехова тоже все знают.

— Сухопутного офицера Льва Толстого и морского офицера Римского-Корсакова, — начал смеяться Вартанов и долго смеялся.

— Искусство не бери, — вмешался Фролов. — В искусство всегда откуда-нибудь переходят. Ты науку бери и технику.

— Кончай, — сказал Сапожников. — Кончай ржать. Заболелешь.

Вот уже больше сотни лет делают попытку подменить творчество образованием. А ведь образование — это чужой опыт творчества, и он часто глушит твой собственный.

Чужой опыт предоставляет только выбор. Не больше. А не выход.

Выход — это не поиски выбора. Выход лежит над выбором. И его надо открыть. Выход — это изобретение.

— Фактически ты занимаешься искусством, а не наукой и техникой, — говорили Сапожникову. — Тебе нужно сво-

бодное творчество, а наука и техника связаны с планом. Они чересчур дорого стоят.

— Ты дай мне план, и я придумаю, как его выполнить, — отвечал Сапожников.

— Но ты же заставишь меня потом пересматривать план? А это огромная работа.

— Я могу придумать, как облегчить и ее.

Конечно, он не имел в виду одного себя. Одному везде не поспеть. Он имел в виду таких, как он, их немало, а было бы больше, если бы поверили, что человек от природы может больше, чем он может, когда он размышляет по внутренней потребности.

И тогда он не бегаёт от противоречия, а открывает выход, лежащий выше противоречия. Человек прислушивается к себе и слышит тихий взрыв. И ему радостно. Выше этой радости нет ничего. Потому что выход — это освобождение.

— А если у тебя не получится?.. В тебе и в этом способе чересчур большая степень ненадежности, — говорили ему.

— Это надежность, — отвечал Сапожников. — Только она по-другому выглядит.

— А почему ты Мемориал не смотрел? — спросил Фролов. — Пойди посмотри... Почему ты не смотрел?

— Не пошел, — сказал Сапожников.

— Я знаю, что не пошел. Я спрашиваю почему?

— Потому.

— Ну ладно. Как хочешь, — сказал Вартанов.

И они ушли. Солнце садилось. Прелесть уходящего вечера. Вартанов и Фролов уходили по вечернему шоссе.

Оставалось еще часа три до отъезда.

Вечер был прекрасно-печальный и такой тихий, что когда Сапожников кинул крутое яйцо об камень чужих руин, а потом стал его облупливать, то хруст скорлупы, наверно, был слышен на километры. Хруст был — как будто динозавр ел динозавра.

Они ему оставили еще и банку майонеза, который по прихоти эпохи начал становиться дефицитом, в моду вошел. А чем открыть эту банку — он не мог изобрести. Представьте себе — не мог!

Значит, жизнь его прошла попусту. Убедили. Ну и что хорошего?

Сапожников не пошел смотреть Мемориал. Он старатель-

но его обогнул и пошел в поле, туда, где виднелся на равнине зеленый кустарник и отдельные деревья. Почему он туда пошел, он сам не знал. Какая-то сила притягивала его к этой зелени. А над зеленью ласково вечеряющее небо.

Он понял, что проиграл, понял, что жизнь его была ошибкой. И что если бы можно было первую жизнь прожить начерно, то вторую он бы жил набело, по-другому... А сейчас, наверно, надо было начинать жить по тому счету, по которому жил Генка Фролов. Фролов жил по отпускам. Он знал точно, сколько ему еще отпусков осталось до пенсии.

«...И тут в городе стало известно нам, что слюнявый наш царь Перисад не может больше управлять и не может защитить нас от сарматов и что Ксенофонт уговорил царя Перисада передать власть Митридату Понтийскому.

И тут Савмак, дворцовый раб, убил Перисада, и жители восстали и овладели Феодосией и Пантикапеем и сделали Савмака царем, но Ксенофонт остался жив, и это была ошибка.

И целый год правил царь Савмак, и это были лучшие дни для людей...

...Митридат прислал Диофанта, и тот победил Савмака. Кровь текла по улицам вниз к порту. Камни трескались от пожара. Статуи богов катились по улицам в обнимку с трупами. И детских криков и криков женских не было слышно от грома щитов и мечей и воинского рева...»

Принято считать, что на войне взрослеют. Это ошибка. На войне стареют. А когда возвращаются — если возвращаются, — то возвращаются к той жизни, где не бомбят и не стреляют, а ходят на работу, любят и учатся. Но как раз всего этого вернувшиеся и не умеют. И потому они в мирной жизни второгодники.

Когда Сапожников вернулся с войны, к нему опять стали приходиться конкретно-дефективные мысли. В войну ему тоже приходили мысли, но мало и все не о том. В войну Сапожников понял слово «Родина», потому что он увидел всю страну своими глазами, а не только свой дом и Калязин и Москву. И все это вошло в его сердце и стало его собственной любовью, а не из книжки.

Когда началась война, Сапожников ещё не понимал. А когда он принимал присягу на асфальтированной дорожке в парке Сокольники, где их учили маршировать среди неработающих аттракционов и заколоченных киосков, тогда Сапожников вдруг понял, что у него хотят отнять все, и почувствовал тихий взрыв.

Он покосился вправо и влево, вдоль шеренги, на лица восемнадцатилетних, с которыми он принимал присягу, и понял, что не может отдать. Не может отдать ничего. Можно умереть, но отдать нельзя. И тогда от Сапожникова отлетели вдруг мелкие слова воспоминаний и осталось только слово «Родина», которое глядело на него со всех плакатов осенней Москвы сорок первого года. И тогда впервые общее для всех слово «призыв» превратилось в его личное слово «призвание». Потому что он во время присяги догадался и открыл, что всю свою сознательную жизнь делал то самое, к чему его теперь призывали, — заступался. Заступался за что-то своим маленьким сердцем, нелепым, мало кому понятным способом, когда ему приходили в голову чересчур конкретные мысли и он выдумывал всякие спасательные пояса и вакуумные кирпичи и многое другое, что потом было записано в его особенной книжке, которая называлась «Каламазо».

Заступаться, защитить, не дать пропасть, чтобы все живое могло жить, а поломанное починилось.

А теперь Сапожников шел по равнине и все каменело у него внутри. Он хотел побыть среди зелени и травы. Глеб прав, никого он счастливым не сделал. Никого не спас, никого не защитил. Только себя измучил. Крах. Это называлось крах и бессмысленность. Крах.

Светило ласковое предзакатное солнце, и в воздухе проносились какие-то птички. Сапожников ни черта в этом не понимал. Потому что в природе изобретать пока было нечего. Она сама себя изобретала. Сапожников чувствовал себя ящером.

Ящеры вымерли. Они не умерли, а вымерли, то есть перестали плодоносить. И тогда распался симбиоз, из которого они состояли.

Потом ему показалось, что из-за деревьев что-то виднеется.

Он подошел поближе и увидел *руку*.

Ему рассказывали. Но он как-то забыл об этом.

Когда-то давным-давно в стороне от концлагеря, где теперь Мемориал, в начале войны было поле, обнесенное

колючей проволокой. За ней держали тысяч пятьдесят советских военнопленных. Ни бараков, ни крыши над головой. Люди съели всю траву на этом полигоне смерти и пальцами пытались рыть ямки, чтобы скрыться от непогоды.

И вот теперь на этом месте, прямо из земли, торчала огромная человеческая *рука*. Кисть, выполненная из бетона. Она поднималась к небу, эта бетонная пятерня, и кричала.

Сапожников лег на землю и уткнулся лицом в траву, чтобы не видеть эту руку. Но он все равно ее видел. И понял, что будет видеть ее всегда.

Он поднялся и посмотрел на нее. Ничего не отменяется. Все начинается сначала. У него чересчур много дел на этой земле, чтобы слушать разумные советы, не подходящие его натуре.

ГЛАВА 33

ГИПОТЕЗА, ПОНЯТНАЯ РЕБЕНКУ

Когда Сапожников был маленький и ходил в кино или книжки читал, то казалось — там всюду рассказывался случай из жизни какого-нибудь человека, и он либо хорошо кончался — человек всех победил или женился почему-то, или плохо кончался, иногда даже смертью. И всегда Сапожников думал, что раз уж рассказан этот случай, то он и был главным в жизни этого человека — иначе зачем его было рассказывать.

Сапожников тогда готовил себя к жизни и выбирал образцы поведения. И его покамест не смущало, что ни один случай из его жизни ни разу целиком не был похож на описанный — и продолжался не так, и кончался не тем. Потому что он понимал — жизнь его только начинается, и он еще не наловчился после правильного начала вести себя так, чтобы случай не уходил в сторону и кончался по правилам.

Но однажды ему попали в руки мифы Древней Греции.

Он хотел забыть эту книжку, но не мог. Он хотел перестать думать о том, что прочел, и не мог.

Оказалось, ничто не начинается с начала и не кончается с концом. И от рожденья ты попадаешь в приключения, которые не при тебе начинались и кончатся без тебя. Оказалось, что и победы положительных героев выходили им боком, да не один раз, а сто — взять хоть бедного Геракла, но это относилось и к отрицательным злодеям. Разве знал Сапожников, что Медея, которая убила своих детей, чтобы отомстить неверному Ясону, и даже вызывала некоторое со-

чувствие к своим страданиям, разве знал Сапожников, что и до этого случая Медея резала людей, и после этого случая кого-то травила, и окружающие травили, и родственники окружающих. И дальше Сапожников прочел саги исландские и саги ирландские, и восточные эпосы и западные эпосы, все они начинались не с начала и не кончались с концом, и всюду резали, резали, и ни на кого нельзя было положиться, и это уже не в книжках, а в жизни. И это потом почему-то называли историей.

И еще увидел Сапожников в книжках, и в истории, и в жизни, когда сталкивался с причинами этой резни и травли, что, за редкими исключениями полного отчаяния или необходимой защиты, все остальные бесчисленные причины, чтобы кому-то резать кого-то, возникали не с голоду, а с жиру.

Вот так.

То есть девяносто девять процентов причин происходили не от реальной необходимости, а от тупости, торопливости и неизобретательности и что, поразмыслив, без резанья вполне можно было обойтись. И что если б столько таланта, ума и изобретательности, сколько тратилось на то, чтобы ловчее резать, было бы потрачено на то, чтобы не резать, то человеческий род давно бы жил в раю.

...Вот что вспомнил и о чем думал Сапожников, когда его на рынке разыскал Глеб.

Глеб позвонил по телефону и спросил Сапожникова. Откликнулся женский голос:

— А кто-то его спрашивает?

— Друг.

— На рынок он смотался, — ответил женский голос. — Нынче у нас гости.

Глеб не выдержал.

— А кто-то со мной говорит? — спросил он.

— А Дунаева Нюра, — ответил женский голос.

Глеб включил мотор прекрасной своей машины и через несколько минут был возле рынка. Пасмурный день спешил к вечеру.

К Глебу кинулся мужчина в велюровой шляпе, шерстяной кофте поверх спортивного костюма и лакированных эстрадных туфлях на босу ногу. Он держал в объятиях цветы в целлофане, баранью попку, трехлитровую банку с зелеными

помидорами и рассолом, авоську со стиральным порошком и сиплый транзистор. Глеб понял — вот он, хаос.

Мужчина изловчился, отворил дверцу и залез на переднее сиденье.

— Ку-уда? — удивился Глеб.

— В Бирюлево.

— Куда лезете? Частная машина...

— Ничего, старик... Сговоримся.

Глеб надел темные очки и стал молча смотреть ему в лоб.

Мужчина вылез и побежал к другой машине.

Глеб поднял стекла, запер дверцу и пошел на рынок. И на него кинулись запахи, которых он тыщу лет... Нет, этого не надо, не надо...

Как ни странно, Сапожникова он нашел сразу. Тот брел мимо прилавков, заложив руки в карманы штанов. Сейчас мало кто так ходит.

Глеб шел за Сапожниковым прямо, не сворачивая, а только останавливаясь перед встречными и поперечными. Сапожникова же вертело во всех водоворотах и приносило то к одним дарам природы, то к другой лесной были. Потом Сапожникова притерло к прилавку с зеленью. Он взял с намытой горки красную редиску без листвы и стал ее жевать, глядя в застекленное рыночное небо. Он жевал задумчиво и вздыхал. И продавец и ближайшие покупатели озабоченно ждали его оценки.

«...К миру никто не готов. На мир глядят еще по-прежнему. Мир — передышка между войнами. И выходит — не было бы мира, не возникали бы войны. Так, что ли? Дикая вещь получается по этой линейной логике. А если логика неверна?

Когда во время войны возникает мир, это понятно. Кто-то кого-то разгромил или от усталости обоих. Но вот почему мир порождает войну?

Ты меня ударил, а потом я тебя. А там кто кого, и так без конца, и так тысячи лет — линейная логика, — проворачивалось в сапожниковской голове. — Но впервые за тысячи лет возникла ситуация, когда на вопрос — кто кого? — отвечать будет некому».

Сапожников оглянулся на Глеба и все жевал и жевал. Потом пожал плечами, и покупатели передвинулись к следующей редиске.

Глеб уже долго смотрел на Сапожникова и понял, что тот его просто не узнает. У Сапожникова, видимо, в голове не укладывалось — Глеб на рынке, в пестром хаосе, где все пере-

мешано, как в кунсткамере, по каким-то странным законам. Глеб должен возвышаться у расфасованных полок с никелированной едой.

Глеб снял очки, и Сапожников его сразу узнал и заулыбался, впрочем, печально.

Они отошли в сторонку, к запертой двери с надписью «Моечная».

Глебу срочно надо было поговорить с Сапожниковым, но теперь он не знал, о чем.

Множество людей в утренних неприбранных одеждах двигались по всем направлениям и с разной скоростью. Запахи духов, мяса, грибов и рассола. Запахи земли. Толстая женщина продавала пластиковые крышки для немедленного консервирования и цветочные семена сорта «Глория Дэй» для будущих радостей.

— Что ты ищешь на рынке, Сапожников? — спросил Глеб.

— Я ищу редиску моего детства, Глеб, — ответил Сапожников. — Чтобы она щипала язык. А я вижу только водянистую редиску, жалобную на вкус.

— Эх, Сапожников, — сказал Глеб, — эту редиску, которую ты ищешь, можно отыскать только вместе с самим детством. Она там и осталась, Сапожников. Вместе с клубникой, от которой кружится голова. И черникой, которую покупали ведрами. В отличие от клюквы, которую покупали решетами.

— Ого, — удивился Сапожников. — Тебе знакома такая черника? И такая клюква?

— Да, да, ты угадал, — подтвердил Глеб, снова надевая очки. — Я из Калязина. Я думал, ты знаешь. Только я жил по другую сторону великой реки.

— Твоя сторона города уцелела, Глеб, — сказал Сапожников. — А моя ушла под воду. Мой город под водой, Глеб, твой же возвышается.

Один гонится за счастьем, причиняет другому горе. Драка из-за пирога, из-за женщины, из-за престижа — из-за любого понятия, отысканного в словаре. Линейная, реактивная, рефлексивная логика, механическая, безвыходная. Неизобретательная, безнадёжная.

И тогда Сапожникову пришло в голову — а что, если война это не порождение мира, а всего лишь его заболевание? Война — это рак мира?

— Ты кому-нибудь рассказывал свою идею насчет рака? — спросил Глеб. — Кроме меня?..

— Рассказывал, — ответил Сапожников. — Много раз.

— Ну вот... — сказал Глеб.

И было непонятно, что он имеет в виду. Но потом и это объяснилось. Все рано или поздно объясняется.

У Дунаевых пили чай.

Вразнобой гремела музыка из телевизора и транзистора где-то внизу, далеко на улице.

Вдруг открылась балконная дверь и с улицы вошла трехногая собачка. А так как балкон был на четырнадцатом этаже, то стало ясно, что вошла летающая собака.

— Это очень похоже на вас, Сапожников, — засмеялся Филидоров.

— Почему?

— Нормальный человек хотя и удивился бы, но стал подыскивать простое объяснение, а вы бы подумали, что собака летающая.

— Нет, — терпеливо объяснил Сапожников. — Я бы тоже сначала проверил, была ли она все время на балконе... Другое дело, если бы ее на балконе не было.

— Тогда что?

— Тогда бы я стал искать другое, простое объяснение... и если бы оказалось, что собака взлетела, я бы не удивился. Но для этого надо сначала найти антигравитацию.

— Гравитация тоже еще не найдена, — сказал Филидоров. — Она просто есть, и все.

— Найдена. Я, по крайней мере, знаю, что это такое.

— А что это такое?

— Не скажу. Глеб не велел.

— Знаете... ваше шутовство кого хочешь выведет из себя.

— Да, — сказал Сапожников. — Тут вы глубоко правы. А проблема рака вас не интересует?

— Рак всех интересует, — хмуро сказал Филидоров. — А что, у вас и про это есть соображения?

— Насчет рака — это из «Каламазоо»? — спросил Дунаев.

— Из «Каламазоо», — ответил Сапожников. — Откуда же еще!

— Что это? — спросил Филидоров.

— Это у него книжка есть, записная... Он туда всякий бред записывает, — пояснил Дунаев.

— Как вы назвали?

— «Каламазоо».

— А что это?

— Это название фирмы, которая железнодорожные приспособления выпускала... до революции еще.

Действительно бред.

— Действительно бред, — подтвердил Сапожников.

Он теперь и сам так думал. И вдруг ушел спать.

Этому предшествовали следующие чрезвычайные события.

В самой краткой форме дело обстояло так, что гости Сапожникова вернулись недавно из одного города нашей страны, где международный симпозиум собирался насчет строения материи.

Как теперь уже известно широкой публике, единое представление о материи распалось. Материя отказывалась вести себя как полагается и опять вела себя кое-как. Что ни день — открывали новые частицы, и эти частицы, к примеру, то проскакивали новые сквозь друга совершенно безболезненно, а когда сталкивались, то нег чтобы разломаться на осколки, они рождали другие, значительно большего размера, чем были сами. Ну и все в таком роде.

Симпозиум был огромный. Бились математикой, логикой, экспериментами, и дело дошло до того, что уже не сражались авторитетами. Так подперло, что не до того стало. Дошло до того, что, выступая по советскому телевидению, молодой панамериканский профессор сказал, что сейчас положение в физике таково, что для того, чтобы связать концы с концами, нужна гипотеза, которая была бы понятна даже ребенку.

Так вот, как раз сегодня вечером должны были показать по телевизору документальный фильм об этом симпозиуме, и молодой физик Толя, которого Филидоров очень любил, сказал Филидорову, что по совокупности обстоятельств неплохо было бы посмотреть этот фильм в присутствии Сапожникова.

Филидоров закинул голову вверх, услышав это предложение, и стал смеяться в потолок, ухая и протирая очки. Но потом, отсмеявшись, сказал, что согласен.

Созвонились с Сапожниковым и с доктором Шурой. Глеба отыскать не смогли.

Все получилось бы складненько, если бы Толя не позвал Вику. Но Толя хотел как лучше. Он любил таких людей, как Сапожников, и это ему зачтется.

Нюра стала накрывать на стол, а незапланированная

Вика села к зеркалу и стала расчесывать волосы, и все стали смотреть, как она это делает.

Потом нехотя уселись перед ящиком с дыркой в чужую жизнь и молча засмотрели документальный фильм о симпозиуме, где в научно-популярной форме были показаны нелепые поступки элементарных частиц и скромное поведение участников симпозиума, среди которых были и Филидоров, и Толя, и Глеб, и доктор Шура, который покосился на Вику в тот момент, когда должны были показывать его. Но его не показали по соображениям экранного времени, и доктор Шура оскорбился в первый раз. И все стали смотреть, как элементарные частицы, для наглядности изображенные в виде паровозиков и вагончиков, как эти паровозики и вагончики безболезненно проходили сквозь другой состав, как сквозь дым. Или еще — как два твердых шарика сталкивались друг с другом, и нет чтобы развалиться на мелкие, а с жуткими искрами порожидали пять шаров значительно большего размера. И все это показывали на страшном черном фоне, надо полагать, пустоты.

И вот тут-то панамериканский профессор сказал с экрана несколько слов по-иностранным и улыбнулся приветливо, а голос переводчика попросил телезрителей выдать гипотезу, которая бы все объяснила и устроила и была бы настолько проста, чтобы ее мог понять даже ребенок.

Выключили телевизор, сели за стол, и Филидоров спросил: — Ну как?.. Что вы обо всем этом думаете? — и посмотрел на Сапожникова.

На это Ньюра ответила, что картина хорошая, и Филидоров хорошо играл, когда отвечал в микрофон на вопросы, а Толя играл плохо, разевал рот, тарачил глаза в микрофон и даже папироску не бросил.

Филидоров опять стал ухать и смеяться в потолок, а Дунаев, который давно понял, что к чему, толкнул Сапожникова в бок и сказал:

— Давай, что ли... Соври что-нибудь. Видишь, люди ждут?

И Вика с испугом посмотрела на Сапожникова.

— Может быть, не нужно? — спросила она.

Никто ей не ответил. Все смотрели на скатерть и пальцами выводили на ней узоры невидимые.

Доктор Шура только хотел было выступить, но Филидоров неожиданно властно сказал:

— Давайте никто никого не будет перебивать по пустякам...

И доктор Шура оскорбился второй раз.

Все думали, что Сапожников начнет связывать концы с концами, но он начал с другого конца.

Вместо того чтобы заняться частицами, он сказал:

— Наука изучает жизнь, но не создает ее... Так?

— Пока... — не выдержал доктор Шура. — Пока.

— А если не пока, а в принципе? — сказал Сапожников. —

Есть вещи, которые наука не может в принципе.

— То есть? — нахмурился Филидоров.

— Наука не может создать материю или сделать энергию из ничего. Она может только их преобразовывать. То, что наука это поняла и не боится утверждать, и сделало ее наукой.

— Что вы хотите этим сказать?

— А то, что вполне возможно, что жизнь тоже нельзя создать из ничего и даже из веществ... можно только один вид жизни преобразовывать в другой. И то пока слабо получается... Ведь как считается — была бы мертвая материя, а из нее уж каким-то образом получится живая.

— Ха-ха! А вы считаете, что наоборот?

— Не знаю... Но могу допустить.

— Это каким же образом? Всегда из простого получается сложное, а не наоборот, — сказал доктор Шура.

— Всегда ли?

— Докажите обратное.

— Сколько угодно... Когда мы с вами помрем, то превратимся в вещества, из которых уже никакое существо не получится.

— Значит, по-вашему, существо было раньше вещества? Сложная материя была раньше простой?

— Почему раньше? Что было раньше — яйцо или курица?

— Слушайте, не крутите. Говорите прямо, что вы хотите сказать? — потребовал Филидоров.

Сапожников покивал головой и сказал примерно следующее:

— Может быть, жизнь — это такая форма материи, которая существует вечно, как сама материя, а вовсе не произошла из неживой материи. И тогда неживая материя — это не строительный материал для живой, а в основном ее остатки, отходы. Ведь даже материи наши, даже граниты — это остатки жизни... Это выяснилось. Трудно поверить, но это так. Но тогда похоже, что каждое живое существо это симбиоз. Сообщество клеток. Но я думаю, что и клетки — это симбиоз доклеточных структур, и я думаю, что эволюция происходит не просто из-за отбраковки и прочее, а главным образом из-за

того, что один симбиоз превращается в другой симбиоз. **Метаморфоза.**

Тогда наследственность — это наследственный симбиоз. То есть не вещества передаются по наследству — белок и прочее, а существа... Это, может быть, не говорит еще о происхождении жизни, но это говорит о ее воспроизводстве... Если на молекулярном уровне у существ все вещества парные по законам физики, то по крайней мере на клеточном уровне имеется парность существ, то есть симбиоз, а в дальнейшем парность парностей и так далее до организмов многоклеточных.

Пары существ обмениваются веществами. Отходы одних есть пища других... Вот, может быть, основной признак живого. Отсюда индивидуальная изменчивость и видовая стойкость...

Поэтому, когда природа отбраковывает вид в целом, она это делает не на уровне индивида, отдельного существа, который вовсе и не знает, что его отбраковали, и спокойно доживает до смерти, хотя почему-то не дает потомства, а на уровне симбиоза, из которого этот вид состоит. Симбиоз распадается не погибая, а собирается в другой вид, то есть в другой симбиоз. Потому виды и не скрещиваются, так как пару, живущую дружно, не устраивают отходы, то есть пища другой пары... Потому, может, и чужие сердца не приживаются.

Я думаю, что, может быть, главный фактор в эволюции — это метаморфоза... Ведь если считать, что жизнь существует не только на земле, то почему предполагать, что на каждой планете она зарождается от нуля? Почему не представить себе, что некие ее зачатки разносятся по космосу и приживаются там, где для этого есть условия? Такое предположение существует. Панспермия. И второе — у всего живого обнаружен один набор генетических кирпичей. Но если это так, то эволюция это не просто эволюция симбиоза, но у этой эволюции есть программа, то есть, иначе говоря, постоянное воздействие силы, энергии, нарушающей равновесие белка, но не разрушающей сам белок. Эта энергия — время. Я имею в виду время не в том смысле, сколько веков прошло или который час, а время как особый вид энергии особого вида материи... Время материально, имеет массу и энергию. Я думаю, — сказал тогда Сапожников, — что жизнь возникла не из обычных веществ, а из материи времени...

— Что он мелет... что он мелет... — сказал доктор Шура.

Сапожников посмотрел на него и сказал:

— Я думаю, что человек произошел от обезьяны потому, что он ушел от обезьяны. А ушел он от нее к морю.

— А зачем вам это все надо?— спросил Филидоров.

— Я думаю, что мозг человека развился и стал человеческим до Атлантиды, потому что кроманьонец рос вместе с каким-то напарником, которого он потерял после катастрофы, когда ушел от моря... Я думаю, что дельфины,— это его охотничьи собаки, которые до сих пор ищут своего хозяина... и свистят ему... и не понимают, что с ним и почему он не откликается...

— Какое странное предположение, — сказал Толя.

— А человек изобрел орудия, которые стали оружием, и так и далее... И потому война—это рак развития, это разъединение... а мир—это состояние здоровья, это симбиоз... И потому я думаю, что назревают две цивилизации—цивилизация рака и цивилизация симбиоза...

Все молчали, потому что видели, как бьется его душа в надежде сформулировать невероятное.

Авось кто-нибудь подхватит.

— Симбиоз, симбиоз... — начал Дунаев. — Раньше проще говорили— пролетарии всех стран, соединяйтесь... это я согласен... А пролетарии всех стран, разъединяйтесь— я не согласен... От этого и война. Ребенку понятно.

— Это не проще, — мягко сказал Филидоров. — До этого тоже тысячи лет додумывались.

— Шура... что вы обо всем этом думаете как биолог?— спросил Толя.

— Оставьте меня в покое!— закричал доктор Шура. — Оставьте! — И выскочил, хлопнув дверью.

— Вдали от тебя я тоскую, — сказала Вика. — А вблизи я заболеваю от твоих фантазий...

— Вы считаете он на них права не имеет?— спросил Дунаев.

— Он не имеет права подчинять им свою жизнь и мою.

— А ты не подчиняйся, — сказала Нюра. — Вот бог, а вот порог. Ты ему не годишься.

— Нюра! — сказал Дунаев.

— Жизнь состоит из времени, — проямлил Сапожников.

— Опять вы за свое, — рассердился Филидоров. — Толя, налейте ему боржоу.

Тогда Вика перестала расчесывать волосы и приготовилась скандалить.

Филидоров и Толя демократически ушли, а Дунаев остался. Он эти дела вот как знал. У него у самого этот симбиоз распался тыщу раз из-за Ньюриных фантазий.

— Я сейчас приберу, — сказала Вика.

— Сама приберу, — сказала Нюра.

— Ну что ж... тогда я уйду.

— Ага... Ступай, — сказала Нюра.

— Ладно... — Сапожников махнул рукой. — Ладно. Иди.

— Ты меня неверно понял, — сказала Вика.

— Я тебя верно понял.

— Я ухожу потому, что с тобой я становлюсь такой же сумасшедшей, как ты.

— От себя далеко не уйдешь.

— Поцелуй меня, — сказала она, — сейчас или никогда.

— Не хочется.

— Не сдавайся, Сапожников. Я тебе не гожусь, — сказала Вика. — Ни за что не сдавайся.

И ушла.

Легко сказать, не сдавайся. Пожить бы немножко просто так, как трава растет.

— Ишь чего захотел, — сказал Дунаев.

Нелеп и смешон был Сапожников до удивления. Он был похож на человека, который удачно идет по утонувшим в воде камушкам, в полной уверенности, что идет по воде и что, стало быть, вообще по воде ходить можно, и он удивляется, почему это другие люди не ходят по морю, аки посуху.

Раздался звонок в дверь, и Филидоров с Толей все же вернулись. Но без доктора Шуры.

Филидоров и Толя топтались в ночном дворе, чтобы не мешать Вике скандалить с Нюрой из-за Сапожникова. Потом из подъезда пробежала Вика. Наверно, и им пора было по домам, но что-то их удержало.

Филидоров припомнил, как на диспуте Сапожников кинул цитату из Менделеева — лучше какая-нибудь гипотеза, чем никакой.

И, вспомнив Сапожниковы бредни, Толя и Филидоров подумали — чем черт не шутит? И вернулись.

Ну а потом, как уже рассказано вначале, сели пить чай. Вошла летающая собака. О ней высказались разноречиво, и Сапожников, грубо нарушая приличия, ушел спать.

Вечерок не получился.

— Вы с ним не так разговариваете, — сказал Дунаев. — Это все бесполезно. Когда с ним так разговаривают, он становится тупицей.

— А он и в детстве был дефективный, — сказала Нюра.

— Какой?

— Дефективный.

— А как с ним разговаривать? Как?!

— А вы его разжалобите.

— Что?

— Ну да... — сказала Нюра. — Слезу подпустите... Он жалостливый.

— Чуть какая-то, — нахмурился Толя. — При чем тут жалость? Жалости в науке не место.

— Место, место, — сказал Дунаев. — Вы ему растолкуйте, кому без этой вашей штуковины не жить... Он и раскиснет... Он вам враз все придумает.

— Детский сад!

— Это точно, — сказал Дунаев.

— Погодите, — повеселел Филидоров. — Тут что-то есть.

— Вы едите компот... Он пастеризованный, — убедительно сказала Нюра.

И теперь Филидоров после слов Нюры понял так, что все сапожниковские теории — потому что он ученых пожалел, так, что ли?

Но если нужна гипотеза, которую мог бы понять и ребенок, то, может быть, ее и должен высказать ребенок, подумал Филидоров и пошел будить Сапожникова.

— Вставайте... — сказал он, — потолкуем... У меня самолет в два ноль-ноль...

Сапожников открыл глаза.

— Нужна гипотеза, которую бы понял ребенок, — сказал Филидоров.

— А что? — спросил Сапожников. — Вы бы тогда хорошо жили?

— Наверно.

— Это можно.

Филидоров подмигнул Толе.

— Что можно? — спросил Толя.

— Можно сделать, — сказал Сапожников. — Можно сделать гипотезу, которую поймет ребенок.

Филидоров засмеялся.

Тут вошел Дунаев и сказал, что звонил доктор Шура, очень веселый, и просил передать Сапожникову, что он знает, кто такой Сапожников.

- Ну и кто же он такой? — спросил Филидоров.
 - Летающая собака.
 - Оставьте меня в покое! — закричал Толя рыдающим голосом доктора Шуры. — Оставьте меня!
- И они уселись потолковать.

Вот уже Нюра ушла спать, доверившись тем, кто остался додумывать тайны до конца и посильно.

Никого лишнего в квартире Дунаевых.

Остались четверо, которые не боятся, и пожилая женщина, которая знает то, чего этим четверым вовек не узнать, потому что они знают умом, даже иногда сердцем, если повезет, а она знает, потому что знает.

Есть такое знание, когда доказывать ничего не надо.

— Ну, Дунаев, — сказал Сапожников, — они хотят гипотезу, понятную ребенку... Ладно, выручай. Есть такая гипотеза. Но я ее на тебе попробую.

— Дурацкая твоя привычка лезть туда, где ты ни хрена не смыслишь, — сказал Дунаев.

— А я и не лезу. Однако есть область, где все смыслят более или менее одинаково. Кроме полных кретинов.

— Какая же это область?

— Область здравого смысла.

— Вот как раз тут у меня большие сомнения, — ухмыльнулся Филидоров.

— Скажи, Дунаев, если два авторитета утверждают противоположное, имею я право не поверить им обоим?

— Можешь. А конкретно?

— Один великий ученый сказал, что свет — это частицы, а другой великий ученый сказал, что свет это волна.

— ...Я в физике ничего не смыслю.

— Да не в физике, а в здравом смысле, — сказал Сапожников. — Два авторитета не сговорились — можешь ты им не поверить обоим, обоим?..

— Так и не сговорились? — спросил Дунаев.

— Фактически нет. Просто порешили считать, что у света есть признаки и волны и частицы. Порешили — и точка.

— Но ведь, наверно, это установили?

— Ага, — сказал Сапожников. — Но не объяснили, как это может быть.

— А ты объяснил?

— А я объяснил.

— Кому?

— Себе, конечно... Жить-то ведь как-то надо? — сказал Сапожников.

— Ну и как же ты объяснил? — спросил Дунаев.

— Свет не иллюзия... — сказал Сапожников. — Это штука материальная. Это установлено. Давление света и прочее. Значит, это какое-то состояние вещества. Значит, должно быть вещество, у которого возникло состояние под названием «свет». И у этого состояния две характеристики — он и на волну похож, бежит, как волна, частота колебаний и амплитуда... слово «амплитуда» понятно?

— Слово «амплитуда» понятно, — сказал Дунаев.

— Ну вот... он и на частицу похож, свет... бьет порциями, квантами... Слово «квант» слышал?

— Слышал.

— Ты на бильярде играешь?

— Малость.

— Если шары поставить вдоль борта и по последнему ударить, что будет?

— Первый отлетит.

— А остальные? — спросил Сапожников.

— На месте останутся... А что?

— Ага... — сказал Сапожников. — Остальные стукнутся друг об друга и на месте останутся... По ним пробежит дрожь, то есть волна, а отлетит только последняя порция, то есть шар.

— Квант? — спросил Дунаев.

— Ага.

— Ну и что из этого вытекает?

— А то вытекает, что для того, чтобы последний шар отлетел, нужны промежуточные шары, которые вздрогнут и успокоятся... То есть, чтобы был свет, нужна среда, материя, в которой бы он распространялся... как звук в воде...

Покурили немножко. У Филидорова и Толи были спокойные лица людей, которые видят, как человек идет по карнизу, и они не знают, окликать его или нет, поскольку не решили еще, лунатик это или верхолаз. Потом Дунаев сказал:

— А кто эти великие ученые?.. Ну, которые не сошлись характерами?

— Один Эйнштейн, — сказал Сапожников.

— Ого!.. А другой?

— А второй Бор.

— Слушай, — сказал Дунаев. — Ты уж лучше помалкивай.

— Я и помалкиваю, — сказал Сапожников. — А все-таки, если представить себе, что каждая элементарная частица это вихрь более тонкой материи, ну, скажем, материи времени...

— Что?

— Не мешайте ему, — сказал Филидоров.

— Тогда ничего противоречивого нет в том, что при столкновении двух частиц рождается пять новых, размером больших, чем первые две... а вовсе не обломки двух первых.

— Чушь! — не удержался Филидоров.

— Что же тут непонятного? — с упорством осла продолжал Сапожников. — Столкновение двух частиц рождает возмущение той материи, из которой они сами состоят... Два вихря рождают пять более крупных... Что ж тут непонятного? Обыкновенная лавина... Резонанс... детонация... Высвобождение скрытых запасов. Время, — сказал Сапожников. — Материя времени. Единственная материя, у которой все процессы происходят в одну сторону. Несимметричная... Но и ее несимметричность только кажущаяся. Так как и она заворачивается на себя... Всякий поток — это часть витка...

Филидоров долго молчал.

— Тогда понятно и такое явление, когда одна частица проходит, так сказать, через другую, — сказал Сапожников. — Просто вы не ту модель берете... паровозики какие-то... вагончики... Вагон сквозь вагон, конечно, не пройдет, а водоворот сквозь водоворот проходит... сам наблюдал... В Калязине...

— Где? — спросил Филидоров. — Я такого института не знаю.

— Я тоже, — подтвердил Сапожников. — Вода смешалась, а воронка на месте стоит... потому что условия образования воронок не сдвинулись с места... неровности дна и прочее... а вода бежит вниз к морю...

— Значит, вы считаете, что время — это не условное понятие, а вполне реальная материя?

— Вполне реальная, — сказал Сапожников. — Она тоже отражается в нашем сознании, а не только ее отдельные вихри, то есть тела... Таким образом, все, что мы вспоминаем, унеслось от нас не назад, как принято считать, а вперед... а мы, как воронки, на месте стоим или, как лодки, плывем медленней, чем река бежит... и тогда совсем другой метод прогноза.

Все молчали.

— Может быть, для этого я жил, чтобы открыть это, — сказал Сапожников. — Но помирать не хочется... Хочется, чтобы и мне кое-что досталось от общего пирога...

— Вам хочется, чтобы она вернулась? — спросил Толя.

— Да... — сказал Сапожников.

— Почему?

— Не знаю.

Филидоров молчал.

— Все кружится... кружится, — сказал Сапожников. — Вихри кругом.

— У меня от вас тоже голова кружится, — устало проговорил Филидоров. — Пить надо меньше.

— Да... — сказал Сапожников. — С этим надо кончать совсем. Душ у вас работает?

— Работает, — сказал Дунаев. — Почему бы ему не работать...

Филидоров сидел опустив голову и молчал.

— Вам нехорошо, Валентин Дмитриевич? — спросил Толя.

— Перестаньте, — сказал Филидоров.

— Если долго смотреть на велосипедный насос... — сказал Сапожников, — можно додуматься до чего угодно... если, конечно, хочешь заступиться за кого-то...

И Сапожников пошел в санузел.

Душ был сильный и мокрый, и казалось, что струи воды летели прямолинейно. Но это только казалось.

Сапожников вытер лицо и затылок сухим полотенцем и вернулся в комнату.

Филидоров уже уехал. Толя жевал холодную картошку. На блюде лежала каноническая голова селедки с потухшей сигаретой в устах.

— Кстати о резонансе, — сказал Сапожников. — Что, если использовать резонанс для лечения рака?

— Неужели вы не понимаете, Сапожников, что так эти дела не делаются? — мягко спросил Толя.

— Пожалели бы хоть человека, — сказал Дунаев. — А если у него сердце лопнет? Так и не узнаем.

— Не надо меня жалеть, — сказал Сапожников. — Надо бить опухоль резонансом. Каждая клетка имеет свой спектр излучения. Всякое излучение — это волны, и их можно записать... а значит, и воспроизвести. Если сделать мощный генератор, испускающий волны нужной частоты, и направить на больного, то можно избирательно уничто-

жать только раковые клетки, не трогая здоровых... Резонанс, понимаете?... Избирательно... Бить опухоли резонансом.

— Хватит, — крикнул Толя. — Хватит!

Засыпая, Сапожников понимал, что храпит. Этого раньше с ним не было. Он никогда не храпел, и у него никогда не потели руки, и Сапожников втайне гордился.

Однажды, когда Сапожникова спросили: «Что такое хорошая жизнь?» — он ответил:

— Хорошая жизнь — это мягкий-мягкий диван... большой-большой арбуз... и «Три мушкетера», которые бы никогда не кончались.

Такое у него было представление о хорошей жизни. Ему тогда было двенадцать лет, и ему нравился Атос — он был бледный и не пьянел. Теперь у него было совершенно другое представление о хорошей жизни.

Прошлое не исчезает... Оно проявляется разом, как только судьба задает вопрос. Говорят, что искусство — это зеркало или преломляющая линза. А разве мы знаем, что такое, к примеру, зеркало? Разве свет отскакивает от зеркала, как мячик? Свет отскакивает от зеркала, как обруч жонглера, пущенный вперед, но вращающийся в обратную сторону.

Когда Сапожников уже засыпал, он услышал песни, которые пели, когда он еще учился в школе... Полюшко-поле... Сердце... Он готов погасить все пожары, но не хочет гасить только мой... Мы так близки, что слов не нужно... Что наша дружба... сильнее, чем страсть, и крепче, чем любовь... Вечер обещает радостную встречу, радостную встречу у окна... На Дальнем Востоке акула охотой была занята... Раз жила пингинов пара, посреди полярных вод, полярных вод... Он сказал мне «кукарача», это значит таракан... Брось сердиться, Маша, ласково взгляни...

И Сапожников вспомнил, как он был в Новом Афоне, и что у него там было, и как они с женой полезли вверх на гору от турбазы раным-рано, когда все спали, и только был слышен треск мотоцикла на дороге к Гудаутам, и пальмы стояли в росе, и они пошли по каменистому серпантину все в гору и в гору, и становилось жарко, и на середине горы была абхазская деревня, и старик в мохнатой шляпе угостил их стаканом вина, и по ее лицу скользили зеленые зайчики. А потом они дошли до развалин римской крепости и увидели внизу пеструю толпу

экскурсантов в белых панاماх и слышали голоса, оскорблявшие тишину. Они полезли напрямик по откосу через заросли, и отдыхали, и снова лезли, и была жара и запах нагретого орешника, и Сапожников смотрел на капельку пота у нее на шее, и они вышли наверх, и там была Иверская часовня — одни стены без крыши, и можно было пройти из комнаты в комнату, где на каменных стенах были повешены плохие иконы в бумажных цветах, а над головой белое небо. Потом они вышли оттуда, и Сапожников пошел по гребню низкой стены среди кустов инжира и вышел на самый мыс и увидел немыслимый простор, и синюю карту моря с нарисованным берегом, и точку парохода на горизонте, и купы деревьев, убегающие вниз. И вдруг тень птицы покати́лась вниз черным шаром по кронам деревьев, и Сапожников услышал возглас и оглянулся и увидел, что она стоит закрыв глаза. «Мне показалось, что я падаю», — сказала она. Они прошли через каменный дворик в самое время, потому что там две бабки-монашенки ссорились из-за пятаков, положенных возле икон, и уже вваливалась экскурсия с панاما́ми, громогласным гидом и бутербродами. Потом они спустились по дороге, перешли по бревну молчаливый ручей и оказались в странной тишине леса... Серые стволы стояли молча, почти не отличаясь от замшелых корней у их подножья... их кроны не шелестели... образовали купол храма... наверно, самые твердые деревья на свете, стоящие вечно и вечно живые... Это был самшитовый лес... и это было блаженство... И они тогда только что поженились, и Сапожников не знал, что все так ужасно кончится... Но про это Сапожников не хотел вспоминать даже во сне, не мог, не хотел выворачивать душу наизнанку... и надо бежать от воспоминаний, от их разъедающей сладости...

...Когда Сапожников открыл глаза, он увидел, что в кресле спит Вика.

Когда человек нам нравится, мы хотим, чтобы он был сориентирован к нам одной стороной своей души. Как будто он не человек, а картина в музее. И мало кому он нравится во всех своих проявлениях. А говорим — любовь, любовь...

Вот и сейчас она лежала в большом кресле, ровно сложив ноги. И так хорошо было смотреть на нее. И не поверишь, что, когда она проснется, из нее ползут все

ее стержневые качества. Ведь знал Сапожников, что легла она напоказ, красиво. А потом не учла, что усталость берет свое, и уснула. Дожидалась, какой она произведет эффект на Сапожникова, и не дождалась. А Сапожникову теперь было приятно сидеть на кровати, поглядывать на нее и чувствовать, что вроде он сторожит ее сон. Хорошо бы она такая и была, когда проснется, думал Сапожников. Как на картине. А ведь проснется — какая она будет?

Да и в плоской картине мы прежде всего ищем себя. Или друга себе. Или врага себе. А если этого нет — то картина нам чужая. И в другом человеке мы прежде всего ищем себя, себя, себя. Нет чтоб поинтересоваться, какой он сам-то, этот другой человек. Всё хотим, чтобы он был сориентирован к нам одной стороной своей души. Единственной.

Так все и получилось. Там, в аэропорту. Когда она прилетела в Москву. Много лет назад.

А потом она открыла глаза, и они с Сапожниковым стали смотреть друг на друга.

— Доктор Шура сказал, что ты летающая собака... — медленно проговорила она. — Кстати, он мне сделал предложение... Да... Я сразу побежала к тебе.

— Ты согласилась?

— Пока нет.

— Какой быстрый.

— Что ты делаешь?! — сказала она в отчаянии. — Над тобой все смеются!.. Что ты делаешь?!.

— Живу.

— Опять прибежала... — сказала Нюра, открывая глаза. Дунаев кивнул и продолжал смотреть на потолок, на котором переливалась оранжевая полоса расцвета.

— Ничего, — пригрозила Нюра. — Я ему жену найду.

— Устарел он, — сказал Дунаев.

— А это смотря какая баба. Ты-то, поди, не устарел?

Дунаев предпочел промолчать.

Нюра придвинулась к нему.

— Поспи хоть часок... Шести нет, — сказала она. — Чего он хоть им придумал-то? Ты понял?

— Много чего придумал, — сказал Дунаев, глядя в потолок. — Насчет времени... Ну, это меня не касается...

А вот Шуре этому, доктору, — я так понял, что будто планеты и всякое вещество — это отходы от прежней жизни...

— Вроде дерьма, что ли? — спросила Нюра.

Дунаев промолчал.

— А ты не волнуйся, — сказала Нюра, придвигаясь к нему. — Иди ко мне.

И первый раз за всю совместную жизнь их терпеливого симбиоза Дунаев не придвинулся.

Его волновали космические проблемы.

— А что? — сказала Нюра. — Может, и отходы. Любой сад на отходах стоит... Мало навозу — завянет сад, перебор — сгорит на корню.

Дунаев разломил пачку «Беломора», достал папироску, зажег спичку и увидел задумчивое лицо Нюры.

— Мне одна из бухгалтерии говорила, — сказала Нюра. — На Сукином болоте научный институт стоял... Гидро... как-то еще... Все удобства... Канализация для отходов и этот, как его... ну куда дерьмо собирают?

— Коллектор?

— Ага, коллектор... Крыша бетонная — как в убежище... Дерьма скопилось видимо-невидимо... Кипело оно, кипело, да и шарахнуло... Месяц потом этот Гидро отмывали... Всю бухгалтерию залило.

Дунаев ужаснулся. Нюра додумалась до атомной бомбы и соответствующей ей цивилизации. Критическая масса дерьма чревата взрывом...

Гипотеза, понятная даже ребенку.

ГЛАВА 34

ИЕРИХОНСКИЕ СТЕНЫ

...У Нюры была одна особенность, производившая, мы бы сказали, даже некоторое неприятное впечатление.

Ну, вы читали во многих книжках и видели фильмы, в основном приключенческие, о том, как мчащаяся тройка лошадей или другое взбесившееся животное было остановлено на скаку героическим броском центрального персонажа. Ну, тут, конечно, то-се, ахи-охи, спасенные люди, самопожертвование... Так вот, что касается Нюры, она могла остановить на скаку любое взбесившееся животное. Но для этого она не кидалась наперерез, не повисала

на рогах или на дышле. Все происходило до отвращения прозаически.

Вот взять хотя бы быка Мирона. Это в Калязине еще. Все знали, бежит по улице — разбегайся, не то потопчет, не глядя, старый или малый, или на рог возьмет. Его бы прирезать давно, такой зверюга, да уж больно производитель был хорош. Его и сохраняли, уповая на людской ум и беглую сообразительность. И только когда совсем уж немоготу становилось, выкликали Нюру. Нюра выходила и говорила:

— Ну поди сюда... поди...

И бык Мирон кончал скоком своим колебать землю, смирял его на шаг, опускал задранный хвост и шел к Нюре. Не то чтобы хлебом приманивала или еще какими лакомствами, а просто шел, и все. И смотрел на нее. Потом Нюра шла, куда ей велели идти, а бык за ней. Тоже куда она велела идти, как привязанный. И она приводила его в стойло.

Про другого бы человека сказали — колдунья. А про Нюру кто скажет «колдунья»? Смешно. Нюра, она Нюра и есть.

За дальними амбарами сука жила. Злющая. Сколько раз тоже хотели пристрелить, да исчезала она вовремя из поля зрения охотников. А на Нюрин оклик всегда приходила и вертелась вокруг нее — хвост пропеллером, уши прижаты, и морда остренькая становилась, лисья, и все в глаза ей заглядывала. Кошки за ней, подняв хвосты столбами, целыми выводками ходили.

И ведь что интересно? Ничего умильного в этом не было. Кормление голубей, порхающие птички над головой — нет, этого ничего не было. Просто вся живность тянулась к ней, как магнитом. А что в ней, в этой Нюре, было? Никто толком сказать не мог. Люди хотя к ней и тянулись, но старались издали на нее смотреть, как на пожаре. Одни только Сапожниковы, мать и сын, ее не боялись. Да разве что еще Дунаев. Ну Дунаев другое дело, Дунаев умел в ее слова не вслушиваться, он умел только голос ее слушать. И голос, видимо, говорил ему такое, чего другие расслышать не могли.

И еще. Нюру все машины объезжали... В нарушение всех правил движения, она переходила улицу в любом месте, где ей надо, и машины даже на пустой улице отскакивали от нее и только что в столбы не врезались... Дунаев из штрафов не вылезал. А она идет себе и идет,

как корова с водопооя. И вот Сапожников однажды вдруг поглядел на Нюру совсем другими глазами и понял: она допотопная. Она из тех, кто до потопа жили.

Однажды, вскоре после описанной выше веселой ночки фантазий и размышлений, Нюра пришла к Сапожникову без звонка, хотя Сапожников всех просил звонить предварительно. Но это для всех, не для Нюры.

— Ну, здравствуй, — сказала она.

— Здравствуй, проходи.

— Рассаживаться не буду, боялась, что не застану. Ты сиди, не уходи из дому, а я тут сбегая кой-куда.

— Куда?

— Надо мне, — сказала Нюра — и ушла.

Сапожников недолго оставался один. Его посетил Глеб.

— Вы аутсайдеры, — сказал ему Глеб. — Вы сидите в кювете, а жизнь пролетает мимо вас, как новенькие машины мимо «Антилопы Гну». Пока ты занимался самоусовершенствованием и усовершенствованием нашего брэнного мира, я занимался усовершенствованием своей жизни.

— И до чего ты доусовершенствовался? — спросил Сапожников.

— Ладно, только не веди со мной разговор на уровне ликбеза. Я не богомолка, а ты не батюшка, давай смотреть трезво.

— Давай.

— У меня есть все, — сказал Глеб, — все, чего можно добиться, не совершая преступления перед обществом.

— А перед собой?

— До этого никому нет дела.

— Ты ошибаешься: ты — это и есть общество!

— Допустим, — сказал Глеб. — Хотя я и не очень понимаю, что ты имеешь в виду. Да нет, внешний смысл понятен. Неужели ты всерьез думаешь, что если я лично стану распрекрасным, то и общество станет распрекрасным?

— Вряд ли. Но идея заразительна.

— Но у меня одна жизнь. И я хочу попользоваться в жизни всем, что она предлагает на нормальных условиях. У меня полно друзей, а у тебя раз-два и обчелся.

Я объездил весь мир, а ты сидишь в своей квартире. Меня защищают звания и материальные блага, которые я заработал честно, а ты не защищен, тебя можно сощелкнуть одним щелчком, и жаловаться тебе будет некому, тебя никто не выслушает. Просто потому, что некому будет с тобой возиться.

— А почему же тогда ты пришел ко мне? — спросил Сапожников. — А не я к тебе?

После этого они долго молчали. Есть не хотелось, пить не хотелось, даже курить не хотелось.

— Ты хочешь сказать, что ты счастлив, а не я? — спросил Глеб.

— Нет, — сказал Сапожников. — Я очень несчастлив, но ты пришел ко мне, а не я к тебе.

— Дураки мы с тобой, — сказал Глеб.

— Тоже верно, — согласился Сапожников.

— А ты видал в своей жизни хоть одного счастливого человека?

— Видал.

— Кто это? Расскажи мне о нем. Расскажи мне о нем, — настойчиво сказал Глеб. — Расскажи.

— Да незачем, — сказал Сапожников. — Вот она пришла.

И оба они услышали, как кто-то скребется о притолоку.

— Это она сапоги снимает, — сказал Сапожников.

Вошла Нюра.

Молнии метались в глазах Глеба, когда он смотрел то на Нюру, то на Сапожникова. А брови были гневно сдвинуты.

— Чтой-то вы какие? — спросила Нюра.

— Какие? — сказал Сапожников.

— Будто испугались, что ли, чего-то?

— Ничего я не испугался, — успокоил Сапожников.

— Да нет, вот он испугался.

— Его Глеб зовут.

— Нюра, — сказала Нюра. — Да мы же знакомые.

Глеб пожал ей руку. Нюра вышла и начала греметь на кухне.

— Ну, знаешь, — сказал Глеб, — если так выглядит счастливый человек...

— Не торопись, — сказал Сапожников. — Неважно, как он выглядит.

И тут Глеб совершил ошибку. Он сказал:

— Я еще побуду у тебя.

Вошла Нюра и стала накрывать на стол.

— Мы не хотим есть, — сказал Сапожников.
— Appetit приходит во время еды, — сказала Нюра.
— Это верно, — подтвердил Глеб. — В здоровом теле — здоровый дух! Волга впадает в Каспийское море. Лошади кушают овес...

Сапожников пнул его под столом.

— Скажите, Нюра, — спросил Глеб, — вы счастливая?

— А это как?

Глеб облегченно засмеялся.

— Он спрашивает, знаешь ли ты, что значит хорошо жить? — сказал Сапожников.

— А он плохо живет? — спросила Нюра. — То-то я гляжу, боится чего-то.

— Ничего я не боюсь.

— А ты не бойся, живи хорошо.

— Что значит хорошо жить? — догадался спросить Глеб, пересиливая себя.

— Хорошо жить, — ответила Нюра, подумав, — это жить хорошо.

Когда Нюра вышла за чайником, Глеб сказал:

— Она полная дура... или...

— Или... — сказал Сапожников. — Или. Не торопись.

Глеб откинулся на стуле и, чтобы не глядеть на Сапожникова, стал смотреть в окно. Сапожников был тоже растерян.

— Хорошо жить — это жить хорошо, — сказал Глеб. — Я жил плохо, неправильно.

— Между прочим, это ее единственный афоризм за всю жизнь, — сказал Сапожников.

— Она сама афоризм, — ответил Глеб.

— Глеб, ты же талант. Что ты сделал со своим талантом?

Что-то хлопнуло за дверью на кухне. Потом вошла Нюра и поставила на стол бутылку портвейна.

— Я не буду пить, — сказал Глеб.

— И мы не будем, а по рюмке выпьем, — сказала Нюра. Сапожников кивнул на бутылку:

— А этому какая причина?

— Я принесла тебе великую весть, — сказала Нюра.

— Какую ты весть принесла мне? — сказал Сапожников.

— Принесла я тебе благую весть... что нашла я тебе жену.

— Ха-ха... — сказал Сапожников. — Сначала ведь говорят — невесту?

— Нет. Жену... Решайся сразу, да и дело с концом. И Сапожников в отчетливом прозрении вдруг догадался, что это тот случай, когда не надо ни думать, ни гадать, когда чужая воля оказалась мудрей твоей собственной. Нюра его за своего посчитала.

Сапожников только хотел было пискнуть насчет того, что надо сначала познакомиться, но не стал этого делать. Догадался, что судьба сама все решила за него.

— А какая она? — спросил Сапожников, хотя уже знал ответ.

— А такая, как я.

Глеб побыл еще несколько минут и ушел.

Перед уходом он спросил Нюру:

— Кто она? Все-таки скажите ему — кто она.

— Сроки исполнятся — узнает.

— А как узнаю? — не удержался Сапожников.

— По голубой ленте.

Глеб был похож на большую рыбу, выкинутую на песок.

— Просто я в своей области хотел быть первым, — сказал Глеб, когда Сапожников провожал его до двери.

— Нет, ты не хотел быть первым. Ты хотел главенствовать. А область не стоит на месте. Она движется. Поэтому у тебя один выход — тормозить ее. А первому тормозить не нужно. Он сам движется вместе со своей областью... У тебя что-нибудь не в порядке, Глеб?

— Нет, — сказал Глеб. — У меня все в порядке... Я сам не в порядке... Устал.

Уходил Глеб. Уходил из жизни Сапожникова.

Этот разговор поразил Сапожникова. Но он не ощущал победы. Потому что он не ощущал радости победы. Сапожников мог ощущать радость победы, только если она была без соперничества.

Это как в настоящем искусстве — победа без соперничества. Оно происходит, и точка. И встает в один ряд с другими... Вся история настоящего искусства стоит на одной полке.

Есть в искусстве понятия — драматический анекдот и композиция.

В анекдоте — один влепил пощечину, другой схватился

за щеку. А в композиции главное — кто ударил и кого. Потому что реакция оскорбленного непредсказуема. Может и заплакать, может и захохотать, может и обнять обидчика и утешить его, а может и почесаться или умереть от оскорбления.

В композиции надо разбираться, проникаясь и сопричастуя, а анекдот удобен, как кресло на колесиках. Конформиста всегда везут, а остальных зовут летать.

Анекдот исходит из заданного ограничения и раскрашивает его. Композиция не терпит ограничения, она сама его для себя вырабатывает. Композиция — эолова арфа, играющая на ветру времени. Анекдот — патефон, орущий одну и ту же мелодию при любой погоде, потому что пружина заведена и давит до конца пластинки. Патефоны у любого владельца играют одну и ту же песню, а на вышеуказанной арфе надо играть самому. Анекдот можно вычислить, а для композиции нужно быть композитором. Ремесло вычисляет и композицию, но приходит настоящий и портит вычисления. Анекдот держится на логике поворотов, композиция — на смене ритмов. Анекдот можно вычислить, имея исходные данные, а композиция — это открытие и новых исходных данных и их связей, и потому анекдот начинает с вычисления, композиция ими заканчивает. Анекдот игнорирует хаос, и потому анекдот — это притворство, а композиция считает хаос суммой всех возможностей, то есть богатством, и отыскивает в нем каждый раз новую гармонию. В анекдоте интрига движет сюжетом, в композиции сюжетом движет жизнь, породившая таких героев, а не других. В анекдоте один эпизод есть причина для другого эпизода. В композиции причиной эпизодов является жизнь, их окружающая, а интрига подсобна и, как всегда, беспомощна в результате.

Конфликты анекдота — помесь поваренной книги и бухгалтерской, и они уходят, когда блюдо черствеет и переоценивается в грош цену и выеденные яйца. Герои драматического анекдота сведены искусственно и упакованы во внешние обстоятельства, как в гроб, откуда нет выхода. Герои композиции не заперты в стеклянной банке, не посажены на транспорт, с которого не соскочишь. Они сошлись вместе, потому что их свела судьба и они такие, а не какие-нибудь другие.

Никакие внешние обстоятельства не держат их вместе, и они могут разойтись в любой момент. Только для этого

Ромео должен перестать любить, Отелло — ревновать, Гамлет — мстить, а Макбет пробиваться в начальство.

Герои анекдота воюют с противником, лежащим вне их. Поэтому их конфликты временны. Нет противника — нет и драмы. Герои композиции прежде всего над собой не властны. Вот суть.

Не властны бросить любить, или ненавидеть, или гоняться за деньгами. Что это за Скупой рыцарь, если его скупость от расточительства сына? Гобсек не властен бросить ростовщичество, Хлестаков врать, а сестры чеховские перестать быть деликатными.

Вот в чем суть. Не властны над собой...

Филидоров рассуждал так:

«Полтора миллиона лет — человек прямоходящий; 100 тысяч лет — человек думающий, 12 тысяч лет — кроманьонец, 7 тысяч лет — история. 3 тысячи лет — цивилизация. Идти уже некуда. Земля заселена. Ежегодно 5 миллионов тонн нефти выбрасывается в океан. Льют мышьяк, выбрасывают уран. На дне, запечатанная в баллоны, лежит ядерная смерть. Если мы сейчас не образумимся — мы обречены на самоуничтожение. Все это — следствие концентрации энергии.

Вернадский говорил, что ни один вид не мог жить в среде своих отбросов. Сейчас каждые 12 лет отбросы удваиваются. Даже производство по замкнутому циклу — не выход, производство-то растет. При замкнутом цикле отбросы удваиваются за 15 лет.

Идеалы общества потребления — вот где опасность. Если мы не перестроим наши потребности — будет худо. Грязь не должна накапливаться. Должны эволюционировать наши идеалы. Идеалы общества созидания».

Так думали те, кто занялся организацией проблемной лаборатории, которую должен был возглавить Филидоров. Защита окружающей среды.

Защита.

— Глеб, поймите меня правильно... вы мне очень нужны, — сказал Филидоров. — Когда я уйду, или когда распадется мой симбиоз симбиозов и я превращусь в вещество...

— Зачем вы так?

— Я дурею от этого Сапожникова, — сказал Филидоров. — Я хочу сказать, что в любом случае вы замените меня. Вы прирожденный лидер.

— Но что «но»? — спросил Глеб после паузы. — Этого мало?

— Глеб, вы отличный специалист, — сказал Филидоров. — Но по всему миру идет научно-техническая революция... значит, нужна ее теория и нужны революционеры. Да-да, представьте себе... Это всегда особый склад мышления... Вы что думаете, я не понимаю, что в принципе и вы и я могли бы додуматься до видеозаписи? Все данные уже были. Сапожников не открыл факты, но понял их связь. Мы с вами вполне могли это сделать. Однако для этого нужна определенная настройка души — у нас с вами ее не оказалось.

— Какая настройка?

— Я думаю, вы и сейчас не понимаете, что видеозапись это такой же переворот в культуре, как прежде книгопечатание.

— Перебор... Не верю, — сказал Глеб.

— Ну вот видите... — сказал Филидоров. — Сейчас видеозапись дублирует кино. Первые печатные книги тоже подделывали под рукопись и украшали переплеты застешками. А оказалось, что главная специфика книги — тираж. Культура перестала быть достоянием одиночек. А теперь представьте себе, что лекции для школьников читают Курчатов, Ландау, Капица, Семенов, Александров — да не просто читают, а ведут урок на экране и спорят, и им задают не типовые вопросы... а потом эти лекции в каждой квартире, и их можно смотреть сколько хочешь и останавливать в любой момент, как сцену на футболе, чтобы понять формулу, то есть остановить мгновение, если оно прекрасно... и вернуть назад, чтобы посмотреть, как ее, эту формулу, выкладывают у тебя на глазах... Знаете, я бы не отказался. А в искусстве — авторское исполнение...

— Вы сильно увлечены Сапожниковым, — сказал Глеб. — Как же это я проглядел? Вы мне казались устойчивей...

— Я увлечен перспективами. Если видеозапись будет так же по карману, как транзистор, — это переворот... Мы с вами забраковали его абсолютный двигатель, но у меня не выходят из ума перспективы. В замысле это не только конец энергетическому кризису и загрязнению среды, это еще и автономия каждого станка, каждого жилища. Мало того, что это разгрузит гигантские ГЭС,

ГРЭС и прочие левиафаны, это еще и энергетическая неуязвимость отдельного человека... Кстати, Сапожников упорно болтает о раке, — что это? Не слышали?

— Не слышал, — быстро ответил Глеб.

— Там, в Керчи, мне понравилось с ним болтать... У него какая-то своя логика. Он называет ее нелинейной. Он считает, что случайность — это не просто проявление и дополнение закономерности, а проявление одной закономерности, дополняющей другую. У него куча неожиданных идей... Может быть, они завиральные, но они вызывают резонанс в моей старой башке... И если НТР действительно революция, а не просто ужасающая производительность, то потребуются люди его типа. Иначе эта производительность станет научно-технической контрреволюцией, а это, знаете ли, не для людей. Глеб, поймите меня правильно...

А Сапожников как рассуждал?

Стоп. Воздух — вот что всех объединяет. Хочешь не хочешь. Землю расхватили на части, и вся она кому-то принадлежит. А воздух общий.

Тот самый зыблущийся, колеблющийся, завихряющийся, тот самый легкий газ жизни, за который, по мнению Сапожникова, поток реки времени раскручивает планету, как за обод велосипедного колеса.

Воздух-то общий. И промышленные страны воруют воздух у непромышленных.

Другое дело — огородить бы промышленные страны стеною до неба — вот тогда можно было бы поглядеть, долго бы работали жрущие воздух заводы, автомобили, реактивные двигатели, надолго бы хватило собственного воздуха или нет? А ведь хочешь не хочешь, а придется и об этом задуматься. И ни-ку-да от этого не уйдешь. Никуда!

Воздух создают растения, а жрут машины. Все ли машины? Нет. Только машины всяческого сгорания. А водяные мельницы, гидростанции и ветряки — воздух не жрут. То есть вечные двигатели воздух не жрут. Стоп.

Можно ли отказаться от выплавки металла? Нет. Но его можно плавить электричеством. Можно ли отказаться от самолетов? автомобилей? Нет. Но на них можно поставить двигатели, не пережигающие воздух. И так и далее.

Нельзя сжирать одну планету, а потом искать на стороне другую.

Пойдут люди обратно на травку, откажутся от цивилизации? Нет, конечно. Значит, нужна изобретательность.

Если какая-то область деятельности вредит человечеству, надо искать, как сделать ее безвредной, раз уж нельзя от нее отказаться. Надо искать, как прийти к тем же результатам безвредным путем.

Кстати, и сам путь может измениться, если изобретательность будет направлена на безвредность.

Как строить мир, чтобы он развивался без аварий?

Сапожникову казалось, что все дело в изобретательстве настолько массовом, чтобы оно лавиной заваливало каждую трещину в скале. Сапожников надеялся, что дело идет к автономным двигателям, поставленным на каждый станок, на каждую автомашину, в каждый ЖЭК, и уставшая от неразумия земля отдохнет и расправит плечи. Потому что каждый человек — это автономный двигатель. В конце концов история складывается из наших биографий. Так думал Сапожников, но, может быть, он ошибался. А может быть, и нет.

Но, повторяем, эти идеи отдавали фантастикой и потому были нереспектабельны.

И потому оставались Сапожникову только гипотезы и прогнозы насчет человека и вообще о жизни, которые в момент высказывания выглядели нелепо, потому что не соответствовали действительности. А когда они становились действительностью, то в общем шуме оценок и определений терялась тихая мелодия сапожниковского прогноза.

Потому что настоящий прогноз — это мелодия, а не вычисление.

И ее можно открыть, если хочешь заступиться за кого-то, и тогда услышишь в сердце тихий взрыв.

Вика позвонила Сапожникову на работу и объявила, что зайдет к нему сегодня, если будет время, и велела сказать, где он прячет ключ, на случай, если она придет раньше его. После работы Сапожников летел домой что есть духу. Ключ оказался на месте.

Сапожников улегся на диван и смотрел в окно на закатное небо.

Потом Вика пришла. Красивая, возбужденная, победительная, нос задран, глаза круглые и несчастные.

— Ты получил письмо доктора Шуры? — спросила она. — Он писал при мне, — сказала она. — Он ставил вопрос о душе.

— Вы с ним спите уже? — поинтересовался Сапожников.

— Во-первых, это не твое дело, — ответила она. — Тебя это не касается теперь... А во-вторых, ничего подобного... Ты почитай письмо, почитай! Он тебя уничтожил... Все твои программы — это все липа!

«А что такое душа?» — подумал Сапожников.

— Да! Что такое душа? — спросила Вика. — У тебя и на это есть ответ? Может быть, ты мистик? Или ты спирит?

— Увы, — сказал Сапожников. — Я материалист. Мистикам куда легче... Покрутил стол, вызвал Наполеона — получил ответ... Однако все рано или поздно объяснится — так Аггарий велел. Нужна безумная догадка, а я сейчас трезвый как мыло.

— А вот я знаю, что такое душа, — сказала Вика.

— Вполне возможно... А что?

— Это то, чего у тебя нет, — сказала Вика.

И пошел длинный-предлинный разговор, где она объясняла Сапожникову с почти открытым злорадством все недостатки Сапожникова, и тот соглашался и соглашался, да, правильно ты говоришь, все точно, и она учила его жить, надо было делать так, и надо было делать эдак, и любовная речь журчала, как ручеек-змейка, которую Сапожников отогревал за пазухой, но так за всю жизнь и не отогрел, и всю жизнь любовная речь-змейка оплетала и оплетала Сапожникова, и во всем была права, но почему-то была права злобно и давала советы не тогда, когда он на ногах стоял и криком кричал, просил совета, а когда он обрушивался и ничего не просил, разве чтоб в покое оставили.

Ах, серпантина, круглые глазки, только у Гофмана она из змейки становится девушкой. В жизни чаще бывает наоборот.

И тогда Сапожников сказал:

— Ты права. Ну а дальше что? Разве кому-нибудь от этого весело? А разве тебе самой весело?

— Я не ищу веселья, — сказала она.

— Вот потому мы и не вместе, — сказал Сапожников. — Пускай я буду неправ, но по-своему.

И тут раздался довольно сильный звонок в дверь, и Сапожников сказал:

— Вот видишь, дождались... сейчас Нюра придет.

— Чур меня, чур, — сказала Вика.

Но это оказалась не Нюра. Вика открыла дверь, и ей сказали: «Распишитесь за телеграмму». Телеграмма была местная и срочная.

Она вернулась и протянула серый заклеенный листок.

— Нет... — сказал Сапожников. — Прочти сама... Чем там еще меня прихлопнули... Я боюсь...

— Не бойся... трусишка, — сказала она и усмехнулась.

По ее лицу было видно, как Сапожников скатывался колобком ей в руки. Она ошибалась, но ошибалась благородно. Она не знала, что Сапожников на последнем рубеже, но держался до конца. Совсем. Он про себя так решил, что лучше помереть стоя, чем жить на коленях. Что это за отношения, если один ползет к другому, только когда ходить не может. А как пошел, так побежал прочь. Нет, нет. Конец, так конец, но по-своему. Он смотрел, как она не торопилась разрывать финишные ленточки, которыми была склеена телеграмма неизвестно откуда, и все у него холодело. Потому что он понимал — все. Получать телеграмму ему совершенно неоткуда.

Она побледнела и сказала:

— Наверно, твой проект приняли.

— Что? — сказал Сапожников. — А кому он нужен — эта мура собачья, мне, во всяком случае, уже не нужен. Ну-ка, прочти.

Она прочла:

«Рассказал шефу вашу последнюю медицинскую байку. Он сказал: оформляйте. Вас зовут к нам. Деньги отпущены. Зав. лабораторией, извините, я. Потом переиграем. Приезжайте немедленно. Все хорошо. Толя».

Сапожников подождал немножко, потом засмеялся, посмотрел в потолок и закрыл глаза. Как это ему неоткуда телеграмму получать? Ему полсвета написать может... Потом открыл глаза и посмотрел на молчаливую змейку.

Она сидела неподвижно.

Он тихонько сказал:

— Привет...

Иерихонские стены рухнули. Резонанс все-таки.

Она поднялась и молча вышла. Только бухнула дверь.

Так Сапожников и не понял. Совпадение это или судьба наградила его за попытку устоять на стезе добродетели и стойкости. Ему хотелось верить во второй вариант.

...И пришла эта страшная ночь. Ночь катарсиса. Ночь объяснения и очищения.

Сапожников вернулся домой с работы и в ящике для писем нашел письмо. Он сперва не понял, что это письмо от Глеба.

«...Пора признаваться, — писал Глеб. — Когда-то я смеялся, глядя на твою пасть, изрыгающую идеи. Но случай с видеозаписью поразил меня. Видеозапись существует. Это факт. Мне неизвестно, кто первый до нее додумался. Может быть, где-то уже шла работа. Но впервые она стала известна нам в пустом трепе с тобой. Это могло быть случайностью. Но ты похвастался, даже не похвастался, а пошутил, что ты можешь додуматься, как лечить рак, как сделать абсолютный двигатель и решить теорему Ферма. Много лет спустя я услышал, что ты начал болтать о двигателе. Из компании в компанию, по цепочке — мне передали его идею. Ты ни от кого не скрывал идею двигателя. Тогда я решил сыграть. Решил пожертвовать пешкой. И отдал тебе Барбарисова. Это я сказал ему, что в твоей идее что-то есть. И чтобы он попробовал и не терял шанса. Я тоже ничего не терял. Если бы ученые люди разгромили тебя, меня бы это не коснулось. Если бы подтвердили твое предположение, двигатель был бы мой. Но тебя разгромил Филидоров. И я опять стал жить хорошо, когда большая наука закрыла твою проклятую пасть, изрыгающую изобретения...»

— Безумец... — с тоской сказал Сапожников. — Глеб... ты безумец... Вот что оказалось...

«...Я тормозил тебя всю жизнь, — писал Глеб, — ты не знал об этом. Знал об этом только я. Знал о тебе все. И однажды случилось непоправимое... Я приехал в Керчь. Я приехал сказать тебе об этом непоправимом. Но не смог. Я понял, что это тебя убьет. И почему-то не смог. А когда не смог — меня потянуло к тебе. Вот что случилось. Не так давно прошел слух, что идея двигателя где-то запатентована. И будто есть сообщения в журналах, что приступили к строительству. Потому что когда раньше уповали на атомную энергию и все в таком роде, всем казались смешными твои фреоновые керосинки. Но наступил энергетический кризис, и даже в Америке стали строить ветряки. Ты потерял этот двигатель, Сапожников. А совсем недавно я узнал, что в нескольких странах ведутся работы

по проблеме рака, и похоже, что твоим способом. Делаются попытки бить его резонансом, как это ты собирался делать. Кажется, на частоте бета-частиц...»

Сапожникова начало колотить. Его начало заражать глебовское безумие. Уходили, может быть, главные его практические идеи. И никогда его имя не будет связано с ними.

Он схватил толстую тетрадь и начал лихорадочно записывать эти идеи. Ставить числа. Сегодняшние... Потом вчерашние... Потом снова сегодняшние... Пытаясь спасти остатки... Потому что он понял: если двигатель начали строить, то он будет стационарный. А Сапожников додумался до автономного, который можно будет ставить на любой станок и в любую квартиру... Его била дрожь отчаяния... Пока он не спохватился... и не стал читать дальше.

«...Ты проиграл, Сапожников, — писал Глеб. — Но ты проиграл житейски. А я окончательно и непоправимо. Потому что если такой олух, как ты, мог в разговоре с легкостью додуматься до того, до чего не додумались люди, подобные мне, то, значит, твой способ мышления верней моего. Прости...»

— Глеб... Глеб... Что ты наделал? — сказал Сапожников и кинулся к телефону.

Пальцы не попадали в отверстия диска. Телефон блеял, мычал или молчал. И это длилось всю ночь. Пока не кончилось разом.

— Все кончено... — сказал Сапожников.

Он не знал, что кончено. Что именно. Но что-то было кончено.

Утром позвонил Барбарисов и сообщил, что Глеб умер в больнице. Этой ночью. От какого-то страшного и непонятного желудочного заболевания. Из него разбежались все микробы, полезные для организма, которые помогают переваривать пищу. Они не захотели с ним жить.

Симбиоз распался.

Глеб. Выжженный человек. Ни разу в жизни не страдал за другого. Рак души.

Иерихонские стены рухнули.

И в душе Сапожникова наступило молчание.

Кто приходит с войны, его всегда спрашивают: ну как там? Одно дело сводки и кинохроника, другое дело — свой вернулся и расскажет, как там. Все равно не рассказать. Потому что — слова. А все слова описывают жизнь, потому что придуманы живыми. Словами можно, конечно, нагнать страху, потому что страх это тоже жизнь. А как описать смерть? Обморок, потеря сознания и даже клиническая смерть — это еще не смерть, это потеря ощущения жизни, а все же не смерть. Потому что научно установлено, что в момент подлинной смерти организм любой, даже насекомого, дает вспышку некоего излучения, которое фиксируется приборами. Кто не верит — пусть спросит у специалистов.

Снова пришел Аркадий Максимович. Сидел, смотрел на Сапожникова и ни о чем не расспрашивал.

Трехногая собачка Атлантида то бродила ревизией по комнате, то сидела под стулом возле тощей ноги Аркадия Максимовича.

В переводе на собачий, Аркадий Максимович был пудель — седые кудри и глаз обморочный, а Сапожников — московская сторожевая — наивности побольше и злости тоже.

Сапожников спросил:

— А как дела с Кайей, женой Приска-младшего?

Потому что во всех катаклизмах Сапожникова, по нелепости его природы, интересовали судьбы частные и мелкие, о которых он мог бы совершенно спокойно и не узнать вовсе. Но уж если узнавал, то они прилипали к нему и входили в его душу и становились и его судьбой.

— Плохо дело с Кайей, — рассказал ему Аркадий Максимович, как будто историю про соседнюю квартиру рассказывал. — Я так понял, что этот подонок Ксенофонт каким-то образом затащил Кайю в гарем слонявого Перисада.

— Ужас... ужас... — сказал Сапожников. — Ну?

— А когда Савмак поднял восстание и убил Перисада, то Кайя не вернулась к Приску... Не смогла.

— Это ясно, — сказал Сапожников, глядя в окно.

Ледяная крупа летела и кружилась и царапала стекло.

— Странно... они чувствовали то же, что и мы...

— Было бы странно обратное, — ответил Сапожников. Ледяной ветер зудел в стекла.

— Ну, а дальше? — спросил Сапожников.

— А дальше восстание продолжалось год, как мы и предполагали, Савмак стал царем — это все в общих чертах известно. Конечно, множество деталей быта и культуры Пантикапея, разгром восстания и города войсками Диофанта, Митридатова полководца, — это целый клад для историков, этнографов. Но не в этом дело.

— А в чем?

— А в том, что, по утверждению Приска-младшего, после того как Савмака и других пленных увезли в Понт к Митридату...

— А Кайю?... — опять спросил Сапожников.

— Я и говорю, — сказал Аркадий Максимович. — Ксенофонт, который отсиделся в некрополе, пока была заваруха, вылез на поверхность и показал Кайю Диофанту, который немедленно забрал ее для Митридата. За это Диофант прихватил Ксенофонта с собой к Митридату... Видимо, Кайя действительно была хороша.

— А что с Приском?

— Приск плыл на одном корабле с Кайей и Ксенофонтом. Пытался убить Ксенофонта, но неудачно. Приска хотели выкинуть в море. Но Кайя сказала, что изуечит себя, и Приска не тронули...

— Какой ужас... — сказал Сапожников. — Что люди делают друг с другом.

...Это растерявшиеся дети.

Каждый думал, что после войны вернется на старое место. Но старое место было занято новыми детьми, которые требовали от вернувшихся быть живым идеалом и размахивать саблями. Вычеркнули их из детства. И не дали доиграть в игрушки. И все усугублялось самолюбием, с которым младшие вымещали на них свои несостоявшиеся доблести. А те, кто вернулись, не решались сказать — пустите в детство хотя бы на годок.

— Знаете что, Сапожников, — сказал Аркадий Максимович, — не спрашивайте меня больше о Кайе и Приске. Там есть вещи и покрупнее.

— Возможно, — согласился Сапожников. — Но они дальше

от меня, и я не могу их охватить. Я не историк. Мое дело велосипедный насос.

— Не понимаю.

— Ну?

— А дальше рассказано вот что. По словам Приска выходит, что Спартак сын не то Савмака и Кайи, не то Митридата и Кайи. Запутанная история.

— Спартак? Ведь вы догадывались?

— Кайя была в гареме у Митридата, который потом отдал ее Савмаку. Кайя родила сына, которого назвала традиционно для боспорских царей — Спартак, поскольку сам Савмак был Спартокидом, хотя и по боковой линии, а вернее — сыном царской рабыни, а потом и сам год был царем. В общем карусель.

Аркадий Максимович был очень задумчивый.

— Хотя с другой стороны, — сказал он, — мы как-то не очень отдаем себе отчет, что Митридастовы войны с Римом происходили одновременно с восстанием Спартака. Вряд ли Митридат этого не знал и не учитывал. Митридат пошел на Рим, который с тыла громил Спартак. И эти два мероприятия, похоже, связаны друг с другом не случайно, а гораздо более тесно, чем мы думали. В общем, если хотя бы половина из всего этого правда, то события на территории нашей страны не периферия римской истории, а наоборот, римская история периферийная, только более известная. Я все больше думаю, что мы откопали не хронику, а какой-то эллинистический роман. А это уж забота историков литературы.

— Сквозь любой роман просвечивает хроника, — сказал Сапожников, — и наоборот.

«...Царь Митридат был Ахеменид и потомок Александра Македонского и Селевков, и слава великих предков окружала его и предшествовала его появлению... Исполинского роста он был, и огромна была сила его мышц... непреклонно было его мужество и неукротима энергия... Глубок и коварен ум и безгранична его жестокость... По его приказу были убиты и погибли в заточении мать, брат, сестра, три сына и три дочери...

Несмотря на то что не удалось в Риме восстание великого вождя, единственного великого из Спартокидов, царь Митридат продолжал набирать войско из свободных, а также из рабов, и того не прощали ему знатные.

Он готовил множество оружия и стрел и военных машин и не щадил ни лесного материала, ни рабочих быков для изготовления тетив из их жил для луков своих. На своих подданных, не исключая самых бедных, он наложил подати, и сборщики его многих обижали при этом. И даже воины Фарнака, сына его, роптали, и Фарнак, сын Митридата, захотел стать царем.

Ночью Фарнак прошел в лагерь к римским перебежчикам и склонил их отпасть от отца. В ту же ночь он разослал своих лазутчиков и в другие военные лагеря.

На заре подняли воинский клич римские перебежчики, за ними его постепенно подхватили другие войска. Закричали первыми матросы, наиболее склонные к переменам, за ними и все другие.

Митридат, пробужденный этим криком, послал узнать, чего хотят кричащие. Те ответили, что хотят иметь царем его молодого сына, вместо старика, убившего многих своих сыновей, военачальников и друзей. Митридат вышел, чтобы переговорить с ними, но гарнизон, охранявший акрополь, не выпустил его, так как примкнул к восставшим. Они убили лошадь Митридата, обратившегося в бегство. Митридат оказался запертым.

Стоя на вершине горы, он видел, как внизу войска венчают на царство Фарнака. Он направил своих посланцев к нему, требуя свободного пропуска, но ни один из них не возвратился. Поняв безысходность своего положения, Митридат достал яд, который он всегда носил с собой при мече.

Две его дочери, находившиеся при нем, невесты Египетского и Кипрского царей, не давали ему испить, пока не получили и не выпили яд первыми. На них он сразу подействовал; на Митридата же не оказал никакого действия, так как царь привык постоянно принимать яды для защиты себя от отравления.

Предпочитая смерть плену, он попросил начальника кельтов Битоитта оказать ему последнюю услугу. И Битоитт, тронутый обращенными к нему словами, заколол царя, выполнив его просьбу.

Так погиб Митридат — здесь, в Пантикапее, на горе, названной позднее его именем.

И я, Приск, сын Приска, был с ними, потому что там была Кайя, у которой помутился разум.

Мы, Приски, помним события малые и для царей незначительные, потому что из малых капель беспредель-

ный океан и царский курган насыпан безымянными многими.

Когда все было кончено на вершине горы и пресеклась жизнь царя Митридата то начальник кельтов, оказавший последнюю услугу царю, хотел послать меня к Фарнаку с вестью о совершенном. Но я, слыша голос Кайи, которая все пела на непонятном языке возле умерших, не смог ее оставить, пока она жива. И потому я просил отпустить ее со мной. Но кельты не отпустили ее, потому что больше на горе не было женщин и некому было оплакать мертвых, а Кайя все пела. Я валялся в ногах у Битойта, но начальник кельтов молчал, а я не мог сказать ему, опасаясь за жизнь Кайи, что она поет не слова прощания с мертвыми, а супружескую песню, которую она пела мне на третью ночь после брачного пира, и вот я остался жив и не могу умереть, пока не будет дописано то, что должно, потому что мы Приски и наше дело помнить, и вот эта песня на языке эллинов.

С деревьев солнечного бога
Срываю ветвь себе на опухало.
Лицом я обернулась к роще
И в сторону святилища гляжу.
Отяжелив густым бальзамом кудри.
Наполнив руки ветками персеи,
Себе кажусь владычицей Египта,
Когда сжимаешь ты меня в объятьях.

И я начал спускаться с горы, слыша ее голос, и обходя трупы, и так шел, пока слышал ее голос, а потом перестал слышать. И тогда я стал как безумный кельт, который идет в битву, не боясь ничего, и снова помчался вверх по горе, не слыша ее голоса. И, прибежав на вершину, отстранил Битойта от тела Кайи, которая лежала возле дочерей царя и одна из них была невестой царя Кипра, а другая — Египетского царя. И Битойт, которого кельты звали Витольд, и он был потомком Словена, потомка Иафета, и этим потомкам оракулы предсказывают великую судьбу, и этот Битойт не ударил меня мечом, когда я отстранил его от тела Кайи, жены моей и матери великого вождя, сотрясавшего Рим и погибшего в битве, потому что царь Митридат не посмел послать за ним корабли. Потому что боялся его возвращения и его величия, как боялся Савмака, потому что не мог понять, что движет этими людьми и почему рабы ближе их сердцу, чем цари. У Кайи не помутился разум, как думали кельты, и

они не заметили, как она выпила яд, от которого царь Митридат не мог умереть.

Воины Фарнака и римские перебежчики начали кричать внизу горы, и Витольд поднял на копье плащ Митридата, потомка Ахеменидов, потомка Александра Великого, Македонянина.

Я спустился с горы, обходя трупы, и в развалинах дома своего я еще успел увидеть живым своего отца, который умирал и потому говорил медленно. Я думал убит себя после его смерти, но он рассказал мне то, что должны знать Приски, и он умер, а я жив, чтобы не пропало знание...»

— ...Они погибли... — сказал Сапожников. — Они все погибли.

В эти последние дни Сапожников звонил по телефонам из пустой квартиры и объяснялся в любви кому попало. Сначала он еще понимал кое-что. Ну, например, что он повторяется, что его длинные монологи становятся похожими друг на друга, пока не остался один монолог. Потом и это перестал понимать. Сначала он еще понимал, что на другом конце провода откликаются разные женские голоса, а потом и это перестал понимать, и остался только глуховатый женский голос, растерянно или со смешком подающий реплики. А потом и он пропал, и остались только треск телефонных разрядов, гул машин за окном и иногда вой «скорой помощи», требующей дорогу на перекрестке.

Все окурки были докурены, хлеб доеден, неделя отгремела рассветами, и на том конце провода телефон молчал или поскуливал длинными гудками. Хватит, Сапожников, хватит. Того, чего ты хочешь, все равно никто не услышит, рано еще ему родиться, этому чувству, не пришел еще срок, а зеленые почки руками не раскрывают. Слушайте, не рожденные еще младенцы, неужели и вы не услышите? Ну мы ладно, у нас еще морды в грязи и земля еще залита кровью. Но вы-то, вы-то, неужели не оглянетесь на звон тихого слова «нежность»?

«...Тайна эта всех тайн страшней... Был народ раньше всех народов, счастливый на берегу моря... Но исчез в памяти людской, так как не хватило у него смелости

сойти с неверного пути... Мужчины его были могучи и добры, женщины спокойны и приветливы, и никто не возвышался над другими, чтобы унижать невозвысившегося. Потому что не было славы у того, кто возносился для себя, а только у того, кто мог лечить тело и душу, кого любили звери, кто знал приход зноя или холода и не страшился своей смерти... Запомни, сын мой, — своей смерти, а не чужой... И этот народ теперь всеми забыт, и его помним только мы, Приски, а другие не помнят. Потому что это́ неозвратно, а они свернули со своего пути...

Они жили у моря бесчисленные времена, потому что бесчисленные времена была засуха на земле. А потом земля стала холодеть в одних своих местах и колебаться в других, и народ этот стал уходить от моря, но пищу стало добывать все трудней и легче было отнять. И тот, кто отнимал, возвысился над теми, кто добывал, и появилось оружие, и жилище из камня, и цари над людьми, и проклятая Атлантида, где убивали людей в честь тех, кого не видел никто и называли богами. И если люди древнего народа приносили в жертву себя, спасая других, то в Атлантиде цари и сведущие люди стали приносить в жертву не себя. И стали называть богатством не то, что в сердце человека, а то, что он имеет вокруг себя, потому что так легче ленивому сердцу...

И тут совсем откололась земля с Атлантидой от остальной земли и была окружена морем, и остальные несведущие люди перестали быть счастливыми, потому что хотели жить как атланты и звали их к себе на помощь, не ведая, что те обучают вражде и разделению, находясь сами в безопасности, окруженные морем.

И от них всюду появились цари, но Атлантида была первая и возвышалась в золоте и ярости...

Но земля стала оседать и раскалываться, и Атлантида думала, что это боги отделили ее от остальных людей для ее возвышения и безопасности...

И задумали цари ее, в тщеславии своем, города свои, расположенные по горам, слить в одну гору, уходящую в облака, и для этого разделили людей, чтобы один тесал камни, другой плавил медь и железо, третий рыл каналы. И все стали знать только слова, нужные для своей работы, и разучились понимать ненужные им для их работы... И когда стала рушиться земля атлантов, то кто успел, уходили на старую землю, чтобы пасти стада и сеять принесенные злаки.

Но уже болезнь войны и добычи и жадности жила в сердце человеческом, и кто пас стада, считал себя выше тех, кто сеял злаки, а кто плавил медь, считал себя выше тех, кто пас стада, а кто приносил других в жертву — были выше всех.

После великого потопа, когда прогнулась земля под великим льдом, и великие теплые воды хлынули в Гиперборейские страны и там растопили лед, и хлынули воды на юг и затопили все, кроме стран Востока и другой земли на западе солнца, которой мы теперь не знаем, погибла великая Атлантида. И народы разбились на племена, а племена на семьи, а в семье каждый хотел возвыситься над другими, и за тысячи лет люди потеряли умение, и оно осталось лишь у немногих, а где умеют немногие, там опять они возвышаются, и так это случилось с халдеями и мидянами, от которых происходят маги.

И снова появились и падали царства, и возвышаются и падают до сего дня, и каждый хочет выстроить свой дворец высоко на горе и выше других царей, и жадность его растет до облаков, и другой народ для него жертва, и тайное умение сведущих людей не идет на пользу другим людям, а только на пользу их жадности. И всему причина — Атлантида — с нее началось...

И мы Приски, которые все помним, потому что мы первые, несчастнее других людей. Потому что поклялись помнить и не говорить... Но царств стало слишком много, и они передают свою жадность друг другу, и молчание наше бесплодно. Но мы поклялись потому, что тот царь, или другой человек, который услышит про Атлантиду, заболевает слюнотечением и забывает про дела земли, а помнит только дела жадности...

Царь Митридат мог стать избавителем народов от римлян, но ему Ксенофонт, или подобный, шепнул про Атлантиду, и Митридат заболел слюнотечением и стал казнить народы и погиб без пользы. Люди загадили землю жадностью своей, и цари выше всех. И умение мастеров стало царским имуществом. И песни, и музыку, и картины, и изваяния, и даже пляски свои люди стали обменивать не на любовь или свободу, а на имущество... И один другому говорит — ты мой, и сражаются, и победитель счастлив, имея раба или обменяв его на имущество, полученное по наследству и добытое рабами своего отца».

«... — Как это может быть, отец, — сказал я, — что в эллинских мифах не рассказано про Атлантиду?»

— Мы Приски, — сказал отец. — Наше дело запоминать. Все эллинские мифы недавние, и эллины как дети... Человек уже никогда не вернется назад, но мы, Приски, ждем, когда пригодится наше знание.

— Какое же знание, отец? — спросил я.

— Пока у человека нет чего-нибудь, для него счастье — получить, но, получив, он сыт и желает другого... Желания людей неисчислимы, и никто не может их напитать, ни он сам, ни рабы его, и счастье проходит... Но есть одно желание, которое не ждет пищи, а само себя питает. Оно редкое, потому что люди о нем забыли. Но когда оно приходит, оно убивает жадность и рождает щедрость. И когда будут пройдены все пути неразумия и выхода не останется, придем мы, Приски, и напомним о нем.

— Какое же это желание, отец?

— Мы его называем блаженством. Его часто знают дети, многие женщины и всякий другой, который кормит незнакомца, или зверя, или птицу.

И мой отец умер. Я же записал плача...»

Аркадий Максимович перестал читать тусклые машинописные листки перевода.

Из прихожей вошла Атлантида и оглядела людей темными глазами, блестящими, как вишни после дождика. И залаяла. Аркадий Максимович стал ее кормить калорийной едой, и Сапожников, не стесняясь, заплакал.

Сапожников, не стесняясь, заплакал, потому что услышал тихий взрыв.

Война холодная, война горячая, война наступательная, война оборонительная — сколько названий у войны. А у мира — никаких. Мир, и все. Потому что война — это действие, а мир часто бездействие, увы. Война превентивная, война захватническая, война освободительная... Стоп! Если напали, надо защищаться, это же ясно! Пацифизм не тем плох, что он против войны, а тем, что он маниловщина. Хорошо бы, чтобы войны не было? Хорошо. Война кровавый абсурд? Абсурд. Так давайте не будем воевать? Давайте. А как это сделать? Абсурд — это «абсурдус», то есть, по-латыни, ответ глухого. Ты ему одно,

а он невпопад отвечает. Война — кровавый абсурд, но у нее есть причины. Эти причины тихие, ползучие, логичные — бездарные. Броня и копье, стена и пушка, и все время — кто кого. Себя огорожу идиотской стеной, а против тебя такое придумаю, что ахнешь. Но ведь и другой этим же занимается. Вот и ахают последние пять тысяч лет. Абсурд. Кровавый ответ оглохших людей.

Мир нужно изучать. Нужна теория мира. Много надо пересматривать в себе, если мир возможен. Мир — это не отсутствие войны. Мир — самостоятельная стихия и проблема. И хотя война зарождается в дни мира, она не есть его порождение, она отдельная стихия, гнездящаяся в щелях мирной жизни и паразитирующая на ней.

А ведь есть один подсобный военный способ, который только по недоразумению считается подсобным, — разминирование. Не победил и не дал себя победить, а разминировал и противнику дал время опомниться от абсурда. По прихоти никто никого победить не может. Победить может только идея жизни. Чья идея порождена жизнью, та и берет верх. И тогда никакие пушки завоевателя не спасают. Тут он сталкивается с силой, которую никаким орудием не победить. Эта сила называется «жизнь», и она говорит — надоело! Пора разминировать и переходить к симбиозу, а не к паразитированию и вражде.

И тогда Сапожников вспомнил страшную ночь и вспомнил Глеба, вспомнил отца и мать, и жену, и Рамону, и Ваню Боброва, и Цыгана, и Танкиста, и вспомнил безымянного младенца и Агрария, который говорил, что все рано или поздно объяснится, и вспомнил бабушку, и собачку Мушку вспомнил.

Потому что Сапожников вспомнил Приска и Кайю и вспомнил о войне. И судьба давних Приска и Кайи стала ему важнее его собственной судьбы.

И тогда время, с которым человек борется в неразумии своем, даровало ему спасение. Раздался крик петуха, и вся нечисть растаяла.

И впервые за эти страшные дни и страшные ночи Сапожников, которому уже нечего было терять, услышал тихий взрыв и перестал бороться с непонятно откуда взявшейся радостью и впервые подумал.

Он подумал — а что, если радость отдельного человека может повлиять на общий ход событий? «Тогда — утопия», —

подумал Сапожников и продолжал радоваться. Потому что он все потерял и мог с чистой совестью начать радоваться не зачем-то, а почему-то, он радовался, потому что испытывал немотивированную радость.

Теперь главное было — кто с тобой рядом.

ГЛАВА 36 КРИК ПЕТУХА

Когда народ узнает, что он гений, начнется жизнь, которую стоит называть жизнью.

Домой, домой. Все кричит — домой!

Работники всемирной великой армии труда имеют право владеть землей. Все остальное — паразиты. Работников ничто не разделяет, ни континенты, ни расы, — еще великий казак Нагульнов мечтал, что наступит великое объединение, когда переженятся все и не будет ни черных, ни белых, а будут все приятно смуглявые. Объединение работников, великое объединение работников, которых ничто не разделяет, когда они прислушиваются к себе и возвращаются в свой природный дом всемирной армии труда.

Домой, домой...

Сказано — возлюби ближнего как самого себя. А разве мы себя любим? Хуже врагов у нас нет, чем мы сами.

Дом — это общеземной дом, а не только общечеловеческий. Человек не выживет, если будет воевать с природой, — он сам природа. Воюя с природой, он воюет с самим собой. Все начинается с нас, и, значит, надо замириться с собой. Утопия? А что значит утопия? Утопия — это то, чего нам на самом деле хочется, если мы работники. Каждый работник утопист, а не только Томас Мор или Томазо Кампанелла. Только грамотность в те поры была не у работника, и Мор и Кампанелла металы бисер перед грамотными свиньями, бежавшими от работы. Каждый работник утопист, а грамотность теперь общее достояние. Каждый работник утопист, потому что он работает, и, значит, выращивает свой сад, а не грабит плоды в чужом. Значит, каждый работник создает свою малую гармонию, свой симбиоз с миром, свою утопию, и свои конфликты, с собой и другими, он разрешает изобретательно. А труд — это ежесекундное изобретательство. И потому

труд только общий, никакого отдельного труда быть не может, потому что умение передается. И работнику не нужна война, потому что он производит утопию, а в утопии не воюют.

— Вы знаете, а я доволен, что Сапожников провалился со своими фантазиями, — задумчиво сказал Барбарисов. — Мне его действительно жаль, и человечески и так. Вы, наверное, думаете, что я злорадствую.

— Не думаю.

— Если думаете — ошибаетесь. Хотя я и был против его линии жизни, все-таки в глубине души я нет-нет думал — а вдруг? Вдруг все еще можно, как в старину, самостоятельно, никому ни слова, и вдруг додуматься до главных, корневых вещей, а? Я, конечно, как и все, прекрасно понимаю, что время одиночек прошло. Нужна база, инструменты, круг специалистов и прочее. И все же мелькало — а вдруг случайно?... Но чудес не бывает. Где он сейчас?

— Не могу вам сказать.

— Ему сейчас сколько? Да ему сейчас пятьдесят. Он проиграл свою жизнь... Послушайте, — спохватился Барбарисов, — он жив хотя бы?

— Жив.

— Ну слава богу. Нельзя всю жизнь болтаться на отшибе... Да и вообще культура идет в сторону увеличения комплексов — научных, художественных и прочих, всяких... Это большой мир, в нем строят гидростанции, спутники, а в малом мире, как писали Ильф и Петров, придумывают только брюки нового фасона, да и то на это теперь есть целые институты. А где-то бродят искатели летающих тарелочек и психопаты-ферматики.

— Кто это? — спросил Аркадий Максимович.

— Малограмотные люди, которые хотят без подготовки разом решить теорему Ферма. Там же бродят искатели Атлантиды и изобретатели вечного двигателя. Ну разве я не прав?

— Более или менее...

— Прав, прав, — засмеялся Барбарисов. — Ну пошли чай пить.

И в это время раздался телефонный звонок.

— Папа, тебя, — сказала дочка.

И протянула отцу трубку.

— Барбарисов, это ты? — раздался на всю комнату жизнерадостный голос Сапожникова. — Это я, Сапожников, узнал?

— Боже мой, — сказал Барбарисов. — Узнал, узнал, мы только что о тебе говорили.

— Я почувствовал. Барбарисов, не сердись, но у тебя должен находиться некий Аркадий Максимович, тайный атлантолог.

— Кто? — спросил Барбарисов, потом вдруг смекнул, о ком речь, и ошалело уставился на Аркадия Максимовича. — Слушай, а ты не с того света?

— Нет. Я из пионерлагеря... Давай зови его. Или нет, не зови. Передай ему, что я у Дунаевых. Он знает. Слушай, кстати, я, кажется, действительно решил теорему Ферма! Не смейся, идиотски простым способом. Слушай, скажи всем заинтересованным, что если я действительно ее решил, то ее надо немедленно у меня украсть. Говорят, за решение дают Нобелевскую премию. Глупо, если она достанется дикому Сапожникову, а не кому-то организованному, в крайнем случае тебе...

Старый ужас накатывал снова.

Барбарисов бережно положил трубку.

Когда ты счастлив, то счастливо что-то одно в тебе. А когда блаженство, то весь ты наполнен томлением и ты можешь не знать причины. Счастья ты либо сам добился, либо тебе его подарили. Но причина его лежит вне тебя. А блаженство внутри тебя. Праздник, который всегда с тобой, но его надо открыть. И тогда ты плывешь как рыба и ощущаешь его весь и ни за чем не гонишься. И ощущаешь трепет слияния с миром и медленное высвобождение души от наносов ненужного для твоей природы.

Когда ты счастлив — ты связан цепью с тем, что доставило тебе счастье, и страдаешь, когда она рвется. А блаженство — это когда ты связан с миром бесчисленными нитями, и, пока жива хотя бы одна, можешь испытать блаженство. Весь. А не только та часть тебя, которая этой ниточкой связывает тебя с миром. Из механизмов, известных ныне, это больше всего похоже на голографию, где в каждой точке картины изображена вся картина.

Счастье проходит, потому что человек состоит не из одного желания, а из бесчисленных. А блаженство — это высвобождение всей твоей природы от выдуманных потреб-

ностей и фанатизма линейной погони. И даже счастье творчества может быть мучительным путем к вспышке, к результату, а творчество в блаженстве — это радостное в процессе и бескорыстное в результатах. Поэтому даже счастливое творчество помнит о муках дороги и часто оборачивается сальериевской злобой при встрече с моцартовским блаженством.

Всякое творчество — это открытие связей, и потому истина не добывается поправками, и потому истину нельзя добыть ползя, в конце дороги надо взлететь.

Но при погоне за счастьем свободен только последний прыжок. Поэтому так часто счастье эгоистично. А блаженство бескорыстно. Значит, надо радоваться, уже начиная разбег.

Над счастьем трясутся. Блаженство — раздаривают. Счастье конечно, а блаженство равно жизни. Наша вина, когда это не так. К счастью приходят в результате действий, а блаженство — их причина. Поэтому дорога к счастью — это работа неподготовленной души, а для блаженства надо начинать с себя.

Нелинейная логика. Свободный полет. Когда же его прекратить, чтобы не потерять тех, кому он нужен, и как это применить в замкнутом пространстве конкретной нужды? Оказывается, можно испытать блаженство и в ограничении. Рафаэль заранее знал, что пишет мадонну для Сикстинской капеллы, и даже знал ее размеры. Все дело в том, что в каждой капле бытия заключено все бытие, только в неочевидном, неразвернутом виде. Талант на то и дан, чтобы это разглядеть.

Человек отличается от животного тем, что признает существование чуда. То есть явления, которое может быть объяснено только задним числом.

И вот Сапожников ходит, как будто ему пряник дали.

Важно, что он ходит в блаженстве, а не то, что ему дали пряник. Он теперь стал как композитор, который в прежнем шуме начал слышать другую мелодию.

Он раньше часто видел сон, как он отставал от поезда. Страшно. А этой ночью он увидел сон, как он от поезда отстал, но это ему понравилось. Оказалось, догонять вовсе не нужно и ждать не нужно. Он отстал от поезда и увидел — сидят на станции люди и пьют чай.

Люди эти ему понравились и местность понравилась.

Какие-то храмы не разбитые вокруг, а только чуть требующие починки, и музеи с картинами, которые хочется разглядывать долго, и кунсткамеры, где все изобретения стоят в кажущемся беспорядке и порождают новые идеи. И женщины там не такие, которые все позволяют и ничего не хотят, и не такие, которые все хотят и ничего не позволяют, а такие, которые улыбаются и поступают каждый раз так, как на самом деле правильно. Он вдруг увидел, что на производстве должны быть автоматы, а в жизни не должно быть автоматов. И Сапожников совсем разавтоматизировался.

Он ни от кого не слышал, чтобы прежние страшные сны прокручивали во второй раз с обратным знаком, а теперь увидел, что так бывает, и совсем разавтоматизировался.

А как разавтоматизировался, так увидел обыкновенных людей, которые не боятся ничего, потому что они люди, и разберутся во всем, и переложат печку по-своему, чтобы она пела свои песни ласки и очага, и проложат свою мелодию среди ужаса и шума безумных или тривиальных решений.

Когда Аркадий Максимович вернулся от Барбарисова и спросил Сапожникова, правда ли, что тот решил теорему Ферма особенным способом, тот ответил ему:

— Ага. Я решил больше. Я решил ее проблему.

Читатель! Ну, дорогой ты мой читатель! Я пылаю к тебе нежностью, и все написанное — это одно огромное письмо к тебе. И я знаю, что ты любишь про любовь и про войну и не любишь про науку. Потому что мы оба не любим такую науку, которая считает нас плохо дрессированными недорослями. Но напрягись! Напрягись, в смысле расслабься. Потому что все будет показано, можно сказать, «на пальцах».

Когда Аркадий Максимович пришел к Сапожникову, он обратил внимание, что Сапожников вышагивает по квартире, довольный собой, напевая траурный шопеновский марш со школьными словами: «Тетя хо-хо-тала, тетя хо-хо-тала, когда дядя умер, не оставив ничего. Дядя не смеялся, дядя не смеялся, когда тетя сына родила не от него...»

— Что с вами? — спросил Аркадий Максимович.

Сапожников протянул ему листок. Там было написано:

«Хулиганское доказательство теоремы
Ферма

Теорема Ферма гласит, что:

$$a^n + b^n \neq c^n \text{ при } n > 2$$

Доказательство:

Теорема Пифагора гласит, что:

$$a^2 + b^2 = c^2 \text{ при}$$

1) $n = 2$

2) a, b, c — Пифагоровы основания.

Значит, при нарушении хотя бы одного из этих условий равенство нарушается, то есть мы можем утверждать, что: $a^n + b^n \neq c^n$ при $n > 2$

Что и требовалось доказать».

Тетьа хохотала... дядя не смея-ался... когда Сапожников под звуки шопеновского марша хоронил великую теорему Ферма, триста лет воздвигаемую математикой. И если даже в его рассуждениях и скрывалась ошибка, значит, он хоронил эту теорему вместе с ошибкой. Потому что хотя теорема и породила целые направления в математике, однако сама по себе эта теорема была никому не нужна, как и сам Сапожников.

— А если все же ты не прав и вкралась ошибка? — спросил Аркадий Максимович.

— То это может означать, что нельзя доказать, прав Ферма или же что он не прав.

— Непознаваемость, что ли?

— Почему? Нужно изменить саму проблему. Может быть, надо ввести в арифметику понятие времени? Тогда одна обезьяна плюс одна обезьяна не будут равняться двум обезьянам, потому что одна из них могла стать человеком. То есть, как говорил товарищ Маршак, «однако за время пути — собачка могла подрасти». А это уже совсем другая арифметика...

— Да... — сказал Аркадий Максимович, — это совершенно другая арифметика... Вот взять хотя бы Вику и тебя...

— Не надо этого делать, — сказал Сапожников. — Не надо брать Вику и меня, ладно?..

— Вихри... — сказал Сапожников Аркадию Максимовичу, когда тот вернулся от Барбарисова, где он узнал подробности окончательной и бесповоротной Глебовой болезни. —

Все дело в вихрях времени, задающих общую программу... Какой же тут может быть фатализм? Разве то, что из зерна вырастает дерево, это фатализм? А ведь вырастает. И выходит, что морковка имеет программу стать морковкой. А вот какая она будет — зависит от грядки, на которой она посеяна. Жизнь ищет оптимальные условия для выполнения программы. Отсюда и отбор средой того, что соответствует программе всей жизни в целом... Но если жизнь возникает из времени, то, может, она и возникает из двух сторон его витка...

— Вихри... — сказал Аркадий Максимович, когда вернулся от Барбарисова, куда ходил узнавать подробности Глебовой кончины. — Российская привычка пытаться дойти до сути, решать нерешенные вопросы... Великий обломовский диван... А потом к нам с тобой приходит Штольц, и уводит нашу Ольгу, и заводит торговую фирму. И счастлив, и им есть что вспомнить в конце жизни...

— Верно. И Ольга на старости лет смотрит на Штольца счастливыми глазами и думает: «А нам есть что вспомнить, а мы торговую фирмочку завели — будь она проклята!..» Потому что на Западе дорогу Штольца уже сильно попробовали и уже доработались до коллектора — до сих пор отмыться не могут. Хотя сильно военные мужчины думают — ничего, привыкнем...

— Но как же быть, Сапожников? Ведь нельзя жить миражами. Я понимаю, эта наша привычка — великая привычка, но ведь нельзя жить миражами?..

Что есть дилетант?

Обычно подчеркивают его безответственность. Дела толком не знает, а уже лезет с рекомендациями. Увы, это правда. Но у дилетанта есть и другая сторона — безбоязненность в соображениях. Хорошо это или плохо? А никак. Все зависит от дальнейшего. Дилетант не запутан в подробностях и легче отрывается в свободную выдумку. А дальше либо он увязывает догадку с тем, что известно, и перестает быть дилетантом, либо не может увязать. И тогда остается тем же, кем и был, — дилетантом.

Но выдумка — это не просто вывод. Выдумка — это качественный скачок. И его связь со всем предыдущим становится очевидной только задним числом.

Думали, что солнце всходит и заходит. А когда Коперник догадался, что это не так, он был дилетантом.

А когда все увязал и подтвердил — стал профессионалом. Когда химик Пастер догадался, что микробы причиняют болезни, он был дилетантом в биологии, а когда доказал это — стал профессионалом в новой науке.

Поэтому не страшно, когда дилетант выдумывает, страшно, когда он настаивает, чтобы реальная жизнь разом перестроилась под эту выдумку.

Сапожников не настаивал. Он выдумывал и предлагал желающим взять на заметку, на тот случай, если все другие выдумки не подойдут.

Это была его позиция. Потому что он, в общем-то, мало занимался конкретными выдумками, он всю жизнь хотел догадаться, что такое способность выдумывать, и, если возможно, придумать, как облегчить метод. И вот когда ему пришло в голову, что у всего живого есть две программы, земная и космическая, то он сообразил, что творческий скачок, скорее всего, происходит, когда человек слышит и осваивает сигнал времени. И тогда понятно, почему говорил мудрец, что творчество происходит по законам красоты. И тогда красота — это эхо общей программы развития жизни, и потому, как говорил поэт, красота спасет мир.

Во время своих скитаний по городу Сапожников забрел в единственное место в Москве, где он не был ни разу, потому что ни разу не выигрывал ни в одну лотерею, ни в одну рулетку, ни в одну игру, в которой удача приходит по статистической вероятности. Потому что Сапожников был детерминист самого грубого пошиба и считал, что даже у карточной случайности есть особые на то причины. Но, согласно народной примете, неудача в игре ведет к удаче в любви. Хорошо бы, черт возьми! Но и здесь что-то не видно было просвета. Короче говоря, Сапожников забрел на ипподром.

Вообще-то он не на ипподром шел. Отнюдь. «Отдюнь», как говорил старшина Ваня Бобров. Он же говорил «пидрламудрловые пуговицы». Перламутровые пуговицы были для него символом всего граждански расхлябанного и неприспособленного к бою. «Это тебе не пидр-ла-мудр-ловые пуговицы», — говорил он с презрением, когда надвигалась грозная ситуация, и это означало — соображай!

Сапожников брел по пасмурным улицам великого города, улицам прекрасным и пронзительно осенним, которые

жили не только по малой земной программе, для себя, абы выжить и кое-как век скоротать, но еще жили по невидимой космической программе всей жизни на Земле, а может, и не только на Земле, если окажется, что мы не одиноки во Вселенной.

В этот раз Сапожников шел без всякой цели, но по очевидной причине. Сапожников шел от музыки до музыки.

Воскресное утро, и мало машин, а те, что пролетали, шипя асфальтом, — уносили песенки работающих приемников, но след оставался. Потом наступала городская кажущаяся тишина, и тогда — запах сырого воздуха, стремительный, как обещание. Опять накатывала и пролетала музыка. Приемники работали вовсю, и казалось, что воскресенье земной программы совпадало сегодня с космической и становилось воскрешеньем. И Сапожников шел по песням.

Воротник он распахнул. Кожаную кепку сунул в карман плаща, руки болтались, как им самим хотелось. Он уже сто лет так не ходил. Шел. Дышал. Трепетал ноздрей.

И ноги сами принесли его к ипподрому, потому что оттуда тоже доносилась музыка. И он прошел к пустому полю и встал в воротах, прислонившись к балясине, и никто не остановил его и не спросил, кто он и зачем. Может быть, приняли его за слугителя, а может быть, проглядели, ввиду его полной осенней неприметности.

На том конце поля Сапожников увидел, как наездница поставила в стремя сапожок, махнула другой ногой над лошадиным крупом, опустилась в седло и выпрямилась. Ахалтекинец изогнул лебединую шею и тихонько пошел. Сапожников медленно отступил назад и узнал Вику.

Такого он еще никогда не видывал. Хотя... Тогда ему было четыре года, его привезли из Калязина в Москву, и он в цирке увидел наездницу, и первый раз испытал любовь и ее скоротечность, и плакал из-за беззащитности ее перед бичом назначенного ей дрессировщика, черного и блестящего, как парабеллум.

А здесь дрессировщика не было, и наездница была одна на всем вольном поле, и Сапожников обалдело смотрел, как по пустому ипподрому пластается в галопе лошадь, похожая на рыбу, и на ней, обвеваемая ветром, тведро укрепились любимая им женщина со слепым взглядом самоубийцы.

Вика, переборов себя, решила пойти к Нюре.

— Пришла, — сказала Нюра. — Ведь давно хотела.

— Да...

— А чего ж долго-то собиралась?

— Кто вы?.. — спросила Вика.

На первой вечеринке у Дунаевых, где Сапожников с Глебом спорили насчет фердипюкса, она заметила, что мужчины все время как-то оглядывались по сторонам. Испуганно, что ли, — понять было невозможно. А потом Вика заметила, что они оглядываются каждый раз, когда в комнату входила или выходила серая женщина. Ее звали Нюра.

Она какая-то вся серая была. Может быть, так казалось потому, что на ней было серое платье. Да и лет ей было уже много.

Потом Вика заметила, что у нее потрясающая фигура. Не хорошая, а потрясающая. Почему? Сказать было невозможно.

Не молодая, не старая, не толстая, не худая, а какая-то текучая, тающая. Ее разглядеть было невозможно. От нее оставалось только впечатление.

Вика таких не видала никогда. Когда она входила в комнату, у мужчин становились низкие голоса, а когда она выходила — голоса становились обычные и даже слегка визгливые.

Вика думала, что пришла к Нюре узнать что-нибудь о Сапожникове. А оказалось, что она пришла к Нюре.

...Лицо у меня круглое, вы видите, глаза круглые, нос вздернутый, верхняя губа тоже. Фигура, сами видите, хорошая — я занималась художественной гимнастикой. Сама я из Омска, а Сапожников меня принял за подстреленную чайку. У нас в Омске таких не водится. Просто лопнула тогда никому не нужная история с одним кандидатом искусствоведения, и я была в печали. А Сапожников, который вообще-то живет во сне, вдруг увидел в своем сне, что я похожа на его бывшую жену, и он в меня влюбился. Не в меня, конечно, но ему казалось, что в меня. А когда я прилетела к нему в Москву, он разглядел. И оказалось, что я непохожа. Нелепо, не правда ли?

Мне бы выкинуть этого Сапожникова из головы. Не правда ли?

Я так и сделала. Во всяком случае, мне казалось, что я это сделала.

Вдоль дорог костенели деревья, ставшие похожими на эвкалипты, с сухими листьями в трубочку. Гарь не чувствовалась только у самой земли.

Мама моя, мамочка! Что мне делать со своей жизнью, со своим характером? Но как раз мама-моя-мамочка научить меня ничему и не может. Бабка моя была военным врачом и погибла в Прибалтике, под Шауляем. Родителей я знаю чересчур хорошо, вот бабка для меня — миф. А миф — это величие. Величие — вот по чему тоскует душа. А где его возьмешь, это величие, когда живешь со дня на день? И потом, мы бабы, а какое у бабы величие? Господи, какая я была дура. Я даже пошла в медицинский, хотела повторить бабкину жизнь. Я только не сообразила — чтобы повторить ее жизнь, надо повторить и войну. А это уж — чур меня, чур... А когда сообразила — пошла на журналистику. Хочу быть редактором и делать так, чтобы книжки были хорошие. Они без нас не обойдутся, авторы...

Вика пришла к Нюре вечером и спросила ее:

— Кто вы?

Она ответила:

— Нюра. По мужу — Дунаева.

— Я не о том... Я не могу вас понять... Глаза — зеркало души, а у вас глаза ничего не выражают.

Вика так сказала, потому что разозлилась. Очень. Неизвестно почему. Так же как на Сапожникова. Вике казалось, что они ее зачеркивают.

Нюра сказала:

— Это у бабы-то... глаза зеркало души?.. У бабы пол — зеркало души.

Вика подумала, что она говорит про секс, но все же спросила:

— Как так?

Нюра ответила:

— Вот вымой полы — узнаешь.

...Смешно, но я мыла полы первый раз в жизни в квартире Сапожникова. У Нюры был ключ от его квартиры. Как-то так получилось.

Мы же сейчас все скороспелки. Мы начинаем рассуждать и думать прежде, чем научились что-нибудь чувствовать.

Мы начинаем читать книжки про любовь прежде, чем

сердце шевельнулось. А как мы читаем книжки про любовь? Не читаем мы их. Мы их проходим. Проходим мимо. Все мимо, все не по сезону.

Наверно, я и раньше мыла полы, наверно. Потому что я и замужем была. Но я ничего не могла вспомнить об этом. Я знала, что я мою полы первый раз в жизни.

Где-то у Грина сказано, что если человеку дорог дражайший пятак — дай ему этот пятак. Новая душа будет у него, новая у тебя.

Как она это сделала со мной — не знаю. И самое главное — мне стало неинтересно это знать.

Я только знала, что я уже другая...

— Ванную я тебе напустила, — сказала Нюра. — Иди умойся.

И Вика опять подчинилась. Она как по волне плыла.

Вика не понимала, почему она ей подчиняется, она только понимала, что надо сделать так, как Нюра велит.

...Тогда на вечеринке, когда она входила в комнату и выходила из комнаты, она что-нибудь говорила. Не умное и не глупое, а какое-то другое. И каждый раз разговор в комнате менял направление...

В ванной Вика разделась, и вошла Нюра. Вика была голая и вся закаменела. Нюра медленно ее оглядела, потом спросила:

— Ты физкультурница?

— Я занималась художественной гимнастикой...

— А зачем?

— Теперь не знаю...

— Приз хотела получить, кубок, — решила Нюра. — Вот почему фигура неправильная.

А Вика думала, что фигура у нее правильная.

— Напоказ у тебя фигура, — сказала Нюра. — Для чужих.

— Кто вы? — спросила Вика. — Нюра... кто вы?

— Я была блудница, — сказала Нюра. — Давно. А потом я верная мужу жена. А когда старая буду — ворожея буду. Людей лечить буду. Все по сезону надо. А нынче все перепуталось — летом апельсины покупают.

И вышла.

В ванной Вика лежала долго. Потом приняла душ, вытерлась насухо и тоже вышла. Нюры в квартире не было.

Вика оделась, и как раз в тот момент, когда она решила испугаться, открылась дверь и вернулась Нюра.

— К себе ходила, — сказала она. — За лентой. На, возьми. И протянула Вике голубую ленту.

— Тебе дарю. От души.

— А зачем мне лента? — спросила Вика.

— Когда к Сапожникову придешь, надень на голову ленту, волосы повяжи. Так встретишь его, и он тебя узнает. Вика опять сказала:

— Не понимаю... Зачем?

— Замуж буду тебя выдавать. За Сапожникова. Сроки исполнились...

Все. На этом монолог закончен. Потому что началась судьба...

А потом отворилась дверь, и Сапожников, умирая от нежности, оглянулся и увидел голубой цвет, голубой цвет спокойного океана, в котором отражено небо, цвет Посейдонии, и в слепящем озарении понял, что, может быть, еще не умирает, потому что...

Смерть ведь выглядит по-всякому, а любовь у всех — одна — звезда с звездой говорит.

Что будет, то и будет.

Она сидела рядышком и смотрела, как сказал один искусствовед, «не на ковой-то, а куда-то вдаль», и Сапожников увидел голубую ленту, обещанную Нью-рой, и понял, что сроки исполнились. Как будет, так и будет.

Время покажет.

Это, в сущности, маленькая история, но сквозь нее просвечивает время.

А потом Сапожников и Вика оказались на птичьем рынке.

Там не только птиц продавали, там хомяков продавали, и щенков, и рыб, но все равно — птичий рынок. В клетках летали райские птицы разных расцветок, дети виляли хвостами возле щенков, и вдруг раздался голос, в который даже не поверил никто. Потом все обернулись и потянулись на голос.

— Ой, кто это кричит? — спросил папу маленький мальчик.

— Петух, не слышишь? — ответил папа.

— Какой петух? — спросил мальчик. — Как на мультипликации?

И полрынка, бросив райских птиц и всякую другую аквариумную живность, потянулись на крик петуха.

В центре образовавшейся толпы орал петух. Он замолкал, потом напрягался, изгибал шею и — кукарекал! Во всю мочь!

И все смотрели на живого петуха — самую большую редкость в Москве.

Свадьбу сыграли тихо. Сапожников, Вика, Дунаев, Нюра, Аркадий Максимович. Телеграммы сначала складывали на табурет в коридоре, а потом завалили письменный стол.

Дунаев приладил на балконе сетку от перил до потолка и поставил дом с сеном и кормушку.

Огромный петух вышагивал по квартире, кивая головой, и глядел на людей презрительно.

— Я буду его прогуливать на цепи, — сказал Сапожников. — Чтобы он не нападал на людей... Вика, ты меня любишь?

Вика кивнула.

— А теперь спроси меня?..

Вика спросила.

Потом пили, ели, смеялись и грустили, а Вика все спрашивала:

— Почему так долго исполняются сроки?

— Потому что мы торопимся, — отвечал Дунаев.

Подарок клевал крупу. Аркадий Максимович ревновал, когда Атлантида лезла к Нюре на колени. Все было как надо.

Потом пробила полночь.

Выходило так, что Атлантида была.

И он увидел движение бесчисленных племен и клочкотание народов. И увидел пыль, поднимавшуюся до красного неба. И раздавался неслышимый рев. Это Время ревел в беззвучные трубы...

И так ли уж никаких следов в цивилизации и языке не оставила Атлантида?

И Сапожников вспомнил бесчисленные «ант», звучащие и повторяющиеся в разных языках... Антей, Антон и само

слово «античность» и так и далее, и имя Атл-Ант, он поддерживал небо где-то возле Гибралтарского пролива. А на самом деле был астроном и глядел на небесный свод. И бесчисленные «атл» он вспомнил в древних индейских языках, всякие Кетцалько-атл и другое, и вспомнил, что в древних индейских языках было слово «атл» и слово «ант», и одно из них означало «море», а другое «человек», человек моря — вот что означало «атлант», люди моря, и вспомнил морские народы, о которых историки спорят — кто они такие. Известно только, что они шли с запада, и позади них стояла катастрофа, и они волнами накатывались на уже сложившийся древний мир. И вспомнил слово «Анты», народ Анты, предки славян. И вспомнил, что славяне называли себя внуками Велеса, бога Велеса... Велса... Вспомнил сагу о Волсунгах, то есть о детях Волса или того же Велса, того же Уэльса, как теперь называют эту местность в Англии, острове Атлантического океана, и, значит, был Велс — общий отец. Понял, что если после потопа, когда лед стаял, земля Европы начала подниматься, то что-то рядом должно было опускаться, и это опустилась, долго опускалась земля Атлантиды, пока катастрофой не опустилась разом. Так же как в свое время она подымалась, когда Европа опустилась под тяжестью льда. Понял, что если огромная страна Антов, о которых мало кто что знает, была всего лишь в начале нашей эры, то это ничего не доказывает о славянах, потому что, по преданию, город Старая Русса был основан Словеном, потомком Иафета, за две тысячи лет до нашей эры, и все слова — Волосово, Волхов, Волхова, волхвы, волкулаки, великаны, Вольга, множество слов и географических названий Севера происходят от слова Велес, тянущегося из Атлантики. Понял, что до Атлантиды должна была существовать по крайней мере еще одна цивилизация, от которой ничего не осталось, потому что не осталось орудий труда. Потому что Атлантиду построил человек разумный, у нее были корабли, дворцы, храмы, крепостные стены, которые без орудий и без технологии не построишь. Значит, она была построена человеком уже разумным, который теперь забыл о своем происхождении и думает, что мозг кроманьонца, человека разумного, мог сразу возникнуть у безмозглых праотцов. И выходило, что разум, современный, мог зародиться только до Атлантиды, а зародиться он мог, только если человек имел орудия труда, а этих орудий труда не осталось. И Сапожников подумал —

а так ли уж обязательно, чтобы орудия труда были искусственными? Еще на памяти людской рабов называли «говорящими орудиями», но рабы были, когда было богатство. Какие же живые орудия могли быть еще до богатства? И оставался один ответ—это были животные, но не пленные, а свободные и прирученные. Это могли быть животные, с которыми человек имел общий «язык», общее средство связи. Ведь даже теперь и собака, и конь, и верблюд, и бык, и слон, и ламы—это живые орудия производства, которых не отменили ни в свое время рабы, ни, даже теперь, машины. Значит, была она, была та исчезнувшая дотехнологическая цивилизация, не оставившая привычных орудий труда, которые были не нужны ей, потому что был общий «язык» у каких-то зверей и людей и у людей между собой—единый язык. И вспомнил, в скольких мифах рассказывают о героях, понимавших язык птиц и зверей. И значит, до языка членораздельного, который потребовался для технологии, потому что зверям, добывавшим пищу для себя и людей, технологии не требовалось, потому что технология вся состоит из терминов, должен был существовать язык нечленораздельный, однако понятный для тех, кому это было нужно. И вспомнил язык свиста погибших гуанчей—сильбо гомера его называют, и теперь языки свиста находят в горах Турции и Тибета. И тогда Сапожников вспомнил дельфинов, которые обмениваются звуками, похожими на свист, и все еще пытаются обменяться ими с человеком, и все еще дружат с человеком, все еще ищут общения с ним и могут загонять рыбу в его сети. И вспомнил миф о Посейдоне, который мчитя по морю на колеснице, влекомой дельфинами. И вспомнил, что человек вначале селился у воды, и вспомнил огромные валы кухонных отбросов на всем протяжении с севера на юг американского континента, расположенные вдоль океана, а также в Дании на берегу. Рыболовы—вот кто были первые, а не охотники или сеятели. И вспомнил слово «аква»—вода, которое произносится «акуа», «куа», или «гуа», «гва», и они встречаются у гуанчей и на всем протяжении американского континента у индейцев—бесчисленные «Гуа» и все они связаны с реками и водой. И на другой стороне Атлантики «Гва»—Гвадалквивир, Гваделупа, а есть и такое сочетание—«Антигуа»—остров в Вест-Индии и так и далее. И был единый язык, который разрушила гордая и проклятая Атлантида, остатками языка которой и являлись

эти Атл, Ант и Гуа, решившая построить в гордости своей и богатстве Вавилонскую башню, от которой произошло разделение языков, то есть специализация языков, которая могла возникнуть только из специализации профессий, как это происходит и сейчас, когда физики в соседних кабинетах не понимают друг друга, потому что у них разные термины для их специальных задач. И вспомнил сходство ступенчатых пирамид-храмов в Вавилоне, и на Кавказе, и в Египте, и у индейцев в Америке. И вспомнил, что Апокалипсис, когда бичует Рим, называет его вавилонской блудницей, но в нем рассказывается почему-то о городе Вавилоне, стоящем у моря, и корабельщики с моря в ужасе видят его гибель в огне и грохоте, а исторический Вавилон стоял на суше, и никаких корабельщиков вокруг него быть не могло, так же как и вокруг Рима, который стоит на Тибре далеко от моря. И корабельщики эти приезжали в легендарный Вавилон за драгоценными камнями, а реальный Рим и Вавилон эти камни сами ввозили для себя. И получалось, что был главный прототип для всех этих сухопутных храмов, и он стоял в море и назывался Атлантида, а построили его потомки Посейдона, дети Посейдона, ставшие ее царями, то есть потомки морского бога. И вспомнил, что петроглифы, язык наскальных рисунков, одинаковы повсюду. А значит, его читали всюду... Все еще был единый язык, но уже рисованный. И вспомнил, что еще до сих пор на Алтае и Памире некоторые умеют его читать, и он был предшественником иероглифов, которые были предшественниками звуковой азбуки. А иероглифы были первой письменностью, все еще понятной многим людям с разными языками. И вспомнил, что до сих пор еще в Китае на Севере и на Юге не понимающие в разговоре друг друга понимают друг друга через иероглифы. Но все это уже исторические народы. Послепотопные. А до них была Атлантида. А до Атлантиды была Посейдония. И только так хватает времени, чтобы образовался человеческий мозг, сегодняшний человеческий мозг, который до сих пор не знает своих возможностей, о некоторых забыл, а о некоторых вспоминать не хочет.

— ...Какое странное предположение, — сказал Аркадий Максимович. И Сапожников посмотрел на Аркадия Максимовича и сказал горделиво, как шаман:

— Слушайте... а меня вязать не пора?.

— Нет... — сказал Аркадий Максимович. — Ты мне еще нужен... Мы еще с тобой побродяжим в долинах духа среди теней поколений.

— Слушай... — сказал Сапожников, — а тебя вязать не пора?

— Нет. Во Франции в средние века был доктор по имени Галли Матье... Он лечил больных хохотом. Как только нам с тобой докажут, что все, что мы напридумывали, — галиматья, у нас останется этот способ лечения.

— Скажи... А жить тебе хочется после того, как я немелкими словами построил свое огромное виденье и свое малое знание?

— Заткнись, Сапожников, — сказал Аркадий Максимович. — Ты же хотел как лучше...

Полежали, помолчали. По радио, тогда еще живой, пел Армстронг мелодию из «Шербурских зонтиков». Этот симбиоз был настолько прекрасен, что звезды слезами падали с неба и расцветали светляками на темных кустах. Старый негр. Бессмертный старый бык, который украл Европу.

— А знаешь, Сапожников... не так все страшно и не так мы с тобой ничтожны, — сказал Аркадий Максимович. — Если окажется, что человеку необходим симбиоз с дельфинами и собаками... все остальное приложится... Нам тогда никакие пылесосы не страшны, даже умеющие книжки писать. Не дрейфь, Сапожников...

Раздался крик петуха. Значит, скоро рассвет.

— Будит он нас, будит тысячи лет, — сказал Сапожников. — А мы всё не просыпаемся... Ладно, начнем с малого. Попробуем понять, о чем это он?

— Ясно о чем. Вставайте, дубье. Думать пора!

— А что, рискнем?

Они высунулись из окна и заорали по-петушиному. Во всем доме залаяли собаки.

Они влезли обратно.

— Срам... даже собаки нас не поняли... Малограмотные мы, да и акцент не тот, — сказал Сапожников. — Отвыкли за тыщи лет. Одурели совсем. Ладно, надо выспаться. Тут с кондачка нельзя... Так они нам и поверили. Мы для них всю дорогу убийцы. Своих и то не жалели... А утром начнем благословясь и потихонечку... Со скоростью травы и в ритме сердца.

Мы народ. Мы живем медленно и вечно. Как самшитовый лес. Корни наши переплелись, и кроны чуть колышутся. Мы всё выдержали и от всего освободимся.

Шеи у нас бычьи. Терпение как у ящерицы в засаде.

И герой наш не воитель на белом коне с саблей. Но и не визгун с мокрыми штанами. Не полубог, живущий во дворце, но и не отшельник, жрущий кузнечиков.

А герой наш похож на старого Кутузова, который ничего плохого не пропустит, но и ничего хорошего не упустит.

Мы народ. Мы живем вечно и медленно, как самшитовый лес. Корни наши переплелись, стволы почти неподвижны, и кроны тихо шумят. Но весь кислород жизни — только от нас и будущее небо стоит на наших плечах.

Мы народ. Опорный столб неба.

«...Так всего добился Митридат Евпатор, царь Понтийский, и все потерял. А зачем все это?

Зачем этот огонь в человеческой груди, зачем страсти, которые толкают людей друг к другу с такой неистовой любовью, что двое не могут остановиться и проскакивают мимо, расставаясь врагами, боги, зачем это? Но боги не дают нам разъяснений, или мы их не замечаем. И остается только опыт страданий, который уже бесполезен для тебя и ничему не учит других. Потому что они — другие, и им кажется, что они минуют те скалы, на которых разбились наши корабли.

Поколения идут за поколениями, и никто не догадывается, что зло коренится в самом нетерпеливом сердце человеческом, которое боится краткости жизни и хочет всего сейчас, сейчас и не выращивает плод в своем саду, а спешит сорвать его в чужом.

Оракул обещает счастливые времена, но они придут не скоро и плоды созреют не для нас. Потому я, Приск, сын Приска, кончаю эту повесть о событиях важных и печальных и запечатываю ее печатью Кибелы, чтобы те, кто придет после нас, узнали, как было до них, и догадались, что на дороге силы пути нет и что у тех, кто был до них, было все — и ум, и талант, и мощь, но все кончилось прахом, потому что дорога была выбрана ошибочно, и что не силу надо искать человеку, а дорогу... Потому что безногий, ковыляющий по верной дороге, обгоняет рысака, скачущего не туда...»

Бульдозеристы молчали и глядели на дорогу, которую им предстояло прокладывать.

...Я очень хотел написать эту книгу, и я написал ее. Я написал ее для тех, кто любит, когда о сложных проблемах рассказывают без занудства. Я написал ее для тех, кто любит сложные проблемы. Я написал ее для тех, кто любит.

И потому у этой книги главный автор — Время. И потому я больше всего благодарен Времени за то, что я пережил, пока я ее написал, и за то, что я ее написал.

Если кого-нибудь задела какая-нибудь строка, или слово, или мнение, или персонаж — не обижайтесь, нам и дальше жить вместе, и пусть лучше это скажет свой, а не чужой.

Если кого-нибудь обрадовало то, что он прочел, — значит, мы радовались вместе.

Вместе — это не значит быть одинаковыми, это значит стремиться к общему для нас. Потому что мы часть одного тела, и никто из нас не сам по себе. Сам по себе — это и не человек вовсе, а какая-то отдельная рука или нога или вдруг по пустой дороге поскачет голова, высунув пыльный язык.

И еще — во всем, что вы прочли, не ищите логику протокола, а только логику песни. Плоха она или хороша, но я старался петь ее своим голосом.

А теперь напишем эпиграф:

«Безногий, движущийся по верной дороге, обгоняет рысака, скачущего не туда» (кто-то из Бэконов, не то Роджер, не то Френсис).

СЛУХИ

- А говорят, Сапожников петуха купил?
- Этого еще ему не доставало!

ДОРОГА ЧЕРЕЗ ХАОС

РОМАН

...В феврале, 13 апреля 1977 года я перестал летать.

...Сказочки придумывают от обиды на жизнь. Я реалист.

Медсестра мне рассказала:

...Посреди площади нашего городка возник огненный столб, и голос, грому подобный, произнес: «Идемте все в консерваторию. Кто заколеблется — идти или нет, выбор один — идите вперед».

...Дальше тема о человеке, который понял, что не нужна его работа.

Якушев мне сказал:

— Нужен — это тонкая вещь... Если ты ей нужен для каких-то его планов — это отталкивает. Ты должен быть нужен ей самой.

То есть речь идет об идеалах. По ее идеалу хорошей жизни искусство почти не нужно. И она его не планирует.

А другие без него задыхаются.

...Люди перенесут все, если знают, что нужны они лично, а не их тело, скелет и мясо и как они выглядят или их положение, деньги и даже плоды, а нужна их душа, стремящаяся быть умелой.

...В феврале, 13 апреля 1977 года я разучился летать. Я выполз из своего дома и увидел то, чего не видел летаючи...

Медсестра мне рассказала:

... — И еще у меня сон был: будто летят по небу две пирамиды и — хлоп! — вершинами стыкуются, и из них рядами выходят медведи...

...Я бы хотел, чтобы у меня был знаменитый отец. Но этого не было. И в жизни я был аутсайдером. Но у меня есть друг, Илларион, с редкой профессией. Он работает на автокране с балдой. Этой балдой он разбивает дома, которые назначили считать старыми и «непредставляющими». А для кого? Интересуюсь, для кого они не представляют ценности. Интересуюсь, что значит ценность.

...Если бы у меня был знаменитый отец, мне бы старались оказать льготу, а я бы скромно отказывался и этим был бы прославлен...

...Салют, фестиваль!

Через единство к миру. Через мир — к счастью!

Потому что круглая земля.

...За Ириной Дерюгиной, что ли, начать ухаживать или за Ириной Моисеевой? А Миненкова куда же? Нет, так не годится.

Еще хорошо бы утопить режиссера, который сейчас показывает трио «Ромэн» по телевизору. Гитаристов показывает сплошь, а солистку-цыганочку то покажет, то истребит спецприемом.

Потом рано утром Петя открыл калитку и вышел, я забыл куда, кажется, на большую дорогу.

Потом из лесу вышел огромный серый волк. Но Петя взмахнул пионерским галстуком, и разом исчадие сгнуло. В жизни бывает наоборот. Серые волки пионеров едят.

Конец фильма.

Дальше мультфильм «Марица» зеленого цвета с красными крышами.

...В финале будет написано, что человек не аутсайдер. Для тех, кто считает, что главное в произведении — тема и проблема и что оно этим исчерпывается...

Якушев мне сказал:

— ...Взрослый не умнее ребенка. Взрослый практичней, или, как теперь говорят, прагматичней. Что выгодно, то и слава богу. Но время бежит, и взрослому все труднее оттягивать момент, когда уже ничего не чувствуешь. Поэтому у него выходы:

либо устремиться в детство, либо драться за то, чтобы остаться взрослым как можно дольше, то есть оттянуть момент, когда уже ничего не чувствуешь, и так делает большинство — старается вырасти и жить взрослыми как можно дольше;

либо научиться летать.

Ребенок живет ожиданием полета. Он выдумщик.

Взрослый ходит. Он умный.

Мудрый — летает.

...Ошибочно думают, что летают мухи, птицы, самоланы или ракеты.

Вот рыбы плавают. А мухи, птицы, самоланы и ракеты только нечеловеческим усилием поддерживают себя в воздухе, чтобы не упасть на землю. Иногда долго планируют, парят, но не больше.

Но это не мудрые. Это чаще всего хищники. Они передвигаются в верхних слоях атмосферы и склевывают ползающих.

А рыба плавает, даже не двигая плавниками. У нее в животе воздушный пузырь. Рыба плавает даже дохлая.

Мудрый плавает в воздухе, потому что в нем живет нечто, что делает его легче воздуха, и ему надо прилагать нечеловеческие усилия, чтобы удержаться за землю.

А когда он перестает что-нибудь чувствовать, он всплывает вверх навсегда.

Но я не знал, что мудрый может разучиться летать.

...Я выполз из своего дома и увидел то, чего не увидишь в полете.

...У призвания должно быть признание. А признания я не получил. Все началось так.

Приходит однажды Илларион и говорит:

— Давай оторвемся от жизни?

— Давай, — говорю. — А как?

А жена говорит:

— Опять нарежетесь?.. Имейте в виду...

А работал я тогда уже на телевизиорном заводе.

— Нет, Княгиня, — говорит Илларион. — В культуру потянемся... Говорят: надо. Мне в конторе выдали билет на два лица. В музей.

— В музей? На два лица? Это в какие же музеи билеты распределяют?

— В музей Пушкина. Поляки какую-то картину привезли. Очередь — не прорвешься.

— Занимались бы своим делом, — сказала жена.

Она у меня Княгиня. У нее такое прозвище с самого детства. Если б не это прозвище, я, может, и не заметил бы ее. А так во всех компаниях — Княгиня, Княгиня. Молва — великая вещь. Так что, когда я ее увидел, я уж готов был лезть на голый крючок без приманки. Завелся с пол-оборота...

Я тогда по молодости все к чему-то стремился. А к чему, и сам не знал.

Кончил школу, отслужил в Вооруженных Силах, поступил на завод автотракторного оборудования и на заочный.

Работать близко — от Большой Семеновской два шага. На Журавлевской площади Театр Моссовета отменили и сделали телевизионный театр. Кинотеатр «Родина» на Семеновской площади. Гастрономы есть, парикмахерские есть, друзья есть, девок — навалом и все замуж хотят. Так что в центр — разве что в музей скатать, да лень. Я в стенной газете первый человек, и рисунки остроумные делал под названием «Без подписи», и красками владел на уровне художника-любителя. Мог и пейзаж написать по фотографии, и голую женщину из чешского журнала. Гитара — это само собой. Магнитофон купил.

И так я жил — не тужил и имел льготы для отдыха и тринадцатую зарплату, и работал не хуже других, и даже фотографировался для доски Почета.

Чего еще мне было надо — сам не знаю. В компаниях нарасхват. Первый парень на деревне. Пил — не пьянел. Но все тянуло куда-то.

А потом слышу — Княгиня, Княгиня. И до меня дошло. Любви не хватало. Говорят — есть она. Посмотреть бы — какая?

Так что к тому времени, как ее встретить, я дозрел. Княгиня — прозвище-то какое!

— Ладно, — говорю. — Познакомьте.

— Нет, — говорят. — Не про тебя. Не нашего поля ягода.

— Кто такая?

— Директорская дочка, да директор-то помер.

— Ну и что?

— А она забыть не может.

— Отца?

— Нет, что не нашего поля ягода.

— А чего ж она в наших компаниях-то делает, чужая ягодка?

— Прижилась. Парень у ней был, тоже ее поля фрукт, из Плехановского. Все с нами ошивался, жизнь изучал. Потом отец ее помер — стал изучать жизнь еще где-то. А она у нас за Княгиню идет. Привыкла.

— Значит, не любила, — постановил я.

Ладно, думаю, где-нибудь встретимся.

И встретились. Да так, как мне тогда нужно было по моему ожиданию.

Все толпились у входа в зал, на лестнице и в вестибюле. Только мне нужно было совсем не туда, и я опаздывал как будто. Я оглянулся на часы под потолком и увидел, что Княгиня сидит на тумбе, от которой начиналась лестница вверх, в зал. Народу было невпроворот, и кто-то посадил ее на тумбу, чтоб не затолкали. И часы под потолком приходились как раз у нее над головой.

Я ее сразу узнал — и по описаниям и так...

Волосы у нее были светлые и длинные. Только мне тогда надо было не к ней и не в зал на лекцию. Сговорился я тогда с двумя из обмоточного, что сделаю им по фотографиям масляные портреты. Я уже насобачился, но пока все честно, бесплатно. А там как выйдет.

Я должен был протолкаться в кружок фотолюбителя, где на стене девиз: «Прекрасное — рядом с тобою».

...Я оглянулся и увидел Княгиню... И часы у нее над головой. Я нацелился на часы пальцем и сказал: «Пиф-паф». Потому что часы стояли, а свои я разбил на чужой свадьбе.

...И непонятно было — рано мне идти в фотокружок или уже поздно...

И вышло так...

И вышло так, что я нацелился ей в голову.

— Часы-то стоят, — говорю я.

А потом беру ее за руку, и гляжу на ее ручные часики, и ощущаю, какое тонкое у нее запястье.

— Можно еще успеть, — говорю я.

— Лекция сейчас начнется, — говорит толстая такая коротышка, стоявшая внизу.

— Мне не на лекцию, — говорю. — Мне в фотостудию к моим моделькам.

Вроде бы я фотолюбитель.

— А-а, — говорит коротышка.

Тут открыли дверь в зал, и все начали подниматься и входить, и справа — сцена. Под ярким светом.

Когда я снова оглянулся, Княгиня уже прыгнула со своей тумбы и двигалась вместе с толпой вверх по лестнице.

Темная лестница помаленьку пустела, а за синими огромными окнами был город и крыши в снегу. И над моей головой висели остановившиеся часы.

Не знаю, зачем я это сделал; я тоже вошел в зал.

Он был почти полный. Места были только в последнем ряду у прохода, который шел от двери, где я стоял, до другой двери напротив.

И тут я увидел, что из первых рядов поднялась Княгиня. Подойдя с обратной стороны к этому полупустому ряду, она стала пробираться в мою сторону — туда, где сидела эта толстенькая.

...И я полез пробираться ей навстречу. Она замешкалась, а толстая девушка поглядела на меня обиженно и поднялась так, что уступила ей место рядом со мной.

Я так подробно все рассказываю, потому что я так подробно все помню.

...Княгиня пробиралась, глядя под ноги, а больше ни на кого не глядя. А потом она подняла голову, увидела меня и хотела уступить подруге прежнее место. Но та уже села, и тогда она опустилась рядом со мной.

Она посмотрела на меня в замешательстве и улыбнулась.

— Ну как там насчет международного положения? — спрашиваю.

— Еще не знаю, — отвечает она. А толстая девушка строго смотрит вперед.

И тут меня заносит.

— Хотите чаю? — спрашиваю.

— Нет.

— Нет, хотите чаю? — спрашиваю.

А сам думаю: «Где я достану чаю? Буфет, наверное, уже закрыт».

— Хотите чаю?.. Я вам принесу прямо сюда.

На нас смотрели с любопытством. Княгиня чуть намурилась и смотрела в пол. А потом вдруг кивнула.

Я с замиранием ждал этого кивка. Все точно, все правильно.

— Да, хочу, — говорит она.

— Сейчас, — говорю я, — ждите.

— Хорошо. Я буду ждать.

Я встал и начал пробираться назад. На меня шипели. Все вышло гораздо лучше, чем я ожидал.

...Когда я уговорил буфетчицу открыть мне дверь в ее полуподвал, вошел и стал закрывать за собой, я услышал, как кто-то дергает дверь с той стороны. Я отпустил руку, открылась дверь, и вошла она...

Я ничего не сказал. Она тоже.

Я запер дверь на палку. Буфетчица принесла два стакана чаю и песочные пирожные с запахом столовой.

Мы сели за стол друг против друга, я придвинул к ней пирожные. И когда она брала свое песочное, я взял ее за руку и посмотрел на часы — было ровно семь ноль-ноль, и к моделькам идти было уже поздно.

Я перевернул ее руку, отнял пирожное и, наклонившись, поцеловал ее в ладонь.

После этого мы поженились и стали жить плохо.

И прожили плохо пять лет. Такая печаль.

А потом пришел Илларион и сказал:

— Давай оторвемся от жизни.

— Давай. А зачем?

— Опять нарежетесь? — спросила Княгиня.

Но мы пошли в музей.

Медсестра мне рассказывала:

— ...Мы тогда уезжали из барачков в новую квартиру, всю мебель оставили в нашей комнате. Диван с валиками, мама их обшивала полотном, шкаф, стол круглый,

кровать железную, еще комод стоял — и все помещалось в комнате одиннадцать метров. Я спала в кровати сестренки младшей, в детской кровати до двенадцати лет спала. А сестренка когда со мной, а когда мама ее к себе брала. А отец на диване. И еще кот Тарасик. Умный. А когда переезжали, отец не велел Тарасика брать. Отец тогда болел и был жестокий. Сейчас он другой совсем, не узнаешь. Не пойму, почему его мама тогда не лечила. Очень трудно ей было. Я помню, она сестренке дала три копейки на квас, а я ее уговорила купить тридцать граммов леденцов. Очень сладкого хотелось. Выбила чек, а продавщица не разобрала и взвесила нам не тридцать, а триста граммов. Мы так и ушли, ничего не поняли. Целый пакет. А поняли, когда съели. Очень сладкого хотелось. Совестно? А? Или нет? Двадцать семь копеек ей недодали. Или кассирше? А потом соседка рассказала, что у кассирши и продавщицы замечательные дачи по Ярославской дороге. А кот Тарасик меня в школу провожал. Я дойду до школы, скажу: «Тарасик... домой...» Он хвост трубой и обратно домой идет. Мама сидит после работы с соседками, разговаривает у крыльца, скажет не глядя: «Тарас! Домой!» И Тарасик из кустов — прыг и домой идет. Мы его оставили и в грузовик не взяли. Но он такой хороший был, тигровый, пушистый... его кто-нибудь подобрал, может быть... Я не плачу, вы не обращайтесь внимания, Николай Демьянович. Это у меня настроение минорное, Николай Демьянович, мне старшая сестра сказала: вас через два дня из больницы выписывают. Николай Демьянович, если у вас боли в коленке будут повторяться... Не болит?.. Ну ладно... Я старшей сестре скажу, что не болит...

...Каждый человек должен знать что-нибудь обо всем и все о чем-нибудь, — сказал кто-то, кажется, Лагранж.

...Крепкое здоровье, интересное дело в жизни, много друзей — все очень просто. Почему же это так трудно достижимо?

Я всю жизнь мечтал, чтобы у меня была куча детей. Только неясно было, кто их должен был рожать. Летающий муж, который легче воздуха, его окружающего, которому, чтобы удержаться за землю, нужно было прояв-

лять нечеловеческое усилие, надо было носить свинцовые башмаки, как водолазу у Жюль Верна, и чтобы их можно было скинуть по желанию.

Но я так и не встретил летающую женщину. Ко времени мудрости они из детей становились взрослыми и проявляли нечеловеческие усилия, чтобы махать крыльями и подняться выше других. И никогда не пытались научиться летать. Но для этого надо стать мудрой. А им казалось, что мудрость — это детство, только под другим соусом. И они боялись.

...Пожились мы с Княгиней и стали жить плохо.

Мать у нее была чокнутая на воспитанности, на благородстве и тактичности. А сама злобная, как скорпион. И дочь сделала тихушницей, весь лоск только снаружи. Дочь — та потемпераментней была, но мать — образец. «Мама сказала, мама так считает».

— Зачем же ты за меня замуж вышла?

— Я думала, ты энергичный и пробивной.

— Я энергичный, но не пробивной.

— Почему ты не пробивной? Надо пробиваться.

— Мне скучно.

— В таком случае мама считает, что нам надо подумывать о наших отношениях.

— Мама считает. А ты?

— Я не знаю.

— А куда пробиваться? В директора?

— Папу не трогай. Это святое. Знаешь, какой он был?

— Не знаю.

— Лучше всех в преферанс играл. А анекдоты как рассказывал — все лежали!

— Что же ты из отца дурачка делаешь?

— Его все любили.

— Меня раньше тоже все любили, да я их на тебя променял.

— Кроме Иллариона.

— Иллариона не трогай. Это — святое, — говорю я.

— У меня до тебя знаешь какие варианты были, а у тебя одни модельки... И мою маму в кино снимали.

— Не видел. Когда?

— В эпоху немного кино. У нее лицо значительное. Она даже ходить меня научила. Женщина должна ходить

носки чуть-чуть в стороны. Это воспитание. Тебе не понять.

— Скажи, а почему твоя мама домработнице «ты» говорит. Они ведь одного возраста?

Так и жили.

В постели она была ничего. Вот и вся любовь.

Тоска.

Пять лет отношения выясняли. А вся любовь была, когда она дверь в столовую пыталась открыть. Я ей потом ладонь поцеловал и говорю:

— Я хочу умереть.

— Зачем?

— Я боюсь, что лучше ничего не будет.

У ее матери была конфетная коробка и связи.

Ну связи—это понятно. Секретарь-машинистка, ясное дело. А на конфетной коробке была картинка—девушка розу нюхает. Коробка древняя, еще из эпохи немого кино. Мать рассказала—эта коробка у нее с девичества, от ее матери, от бабки моей жены то есть. А когда теща сама беременная была, бабка эта велела ей на картинку глядеть и мечтать, чтоб такая дочка родилась. Такая и родилась.

А потом стали по телевизору «Клуб джентльменов» показывать—мелькнула на один момент такая передача. Человек пять в отглаженных костюмах, все как на подбор воспитанные и один смешной—для порядка. А двести миллионов невоспитанных в своих квартирах смотрели, как их презирают.

— Вот это люди,—сказала мама дочке.—А вам надо подумать о своих взаимоотношениях.

И я подумал.

Доехать до Таганки, что ли? Там театр, а рядом ресторан «Кама». И за столиком я разговорился с одним Геней. После этого мне полегчало.

Гена рассказал:

— Мне жена говорит: «Я интеллигентная женщина, а ты Квазимодо, давай разводиться, пианино я оставляю себе». Я ее безумно любил. Три года в армии был, лю-

бил, три года после армии ухаживал, год как поженились. Квартиру сменил королевскую — тридцать метров, на улице Степана Халтурина.

Я говорю — давай разводиться. Я ее безумно в смысле любил. Она ученая. Кандидатом наук будет. Думаю, в смысле надо ей окончить институт — она из интеллигентной семьи. А я до армии техникум кончил. Вернулся из армии, год работал главным инженером. На кроватиной фабрике. Полтора куска в месяц имел, а она рыбками занималась, макроподусами. Вношу рацпредложение — разводить рыбок на продажу. Зоомагазин, берет как из пушки. В смысле мальков. Жена молодая, из интеллигентной семьи, кончит институт, кандидатом наук будет — кормить надо каждый день.

Бросаю заочный с первого курса. Ставлю аквариум на весь подоконник — полтора на шестьдесят. Гоню мальков в зоомагазин. Рацпредложения гоню — премию имею каждый месяц. Одеваю как королеву. Покупаю пианино. Делаю таблицу срезов мышц ей в институт. Раскрашиваю амеб, в смысле — к каждому зачету. Ученый мир ее хвалит. Профессор говорит — может кандидатом наук стать.

Кончает институт, получает диплом, ромб на кофточку, оставляют в аспирантуре. Идем на Невский, делаем завивку, несем профессору макроподусов, идем в театр на Райкина, идем в ресторан в гостинице «Московская», идем домой, дома она говорит: «Я интеллигентная женщина, а ты Квазимодо, мне с тобой стыдно, давай разводиться, пианино я оставляю себе».

Ладно, говорю. Кладу четыре десятки — подаю на развод, уезжаю в Куйбышев с начальником цеха на конференцию по фрезерованию. Аквариум разбил, макроподусов — мальчишкам, водоросли на помойку. В Лисках пересадка — билетов нет, плебеи в очереди стоят. Говорю начальнику цеха — надувайте щеки. Говорю кассиру — я ассистент профессора Филиппова, еду в Куйбышев на конференцию по атомной энергии. Показываю приглашительный билет для фрезеровщиков, не смотрит, дает два билета в мягкий. Говорю начальнику цеха — хватит надувать щеки.

Приезжаю в Куйбышев, слушаю шестьдесят четыре доклада по резанию металла. Десять процентов ученых, сорок процентов нашего брата практиков, в смысле народных умельцев, пятьдесят процентов специалистов по контактам между учеными и практиками — и все канди-

даты наук. Один впял наконечник для резца на Т-образном замке — кандидат наук, другой исследует каплю эмульсии, капля лежащая — кандидат наук. Посылаю записку — какая разница между наукой и сухоедением. Кричат — хулиганство!

Пишу три рецензии на свое изобретение, несу их на подпись к трем светилам, как из пушки подписывают — мое изобретение уже на трех ихних заводах внедрено, план секут как из пушки, каждый месяц премию. Говорят мне — сейчас не время изобретателей-одиночек, организуем авторский коллектив. Организуем. Сейчас не такое время, чтобы авторы-одиночки пользовались плодами своего изобретения. Получаем патент на всех. Люди интеллигентные. Надо оставить им пианино и разойтись по-доброму. Все-таки кандидаты наук.

Конференция кончается. В сердце трагедия. Получаю письмо от Лили: «Безумно люблю молодого ракетчика. Уже целуемся». Хотя обещала до суда — без физиологии. Но я понимаю — инстинкты, подкорка. Начальник цеха говорит: «Тебе надо размагнититься. Ищи бабу». Ищу бабу. Знакомлюсь. Студентка педагогического института, Куйбышев — город студентов. Мой вкус в смысле на худеньких, а эта пышная, зовут Неля. Блондинка. Иду на танцы второй раз. Танцует только со мной. Насчет Квазимодо ни слова. Ах так, думаю. Приглашаю в ресторан. Приводит подругу. Кладу на стол полкуска. Провожая домой. Прощаюсь. На следующий день говорит: «Не пойдем на танцы. Ты уедешь, я скучать буду», — говорит она. Насчет Квазимодо ни слова. Ах так, думаю. «Нелечка, — говорю. — Люди расстанутся как корабли — это трагедия». Смотрю — плачет. Насчет Квазимодо ни слова. Ах так, думаю. «Нелечка, вы были замужем?» — «Нет, но я не девушка». Я ей говорю: «Нелечка, ты пойми, счастье твое в твоих руках. Люди встречаются как корабли, ты в смысле уже не девушка, для любимой женщины я усеку любую проблему». Она говорит: «Ко мне нельзя, у меня бабушка». — «Ну, это другой разговор. Такси!» — «Вас куда везти?» — «За городскую черту».

Вылезает за городской чертой. Ночь. «Нелечка, посиди». Сажает ее на скамейку. Ловлю бабуся. «Бабуся, мы поженились, спаси, ночевать негде. Вот пять рублей, помоги провести медовый месяц». — «Месяц не могу, — говорит бабуся. — Что вы? Сын завтра из армии приезжает». — «Ну, тогда на одну ночь в смысле медовый ме-

сяц. Бабуся, целую». Постелила она нам в избе. Даже чистые простыни дала.

Ты знаешь у меня вкус, я худеньких люблю, а она пышная такая. Все наоборот. Мы с ней восьмой год живем. Четыре года как расписались. Трех рахитов народили, в смысле детей — Людмилу, Сашку и Виктора. Дети здоровые как из пушки, каждый день жрать просят. Работаю как зверь. Рацпредложения. Каждый месяц верный кусок. Высшего образования у меня нет. Директор, свой мужик, говорит: «Гена, был бы у тебя ромб на пиджаке, был бы ты кандидатом наук».

— Папаша, еще полкило коньяку. Три звездочки. И килечек. Пряного посола.

Ну, после «Камы» мне полегчало. Пришел домой и веселюсь.

Княгиня говорит:

— Как ты мог? Как ты мог? В какое ты положение меня поставил! Мама спрашивала, куда ты пропал, а я даже ответить не могла.

— Я не пропал, — говорю. — Я нашелся...

А сам думаю — что делать? «Кама» не выход. Пропаду. Говорю:

— Ты бы работать пошла.

— Настоящий мужчина так бы не сказал. Когда папа был жив, мама не работала.

— Тогда давай с тобой не просто так, давай детей делать. Я их любить буду.

— Какие дети? Ты институт бросил.

А утром приходит Илларион и говорит:

— Давай от жизни отрываться.

— Опять нарежетесь? — спрашивает Княгиня.

И мы пошли в музей.

Сели в метро — и до «Кропоткинской».

— Что за картина, Илларион?

— Не знаю. Люди смотрят, и мы поглядим.

— Ты в музее бывал, где картины?

— А ты?

— В Третьяковской галерее был до армии. «Ивана Грозного» смотрел.

— У меня открытка есть, — сказал Илларион.

- Ну как, Илларион, продвигается работа?
 - Еще пол-улицы сломал.
 - Граждане, не сходите — не загораживайте прохода.
 - Илларион, а что будет на месте старой улицы? Новые дома?
 - Нет.
 - Понятно. Сквер будет. Деревья и скамейки.
 - Нет.
 - Извини, не сообразил. Улица шире будет, проезжая часть, трасса.
 - Нет.
 - А что же тогда будет?
 - Вид будет.
 - Да отойдите вы с прохода, господа!
 - Илларион, а ведь раньше тоже был вид?
 - Старый.
 - А теперь?
 - Новый будет.
 - Молодой человек, уступите женщине место... Садись, Вовик. Мама постоит.
 - Илларион, значит, ты считаешь, что, если сломать старый вид, получится новый вид?
 - Нет.
 - А как?
 - Сначала надо построить новые дома.
 - Понятно. Тогда старые дома покажутся убогими.
 - Да, жалкими.
 - И их надо сломать?
 - Я ломаю.
- Ну, вышли на «Кропоткинской».

...Если откинуть громкие слова, то многие думают, что мудрый — это усталый. Трепыхался, трепыхался, а жизнь-то крылышки и пообломала. А разве крылья для воздухоплавания? Крылья для трепыхания. Для воздухоплавания нужен пузырь как у рыбы, воздушный шар, монгольфьер, нужно, чтобы сама вода или воздух от дна отрывали и вверх выталкивали, сама среда вверх выталкивала. Нужно в верхних слоях атмосферы передвигаться как по земле ходишь — в любую сторону и не боишься свалиться. Мудрый — это который летает потому, что у него душа как у ребенка. Только ребенок летает во сне, а мудрый наяву.

Сначала на улице стояли в очереди, а в железные ворота партиями пускали, как в ГУМ за индийскими занавесками. Кого пустят, те бегом по дорожке к каменным ступеням — а там колонны как в храме и вход.

— Разве в храм бегают? — спросил Илларион.

Хотите верьте, хотите нет, но я этого здания ни разу в жизни не видел, хотя родился в Москве. Ни к чему было. В Третьяковке был. До армии. Это я уже говорил. А после был в Василии Блаженном, в Историческом, на Новодевичье кладбище ездил памятники смотреть знаменитых покойников, в Кремле был — шапку Мономаха видел и тарантасы золотые. А этого дома не помню с колоннами, хотя на улице этой был. В кино ходил, в клуб напругив. Темно было.

— Илларион, я опять стих написал. Хочешь, прочту?

— В стенгазету?

— Нет, из жизни.

— Валяй.

Ко сну супругу клонит.
Мамаша варит суп.
А я сижу как слоник
И водочку сосу.
А я сижу как ослик,
Ушами шевеля.
И все, что будет после,
Известно до нуля.

— Продвигайтесь, продвигайтесь. Сейчас пускать будут...

— Неужели сам написал?

— Да ладно вам толкаться-то. Все пройдем.

Пропустили в ворота нашу группу, и все помчались по дорожке к ступеням.

— Не бежи, — сказал Илларион. — Что мы, жлобы? Культура все-таки. А еще есть стихи из жизни?

— Есть.

— Пропустим жлобов. Мадама, зонтик-то убери. Закрой зонтик-то.

Мадама оборачивается и говорит:

— Черт-те кого пускают на выставку!

А другая:

— Демократия...

Илларион говорит:

— Вали, вали, мочалки... Занавески разберут. — И мне: —

Давай, Коля, пошли. Бабы есть бабы. А тут духовные ценности. Нельзя! Ты против духовных ценностей?

— Не знаю, — сказал я.

И мы вошли в дверь. Здоровенную. Этажа на полтора.

...Война кончилась, когда мне было два года.

Жил я без потрясения на пятом этаже. Так, разве что занудство одно. Да ну их, потрясения. Насмотришься в кино, как люди жили, и хватит. Сейчас по-другому живут. Все я к тому времени перепробовал; и модельки были, и барахло приличное, не хуже, чем у людей, и на Княгиню глаза пялят, мне завидуют, и даже любовь встретил. Только она короткая оказалась, эта любовь, — до загса.

Наутро после ресторана и первой нашей с ней постели Княгиня сказала:

— Больше я ни о чем не мечтаю. А то, что ты рабочий, это ничего. Не век же ты будешь рабочим, правда? Поцелуй меня сюда.

И показала на грудь.

На этом наша любовь кончилась.

— Ладно, слезай с тумбы. На лекцию опоздаем, — сказал я.

— С какой тумбы?

— Это поговорка такая.

— Ты какой-то странный.

— Это потому, что мне тоже больше мечтать не о чем.

— Я тебя разочаровала?

— Нет, что ты.

— Это потому, что я еще ничего не умею. Ты подожди, я научусь.

— Чему?

— Всему. А детей нам не нужно пока, — а вдруг ты институт не кончишь?

— Чтобы детей делать, высшее образование не требуется. Годится мое среднее. Может быть, после этой ночи забеременеешь.

— Не бойся. Я таблетки приняла. Маме жена начальника отдела привезла из ФРГ.

— Мама твоя любит юмор, — говорю.

— Нет, мама юмор не любит. Она считает, что юмор — это вульгарно.

— Скажи, почему тебя Княгиней прозвали?

— Я в школе в драмкружке играла княгиню Волкон-

скую. Мы ставили поэму Некрасова «Русские женщины». Читал?... Я на нее лицом похожа.

Я говорю:

— Читал... Только там про русских женщин, а не про лицо. Хотя это давно было.

— Верно?— Она поднялась с постели.— Сейчас главное — лицо. Такое время. У кого лицо, тот пробивается.

А я думал, что она молчаливая.

— Ты знаешь, за эту ночь я стала совсем другая. Ты знаешь, мне про тебя говорили еще до того, как ты меня увидел. Все говорили «художник, художник». Я тебя сразу по описаниям узнала, когда ты мне там, в буфете, руку поцеловал. Я подумала: «Ну, точно. Совсем такой. Молва — великая вещь». Не притворяйся — у тебя же слезы на глазах. Это от счастья?

— От счастья, — говорю я.

Толпа в музее — не протолкнешься. Куда идти — не поймешь.

— Вы на выставку?

— Нам польскую картину.

— Не понимаю вас. У нас много картин... Проходите, пожалуйста.

Илларион говорит:

— Давай сначала коней посмотрим?

— Каких коней?

— Выставка наверху, а справа кони. Я разглядел.

— Коней потом, — говорю. — Кони не привозные.

Стали пробиваться на выставку. Сначала пошли в залы, где меньше людей, потом — где побольше. Картин много, и все разные.

Странно, но я тогда впервые заметил этот разнобой.

Я думал, что картина от природы зависит. Какая натура — такая картина. А тут заметил — два портрета рядом висят, а друг на дружку непохожи. Не лицами непохожи, а картины непохожи. А как выбрать, которая лучше и какую смотреть?

— Илларион, — говорю. — Так дале не пойдет. Давай искать ту знаменитую. Иначе очумеем.

Илларион спрашивает у женщины во фраке — как стюардесса, только старая:

— Мамаша, какая самая лучшая польская картина?

— Польская? Здесь все из польских музеев.

Мы пошли.

— Мальчики, стойте! Вам, наверно, «Девушку с горностаем»?

— С каким горностаем?

— Картина Леонардо да Винчи «Девушка с горностаем». Во-он в том зале, в центре, видите? Только там очередь большая.

— Опять очередь? — спрашиваю. — Не пойдем.

— Нельзя, — говорит Илларион. — Не обижай. Меня в конторе спросят.

Сейчас вспоминаю то время — таких двух идиотов на всей планете только двое было.

Боже мой! Даже страшно подумать, что было бы, если бы я ее не встретил. Так бы слепым и жил.

Она всех ошарашивала, кто к ней постепенно подходил. Я по лицам видел. Но и я, видимо, дозрел к тому году.

Поверите ли, как только стюардесса сказала — Леонардо да Винчи, у меня в сердце — щелк! — тот самый? А я думал, что он где-то в незапамятных временах, а он под боком. А как сказала — «Девушка с горностаем», я прямо завыл молча — только бы судьба не подвела.

Не подвела.

— Молодой человек, нельзя задерживаться. Люди посмотреть хотят.

Илларион меня за рукав тянет.

— Дурачок, можно снова в очередь стать.

Разве расскажешь?

Разве расскажешь? Надо увидеть. На то она и «Девушка с горностаем» Леонардо да Винчи.

Я только теперь знаю, если картину можно рассказать — она не нужна. Но про девушку эту — можно.

Сидит. Умница. Все.

Если бы я такую встретил, я бы за ней на четвереньках пополз бы через пол-Москвы, да она бы не позволила.

Эта не подведет. Она нарисованная.

На земле таких не бывает. Только в космосе. В космосе Леонардо да Винчи, и ни в чем другом. А никто другой так далеко не залетал. Это я теперь знаю.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Сцена перед занавесом.

Вечер. Ворота Флоренции. Выходит высокий человек.

Леонардо

(негромко)

Уходит день. На башнях облаков
Певучий след оставил тихий вечер.
Уходит день... Как горестно, как жалко.
Еще один поклон календаря.
Семнадцать лет из жизни укатилось,
И унесло пылающий Милан.
Минуты завиваются в часы,
Часы в года, и стрелки кажут вечер.
Садится солнце, холодеет небо,
А там гляди, уж золото волос
Луна засеребрила сединою.
Старик... Старик... Морщинистое имя...
Ограбленная молодость моя!..

Пауза.

Как пахнут эти розы!.. Этот запах
Так ярко, что почти звенит как песня,
Как будто юность и как будто я
Не флорентийский мастер Леонардо,
А снова жизнерадостный юнец,
Которому рассказывал учитель
Историю занятную о том,
Как некий человек всю жизнь старался
Систему мироздания угадать...
Все зыбко, мир дал трещину, синьоры,
В которую, свернувшись как папирус
Со стертыми, забытыми значками,
Летит вся современная культура...
Деянья наши — просто письма,
Начертанные слабою рукою
Кусочком мела на слепой стене,
Рад человек, себя увековечив,
И вся стоит исписанна стена...
Но вот из бездны возникает вечер
И рукавом стирает письма...

Пауза.

Как страшно возвращаться стариком
Туда, откуда уходил щенком...
Никто не ждет... Не нужен никому...
Вернулся я к началу своему...
Привет тебе, Флоренция!..
(Входит в городские ворота.)

Занавес открывается.

...Раньше говорили — найти свое место в жизни, и это означало буквально место в пространстве, территорию, место работы. Так и говорили: у него есть место, он получил хорошее место. Или поместье, или город, который по-польски тоже «място» — город, огороженное пространство вроде огорода. А теперь?

Теперь известно, что жизнь — в движении и место в жизни — это место в процессе. И человек понял, что он часть процесса. И затосковал.

Потому что ему объяснили — он не сам едет куда хочет, а его везут как запчасти процесса.

...Небо бесконечно.

...Все казалось, что можно что-то сделать.

...Якушев мне сказал:

— Что такое ремесло? Это «не хуже, чем у людей».

Уровни могут быть разные, но изготовленная вещь имеет предварительный эталон, иногда — шаблон, штамп. И есть с чем сравнивать.

А искусство — это новинка.

...У искусства тоже есть эталон, но внутренний и движущийся. И он отыскивается в самом процессе работы, и называется — идеал.

У ремесла — эталон, у искусства — идеал.

Все неприличия в искусстве возникают от путаницы — эталон и идеал.

...Это не разница в определениях, это разница в сути.

Эталон — это то, с чем можно сравнить изготовленную вещь. А идеал сравнивать не с чем, разве что с другим идеалом. Запомним это.

К эталону мы можем предварительно стремиться, а идеал должен быть отыскан в самой работе.

Эталон стоит на месте, и мы к нему движемся, а идеал уходит от нас как горизонт.

Ремесло останавливается, когда эталон достигнут. Искусство останавливается, когда продолжение ухудшает вещь.

Отсюда совершенно разная оценка законченности.

Ремесленная вещь закончена, когда достигнут эталон. Производство искусства должно быть закончено в любой момент изготовления.

...Если найдут руки от Венеры Милосской — будет хорошо. Но это будет другое художественное произведение. Потому что если бы не нашли саму Венеру Милосскую, а нашли бы только руки, то было бы произведение — руки богини.

Ремесленное же произведение существует только в целом виде.

И потому огромна разница между обломком и фрагментом.

...Потому что ремесленное произведение — это правило, состоящее из правил, а произведение искусства — это правило, состоящее из исключений.

...Искусство такая вещь — как только в него прорвешься — конец. Назад дороги нет.

Если только не собьют, конечно, умники, которым нравится не искусство, а болтовня о нем. Они знают точно, как делать детей, но сами не делают почему-то — инструктируют тех, у кого это и так выходит.

А как прорвешься в искусство — так конец. Назад пути нет.

Не в том смысле, что сам в профессионалы пойдешь, а в том, что без него уже нельзя.

Другая жизнь начинается.

...У меня так получилось, что я сначала разум увидел в полете, а потом сердце. Но это неважно, с чего началось. Важно, чтобы не житейское в тебе ходуном заходило, а полет.

Я, когда девушку эту увидел с горностаем, — очумел. Потому что подумал — нет. Ну это же ясно, кто такой этот человек, который ее нарисовал, — вот к чему душа тянулась. Стою и трясусь.

Илларион говорит:

— Ты только не чокнись.

— Подожди, — говорю, — Илларион, милый ты мой, подожди.

— Ну вот.

— Все, Илларион, теперь все.

— Что все?

— Теперь все, совсем все. Назад пути нет.

— Идем на воздух. На нас стюардесса смотрит.

— Пусть смотрит.

— Идем, Коля. Идем, Коля.

— Как же я уйду?

Ушли.

Погоду не помню. Столько лет прошло. Вроде снег должен быть или, наоборот, жара, а у меня в памяти одно серебро. Должно быть, дождь моросил, а небо и асфальт — серебряные. Хотя зонтиков не помню.

Пришли домой ко мне — Илларион проводил. А я разговариваю всю дорогу, даже язык стал сухой.

Дома Княгиня говорит:

— Ну? Насмотрелись на голых женщин?

Я молчу. Илларион спрашивает Княгиню:

— У вас нет чего-нибудь? Ему поправиться надо.

— Хватит с него. Вчера поправлялся.

— Зря ты это. Кольке поправиться надо. Дай рюмку.

Не видишь, что ли?

А я смеюсь.

— Жаль... — говорю я, — ...что сейчас не гражданская война.

— Совсем обалдел, — говорит Княгиня. — Больше в музей не пойдешь.

— Жаль, — говорю, — что сейчас не гражданская война... Я б тебя в Черное море сбросил. Таких надо в Черное море сбрасывать. Ты свет застишь.

— Я сейчас маме позвоню!

Тут я крикнул:

— Усохни!

Первый раз на нее крикнул.

Она стала тихая. Илларион меня за руки держал.

...Я еще раз пытался пробиться в музей, десятки совал, без билета не пустили.

А потом картину увезли.

Нет. Так дело не пойдет. Надо про Леонардо где-нибудь узнать.

В заводской библиотеке про Леонардо брошюра «Леонардо — великий художник Возрождения, один из плеяды тех, кто...».

Отставить.

Пошел к парторгу.

— Анатолий Борисович, у меня персональная просьба.

— Персональное дело?

— Анатолий Борисович, просьба... Просьба, Анатолий Борисович.

Объяснил ему, что мне надо в Ленинскую библиотеку, а институт я бросаю.

— Заниматься хочешь? Дело. Письмо от парткома я организую. Но и у меня к тебе просьба. Из ГАИ просили усилить пропаганду. Нарисуешь мне плакаты насчет соблюдения правил уличного движения... Ты что такой зеленый?

— Нет, Анатолий Борисович, не могу рисовать. Сейчас не могу. Потом.

Обиделся. Очки снял.

— Стыдно, — говорит.

— Нет... Сейчас не стыдно... Не могу... Тошнит.

Он стал на меня смотреть.

— Объясни.

— Ну ладно, — говорю. — Можете не писать письмо. Я понимаю.

— Что с тобой творится?.. Говори быстрее... Мне некогда. У меня летучка.

— Я в музее был.

— Ну и что?

— Леонардо видел... Леонардо да Винчи. «Девушку с горностаем».

— «Дама с горностаем»... Знаю.

— Разве она дама?

— Ну-ка зайди ко мне... Копылова, некогда, некогда.

Подойди через двадцать минут.

Думаю — чем черт не шутит? Рискну. Расскажу как есть.

Просидели мы не двадцать минут, а полтора часа. На телефоны он не отвечал. Трезвонили — сил нет.

— Ладно, один раз потерпят, — сказал он. — Продолжай.

Запустили мы это дело. Письмо я тебе, конечно, организую. От плакатов тебя освобождаю. Дима нарисует, культорг.

— Я от жизни отрываюсь... Я понимаю, Анатолий Борисович... Но не могу...

— Нет, — говорит. — Не отрываешься... Запустили мы это дело. Подготовься, а месяца через два сделаешь нам сообщение.

— Ну месяца за два я управлюсь.

Так я думал тогда.

... — А знаешь, почему ты перестал летать?

— Почему, Илларион?

— Потому что тебе понадобилось, чтобы летали все.

— Так я ведь не скрывал этого, Илларион.

— А кто будет по земле ходить?

— Ходить по земле должны все, и летать тоже все.

— Опоздал ты с этим делом, — сказал Илларион. — Все и так летают. Я этим летом летал в Сочи.

— Это не вы летали. Это аэроплан летал, а вы в нем спали.

— Ну самолет летал, какая разница?

— И аэроплан не летал, а изо всех сил старался не упасть. Разве это полет? Полет — это когда ты легче воздуха, как рыба легче воды.

— Рыба не легче воды.

— Но у нее пузырь, который легче воды.

— А что у человека легче воздуха? — спросил Илларион.

— Желания.

— Любые?

— Нет... Направленные вверх... В небо...

Якушев мне сказал:

— ...У Тициана есть картина — «Любовь земная и любовь небесная». По обе стороны какой-то чаши сидят две женщины — одна в парчовом платье, а другая голая. Какая из них любовь земная, а какая небесная — сам черт не разберет.

...Княгиня поначалу обрадовалась, что я в Ленинку стал ходить.

— Правильно. Пора готовиться к новой жизни. Ты по каким предметам готовишься?

А потом забастовала. Меня целыми днями дома нет. После работы я туда — и до закрытия.

Парторг говорит:

— Мне твоя теща звонила. Жаловалась, дома не бываешь. Как идет подготовка?

— Пошлите ее подальше.

— Подготовку?

— Тещу.

— Нет, так тоже нельзя.

— Анатолий Борисович, мне поговорить не с кем. В читальном зале не поговоришь, а в курилке только про баб и про «Жигули».

— Я тебя с одним мужиком познакомлю. В школе с ним учился. Якушев Костя. Он про Леонардо все знает.

— Познакомьте, Анатолий Борисович. Я вам сто плакатов нарисую.

— У него и прозвище было Да Винчи.

— А он кто?

— Художник.

— Дело!

— И у тебя быстрее пойдет.

...У меня после этого так дело быстро пошло, что не успел я оглянуться — жена говорит:

— Я интеллигентная женщина...

А я говорю:

— Знаю... Ты интеллигентная женщина, а я Квазимодо.

Пианино ты оставляешь себе.

— Какое пианино?

— Шутка.

— Юмор — это вульгарно.

— Мама говорит. Все знаю. Это мама твоя вульгарная.

— Маму не тронь.

— Это святое. Я знаю.

— Я твоего Якушева ненавижу. Между прочим, он мне все время на грудь смотрит.

— Так, может, больше смотреть не на что?

— Коля... Что ты делаешь?.. Где наша любовь?

— У мамы спроси.

— Она мне всю жизнь отдала.

— Отняла, — говорю. — Пойдем в музей.

— Голых женщин смотреть? Да?

— Одетых. В Третьяковку пойдем. Якушев велел к Сурикову приглядеться.

— То Леонардо, то Суриков, то Илларион. Я твоего Иллариона ненавижу.

- Пойдем в музей.
- Нет.
- Пойдем в музей!
- Не пойду.
- Пойдем в музей...
- Пойдем.

Я в то время занимался как бешеный. То времени девать некуда, а то сутки мигают как светофор...

Два месяца промигало, я сообщение в клубе сделал. По энциклопедии. А то, что я про Леонардо в Ленинке вычитал — этого не расскажешь. Слов таких у меня тогда не было. Закружило меня. Сплю и вижу ту эпоху итальянского Возрождения. Пока Якушев не сказал:

- Затормози. А то специалистом станешь.
- Дядя Костя, а разве плохо?
- Художник в тебе пропадет. Засохнет.
- Почему?
- Материал задушит. Полюбишь болтать про Леонардо, а его разлюбишь.
- А что делать?
- Тебе надо цветом захлебнуться. Пора тебе Сурикова поглядеть. Иди. Придешь — расскажешь. Только не ври. Не понравится, так и говори — не понравилось. Иди. Да жену возьми.
- Зачем?
- Возьми. Знаю, что говорю.

А это у нас не первый разговор с ним про Сурикова.

Ну, потопали мы. Я такси взял. Согласилась все же ехать моя Княгиня.

Не спугнуть бы. Только бы глядеть не мешала.

Подъезжаем к Третьяковской галерее — опять очередь. В полпереулка.

- Всюду у нас очереди, — говорит Княгиня.
 - Не срамись, — говорю. — Не за гарнитурами очередь.
 - Давай зайдем, — говорит. — А пока погуляем.
- Заняли мы очередь за одним из Челябинска, а позади нас

из Бурятской автономной пять человек. Говорят — ничего не поймешь.

Стали неподалеку ходить. Выпили кофе с бутербродами — напротив Третьяковской галереи палатка. Рядом школа художественная. По двору шмокадавки с этюдниками бродят, и лапы перемазанные. Автобусы стоят. «Интурист» машины гоняет.

— Смотри, какая решетка богатая, — говорит Княгиня. — Войдем, поглядим.

— Библиотека, — говорю.

— Вот люди жили... — говорит Княгиня.

— Которые решетку делали?

— Это меня не касается.

— Зря я тебя позвал.

— Я могу уехать.

И все такое в этом роде.

— Ну скоро там?.. А то я устала ждать.

— Пускают... Бежим.

Пошли мы по Третьяковке. Картин бесчисленно.

Княгиня:

— Смотри, какая картина красивая. Вот бы нам такую над тахтой. Дорогая, наверно. А раньше, наверно, дешевая была. Сейчас все предметы роскоши дорожают. Коля, а это кто? У него лицо незначительное. Я бы за него не пошла. Коля, а это, смотри, Пушкин. Как живой. Кипренского. Я знаю.

Экскурсоводы орут. Княгиня ахает.

А тут звук выключили. Вижу только, Княгиня рот разевает, как рыба, а слов не слышно. Это значит я картину увидел и опять про Леонардо вспомнил. Александр Иванов. «Явление Христа народу». Тихая картина. А вокруг тихие люди. А по стенам тихие этюды к этой картине. И тут я почему-то снова вспомнил Леонардо.

Нет, подумал я, мало я еще про Леонардо знаю. Продолжим. Не нахлебался я еще этого варева. Надо разобраться. Я докопаюсь. Самому мне художником не быть, это я понял. Но я докопаюсь до сути. А до какой сути — сам не знаю.

Смотрю на картину — Александр Иванов, русский человек, а картину написал из чужой жизни. Значит, надо ему это было для чего-то, значит, можно проникнуть. Во все.

Иоанн Креститель — лицо мощное. А вдалеке тихая фигура. Слева — ветки, а справа мой предок сидит, улыбается сквозь слезы — раб несчастный. Понять старается, что к чему.

— Коля, идем. Не надо... Это религиозная картина? — шепотом спрашивает Княгиня.

— При чем тут религия?! — шепотом ору я. — При чем? Человека не понимают, вот про что. Это про гражданскую войну картина. Александр Иванов до семнадцатого года не дожил и до Отечественной не дожил. Но это все одна и та же революция. Она еще при Леонардо да Винчи начиналась. И еще раньше, при Спартаке. Рабы подымались, к ней с разных концов подходили, кто как мог в те годы. Она же вырасти должна была.

— Коля, я не знала, что ты идейный, — говорит Княгиня.

— Я сам не знал.

Но тут заорал экскурсовод, и нас оттерли.

— Давай, — говорю, — больше нигде не останавливаться. Забежим, только Сурикова поглядим. А то перед Якушевым неудобно.

И двинулись мы через все залы.

— Быстрее, быстрее, — говорю. — Некогда. А то Якушеву рассказать будет нечего. А он спросит.

А сам расплескать боюсь. Есть Леонардо, есть. Живет зернышко.

Один только раз остановились.

— Красивая какая, — говорит Княгиня. — Незнакомка. Я знаю. Она моего типа или нет? А какого я типа? А глаза я тоже так могу делать. Гляди — так?

— Еще лучше, — говорю. — Идем.

Ну прошли мы «передвижников», прошли «Трех богатырей». Входим к Верещагину — черепа, антивоенные картины, узорная дверь в Средней Азии. И в зал Сурикова. Картины тоже огромные — «Боярыня Морозова» как раз напротив двери.

Страшная какая-то. Нищий на снегу сидит. Ноги грубые. Поп хохочет. Черная женщина руку подняла, а на руке кандалы. Лицо красивое, только голодное.

На репродукциях все понятно было. Раскол, старая вера, новая вера. Слева противники, справа — союзники. Это я уже знал. Экскурсовод рассказывал еще до армии. А на картине все стало по-другому. Краски, краски. И страшная какая-то. В общем, понимаю — большая вещь. Но в общем не понравилась. Так Якушеву и доложу. Ничего не поделаешь. Каждому свое. О вкусах не спорят. В следующем зале «Иван Грозный». Это я уже видел. А дальше вниз по лестнице еще тыща залов.

— Пойдем, — говорю, — обратно. А вперед идти — запутаемся.

Пошли обратно через верещагинский. Смотрю, а его картины какие-то рыжие стали. Как будто через желтый светофильтр. Смотрю — Княгиня моя отстала и назад глядит.

— Идем...

— Подожди... — говорит.

Оглянулся и я — куда это она смотрит? И вдруг сквозь просвет двери опять Морозову увидел. Не всю. Дверь мешала. И вдруг вижу — серебро.

На картине — зима, но серебряная и что-то напоминает. А что? Не могу вспомнить. И вдруг вспомнил — погоду напоминает, которая была, когда я от «Девушки с горностаем» уходил.

— Коля, я еще хочу посмотреть...

Я так удивился, что говорю:

— Ну давай.

Двинулись обратно.

— Коля, помедленней...

Пошли помедленней, а навстречу нам надвигалась великая картина. Чем ближе, тем более великая. Фигуры те же, а картина все лучше, все больше. Великая. Пока я не понял — цветом захлебываюсь. Как это можно — не знаю, только чувствую — печаль и стойкость, и как будто я мимо картины смотрю, а как-то все печаль и стойкость.

Подождали. Смотрели. То проходило, то снова подхватывало. Другие картины Сурикова смотрели, «Меншикова», «Стрельцов», портреты, и снова — на нее.

— Я посидеть хочу, — говорит Княгиня.

— Посиди.

И сам присел рядом. Экскурсия подошла и загородила.

— Коля... что же это мы со своей любовью сделали? — говорит Княгиня.

— Маму спроси.

— Перестань...

А на меня такая духота напала, такая лень.

— Наверно, надо долго мучиться, чтобы искусство понять, — говорит Княгиня.

— Наверно, — говорю я.

— Хочешь, «Ивана Грозного» посмотрим?

— Давай.

Заглянули.

— Нет, — говорю. — Не могу. Может, он и великий художник, а сейчас не могу.

— Идем, еще посидим.

Сели. Экскурсии то закрывали картину, то открывали.

— Коля, — говорит Княгиня. — Оказывается, я русская женщина...

— Значит, и у нас Возрождение... А между прочим, у Сурикова жена была француженка.

— Ну да?

— А у Пушкина дед был из Эфиопии, а Александр Иванов в Италии картину писал, а ученик Леонардо Московский Кремль строил...

— Поехали к Якушеву... Я ему спасибо скажу.

— А я тебе.

— За что?

— За Сурикова.

— А я при чем?

— Если бы ты не оглянулась, я бы ушел.

— Посмотри... У девушки руки замерзли... красиво как. Нет... не то... Коля, ты меня любишь?

— Похоже, что так.

— Коля, мне кажется, что я летаю. Дай руку, прислони. Слышишь? Как сердце стучит?

— Не надо. Смотрят.

— Коля, наплевать.

— Наплевать.

Сидели, пока не стемнело. Нас никто не гнал. А когда стемнело — картина даже вблизи стала серебряная.

Потом свет зажгли, и мы ушли.

— Дядя Костя, откуда вы узнали, что она цвет лучше меня видит?

— Не цвет. Колорит. Цвет в жизни, колорит в картине. Колорит — это музыка цвета. Ее сочинять надо. До женщины музыка быстрее доходит. Зато мы крепче усваиваем.

Это он как в воду смотрел.

...В небе все просто.

С другой стороны, если не знать, что ты часть процесса, то тоже озвереешь. А знание дает, нет, не дает, а придает мужества.

Якушев мне сказал:

— ...Если описать повара или доктора не в героическом виде, а в каком-нибудь ином, то все повара и врачи обидятся.

Из-за путаницы. Из-за путаницы с понятием «типичное», которая восходит к путанице между искусством и жизнью.

У жизни в целом нет задачи воздействовать на нас, а у искусства есть. Потому типичное в жизни и в искусстве — это разные вещи. Как цвет и колорит.

Типичное в жизни тяготеет к абстракции, а в искусстве к конкретности.

Казалось бы, дело очевидное — в жизни и в искусстве типичное — это обобщение на разных уровнях. Казалось бы. Но и это не так.

В жизни мы типизируем для удобства, для экономии мозгов, для понятности, для познания — «дерево», и точка, а какое? Пока неважно, важно, что не «камень». А в искусстве мы типизируем для впечатления.

Если изучать быт помещиков по «Евгению Онегину»; то поэма умирает, потому что пропадает впечатление, что ее сочинил Пушкин.

Типизация в искусстве — это сочинение. А что такое сочинение, не знает никто. Сочинение для того, чтобы произвести впечатление, а впечатление не дает крови прокиснуть и апеллирует к душе.

Вот почему мудрец говорит, что очень легко представить себе, в каких обстоятельствах зародился какой-нибудь образ, но почти невозможно объяснить, почему он воздействует, когда эти обстоятельства пропали.

А что уходит вместе с обстоятельствами, то и не искусство.

А бывает, кажется, это уходит, а нет, вдруг снова возвратилось.

СЦЕНА 1

Флоренция. Сад около дома. Вечер. Половодье цветов и листьев. Д в е ж е н щ и н ы — молодая и старая. Старая вяжет. Молодая поет, подыгрывая на лютне.

М о н а Л и з а

Уезжал или нет ты,
Об этом не знаю,
Но когда я ложусь
И когда я встаю,
Ты со мною всегда.

И когда я мечтаю,
Входишь ты в мою душу
И в песню мою.
В сновиденьях моих
Мы друг к другу прильнули.
Мы с тобою вдвоем,
Мы с тобою вдвоем.
Если серьги мои,
Звеня, шевельнулись,
Значит, ты шевельнулся
В сердце моем.
Как вечер этот ласков! Он такой
Сиреневый и тихий, этот вечер,
Как будто он из вечеров последний,
Как будто завтра грянет ураган.

А н и т а

Ох, не люблю я эту песню, Лиза.
Который год ты замужем, синьора,
А все еще как девочка поешь.

М о н а Л и з а

Когда еще я девочкой была...
Ты помнишь ли, Анита? Помнишь, помнишь?!
Еще до разорения отца?
Я столько пела...

А н и т а

Как не помнить, Лиза!

М о н а Л и з а

Однажды, помню, вот в такой же вечер
Отец велел мне петь перед гостями.
Я раскапризничалась и не стала петь,
Хоть гости все о том меня просили.
Вдруг незнакомец подошел ко мне.
Его я прежде в доме не видала.
«Ведь мы с тобою вместе будем петь»,—
Сказал он мне, потом обнял за плечи
И посмотрел в глаза мне так глубоко,
Как будто заглянул на дно души.
И он весь вечер пел, играл на лютне,
И я весь вечер вторила ему.
Его я долго помнила, Анита.

И все отца просила, чтоб позвали.
Но он сказал, что мастер Леонардо
Уехал далеко и не приедет.
Как много пролетело лет, как много...
И мой отец давно уже в могиле,
А он опять приехал и сейчас
Сидит в гостях у мужа моего.
Как странно все, Анита!

А н и т а

Что ж такого?
Приехал и опять уедет.

М о н а Л и з а

Не знаю... Может быть, и нет...
Постой, Анита, кажется, идут...

А н и т а

И впрямь выходят. Надо их встречать.
Куда ж ты, глупая? То повидать хотела,
А то бежишь?

М о н а Л и з а

Я не хочу, Анита.

А н и т а

Ну вот, опять все детские затеи.
Порядка ты не знаешь, Мона Лиза.
Ведь муж твой, как всегда, перед прощаньем
Захочет показать тебя гостям.

М о н а Л и з а

Захочет — позовет...

На лестницу выходят Леонардо и Аталанте, Зороастро
Мельци. Джокондо их провожает.

Д ж о к о н д о

Итак, синьор маэстро, все дела
Успешно привели мы к окончанию.
Имущество небольшое, синьор,
В порядке все. И пени и доходы
Положены сполна на ваше имя.

Леонардо

Благодарю, Джокондо, от души,
За хлопоты твои о нашем деле,
Которое вы сделали своим.
Я напишу для вас мадонну с сыном,
Как только встречу нужную натуру.

Джокондо

Увы, твою картину, о маэстро,
Приобрести сумеет только князь.

Аталанте сбегает по лестнице, срывает цветок. Замечает
Мону Лизу и молча кланяется ей.

Хочу я вам представить, Леонардо,
Супругу драгоценную мою.
Идите-ка сюда, моя синьора.

Мона Лиза

Я видела вас в доме у отца.
Давным-давно... Я девочкой была.

Пауза. Аталанте, прислонившись к стене, мурлыкает
песенку, позванивая на лютне. Леонардо и Мона Лиза
смотрят друг на друга.

Аталанте (поет)

Вот утро встало —
Голубые горы.
Вот утро встало —
Голубые воды.
А почему
Грустишь ты, Аталанте,
И трусишь ты,
Бродяга-пилигрим?
Вот ты летел
Тропою соколиной.
Вот ты пришел
В Тосканскую долину.
Увы, Мадонна,
Бедный Аталанте
Не сам пришел,
Он жаждою гоним...

Леонардо

Вы девочкой остались, Мона Лиза.
Я помню вас... Вы Лиза Джерардини,

Дочь неаполитанского купца.
Ну вот вам и натура, Джокондо.
Я напишу для вас эту картину.

Д ж о к о н д о

Но нужен ведь младенец для Христа,
А я, синьор, увы, пока бездетен.

М о н а Л и з а .

О, можно написать меня одну...

Д ж о к о н д о

Но так никто не делает, синьора.

М о н а Л и з а

А разве не приятно будет вам
Иметь изображение супруги?

Д ж о к о н д о

Ведь я своей живой жены владелец,
Зачем мне покупать изображенье?

Л е о н а р д о

Я напишу портрет ее, Джокондо.
Вам это ничего не будет стоить.

Д ж о к о н д о

Ну, это положение меняет,
Хоть я польщен, маэстро Леонардо.
Однако это странно для меня.
Я понимаю, написать картину,
В которой, скажем, что-то происходит,
Христа с апостолами... А, синьора?
А то отдельно женщину...

Л е о н а р д о

Д ж о к о н д о,

Изображение Мадонны выше
Любых апостолов.

А т а л а н т е

Аминь.

Леонардо

Прощайте, Мона Лиза дель Джокондо.
Хочу уйти и вспомнить все, что было,
Что удалось и что не совершилось.

(Уходят.)

Мона Лиза

Как хорошо... Ты слышишь, о Анита?
Он не уедет!.. Нет, он не уедет...

Анита

С ума сошла?..

Мона Лиза

Оставь меня, Анита.

Анита

(после паузы)

Ах, вот что вы задумали, синьора!

Молчание.

О господи, а мне и невдомек!
Ну нет, змея, меня не проведешь!..
Тебя еще ребенком я узнала!
Не допущу, чтоб ты себя сгубила.

Мона Лиза

Ты ничего не можешь изменить.

Анита

Что ты сказала, дрянь? Да я сейчас
Пойду и кликну твоего супруга!

Мона Лиза

Нет, не пойдешь...

Анита

Иду сию минуту!

Мона Лиза

Пойдешь — я отравлю тебя, Анита!

Анита

Ты это мне сказала, Мона Лиза?..
Иль мне послышалось?..

Мона Лиза

Или себя... Мне все равно... Как хочешь...

Анита

Ох, девочка моя! Цветочек ясный!
Да кто же он такой, он дьявол?!
Да ведь ему уже за пятьдесят!
Твой муж его на десять лет моложе!

Мона Лиза

Оставь меня, Анита... Голова горит...
Прости меня, Мадонна! Это он!..

...После той картины Василия Ивановича Сурикова и того долгого возле нее сидения на стульях мы сблизились с Княгиней.

Мы накинулись друг на друга как голодные. А тут смотрю — изменилась моя Княгиня, другая женщина стала. Какое там воспитание! Все полетело куда-то.

Сначала я обрадовался, а потом смотрю — дело не в ту сторону полетело. Полет, видно, тоже разный бывает. Душа у нее от той музыки цвета раскрылась, но душа неумелая, и чем занять себя — не знала, все в темные ночки ушло. Была она спящая, а теперь проснулась.

— Что это мы делаем? — иногда спрашивала она меня.

А мама ее, дура, говорит:

— Наконец-то ты женщиной стала, наконец-то... У меня билеты есть на фестивальныи просмотр. Прелестный современный фильм.

А в прелестном современном фильме — бордель.

— Ты знаешь, Коля, во всем мире сексуальная революция. Наверно, так надо.

— А как же любовь?

— А я только сейчас поняла, какая бывает любовь. Не знаю, что ты чувствуешь, а я чувствую что-то неопи-сваемое.

И я начал чувствовать что-то неопи-сваемое.

Юбки пошли короткие, ноги стали открытые до самого «ура!», до «боже мой». Одна фирменная девчонка лозунг бросила: «У кого ноги мини — те носят макси, а у кого ноги макси — те носят мини». В газетах писали — шоферы в столбы

врезались, когда мини проходили по тротуару. Потом примелькалось. Теперь в моде макси и сапоги солдатские, и стало жаль тех вытарщенных коленок. Как на человека угодить?

А я тогда вспомнил «Девушку с горностаем», умницу, и думаю — где же я? Куда я девался?

А я уже тогда влез в эту эпоху Возрождения и книги читал пудами. И чем больше читаю и по музеям хожу, тем больше, мне кажется, Леонардо понимаю. Хаос у них там был в эпоху Возрождения, а Леонардо пытался жизнь человека осмыслить и найти главную линию, линию красоты. Но житья ему не было. Все точно взбесились.

Особенно из книжек про Леонардо мне запомнилось — Габриэль Сеайль, «Флорентийские чтения». Волынский не понравился — одни стоны. Всего Леонардо прочел от корки до корки, издание «Академия». На Гуковском — плевался. Гуковский Леонардо дилетантом считал, а сам доказывал, что эрмитажную «Флору» не Мельци написал, ученик Леонардо, а сам Леонардо, и что это и есть «Джоконда», а не та, что в Лувре висит, — так у него получалось по его вычислениям. Я в Ленинград смотался, смотрел. Слабо. Складки на рукавах как белье на веревке — макаронами, а у Леонардо в складках ритм... А «Мадонна Литта» эрмитажная — под вопросом. Наверно, вопрос профессор Гуковский поставил. А уже мне было ясно, что, кроме Леонардо, ее просто написать было некому. Я уже тогда все картины Возрождения мог на репродукциях вниз головой узнавать. Зрительная память у меня развилась как у фотоаппарата — щелк, и намертво. А тут я еще достал книги — «Быт и нравы Италии эпохи Возрождения», кажется, Бургхарта какого-то, и совсем ополоумел. Кондотьеры грызутся как пауки в банке, резня идет, отравляют друг друга, колдовство, ведьмы, Содом и Гоморра, Макиавелли советует, как в князя пробираться, Цезарь Борджа родственников приканчивает, художники крепости строят, Савонарола картины жжет, призывает очиститься от скверны роскоши.

Днем работа — это дело четкое. Вечер и полночь — постель, где Княгиня помаленьку ведьмой становится. Под утро — выписки сортирую — зачем? — еще сам не знаю. Тут ее мать в отпуск с собой увезла в санаторий. Я один в пустой квартире как с цепи сорвался — почти спать перестал. Два часа перед работой спал, а после работы — домой. Все хотел жизнь того человека себе представить и как он столько мог успеть.

Но тут все кончилось, как и надо было ожидать.

Съел я всухомятку кусок сыра плавленого и кильку, и у меня рвота и понос.

А годом раньше холера была. Все тряслись.

Наутро встать не могу. Вызвал доктора. Тот расспросил меня брезгливо. Приехала машина, и меня — в поносную больницу.

Холеры не оказалось. Говорят — дизентерия, будем ждать анализов.

Поносники в домино режутся, а я им про Леонардо рассказываюдохлым голосом.

Спрашивают:

— Ты интеллигент?

— Нет, — говорю, — работяга.

— Так какого тебе хрена до этого Леонардо? Садись, козла забьем. Или ослабел?

— Ослабел.

А потом на электроректоскопии не выдержал и заплакал. Я такого унижения ни разу в жизни не испытывал. А докторша, молодая, красивая, говорит:

— Ну что вы так волнуетесь? Это же обычное дело.

— Не могу, — говорю. — Или отпускайте, или удавлюсь к чертовой матери.

— Не могу. Ждите анализов.

А ночью пришли строчки. И я даже не сразу понял, что это стихи, но без рифмы.

До утра просыпался раз десять и проверял, не забыл ли.

Утром записал.

И тем же утром анализ пришел — нет дизентерии, острый нервный колит. Доконал себя.

— Отпустите, — говорю. — Буду долечиваться дома. Я погибну здесь.

— Очень вы чувствительный.

Однако отпустили.

Приехал домой. Лежу, в потолок смотрю. Рискнуть, думаю, или нет?

Я стихи писал, пьес никогда не писал, да еще в стихах. Я же не Шекспир, я просто девушку с горностаем полюбил; и Леонардо, и Александра Иванова, и Василия Ивановича Сурикова. Мне ж пьесу не осилить, а не осилю — брошу. А если осилю, что с ней делать, с этой пьесой, а? А у самого трепет, и, чувствую, лечу, влечет меня куда-то угрюмая чужая сила, и уходит день... на башнях облаков... певучий след... оставил тихий вечер... — неужели началось, думаю, —

уходит день... как горестно... как жалко... еще один поклон календаря...

Ну а дальше — начал эту пьесу писать.

Якушев мне сказал:

— ...Искусство, конечно, произрастает на почве. Но забывают, что злак хотя и произрастает на почве, однако не порождается ею.

Это раньше думали, то мухи рождаются от гнилого мяса. Теперь знают, что мухи рождаются от мух.

Поэтому хотя художник и рождается в среде, он рождается не от среды, а от художества, в нем заключенного, как настоящий ученый рождается не от образования, а от ума.

Образование и среда могут только либо помочь, либо помешать развернуться тому, что положено.

Поэтому так часто искусство контрастно к среде, в которой оно возникло, но которой не порождено. Пришла пора ему родиться, и оно рождается, когда благодаря, а когда и несмотря на почву. Хотя находятся умники, которые думают, что это не так.

По их логике выходит, что Пушкин-поэт родился потому, что его прогрессивные идеи оттачивались на николаевском булыжнике. А ведь дети понимают, что его поэзия — это цветок, который ломает даже асфальт. Дети-то знают.

А занимательная эстетика, эта странная наука, единственная, которая не требует проверки на практике, вместо того чтобы изучать условия наилучшие для произрастания штучного цветка, дает рекомендации всем цветам скопом, как им ломать асфальты.

А цветок смотрит — его в пустыне угораздило родиться или в цветочном магазине, ломать ничего не надо, и главное — не сгнать от голода или перекорма.

Занимательная эстетика хочет быть наукой, а наука ищет правила. А у искусства одно правило: каждое произведение — это исключение. Как любовь.

И тут кончается сходство произведения искусства даже с цветком.

У цветов есть сорта. Но розы одного сорта прекрасны даже одинаковые, а один стих, написанный дважды, — это всего один стих, а не два.

В природе и ремесле стандарт может быть прекрасен, в искусстве — нет.

И выходит, что искусство даже и не природа?

Природа. Только другая. Невидимая и неуловимая.

Так какого же черта? Как может эстетика изучать неуловимое, если она хочет быть наукой?

Между поэзией и искусством такая же разница, как между поэзией и стихами. Стихи — форма, поэзия суть. Стихи могут быть и без поэзии, их может насобачиться делать машина. Но уловить неуловимое, чтобы передать его потом в виде стиха, может только поэт. Стих имеет традицию — ритм, рифму и прочее — в каждом языке свою. Поэзия каждый раз рождается заново.

Наука занимается отделением кажущегося от действительности. И наука, изучающая науку, хочет понять, как впечатления сменяются знанием.

Искусство же занимается созданием впечатлений, которые влияют на человека, то есть на его желания.

На человеческие желания влияют и знания. Но вовсе не так крупно, как принято считать. Я знаю, что курить вредно, но курю. Я должен или испугаться, или почувствовать отвращение, тогда брошу. А если я применю волю, то это тоже желание, желание победить себя.

Искусство же может вызвать само желание бросить курить.

Оно только этим не очень хочет заниматься, хотя занимательная эстетика часто призывает его заниматься именно этим и считает это его главной задачей.

Искусство своими впечатлениями пробуждает поэта, художника или композитора в другом человеке. То есть делает этого человека на короткий момент творцом.

Творцом чего?

Многие думают, творцом стиха — если он предчувствует рифму, или композитором, если он предчувствует гармонию. Это ошибка.

Искусство делает его на короткий миг творцом самого себя.

Он догадывается о своих возможностях летать.

А иногда, если впечатление сильное и вовремя, он начинает думать, как с ними поступить, с этими возможностями.

Для ученого чужая душа — потемки и туман, и он пытается, не понимая своей души, понять чужую. А для художника — натянута струна и тихо звенит в тумане, и он

умеет сделать так, что она вдруг зазвенит отчетливо и в лад с мирозданием.

Я не знаю, может ли эстетика стать наукой или искусством — чем-то она должна стать, если она хочет существовать. Иначе от нее рано или поздно отплюются, как от схоластики. Если она хочет стать наукой об искусстве, она должна изучать впечатления.

Если она хочет стать искусством — она должна их породить.

Третьего не дано.

Третье — это новый способ мышления, которым человечество еще не владеет и о котором отдельные люди только догадываются.

...— Илларион, а что ты будешь делать, когда сломаешь все старые дома?

— Их еще много в нашем городе.

— А потом?

— Есть другие города.

— А когда и их прикончишь?

— Начну ломать новые дома.

— То есть как? Зачем новые?

— Они тогда станут старыми.

—...Илларион, говорят, ты что-то изобретаешь?

— Да. Машину для разрушения железобетонных домов.

— Надо готовиться к будущему?

— Да.

— А зачем машина? Взрывавай — и все.

— Взрывы опасны, а балдой железобетон не возьмешь.

— А что за машина?

— Вроде огромных челюстей. Будут отламывать целые блоки.

— Послушай, Илларион, ведь это страшно дорогая машина.

— Ну и что? А сколько домов ломать придется? Окупится.

— И страшно сложная машина, и громоздкая, и как ты будешь ее громоздить на двадцатый этаж?

— Окупится. Зато автоматика — престиж.

— Слушай, а зачем челюсти и автоматика? Можно просто забросить крюк на последний этаж и лебедкой за трос тянуть — будет отламывать целые этажи.

— Нельзя.

— Почему?

- Чересчур просто.
- Ну и что плохого?
- Никто мне это не утвердит как изобретение и платить не будет. А у меня все на лазерах.

СЦЕНА 2

Остерия близ Флоренции. Пасмурный вечер. За каменной стеной ветер сгибает кроны деревьев. Поваленные скамьи и столы.

Ф а н ф о я

Проклятые настали времена...
Батиста, эй, Батиста! Испугался?
Не бойся, дурачок. Ушли они.

Б а т и с т а

Ушли?

(Вылезает из подпола.)

Ф а н ф о я

Да вылезай же, надо все прибрать.
На то мы и хозяева трактира,
Чтоб наблюдать все драки по округе.
Ты вылез? Молодец, Батиста.
Ну а теперь обратно полезай.
Опять идут солдаты.

Б а т и с т а

Ох!

(Скрывается.)

Ф а н ф о я

Э, погоди... Солдаты — это мелочь.
Здесь едут поважнее господа.
Постой, постой... Да кто ж это такой?
О господи! Ведь это Леонардо...
С солдатами... Батиста, черт проклятый!
Ты вылезешь из ямы наконец?!

Б а т и с т а

Иду, иду...

Ф а н ф о я

Да не иди — лети!
Беги в деревню мужиков скликать,
Ведут сюда солдаты Леонардо.

Б а т и с т а

Маэстро Леонардо в плен попал?!
Проклятые! Хозяин, задержи их!
Сейчас мы все придем, мы им покажем...
А бочку ту вина, что ты мне должен,
Ты выкати солдатам — пусть напьются,
Не упусти!

Ф а н ф о я

Да знаю я.

Б а т и с т а

Бегу...

С шумом входит группа людей, окружая Леонардо. Он очень возбужден. С ним ученики, солдаты, незнакомец.

Л е о н а р д о

Зачем меня в пути остановили,
Я шел один... Оставьте одного...

Н е з н а к о м е ц

Спокойнее, маэстро Леонардо.

Л е о н а р д о

Пока я был спокойным, злые ветры
Деянья уничтожили мои.
Спокойнее?! Да кто ты, человек?
И почему вокруг меня солдаты?

Н е з н а к о м е ц

Мои солдаты охраняют вас,
Чтоб попугать немного мародеров.

Л е о н а р д о

О! Попугать! Перепугать до колик!
Одни бояться тех, другие этих,
Все вместе же всевышнего бояться.
Уменье человека испугать —
Воистину великая заслуга.

Незнакомец
Но преимущество великое!

Леонардо

Да, да!

Спасаться от набега мародеров
Удобнее за спинами бандитов.

Незнакомец

Спокойнее, маэстро. Так не надо.
Вина, хозяин! Живо! Получай...

Фанфоя

Приветствую вас, мастер Леонардо!
Давненько не заглядывали к нам.
А мужики добром вас поминают,
И вас самих, и ваши чудеса.
(Усиленно кланяется.)

Леонардо

А... Фанфоя... Столько лет прошло, а ты все кланяешься...
Не ходи на четвереньках — ты же человек, Фанфоя. Стой прямо
даже перед самим Папой.

Фанфоя

Что вы, синьор Леонардо, перед самим Папой!.. Чуть увижу
кого в хорошей одежде, спина сама гнется, как у выдры.

Леонардо

А ты все тот же, что и был, Фанфоя,
Неграмотен, как францисканец-минорит,
Но весел.

Фанфоя

Потому и весел,
Что я неграмотен.

Леонардо

Не притворяйся, друг,
Что ты глупей, чем есть на самом деле.

Фанфоя

Вы сильно постарели, мой синьор,
Зато успели много, слышал я.

Леонардо

Деньгами нищ. Разлуками богат.

Фанфоя

Я не о том, синьор. Я о картине вашей,
О памятнике конном говорю.

Леонардо

Картина бесконечная моя,
Что «Тайною вечерей» называлась,
Тихонько гибнет в трапезной миланской.
Картина осыпается... Через нее
Монахи прорубили дверь на кухню...
Чтоб ближе путь был с кухни до желудка...
Они сломали фреску в месте том,
Где ноги нарисованы Христа...
Они в который раз его казнили.
А конная громада князя Сфорца...
Гасконские веселые стрелки
Ее из арбалетов расстреляли,
Такие же веселые, как ты...
Такие же неграмотные...
...Милан пылает...

Незнакомец

Все вон отсюда! Леонардо плачет.
Я, Цезарь Борджа, это говорю!

Все в страхе уходят.

Вот видите, маэстро, сеять страх
Необходимо иногда. Не так ли?

Леонардо

А-а... Это вы тот самый Цезарь Борджа,
Вокруг которого в большом числе
Внезапно умирают люди... Даже братья...

Цезарь

Последнего б не надо говорить.
Да, я тот самый Цезарь Борджа,
Которому вы будете служить.

Леонардо

Я вам... служить?! О, пресвятая дева!
Веселый человек вы, Цезарь Борджа!

Служить вам?! Чем? Ведь я художник, сударь,
А вам необходимы мясники.

Цезарь
(вежливо)

Вы первый человек на этом свете,
Который оскорбил меня два раза
И все еще живой.

Леонардо
(равнодушно)

Возможно.

Цезарь

Вы будете служить мне, Леонардо.

Леонардо

Служить? За что? За страх или за совесть?
За страх? Так я единственно боюсь,
Что в вашей свалке потеряю совесть.
Служить за совесть? Так с какой же стати
Служить своекорыстию князей?
Прекрасный князь, гляди, по всей планете
Идет объединение земель.
Кастилия сомкнулась с Арагоном.
Во Франции Людовик, старый коршун,
Давно закончил сбор коронных ленов.
В Британии еще Эдвард Четвертый
Остановил войну кровавых роз.
А на востоке исполин Москва
С веселым хрустом расправляет плечи.
И только нам, Италии одной,
Невозмогу сложиться в государство!
Глупее мы? Бездарнее? Несчастней?

Цезарь

...Постой...

Воин
(вбегая)

Засада, Цезарь!

Вбегает Зороастро и хватает воина. Вбегает Батиста.
Толпа крестьян.

Батиста
(с кистенем)

Назад от Леонардо! Берегись!

Пауза.

Крестьянин

Да нет... Здесь вроде все в порядке.

Леонардо

В чем дело, молодец?

Батиста

Да нет... я что ж...

Крестьянин

Уж больно долгий разговор у вас.

Как бы чего не вышло, мы того...

Цезарь

Солдаты где? Ко мне!..

Крестьянин

Так мужики

Их повязали, вишь, на всякий случай,

Как бы чего не вышло, говорю...

Цезарь

Так, значит, западня...

Леонардо

Нет... тут ошибка.

Фанфоя

Вы нас простите, мастер Леонардо,

Народ обеспокоился. Был слух,

Что вас солдаты захватили силой.

Ну, поднялись. Кричат, мол, отобьем.

Я говорил им, что синьор красивый

Первейший друг маэстро Леонардо.

Неграмотные. Серая скотина.

Вино его пропало...

Леонардо

Чье вино?

Ф а н ф о я

Да он вина бочонок небольшой,
Что заработал в нынешнее лето,
Пораздавал солдатам.

Л е о н а р д о

Так, значит, ты вина лишился, парень?
Ну, это поправимо. На, держи.

Б а т и с т а

Не надо денег, мастер Леонардо.
Ведь я из тех мальчишек, вы забыли,
С которых вы писали херувимов.
(Падает на колени.)
Возьмите меня, мастер Леонардо.
Вы не смотрите, что худой. Я сильный.

Л е о н а р д о

Куда, чудака? Куда? Ведь я и сам,
Увы, не знаю своего пути.

Ф а н ф о я

Мальчишка бредит вами день и ночь.
Сам он ничей. Подкидыш.

Л е о н а р д о

А... Подкидыш.
Но я и сам подкидыш в этом мире.
Идем, подкидыш. Ты меня пронзил.
Милан горит. Я думал, уезжая,
Что позади все созданное мной,
Что я ограблен и что впереди
Ждет темнота лохматая меня.
Я неожиданно разбогател. Вперед!

Ц е з а р ь
(властно)

Все вон отсюда!... Разговор не кончен.

Все уходят, кроме Леонардо, который стоит, заложив руки за пояс.

Так слушай же, художник, речь мою.
Пусть тайна свяжет нас сильнее клятвы.
Судьба дает единственной случай
Тебе для совершения мечты.

Отец мой, Папа Александр шестой,
Не будет мне помехою... Поедем!
Поедем вместе... Слышишь, Леонардо?
Послужишь ты Италии единой.

Молчание.

Леонардо

Ты произнес единственное слово,
Которое меня заставить может
Игру затеять даже с чертом.
Ты это знаешь, Цезарь?

Цезарь

Знаю.

Леонардо

Нет... Не поеду... Я словам не верю.
Останусь во Флоренции. Прощай...

Цезарь
(страстно)

Но это будет! Будет! Я клянусь,
Что встанет вся страна под мою руку!
Пускай испанец родом, но страну
Один лишь я объединить сумею!
Ведь я и есть тот самый государь,
Которого ты ищешь столько лет,
Скитаясь по стране, как бледный призрак!
Тот государь, что сам осуществит
Безумные фантазии твои,
Что сеют только смуты среди черни!
Пойду на все, лишь ты бы мне служил!

Леонардо

Не знаю... я подумаю... не верю...

Цезарь

О, Леонардо!

Леонардо

Нет! Когда увижу я,
Что ты всерьез за это дело взялся,
Приду к тебе тогда служить на совесть.

Построю тебе дамбы и каналы,
Украшу города твои, как в сказке.
Разбогатеют люди и в довольстве
Не станут убивать себе подобных.
И расцветут науки, и тогда
Останется подняться лишь на воздух
На крыльях тех, что я построю людям.
Пока прощай!

Цезарь
(зачарованно)

Прощай... И жди гонцов.

Леонардо уходит. Остается Цезарь.
Тихий, одинокий, жесткий восторг.

Да, крепкий был орешек. Никогда
Не уставал я так от разговора.
Победа! А? Но какова победа?!
Нежданное свалилось мне богатство...
Медици, толстопятые купцы,
Такого великана проглядели!
И Сфорца не сумели разгадать,
Не дали развернуться Леонардо!
О, господи, спасибо за удачу!
Благодарю за то, что надоумил
Ты песню об Италии пропеть.
Ну, я тебя не выпущу, маэстро.
Ты мне дороже княжества иного.
Сначала ты послужишь мне за совесть.
Потом служить начнешь мне из-за страха,
Что я тебе не дам служить за совесть.
Ну а потом послужишь и за деньги.
Меня недаром Цезарем зовут.
Так и маэстро говорит — вперед!
(Уходит.)

...Жизнь раздвоилась. И стал я жить двумя жизнями.
Не мог я больше думать, о чем прежде думал. Стало
мне жалко людей, и восхищаться я стал людьми. И чем
больше я жалел людей и восхищался ими, тем больше
катилась моя жизнь в непонятную сторону.

— Запретить бы это искусство к чертовой матери,—
сказал Илларион.

— Нельзя. Что останется? Водку жрать?

— Ты посмотри, что с собою сделал!

Умный я стал до противности, а все дурак дураком. И не могу понять, отрываюсь я от жизни или приближаюсь к ней. А в чем она, жизнь?

Якушев говорит:

— В том и жизнь.

— Так ведь у меня несчастья начались, дядя Костя. Княгиня моя от меня уходит куда-то вниз под гору. А я ее только теперь любить начал.

— Изменяет?

— Нет еще.

— А раньше ты счастлив был?

— Спокойный был.

— До конца?

— Нет. Все тянуло куда-то.

— Куда тянуло, туда и пришел, — говорит Якушев. — Значит, ты такой, а не какой-нибудь другой. И ничего с этим не поделаешь.

— А кому это нужно, то, что я делаю?

— Кроме тебя?

— Да. Кроме меня.

— Это будет видно только в конце работы. Вначале — неизвестно. Тебе людей жаль?

— Жаль.

— Значит, есть надежда, что твоя вещь будет им нужна. Живи с надеждой.

Княгиня говорит:

— Что ты делаешь, Коля? Что делаешь?

А что я делаю? Я и сам хочу понять. А пьеса движется.

Мать ей говорит:

— Бросай его. Немедленно.

— Не могу.

— Ты несчастлива. Годы идут. Ты же красавица. Хочешь, я тебя устрою в кино сниматься? У меня связи. Бросай его.

— Мама, я им гордиться начала, мама...

— Кем гордиться? Этим... этим... Вам надо срочно выяснить отношения.

А для нас это уже пройденный этап. Навыяснялись.

— Я боюсь за тебя...

— А я за тебя...

— Тебе надо срочно менять жизнь...

— И тебе...

Дальше этого не шло. Укатались.

И тут я стал замечать, что мне перестали нравиться пьесы, артисты, стихи, фильмы, картины, книжки. Не все, конечно, а большинство. Не потому, что я стал замечательно писать, нет, куда там, а потому, что они незамечательно написаны. Стали нравиться несколько человек из каждой художественной профессии. Я даже списки себе составил из наших и иностранцев.

Из наших — Пушкин и Герцен, художники — Александр Иванов и Суриков и еще почему-то — Рокотов, из драматургов — опять же Пушкин, а если до конца честно, то сцены из рыцарских времен. Из непонятных произведений — «Слово о полку Игореве». Из «Божественной комедии» — «Ад». Из иностранных пьес, если до конца, то «Король Лир» — твердая какая-то пьеса и горькая до сухоты. Вебстер понравился — это я для себя открыл, а его почти никто не знает. Еще открыл для себя «Лорензаччо» Мюссе. Из кино — «Чапаев» и «Аэроград», «Ночи Кабирии», «Новые времена». Из Рембрандта — больше всего — последний автопортрет с полотенцем на голове, из Веласкеза — последний портрет короля Филиппа — будто одним росчерком вылеплен опойный человек, разученный художником наизусть. Из «Фауста» мне вторая часть нравится больше первой, потому что в ней есть тайна, а в первой все понятно.

И выше всех художников для меня Леонардо да Винчи, и сам он — как он смотрит, старый, с последнего автопортрета — орлиные пронзительные очи... глядят на нас с Виндзорского портрета... и стянут рот неутолимой жаждой... у Леонардо... старческие кудри... спадают вниз... скрывая под собою... размах надменный плеч богатыря...

Прочти, Княгиня. Видно, ничего поделывать нельзя.

Якушев мне сказал:

— ...Откуда взялась эстетика? Очень хочется научиться писать хорошо. Но как научиться делать то, чего до тебя никто не делал?

...Великое не ошеломляет. Ошеломляет громкое и виртуозное.

В музее Пушкина висит портрет брата Рембрандта и небольшая картинка — Ассур, Эсфирь и еще кто-то, кажется,

Аман. Ну, брат это брат, родственник. А кто такие Ассур, Аман и Эсфирь — не помню. Что-то из Библии. Знал, но забыл. Но всегда помнил, что Рембрандт — великий художник. А почему великий, было неясно, хотя экскурсоводы так настаивали. Лучше других человека изображал? Чемпион по изображению человеков?

...Если пройти все залы до Рембрандта, то когда выйдешь на Рембрандта, то будто из темного леса вышел на свежий простор.

Одна женщина все спрашивала — почему люди не летают? Это кто как. Кто летает, а кто и нет.

Рембрандт летал.

Потому что освободился. Больше всех освободился из окружавших его людей и художников. Больше всех освободился. От единого для всех гладкого приема, от богатой жены и богатства, которое приносили ему его первые виртуозные картины, от себя прежнего освободился. И стал он не чемпионом по изображению человеков, а чемпионом писания картин, в которых видно, что не надо цепляться и пыжиться, а надо освободиться.

И тогда кисть его стала летающей, как сердце в храме вселенной, и неслыханно просты стали его картины.

Он освободился.

Как Пушкин, как Моцарт, как Рабле, как Шекспир, как Веласкез, как Гойя, как Григорий Сковорода, как беспризорный гений, который написал выше всех, потому что залетел выше всех, куда залетать нельзя.

Позабыт, позаброшен, с молодых юных лет
Я остался сиротой. Счастья-доли мне нет.
Ох, умру я, умру, похоронят меня,
И никто не узнает, где могилка моя.
И никто не узнает, и никто не придет,
Только раннею весною соловей пропоет.

Потому что искусство — это свобода, а что не свобода, то не искусство. А что свобода, то полет. Сам ли ты взлетел или еще взял с собою того, кто не летает, — это от силы твоей.

И самый могучий здесь Леонардо, незаконный сын своей эпохи и нотариуса из города Винчи.

Потому что он взлетел, подняв за собой Землю, и там, в высоте, жил, и умер, и похоронен в будущем.

СЦЕНА 3

Сад в доме Джокондо. А н и т а расставляет кресла.
Открывает калитку — видны горы. Входит М о н а Л и з а.
Нервничает.

А н и т а

Глаза бы не глядели на тебя.
Ты вся горишь.

М о н а Л и з а

Иди, иди, Анита.
Я счастлива, Анита... Вот и он.

Входит Л е о н а р д о. Поклон. Мона Лиза садится в кресло.
Леонардо устанавливает мольберт с портретом.

Л е о н а р д о
(печально)

Начнем сначала. Мона Лиза... шаль...

М о н а Л и з а

Что? Ах, простите...
(Накидывает шаль.)

Л е о н а р д о

Мона Лиза, я...
Не вижу помощи от вас в работе.
Так дальше бесполезно... Что?
Минуточку... Так... Хорошо...

Д ж о к о н д о
(входя)

Маэстро!
Вас спрашивают некие синьоры.
Они...

Л е о н а р д о

Пусть подождут! Потом... мы продолжаем.
Нет, нет, совсем не то! О, Мона Лиза!
У вас в лице тревога. Так нельзя!

По дорожке пятится Д ж о к о н д о. Не обращая на него
внимания, движутся т р о е.

Д ж о к о н д о

Синьоры, я прошу вас обождать.
Маэстро обождать велел, синьоры.

Его оттесняют.

Л е о н а р д о
(раздраженно)

В чем дело?

Д ж о к о н д о

Я прошу вас!

Л е о н а р д о

Стоп, ягнятки!

Т а к к о н е
(надменно)

Мы люди Борджа...

Л е о н а р д о

Это видно сразу.

Т а к к о н е

Мы здесь закончили свои дела,
Теперь обратно к Цезарю мы едем.

Л е о н а р д о

Да мне какое дело? Дальше! Дальше!

Т а к к о н е

Он нам велел забрать тебя с собой.

Л е о н а р д о

Ты Уголино. Я тебя узнал.

Т а к к о н е

Цезарь сказал нам всем троим:
«Пойдите, привезите Леонардо».
Что он сказал, мы то и совершим.

Л е о н а р д о

Бездарный как художник, стал
Бандитом ты. Причем бездарным также.
Однако же бездарнее всего
Ты в роли дипломата, Уголино.

Такконе

Ну... осторожнее...

Леонардо

Достолюбезный Уго,
Давай-ка отношенья уточним:
Из двух одно. Я еду либо нет.
Когда не еду — мне плевать на вас,
А если еду — наплевать вдвойне.
Ведь сразу после моего приезда
Ты попадаешь под мою команду.

Микелотто

Ты прав, художник. Уходи, Такконе.
Бамбуччо, выводи коней. Ступай!

Двое уходят.

Меня зовут дон Микеле Кордова,
Прозванье Микелотто. Слушай, мастер.
Борджа торопит. Я его помощник.

Леонардо

Его условия?

Микелотто

Вот это разговор!
Условья те же. Делать все, что хочешь,
Награду же, какую сам назначишь.

Леонардо

(пишет)

Ступай, подумаю.

Микелотто

Цезарь торопит, мастер.

Леонардо

Сказал, подумаю.

Микелотто

...Ох, Леонардо,
Мне можно посмотреть на то, что пишешь?

Леонардо

Зачем?

Микелотто

Хочу уразуметь, из-за чего
Ты отказался от таких условий...
О господи! Портрет совсем готов!
Он больше чем живой!

Леонардо

Живой! Живой!
Одно твердят, как будто сговорились!
Вы что, слепые все?! Не понимаю.
Смотри, глаза похожи, рот и нос.
А где душа, что смотрит в окна глаз?
Где уголки трепещущего рта,
Души примета, пламенной и страстной,
Которая себя не понимает?

Джокондо

Что? Ха-ха-ха-ха... Вы извините меня, маэстро. Мне
вдруг смешно стало... Мона Лиза — страстная натура?..
Да я не знаю холоднее женщины, чем она!..

Леонардо

Возможно... вполне возможно...

Мона Лиза прерывисто вздыхает.

Джокондо

Я понимаю... Воображение художника... И тому по-
добное.

Леонардо

Вы правы, Джокондо... и тому подобное... и тому
подобное...

Джокондо

Ха-ха-ха-ха... Виноват, виноват... Ухожу...

Пауза. Леонардо поворачивается спиной к Микелотто и начинает писать.

Микелотто

Что передать мне Борджа?

Леонардо

Передай,
Что Леонардо ищет выраженья.

Микелотто уходит.

Ушел? Нет сил. Такая тишина.
Живу и сплю, и снятся мне кошмары.
Мне видятся расколотые скалы,
На них растут кусты корнями вверх...
И будто я повис на валунах...
Я мчусь, и я стою на месте.
Не понимаю, что со мной творится?
Вы очень терпеливы, Мона Лиза,
Вы терпеливо сносите все это:
Причуды пожилого человека,
Которому давно пора уехать.
Но он все ищет повода остаться.
Вот и сейчас подобной отговоркой
Я вызвал смех у вашего супруга.
Противны стариковские капризы!..

М о н а Л и з а

Но у него нетрудно вызвать смех!

Пауза.

Зачем произнесли вы слово «старость»
В тот миг, когда вы мальчиком казались?
Казалось мне, я вдвое старше вас...

Л е о н а р д о
(неожиданно)

Вы б не могли припомнить, Мона Лиза,
Что чувствовали вы в тот вечер,
Когда впервые вас я увидел... в саду...

М о н а Л и з а

Зачем вам это... Я не помню... Нет...

Л е о н а р д о

Ах, если б вам припомнить удалось,
Что вызвало в вас это выражение,
Которое ищу я. Ну, оставим.
Начнем сначала.

М о н а Л и з а

...Я припоминаю,
Пел песню Аталанте в этот вечер...
Вот, может быть, она?..

Леонардо

О! Аталанте!

Аталанте

Я здесь, мой Леонардо! Вот он я.

Леонардо

Послушай, мальчик, постарайся вспомнить,
Какую песню пел тогда в саду
Ты в первый вечер нашего приезда.
Ну, Аталанте! Вспомни, я прошу!

Аталанте

(смеясь)

Да что вы, мастер! Ну конечно, помню!
Ведь это же любимая моя!

(Поет.)

Вот утро встало —
Голубые горы.
Вот утро встало —
Голубые воды.
А почему
Грустишь ты, Аталанте,
И трусишь ты,
Бродяга-пилигрим?
Вот ты летел
Тропою соколиной.
Вот ты пришел
В Тосканскую долину.
Увы, Мадонна,
Бедный Аталанте
Не сам пришел,
Он жаждою гоним.
(К Леонардо.)
Ну что? Она?

Леонардо смотрит на Мону Лизу почти гневно.

Леонардо

Она... Нашел... Работать...
О, дай, природа, силы исполина,
Чтоб удержать дрожащий кончик кисти.
Я вижу, расцветает на холсте
Невиданною прелестью улыбка...

(Пишет.)

А т а л а н т е

Вы знаете, маэстро Леонардо,
Что я вам пел, увы, в последний раз!

Л е о н а р д о
(не сразу)

О чем ты, Аталанте? Не пойму.

А т а л а н т е

Я ухожу от вас... Надолго, может быть...

Л е о н а р д о
(гневно)

Ты разве друг?.. Ты враг мне, Аталанте!
Приходишь и уходишь, словно тень,
И душу мне тревожишь понапрасну.
Что ты задумал? Говори сейчас!

З о р о а с т р о
(входя)

Скажи ему... Скажи, так будет лучше...

А т а л а н т е

Я ухожу недалеко, маэстро...
Там бедняки решили восставать...
Смешной народ... Не терпят тирании...
Ну, в общем и так далее...

Л е о н а р д о

Нелепость.

М о н а Л и з а

Но вам зачем! Вы музыкант!

А т а л а н т е

Синьора,
Я сочинил им песню. И теперь
Они зовут послушать исполнение.

Л е о н а р д о

Резню нельзя резнею уничтожить,
Необходимы знания.

А т а л а н т е

Что ж, вы правы.
Но не могу им в песне отказать.
Ведь от моей пропетой к месту песни
У вас неожиданно двинулась работа.
Что ж... Может быть, начнется и у них.
Прощайте и простите, Мона Лиза.

Л е о н а р д о

Ну вот и все... Остановить нельзя.
Прощай, певун.

А т а л а н т е

Прощай, мой Леонардо.
Аталанте всматривается в лицо Леонардо.
Остановить нельзя... Вы знаете.

Л е о н а р д о

Иди.
Жизнь — это смерть. Живешь — теряешь.
Нашел улыбку — друга потерял.
Я провожу тебя. Прощайте, Мона Лиза.

Уходит.

А н и т а

Да что с тобой?

М о н а Л и з а

Устала я, Анита.

А н и т а

Сидела в кресле и устала?

М о н а Л и з а

Устала я, Анита.
Ты помоги добраться до постели.

А н и т а

Какая же постель в такую рань?

М о н а Л и з а

Мне надо выспаться. Ведь завтра снова он.

А н и т а

Ох, будь он проклят, тот портрет!

Мона Лиза

Анита!

А н и т а

Иду, иду!

Уходят.

Занавес.

Перед занавесом — Леонардо, Аталанте и Зороастро.

Леонардо

Когда со мной прощался Тосканелли,
Он говорил, что нет порядка в мире,
Что этой жизнью управляет хаос,
И наши все великие деянья —
Царапины на черепе земли.
Ты прав был, Тосканелли, а не я,
Когда в щенячьем молодом зазнайстве
Считал тебя я слабым, а не мудрым.
Страдает горемыка человек,
Плотины прорываются морями,
Ломают ядра крепостные стены,
И хрупки стены дома твоего,
И бьется сердца жалобный комочек,
И нет того, кто бы достиг покоя,
Страдает горемыка человек.
Надежды нет!

Аталанте

Спасение в познатье.

Леонардо

На дне познания горечь поражения.
Когда ты молод, непременно ждешь,
Что за углом разгадка всех загадок.
Когда ж зайдешь за вожденный угол,
То видишь не дорогу через хаос,
А спину любопытного юнца,
Что там стоит, откуда вышел ты.
Вот так мы ходим, как слепые мулы,
И вертим чью-то мельницу по кругу.
А кто-то сверху смотрит и смеется.

А т а л а н т е

Ты сдался, Леонардо?

Л е о н а р д о

Замолчи.

Взгляни наверх — ты видишь очи неба.
Я веровал, что стройный этот мир
Играет вековые мотивы,
Скрывает ослепительные тайны.
И станет жизнь как песня и как розы.
Что бедствия от глупости людей.
Но мысль о той гармонии — лишь сказка.
Вся эта жизнь — взбесившийся скакун.

А т а л а н т е

Ты сдался, Леонардо?

З о р о а с т р о

Нет... он струсил...
Но это поправимо.

Л е о н а р д о

Да... Уйди...

Зороастро и Аталанте уходят.

Л е о н а р д о

(один)

Тогда она звалась Моной Лизой.
Зачем ты мне приснилась, жизнь моя?...

...Вы заметили — я не рассказываю о своей жизни с момента рождения, о родителях, о пейзажах городов и селений, о своей трудовой деятельности.

Потому что для этой вещи все это не имеет значения. Почему так — не знаю. Но это так.

Я пишу только то, что имеет значение, и боюсь отвлечься.

Пьесу «Дорога через хаос» про Леонардо да Винчи я писал в отпуске. Потом взял отпуск за свой счет. Потом уволился с завода. Это был уже другой завод, не АТЭ-1, а маленький и слегка халтурный.

Потом мы проели все, что у нас было, и жрать стало нечего. Потом Княгиня ушла к администратору театра. Я видел его. Быстрый и ласковый, ласковый и быстрый. Настоящий пробивной мужчина. Княгиня поступила на работу и стала курить. По вечерам они играют в домино и лото. Княгиня забеременела. Я бросил пьесу и вернулся на завод. Жизнь наладилась. Я перестал летать.

—... Слетаем? — сказал Илларион.

— Куда? — испугался я.

— За бутылкой.

— Я разучился.

— Пить?

— Летать.

— Нет, все-таки нельзя, — говорит Илларион. — Ползи домой.

— А ты?

— Я тебе из компании позвоню.

Я приполз домой. Солнце закатывалось над Адриатическим морем.

Почему над Адриатическим? Не знаю. Вспомнил — Якушев мне рассказал.

Якушев мне рассказал:

— Общество живописи «Ослиный хвост» возникло так. Может быть, не все знают. Привязали осла к хвосту кисти. Подставили палитру. Осел помахал хвостом по палитре, потом по холсту. Получилась пестрая мазня. Картину назвали «И солнце закатилось над Адриатическим морем». Выставили. Картина имела успех. Потом долго смеялись. Но это уже ничего не могло изменить.

Оказалось, что, подчеркиваю, любое случайное сочетание красок на человека с воображением может произвести впечатление. Оказалось, что любой элемент живописи — линия, пятно, цвет и прочее могут производить впечатление независимо от предметов, которые они должны воспроизводить.

Я не знаю, как вам, но мне почему-то кажется, что Леонардо, который советовал отыскивать сюжеты картин, вглядываясь в пятна плесени на старых стенах, и Эйзенштейн, который после своих теорий монтажа понял, что монтируется все, — мне кажется, что они не глупей тех эстетиков, которые велят так не думать.

...Если картину можно рассказать, значит, она не до конца картина. Потому что колорит не расскажешь. Колорит — это музыка приемов. А как расскажешь музыку? Можно только подогреть интерес к встрече с ней.

...Иван Грозный убил сына. Репин написал об этом картину. Умиравший сын одет в розовый кафтан и зеленые сапоги. Если бы он был одет в зеленый кафтан и розовые сапоги — ничего бы не изменилось. Просто в этот день он был бы одет по-другому. А какая разница?

А если боярыню Морозову переодеть в оранжевое платье, то будет другая картина. Потому что у картины будет другая музыка. Потому что Репин не до конца музыкант, а Суриков — до конца.

Музыкой приемов мы изображаем видимый мир, но видимый мир можно изобразить и без музыки приемов. Это может сделать фото. Но такое фото не искусство. Потому что у него один прием — выбор факта. Но сам факт изображен не музыкой приемов.

А для чего она нужна, музыка приемов?

Чтобы научиться летать.

Сами приемы — ничто. Они просто следы полета или имитация его.

Если художник летал, то это передается рано или поздно. Если имитировал полет, то и это передается.

А как же осел, который намахал картину хвостом? Ведь в ней были одни лишь приемы, сваленные в кучу. Ведь это противоречит тому, что приемы — это следы полета.

Не противоречит.

Осел намахал не картину, а плесень на стене. У плесени на стене тоже нет задачи взлететь, но она может породить полет, если в тебе есть нечто от Леонардо.

Плесень — это хаос приемов. Но хаос в музыке тоже прием, если он помогает полету.

— ...Теперь тебе пора прикоснуться к Рембрандту, — сказал Якушев. — И не спорь с эстетиками. Гений всегда что-нибудь добывает, а эстетика потом учит добывать то же самое.

— Значит, эстетика не нужна? — спрашиваю я.

А я к тому времени прочел эстетику — шесть томов отрывков избранных эстетиков. Мне Илларион подписку устроил. Как раз начался книжный бум. Книжный бум — это когда книги не покупают, а вкладывают в них деньги в надежде на то, что бумаги всегда будет мало и их не переиздадут. И еще покупают престиж. Но не престиж культурного человека, а тоже престиж богатого. Старые картины не укупишь, да и как узнаешь, кто из нынешних художников станет классиком, а издательство знает, кого издавать. В барахле, коврах и хрустале наступило разочарование. О мебели и автомобиле и говорить нечего — каждый год новый образец. А книги чем старше, тем дороже. Даже захудалые.

— Илларион, как же тебе удалось подписку достать на эстетику?

— Шофер у меня есть знакомый, в театре работает. Сестра его жены в Будапеште живет, за венгра вышла, а его дядя здесь в торгпредстве работает, и у него в книжном магазине завотделом знакомая.

Ну, получил я эстетику. Читаю.

Якушев сказал:

— Если эстетика хочет быть наукой, она должна не картины изучать или книги, а создавать теорию творчества и теорию впечатлений. То есть изучать художника и зрителя. А картина — это посредник. Как можно деньги изучать, если не знаешь, как их зарабатывают и как тратят? И к художнику уже начали подступаться, даже наука появилась «эвристика», от слова «эврика» — «нашел».

— Это Архимед в ванной крикнул, — говорю я.

— Да, в ванной, — говорит Якушев. — А зритель — это еще терра инкогнита.

— Неизвестная земля, — говорю я.

— Затормози, — говорит Якушев. — Хватит книжки читать. Приглядишься к Рембрандту, а потом иди на улицу.

— А чего я там потерял?

— Себя, — сказал Якушев. — Себя.

...Потому что как слезы вызывают слезы, а смех — смех, следы полета одного человека помогают взлететь другому.

Потому что только для этого и нужно искусство. Все остальное можно получить в других местах.

СЦЕНА 4

Пасмурный вечер. Сад в доме Джокоondo. М о н а Л и з а одна.

М о н а Л и з а
(у картины)

Идет по свету слух о Джокоонде,
О чуде, что творит здесь Леонардо.
Друг друга перекрывшие эмали
Здесь сохранят мгновенья на века.
Плохие чудеса... Здесь злою кистью
В картину перелита жизнь моя.
Что смотришь на меня, проклятый образ,
Ведь ты — не я... Смотри, ведь я живая,
Я теплая... Смотри на эти руки...
А ты все та ж холодная доска,
О боже!

(Тяжко плачет.)

Ну будет... Ну довольно... Ф-фу... что плакать.

(Берет лютню, поет.)

Встала и задула свою лампу,
А луна высокая светла,
Знаю, знаю, что не нужно плакать.
Вот опять слезинка потекла.

(Выходит из калитки на пустую площадь.)

Ох, ты в беду попала, Джокоонда,
Цена твоей картины — жизнь твоя.

(Поет.)

Почему тоскливее всего мне
Эта мысль о том, что вдалеке
Обо мне ты никогда не вспомнишь,
Не узнаешь о моей тоске.

(Перестает петь.)

Наверно, Джокоонде неприлично
Петь песни на пустынных площадях,
Да и знобит... И в сердце словно ветер.
Нет, не дожить мне до конца картины!
Как тихо... Город словно вымер.
Пой или плачь — никто не отзовется.

Как радостно считаться Джокоондой.

Входит А н и т а.

Как тягостна мне жизнь моя, Анита.

А н и т а

Конечно, девочка моя! Конечно!
Портрет проклятый всех нас поедает!

М о н а Л и з а

Съедает и любовь мою... О боже!
Нет, больше не могу...

Д ж о к о н д о
(*входя*)

Что с ней, Анита?

А н и т а

А то, что нету жалости у вас.
Синьора ваша извелась совсем:
Да, у нее сил больше не хватает
Сидеть для бесконечного портрета!

Д ж о к о н д о

Ну, ну, капризы, Мона Лиза,
Бесплатно пишут, музыка бесплатно,
Живая остроумная беседа...

М о н а Л и з а

Он говорит с портретом... не со мной.

Д ж о к о н д о

Ну перестань. Какие пустяки!

М о н а Л и з а

Жена страдает — это пустяки?
Пускай страдает. Только бы бесплатно!

Д ж о к о н д о

Вы вспомнили, что я ваш муж, синьора?
(*Уходит.*)

Входят Леонардо, Зороастро и Франческо Мельци.
Мона Лиза садится. Леонардо пишет. Мельци поет.

М е л ь ц и
(*поет*)

Вот утро встало.
Голубые горы.

Вот утро встало.
Голубые воды.
А почему грустишь ты, Аталанте...

Леонардо

Что ты пропел мне?

Мельци

Песню Аталанте...

Леонардо

Ох, Аталанте! Где-то он теперь?
Увы, Мадонна,
Бедный Аталанте
Не сам пришел,
Он жаждою гоним.
Франческо, нет известий?

Франческо убегает.

Что такое?

Томазо, говори скорей... Ну, живо!

Зороастро

Восстание разгромлено в Ареццо...

Леонардо

Ну не тяни... Убит?.. Убит, я знаю...
Быть может, нет? (*Кричит.*) Да не тяни!

Зороастро

Убит.

Леонардо

Убит... Убит. Я это раньше знал...
Как он недолго пробыл у меня!
Но как я мог пустить его уехать?
Проклятая рассудочность моя...
Пустить мальчишку в чертову затею!
Тогда зачем нужны мы, старики?
Кто разгромил восстание в Ареццо?

Зороастро

Флоренция...

Леонардо

Воюет со своею слободой
Довольно. Хватит... Я преступно медлил.
Скоты! Убийцы! О, мой Аталанте!
Скорей! Скорей! На помощь тем живым,
Кого еще зарезать не успели!
Остановилось время... Я пишу портрет!
Презренный!.. Зороастро!

Зороастро

Да, синьор.

Леонардо

Где люди Борджа?

Зороастро

На подворье ждут.

Леонардо

Пусть ждут. Сегодня едем.

Мона Лиза

Нет... не уезжайте...
Нет, этого не может быть... Так вдруг?..
А как же мой портрет?.. А как же...
Нет, нет, я не хочу!.. Я не пушу вас!
У вас искусство!.. Нет, я не хочу!

Леонардо

Искусство в том, чтоб счастье приносить,
А я свернул со своего пути...
Скорей! Скорей! Коней влечет дорога!

Мона Лиза

Не уезжай, любимый...

Молчание. Все останавливаются.

Леонардо

Вы сказали...

Мона Лиза

Любимый мой... Как сладко говорить.

Леонардо
(задыхаясь)

Не верю я тому, что слышат уши.

Мона Лиза

Ну вот теперь ты знаешь... Все равно.
Пускай... Я столько времени молчала...
Да, я люблю тебя!.. Люблю тебя. Ты мой.
Ты никуда отсюда не уедешь.

Анита

Что делает она! Что говорит!
Опомнись! Ты ведь замужем!..

Мона Лиза
(с презрением)

«Мой муж»!
Когда отец мой умер в разоренье,
Меня ему отдали за долги,
Но душу за долги не получают.
Ты отказаться не посмеешь!

Леонардо

Я?
Мне отказаться от такого дара?!
Когда я сам люблю тебя всю жизнь!
Зачем тогда я мучился напрасно?
Что мне мешало попросить любви?!
О, боже, неужели этот мул,
Тебя купивший, как мешок овса?!
Всю жизнь я ждал, что встречу я тебя.
Не угадал лишь, как это случится.

Мона Лиза

Ты не уедешь?!

Леонардо

Сердце мое, рвись!

Мона Лиза

Ты не уедешь!

Л е о н а р д о

Люди, что мне делать?!
О Мона Лиза, неужели нам,
Как тем собакам, ухватившим кость,
Вползать обратно в конуру свою.
То, что в груди трепещет и поет,
Мне не позволит, чтоб, закрыв глаза,
Любил тебя, спокойно ел и пил,
Когда девчонок продают, как мясо,
И нищие детишки просят хлеба.
Их тонкие немые ручки
За сердце меня держат, Мона Лиза.

Молчание.

Италия разбита на куски.
А этот Цезарь хочет их связать...

М о н а Л и з а

Из-за своей корысти...

Л е о н а р д о

Да, я знаю.
Но он зовет меня, я буду строить.

Молчание.

М о н а Л и з а

Да... Ты уедешь... Я не угадала.
Уносит вдаль тебя чужая сила,
В чужую даль уносит от меня...
Я знаю, ты ошибся, Леонардо,
И знаю, что остановить нельзя.
Ты разобьешься, если не погибнешь,
Но ты найдешь дорогу через хаос.

Л е о н а р д о

Молчи! Молчи!.. Не говори ни слова!
Когда не можешь яркость глаз умерить
И изменить свои черты лица,
То притворись ничтожною бабенкой,
Болтающей о модах и соседях.
Скажи: «Кто не герой, тот не мужчина»,
Или: «Любовь есть женская стихия»,
Или еще какую-нибудь пошлость!..

Мона Лиза

Боже!

Леонардо

Молчи! Меня ты обессилишь!
И не гляди так на меня. Я тоже
Глядеть не стану больше на тебя.
Давай с тобой посмотрим на портрет.
(Кладет руки на спинку кресла, стоящего перед портретом.)
Прощай... Прощай... Здесь все, что я умел.
Здесь ты и я в портрете этом слиты.
Смотри в глаза, ведь это я смотрю.
Глянь на уста — твоя улыбка, видишь?
Я сделал удивительную вещь. Я знаю.
Здесь все живет и все поет, как песня.
Здесь руки разговаривать умеют,
Одна рука зовет — «Не уходи»,
«Прощай, прощай!..» — другая отвечает.
А голоса их в складках рукавов
Печальным отдаются эхом...
(Опускает голову на руки.)

Мона Лиза

(тяжело сглотнув, ровно)

Возьми с собой портрет мой, Леонардо.
Я так хочу... И эту шаль...
(Накидывает кружевную шаль на портрет.)
Прощай...

Франческо Мельци по знаку Зороастро снимает накрытый черной шалью портрет и выносит. Анита подходит к Леонардо, поднимает его голову и крестит его.

Потом ведет к дверям. Зороастро его выводит. Мона Лиза, зажав руками рот и широко раскрыв глаза, молча рыдает. Входит Д ж о к о н д о.

Джокондо

В чем дело, Мона Лиза? Что случилось?

Анита

(в замешательстве)

Расстроилась синьора потому...
Что прекратят писать ее портрет...
(Выводит Мону Лизу.)

Д ж о к о н д о

И-да... Странные особы эти бабы,
Все невпопад... и плачут и хохочут,
То не хотела продолжать портрет,
А то рыдает оттого, что хочет.

(Хлопает в ладоши.)

Входит мальчик.

Ты подмети да окна закрывай.
Свежо на улице...

Якушев мне сказал:

— ...Ужасающая бедность представлений об искусстве и полное неумение отличить ремесло от искусства у этой занимательной эстетики.

Чаще всего она спотыкается на двух порогах. Первый — законченность, второй — обучение.

Ремесло в жизни — великая вещь, ремесло в искусстве — это ремеслуха.

Ремеслуха любит, чтобы все было надраено — и сюжет и характеры. Ремеслуха — новенький кубок, желательно — сервиз на двенадцать одинаковых персон, а искусство любит кубок с отбитым краем и чтоб каждая штучная персона получила кубок по себе.

Ремеслуха любит букет из тридцати георгинов с гарниром из травы, а искусство любит икебану — один цветок, веточка сосны, кусочек мха и старый горшок.

Ремеслуха любит в рассказе завязки, развязки и прочие кульминации. Найдёт, как она выражается, элементы композиции — и счастлива. Все ружья стреляют, линии завершены, загадки раскрыты, и симметрия полная, как в детской игрушке «калейдоскоп» — пяток случайных стеклышек зеркалами отражается в узор.

А искусство любит фрагмент, размытые края, считает, что в конце работы надо зачеркивать экспозицию и финал и что рассказ — это все, что рассказано.

Ремеслуха любит классицизм, искусство — классику.

Ремеслуха любит предварительный план, а искусство — эскиз.

Ремеслуха любит Казанский собор не потому, что он искусство, а потому, что у него план понятный, искусство любит Василия Блаженного.

Искусство любит свой стиль, ремеслуха — ворованный.

Искусство любит позднего Рембрандта, ремеслуха — раннего.

Искусство любит «Новые времена» Чаплина, ремеслуха — «Огни большого города» того же Чаплина.

Ремеслуха любит интригу, анекдот и стакан воды, искусство — композицию впечатлений и сцены — можно из рыцарских времен.

Ремеслуха любит, чтобы первая сцена была причиной второй сцены, а искусство любит, чтобы причиной сцен было время, их породившее.

Ремеслуха любит школу, искусство — художника.

Искусство любит Чайковского, Сурикова, Горького, Станиславского, а ремеслуха — училища их имени, куда бы они сами не прошли по конкурсу.

Искусство любит песню, которая словом жива, а ремеслуха — подтекстовку под голосистые рулады, которая называется «рыбой» и ее можно научиться ловить.

Когда эпоха Возрождения начиналась, мальчик, желавший стать художником, выбирал себе мастера по душе и просился к нему в ученики. Растирал краски, бегал за водкой, постигал тайны мастерства чужого полета и готовился к своему. А когда эпоха Возрождения кончалась и полет эпохи иссякал, пришли рационализаторы, братья Каррачи — Анибале, Агостино и третий, забыл, как зовут, — и решили упростить проблему. Из чего состоит живопись? Из формы и цвета. Кто чемпион по форме? Микеланджело. Кто чемпион по цвету? Тициан.

Надо взять форму у Микеланджело, а цвет у Тициана, и всем станет очень хорошо. И появилась первая академия живописи, а из нее «Болонская школа» — великий Гверчино, великий Дольчино, великий Джордано и другие великие отличники производственного обучения, которых в музеях друг от друга не отличишь и которые всем хороши — только не летают.

А дело в том, что живопись состоит не из формы и цвета, а из рисунка и колорита. И их надо сочинять, а сочинять можно только летая. Потому что форма и цвет принадлежат предметам в жизни, а рисунок и колорит — картине, которая есть след полета художника и есть не причина полета, а средство для его выражения. И потому каждому художнику нужно свое. А чужое его полет прекращает.

А если насобачиться брать рисунок у Микеланджело, а колорит у Тициана, то получится муляж. Колбаса на витрине из папье-маше, которая и по цвету и по форме точь-в-точь колбаса, только несъедобная.

...Ремесло — великая вещь, и ему надо учиться. И половина наших невзгод оттого, что пироги печет сапожник, а сапоги тачает пирожник. А вторая половина бед оттого, что путаем искусство и ремесло.

Человеку нужны будни и нужны праздники. Чтобы будни стали праздниками, нужна песня души, нужно искусство.

Нужно сеять хлеб, и нужно летать. Но нельзя сеять хлеб в воздухе и приплясывать за плугом: не будет ни хлеба, ни полета.

...Но, может быть, самое интересное и потрясающее, что полет и само искусство — это не одно и то же. Не только в том смысле, что полет — дело души, а искусство — это материальные следы. Это мы уже поняли. Но полет души может совсем не выражаться в искусстве и может выражаться не только в искусстве.

Самое потрясающее в искусстве, может быть, то, что оно всегда полет не для себя одного, а всегда приглашение к полету других и многих.

Но как обучить полету, не умея летать?

Занимательная эстетика приглашает к полету, ползая по произведениям с восклицаниями. Художник же — как ветер!..

...Первую европейскую эстетику написал Аристотель, и из нее выучили три единства и четыре формулы трагедии. И забыли, что главным для поэта Аристотель считал его натуру, способную на «священное безумие», и забыли, что она была написана эллинской осенью, когда отцвели уже Эсхил, Софокл и Еврипид. И потому она никого из выучивших правила не подняла в полет, а поднялись в полет другие — Марло, Шекспир и Вебстер, пренебрегшие всеми правилами, кроме одного, — быть драматическими поэтами.

Но как часто голос песни заглушают комментарии к ней и книги почтенной памяти профессора Гукковского, который считал Леонардо дилетантом, а сам всю жизнь кормился исследованием его полета, хотя и не мог отличить ученическую «Флору» от мощной «Джоконды», у которой даже рукава платья выдают гения.

...Повествование о Леонардо, незаконном сыне нотариуса Пьетро да Винчи, зародилось у меня в дизентерий-

ной палате среди грохота домино, звереющих от скуки поносников и вони анализов.

Зародилась не идея написать о Леонардо или о дороге через хаос. Это пришло позднее.

Просто возникли стихи о Возрождении, и я даже помню какие:

Надменные крутые подбородки...
Лбы низкие прикрыты волосами...
Все отпрыски фамилий знаменитых...
Медичи, Сфорца, Борджа, Малатеста!...
Проламывают головы друг другу,
За два дуката отравить готовы,
И каждый норовит в государи...

...А потом из компании мне позвонил Илларион.

Якушев мне сказал:

— ...Имитаторы думают, что приемы — это средства полета, а это всего лишь следы его следы.

Полетишь — будут следы, а используешь следы — не полетишь.

А сальери пытаются обучать моцартов приемам и удивляются, почему те после этого не летают.

...А потом мне позвонил веселый Илларион и сказал:

— Ну чего ты? Приезжай. Мы тут сидим.

— Что-то расхотелось.

— Бери такси.

— Денег нет.

— Мы тебя тут «выкупим».

— А куда ехать?

— Близко.

— Близко шофер не повезет.

— Скажи ему — Петровка, 38 — поедет.

— А вы уже там?

— Нет. Дом рядом. Мы тебя встретим и проводим.

Я выполз из дому. Помахал. Поехал.

Приехал. Ждут. Трое на тротуаре. По росту — огромный — друг хозяйки дома, пониже — ее сын. Еще пониже — Илларион.

Я открыл дверцу. Меня вытащили и отдали сыну. Илларион и друг нырнули в машину. Она укатила.

Якушев мне сказал:

— ...Актеры любят играть Я в предлагаемых обстоятельствах. Приходит этот Я, и ему велят играть Корделию.

А он не Корделия, и в ее обстоятельствах повел бы себя иначе. И он начинает изучать психологию Корделии и не может ее понять. Потому что он не Корделия и лепечет что-то о своей жизни чужими словами, и стихи Шекспира ему мешают, и нам стыдно.

И выходит, что Я в предлагаемых обстоятельствах Корделии может получиться, если это Я равно Корделии, и тогда обстоятельства Корделии могут выявить его собственное Я. И тогда видно, кто ты — ананас или картошка, посаженная в тропиках и имитирующая ананас.

Про картошку тоже написаны стихи: «Тот не знает наслажденья-денья-денья-денья... кто картошку не едал-дал-дал». Но наслажденье-денье от картошки, согласитесь, другое, чем от ананаса. Картошка для повседневной жизни, ананас — для праздника. Забывают, что театр — это ананас.

Что это за артист, если он не поднимает меня в полет потому, что сам ползает по настилу в одежде не по росту?

...Повествование о Леонардо, незаконном сыне нотариуса, родилось у меня в дизентерийном бараке, среди грохота домино, скучающих поносников и вони анализов. Значит, там ему было суждено зародиться, а не в райских кушах занимательной эстетики.

Якушев мне сказал:

— ...Если вещь закончена, значит, какая-то суть выражена, и художнику даже кажется, что он ее исчерпал. А на самом деле это он исчерпался и налетался всласть, и на сегодня его полет закончен. И вот эту кажущуюся исчерпанность сути занимательная эстетика объявляет законом этой вещи. И изучает приемы этой законченности.

Микеланджело, глядя, как художники копируют его «Страшный суд», и пытаются изучить закон, по которому он построен, и принимают следы полета за правила, по которым они сами полетят, сказал:

— Многих это мое искусство сделает дураками.

...Мы все наследники эпохи Возрождения, а эпоха Возрождения — противоречивая эпоха, как, впрочем, и всякая другая.

С одной стороны — попытка вычислить полет и создать ему канон, с другой стороны — вспышки полета, этот канон сокрушающие.

Потом снова эпоха оккупации церковью полета.

Потом снова эпоха Просвещения и попытка полет вычислить и сотворить классицизм.

Потом снова эпоха романтизма и попытка слетать в духовное средневековье.

Потом снова науки на новом уровне хотят взлететь на вычислениях.

И снова гороскопы, буддийские календари и прочие зодиаки.

Идет смена трезвых и нетрезвых эпох, и почему-то никто не сделал простого наблюдения, что полет не зависит от мнений на его счет. Летают во все эпохи, и эпоха только среда, в которой рождаются летающий. Среда может направить полет или заглушить его, но не породить. И, значит, природа полета — в человеке, а не в квартире, где он живет, и не в соседях. Томмазо Кампанелла летал в каземате, когда сочинял «Город Солнца», а те, кто туда его запрятал, ползали по чисту полю, хотя и глазели на небо.

...Вернулся Илларион с огромным другом хозяйки.

Сын хозяйки дома стал играть на Илларионовой гитаре незнакомые песни, огромный друг то спорил с Илларионом насчет генетики, то рассказывал, как он освобождал Будапешт, то порывался сбежать на другой конец Москвы за магнитофоном, а мы с хозяйкой дома, милой женщиной, ели рыбу в томате и пили далеко не лимонад.

Потом мы с Илларионом вылезли из дома и пошли по Страстному бульвару, где на каждой скамейке сидели парочки в разнообразных ночных объятиях, и у каждой скамьи Илларион гитарой брал на караул по-ефрейторски — рука с гитарой и подбородок резко в сторону, а я говорил слова «приветствую вас». На последней скамейке парочка приняла нас за патруль и испуганно сказала: «Мы завтра расписываемся» — и мы вышли к кинотеатру «Россия», и стали махать руками таксисту с зеленым огоньком, зазывая его отвезти нас куда нам надо.

В такси обнаружился еще один седок, которому ока-

залось ехать в нашу сторону. Мы с Илларионом начали вспоминать стихи классических и популярных поэтов, а ездок сказал:

— Ребята, а вы не боитесь, что я бандит?

Я ему сказал:

— Раз ты бандит, ты обязан грабить. Вот тебе куртка и вот тебе гитара.

Он испугался и стал отказываться, а я сказал:

— Раз ты бандит, ты обязан грабить. Вот тебе куртка и вот тебе гитара.

А он испугался, и мы приехали к новому Илларионову дому.

— Жалко с вами расставаться, — сказал ездок.

— Пошли с нами, — сказал Илларион ездоку.

И он испугался совсем.

— Милый, главное — не нервничай, — сказал я.

Мы вползли в лифт и взлетели на двенадцатый этаж. Илларион стал читать стихи, а потом запел песню про ландыши, и ездок сказал:

— Какой сарказм.

И мы поняли, что нам попался инопланетянин.

— Ты вообще-то кто такой?

— Я артист театра ЦТСА на незначительные роли, — сказал пришелец. — И мне надо идти, потому что утром я еду в город Тулу читать басни Крылова.

Это был уже полный бред.

Илларион на этикетке от «Выборовой» написал ему рекомендательное письмо в Тульскую филармонию, и мы его отпустили.

Уже светало, и солнце поднималось над Адриатическим морем.

Якушев мне сказал:

— ...Можно знать о необходимости завязки, кульминации и развязки и не взлететь.

Надо взлететь, и тогда появятся и завязка, и кульминация, и развязка. Именно этого полета. Но они будут не те и окажутся не там, где их ожидали перед полетом.

...Другой профессор, не моргнув, обучал, что Ван Гог и Гоген — дилетанты, потому что не знали анатомии.

Хотя еще Леонардо, создатель анатомии, говорил:
— О живописец-анатомист, бойся показать знание мускулов.

...Когда инопланетянин на незначительные роли уехал в Тулу читать басни Крылова, Илларион сказал:

— Почему ты перестал писать?

— Потому что я перестал летать, — ответил я.

— А ведь ты говорил, что Аристотель велел поэту впадать в священное безумие?

— Священное, Илларион, священное...

— А что тебе мешает?

— Я теперь знаю все штучки, которые вызывают растроганную слезу или пугают, но не хочу их применять.

— А разве Аристотель не велел вызывать страх и сострадание?

— Он велел летать над страхом и состраданием. А ремеслуха велит ими торговать. Она велит написать, как дети играют на тикающей бомбе замедленного действия, и велит написать, как один герой подарил другому триста рублей. Автору это не будет стоить ни копейки, а зритель будет содрогаться и плакать. Ремеслуха велит брать конфликт, проблему, ее преодоление, интригу, характеры, идею, сюжет, композицию — варить до готовности; любовь, соль, перец и красоты слога — по вкусу.

— А искусство что велит?

— Искусство велит искать свои темы в глубинах потрясенной души нации.

— А как их искать?

— Жить.

— Живи. Чего же тебе не хватает?

— Священного трепета.

— Безумия?

— Трепета, Илларион, священного трепета. Аристотель трагедий не писал. Он их изучал. И трепет казался ему безумием.

— Я этот трепет каждый день испытываю, — сказал Илларион.

— Когда?

— Когда своей балдой старые дома ломаю.

— Как странно, — сказал я. — Странно... Раньше я и сам

так думал... Только сейчас понял, что ты не прав. Это другой трепет.

— А какой нужен?

— Который бывает, когда предчувствуешь весну.

— ...А как же Пушкин? — спросил Илларион.

— Что Пушкин?

— А Болдинская осень?

— Он сам был весна.

— У меня всегда по сочинению было «пять», — сказал Илларион.

— ...Все от трапа! — орал Илларион. — Отдать концы! Как провожают пароходы?! Совсем не так, как поезда!

Ну нас, конечно, на речной трамвай не пустили.

Оставалось одно — взяться за ум, то есть с юмором — ни-ни.

Поэтому мы пошли в театр.

И еще потому, что пора было снова прививать друг другу любовь к искусству.

...И в театре мы с Илларионом несколько часов смотрели, как артисты общаются друг с другом и обсуждают какие-то свои дела.

Иногда они вспоминали про нас и по-соседски обращались в зал.

Но мы с Илларионом ленивы и нелюбопытны и в чужие склоки не лезем.

Мы все ждали, когда выйдет Мочалов. Но Мочалов не вышел.

Артисты все были дрессированы постановкой и старались не взлететь. А Мочалов взлетает — когда вслед за авторами, а когда и самостоятельно — и тогда постановка про то, как вслед за ним взлетаем и мы.

— ...Мать честная, — сказал Илларион, — почему мы должны на них смотреть?

— Чтоб не смотреть друг на друга.

— Я знаю, чему они нас учат, — сказал Илларион.

— Чему?

— Жить напоказ.

Якушев мне сказал:

— ...Все так привыкли жить в театре без Мочалова, что уже не понимают, что он даст, если придет.

Поэтому его и не ждут.

Остались смутные легенды да воспоминания людей, которых он брал в полет.

И в легендах и памяти остались не овалы и сколько ему венков подносили, или как студенты его на колеснице везли (как про других знаменитых артистов), а осталось, что по десять раз на одну постановку ходили, чтобы услышать, как он в третьем акте одну фразу говорил.

Остались слухи не о постановке, или режиссуре, или ансамбле, а о том, как люди плакали на этой фразе. Ну, не на одной, конечно.

И не потому, что фраза трогательная или страшная— ее автор написал, а потому и оттого, как ее Мочалов говорил.

Фразы остались, Мочалова нет.

Сейчас плачут, когда пьеса делает жалобный поворот, а у Мочалова— от восторга полета и понимания высоты— не так живем, братцы-люди.

Ну, потом зрителям головы задурили, и Мочаловы ушли в чтецы, в Яхонтовы, но и там их настигли профессионалы и любители ансамблей и спортивных команд. Это все дела прекрасные, но уж один человек зал в полет не поднимет. Нечем. Не жжет глаголом сердца людей.

Голоса есть, рояли настроены и выкрашены, от электросилителей в рядах качает, титул у артиста длинней императорского, а номер, с которым он выступает— коротышка, крылья надраены, аппарат налажен, бензин есть, а не летает— муляж, реквизит. В искусство на аппарате не полетишь. На аппарате можно скатать в Сочи, и то на гастрولي.

Сейчас либо дилетанты, либо профессионалы. Дилетанты— это которые иногда боятся выступать, а иногда нет. У профессионалов каждый раз одно и то же— не боятся.

А чего им бояться? Защищены пьесой, профсоюзом, режиссурой, аппаратурой, анализом за столом и занимательной эстетикой. Попробуй не стать после этого культурным и даже где-то воспитанным артистом. А что он впечатления не оставляет— это вина зрителя. Не дорос. А Шекспир писал для грузчиков из лондонского порта, и для них играл Мочалов, виноват— Бербедрж, и ничего—

понимали летаючи. Потому что эта парочка—автор и актер—сами летали так, что прихватывали с собой и глобус.

— А что такое полет? Толком можешь объяснить?— спросил Илларион.

— Отрыв от действительности, — сказал я.

— Вот это номер! А зачем отрываться? Нельзя. Ничего, кроме действительности, нет.

— Есть, — сказал я.

— Что?

— Перспективы.

— Значит, из-за ремеслухи искусство становится без полета?

— Ага, — сказал я. — Она сама без перспективы... Она сама без перспективы и перед зрителем ее закрывает... Гоголь не потому силен, что описал с натуры чиновника и как у него шинель сперли, а потому, что выходило—людей жалеть надо, и нет маленьких людей, а есть затюканные. А до Гоголя в основном жалели графьев, а над затюканными смеялись. Полет для того, чтобы затюканный перестал чувствовать себя маленьким. Из этого потом получают революции.

— Отрываться от действительности нельзя, — сказал Илларион. — Хрен с ними, с перспективами. Родился, отработал положенное, помер— вот и вся перспектива.

— Да ты только тем и занимаешься, что отрываешься от действительности!

— Я?

— «Выборову» пили?

— Пили.

— А зачем? Летали, скажешь?

— Нет. Ныряли. Отрываться можно и вверх и вниз, и вперед и назад, и в прошлое и в будущее. Не всякий отрыв—полет, а только вверх, вперед и в будущее.

— А чего ж летать перестал?

— Ушибся... Встретил Княгиню. Принял прошлое за будущее.

— Не ушибся. Это тебя твоя баба пристукнула.

- При чем тут баба?
- Рожа как у мадонны, а сама — вывеска.
- Не надо, Ильярион.
- С ней только в преферанс играть. Это же все видели, кроме тебя. Показуха.
- Нет. Не она меня пристукнула.
- А кто?
- То, что за ней открылось: хитрость и тупость.
- Глупая она была?
- Нет. Глупая понять не может, а тупость — это когда на полет посягают: я не летаю — и ты не летай.

Якушев мне сказал:

— ...Ремеслу надо учиться.

Ремесло полету не помеха. Наоборот. Когда ремесло и полет совпадают, тогда появляется мастерство.

Мастерство — это индивидуальное ремесло, твое ремесло, собственное и ничье другое. Мастерство — это твое умение не только полету не мешать, а замечать тот момент, когда он начинается, и даже иногда вызывать его, и даже делать путевые заметки.

Хотя путевые заметки — неточное слово, их можно делать и по памяти, и понаслышке. А следы полета — это каждый удар твоей кисти в тот самый момент, когда происходит полет. Потому что полет происходит толчками, он — пульсация, и у него есть ритм, и следы его скорее похожи на энцефалограмму или кардиограмму. А как их делать по памяти?

...Занимательная эстетика путает ремесло и полет, и возникает не мастерство, а ремеслуха, то есть попытка научиться имитировать чужие кардиограммы.

...Ремесло — великая вещь — это освоение найденного. Даже в жизни надо не только придумать телегу, надо научиться ее делать и пользоваться.

В искусстве еще сложнее. Надо уметь снимать с себя самого кардиограмму полета в самый момент его возникновения.

Конечно, первичное умение нужно. Музыканту — виртуозные пальцы, литератору — свободная речь, художнику —

поющая кисть. Но все это чтобы не стеснять свободу полета.

Беглость пальцев, свободная речь и гибкость кисти — это ремесло. Ему надо учиться. Но если забудешь, что это не мастерство, а ремесло, то есть чужой опыт, то в момент полета он тебя свяжет.

Ремесло — общее для всех умение, а мастерство — твое собственное. Ремесло нужно, чтобы освоить найденное, а мастерство — чтобы не упустить мелькнувшее.

...Искусство — оно как любовь — каждый раз исключение.

Откуда человек может знать, как он будет любить, если он еще не знает, кого он будет любить? Встретишь — узнаешь. А до этого живи и не гаси сердца.

И потому мастерство — это не продолжение ремесла, а отрыв от него.

...Мы чересчур долго были неграмотны. Нас тысячелетиями хитрые и тупые держали в черном теле и потому называли чернью, и способ выжить у нас был один — ремесло, выучка, копилка драгоценного опыта. И всегда выше нас была хитрая и тупая элита, отборное стадо производителей себе подобных. А неподобных себе они убивали, даже если они из своей среды — Пушкина, Лермонтова — «а не летай, не летай, не соблазни чернь мечтою о полете, не показывай, что человеку дано летать, а не только кормить элиту, чтобы у нее шкурка была гладкая и блестящая. Потому что полет всегда для других. Как любовь. Мы летать неспособны, потому что мы — шкуры. Так кто же полетит? Чернь?»

Но вот в семнадцатом году народ передумал быть чернью и стал учиться грамоте. А в грамоте черным по белому написано очевидное невероятное:

О, сколько нам открытий чудных
Готовит просвещенья дух!
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг.

А парадокс — это новинка, это отрыв от опыта, сына ошибок трудных.

А занимательная эстетика обучает всего лишь опыту и слабонервным закрывает перспективу.

— ...Шкура она была, — сказал Илларион. — А ты чего скис?

— Потому что не пойму, откуда она взялась.

...Если хотите знать, то самое странное ощущение, которое я испытал, когда сочинял пьесу про Леонардо, было ощущение, что это не я пишу, а мной пишут, используя меня как авторучку, а мое дело — не мешать и подчиняться. Какая-то угрюмая сила подсказывала мне, какие слова писать, и самое трудное было избегать рифм, которые услужливо подсказывало мне собственное воображение. Хотите верьте, хотите нет, но лучшие места в этой пьесе получились именно так.

...Если вам будет не лень — вы дочитаете этот странный роман.

Странный он потому, что в нем нарушена традиция рассказывать про одно и то же. Я не знаю, почему так получилось, может быть, это я сам такой переменчивый и привык; может быть, мы все такие; а может быть, двадцатый век торопится получить назидание, но мне всегда было противно читать, когда у персонажа заканчивался один цикл его жизни и не начинался другой.

Значит, не писать вовсе?

Наверное, все-таки писать. Во-первых, потому, что наступает момент, когда не удержишься; а во-вторых, я лично, как и вы, дорогой читатель, мы оба не выносим жмотов, которые не поделятся куском хлеба, это относится и к хлебу духовному; а в-третьих — у каждого человека, каким бы маленьким он себя ни чувствовал, наступает момент, когда он становится незаменимым в том деле, которое он затеял.

Якушев мне сказал:

— ...Почему я так ополчился на бедную ремеслуху, которая умеет создавать напряженку и выбивать слезу? Разве это не главная задача искусства? Ведь говорят же, что наука — это ум, а искусство — эмоции? Говорят-то говорят, но говорят те, кто не понимает ни науки, ни искусства.

Наука пробуждается не умом, а талантом, искусство тоже пробуждается не эмоциями, а талантом. И ум и эмоции наукой и искусством только используются, но и наука и искусство возникают от таланта.

Про ученого в другой раз, а талант художника в том, чтобы вызывать эстетическое чувство, то есть чувство полета, а вовсе не обычные напряженку и слезу, какие бывают в жизни. Их можно добыть и не летаючи, а всего лишь изображая подходящие происшествия. Но вот зато полет можно вызвать и без напряженки и слезы.

Надо ли приводить примеры? Почитайте «Степь» Чехова или поглядите на «Портрет Жаннет Самари».

Эстетическому чувству принято делать реверансы и давать утешительные премии. Но в глубине души многие люди и занимательная эстетика подозревают, что и без него можно прожить. И видимо, не понимают, что эстетическое чувство не гарнир для художества, а самая его суть. Специфика.

Хотите кошунственный эксперимент?

«Дядя мой, самых честных правил, когда занемог не в шутку, он заставил себя уважать и лучше не мог выдумать...»

Пропало искусство, пропал Пушкин, пропал полет — а всего-то отказались лишь от рифмы и ритма.

А есть еще и словарь.

Какой-то деятель прочел немецкий стих и не сообразил, что это перевод отрывка из пушкинской «Полтавы», вот этого:

Богат и славен Кочубей.
Его поля необозримы.
Там табуны его коней
Пасутся вольны, нехранимы.
И много у него добра:
Мехов, атласа, серебра.

Деятель перевел с немецкого на русский этот отрывок и сохранил рифмы и ритм, только словарь пушкинский потерял, и вышло:

Был Кочубей богат и горд.
Его поля обширны были.
И очень много конских морд,
Мехов, сатина первый сорт
Его потребностям служили.

Случай невероятный, взят из книги Чуковского и скорее всего придуман для наглядности самим Чуковским в его «Искусстве перевода».

Давайте скорее восстановим подлинник.

Мой дядя самых честных правил.
Когда не в шутку занемог,
Он уважать себя заставил
И лучше выдумать не мог.

Его пример — другим наука.

Информация та же, только прибавился хмель, и жемчуг, и полет пушкинской раскованной души. И хотя его пример — другим наука, она почему-то впрок нейдет занимательной эстетике, которая считает, что в «Онегине» суть — это быт помещиков, изложенные автором мысли и то, что Онегин Ленского застрелил, а Татьяну отверг, то есть психология и эмоции. А если б не застрелил и не отверг? Была бы поэма с другими происшествиями, но все равно пушкинская.

Занимательная эстетика путает не содержание и форму, которые в искусстве неразделимы, а содержание и материал. Она считает, что если взять материал с напряженкой и слезой, то он будет вызывать колотун у зрителя и читателя, и, стало быть, возникнет факт искусства. Потому что — эмоции.

Искусство может изображать страшные вещи, а может и не изображать. Искусство может изображать страдания, а может и не изображать. Искусство может изображать красоту, а может и не изображать.

Материалом искусства может быть все.

Важно, чтобы оно поднимало в полет. А какие при этом возникнут эмоции — дело десятое. Какие нужно, такие и возникнут.

Содержание искусства есть не то, что оно изображает, а то, что оно вызывает. И потому эмоции для искусства всего лишь материал.

Искусство не для себя, а для других. Содержание искусства не эмоции, не ум, а их полет. Есть полет — есть содержание, нет полета — нет содержания, а есть всего лишь материал.

Но для того чтобы поднять в полет, нужно взлететь самому.

То, что я сейчас пишу, — не искусство, хотя эмоций у меня полно, клянусь вам, чересчур дорого мне досталось понимание, они могут даже появиться у читающего — не удивлюсь. И наверное, я даже сейчас для себя и — чем черт не шутит — для других умный.

Но ничто не заменит полета.

...Потому что в феврале, 13 апреля 1977 года я перестал летать.

...И когда я написал эту первую фразу, почувствовал — дрогнуло. Начался разбег для этого внезапного романа. А высоко ли взлечу или только чуть над самой землей и шлепнусь обратно, и кого с собой подниму — дело покажет.

И время.

...Предчувствие весны.

Якушев мне сказал:

— ...В напряженке персонаж борется с четкими обстоятельствами и ясным противником, а мы следим — вывернется или нет. Он их преодолевает. И мы следим за преодолением. Преодолеет — ура, не преодолеет — смерть. Слезы в обоих случаях. Смерть можно брать с самого начала. Тогда поведение персонажа называется мужество и пример.

Мужество в ремеслухе — это восторг подчинения обстоятельствам. Мужественный у ремеслухи — это жертва. Для автора ремеслухи персонаж — пешка, и он сразу решает ею пожертвовать в блицтурнире с занимательной эстетикой.

Зритель добрый, и ему жалко персонажа, и некогда задумываться — а так ли уж безвыходны обстоятельства, которые надо преодолеть? А может, герой дурак, и сам их выдумал, и поступать надо как раз наоборот.

...Предчувствие весны.

Якушев мне сказал:

— ...Разве Ромео борется с Капулетти, и Отелло с Яго, и Гамлет с Клавдием, и Лир с дочерьми, и Макбет с баронами, и Башмачников с бандитами, которые у него шинель сперли?

Они с судьбой борются, которая сделала их и их противников такими, а не другими, и не замечают в пылу борьбы, что — или не борись, или начинай с другого конца.

С какого? Неизвестно.

И потому нет повести печальнее на свете, чем повесть о Ромео и Джульетте. А все остальные ужасные повести хотя и трагедии, но не самые печальные.

...Предчувствие весны.

Якушев мне сказал:

— ...Напряженка — это бой с известными герою обстоятельствами, а трагедия — с неизвестными.

Но автор о них догадывается.

Трагедия у Сурикова в картине про стрельцов и Петра не в том, что каждый из них имеет четкого противника, а в том, что обоим противникам и зрителю Суриков говорит: опомнитесь, утро-то какое наступает, а вы друг друга казните. И во всех его картинах главное не схватка, а вопль о погибающей красоте полета. И потому лучшую его картину, где песня про Степана Разина, который на утреннем челне не знает, куда плыть, но где нет четкого противника, занимательная эстетика объявила худшей. Вот как бывает. И Суриков умер.

...Предчувствие весны.

Плывем. Куда ж нам плыть...

— Илларион, бросим пить. Не могу больше.

— Давай бросим.

— Не может хорошая жизнь состоять из драчки за кусок пирожного и пиво.

— Не может.

— Тогда лучше не родиться.

— Нас об этом не спрашивают. Ладно, давай отрываться от жизни, — сказал Илларион.

— Давай, — сказал я.

— ...Значит, для полета нужны рифмы, и ритм, и словарь? — спросил Илларион.

— Нет. Пушкин.

— А остальным что делать?

— Летать. На разных высотах. А словарь, рифмы, и ритм, и прочее — это способы записать кардиограмму.

...В феврале, 13 апреля 1977 года я разучился летать.

Эта фраза родилась от случайной описки, но дрогнуло что-то во мне, и я подумал: такая ли уж случайная эта описка и разве могу я с уверенностью сказать, когда это началось?

Я начал прикидывать так и эдак, и выходило, что я, как себя помню, только и делал, что разучивался летать.

Я еще маленьким был, когда услышал песню: «Позабыт-позаброшен... с молодых юных лет... Я остался сиротой... Счастья-доли мне нет... Ох умру я, умру... Похоронят меня... И никто не узнает... Где могилка моя... И никто не узнает... И никто не придет... Только раннею весною... Соловей пропоет...»

Я встречал многих людей, которые, как и я, считают до сих пор, что это лучшие строки, которые написаны на русском языке. Это та неслыханная простота, в которую, как в ересь, мечтал впасть под конец жизни один поэт.

У меня были отец, мать и своя семья, и я не был сиротой с молодых юных лет, и я не понимал, почему я позабыт-позаброшен и почему счастья-доли мне нет, но что это так и есть, я знал всегда.

Какой же доли я себе хотел и какого счастья?

Я хотел вырасти и вырваться из дома, и это случилось без моей воли, когда пришла большая война и разрушила мой дом, и милей его нет на свете.

И наступила мирная жизнь, и была разруха — день первый, и я захотел домой. Но того дома, куда я летел, я не нашел. Потому что, когда кончилась разруха и дом был построен, в него пришла жадность.

И я увидел, что богатство так же бесцельно, как и нищета, потому что цели у них конечные, и я по-прежнему тосковал о цели, которая бы удалялась от меня, открывая горизонты.

И я понял, что хочу того, чего нет на земле.

Сначала я думал, что тянусь в космос, и летал в космос вместе со всеми спутниками и кораблями, достигшими к тому времени Луны, и Марса, и Венеры.

И я понял, что тоске моей нет предела, потому что она по бесконечной любви.

И я понял, что растить эту любовь надо здесь, на Земле, из семян, затоптанных войнами, нищетой и жадностью, а не ждать из космоса.

И я понял, что опытом ее вырастить невозможно, потому что тогда она будет конечна, а для бесконечной нужен полет, и без него уже никуда.

Но полет в любви труднее всего, хотя считается, что это не так. Считается, что сама любовь — это полет. Но как часто это полет в клетке.

...Предчувствие весны.

Медсестра рассказывает:

— ...Когда мы из барака переехали в новую квартиру, я поступила в школу. И была отличницей до восьмого класса. А девятый и десятый кончила так себе. Надоело.

До восьмого класса старалась, училась играть на аккордеоне, выиграла районную олимпиаду по математике, по художественной гимнастике и по бегу занимала хорошие места, в баскетбол меня в любую команду брали, я с любого места площадки в сетку попадала. По сочинению всегда «пять». Учительница любила. Задали нам сочинение по Чернышевскому — люди будущего. Все написали по учебнику, а я про то, как не могу понять этих людей будущего, и как за сосисками и апельсинами в очереди ругаются, и от пьяных проходу нет в наших местах. И в конце приписала: «Кончаю. Страшно перечесть. Стыдом и страхом замираю. Но мне поручкой ваша честь. И смело ей себя вверяю». Мне Анна Михайловна поставила «пять с плюсом» и полюбила меня. А потом говорит:

— Ты этих людей, которые в магазинах ругаются, на работе не видела. Там они другие. А после работы не знают, куда себя деть. Нужна культура. А культура — дело медленное.

У всех моих подруг мальчишки, а мне скучно. За десятый класс только один раз целовалась. На крыше. Залезли мы с одним парнем на школьную крышу. Он мне говорит:

— Ты не как все. Давай целоваться научу?

— Научи.

Он меня поцеловал. Мне не понравилось. Одни слюни.

— Ты какая-то холодная. Приходи вечером. У Аллы собираемся — и из медицинского, и из клуба веселых и находчивых.

Вечером собрались. Все пьют. Я попробовала.

Не понравилось. Начали песни петь — сначала туристские, а потом матерные частушки. Мне не понравилось.

Алла мне говорит:

— Что ты из себя строишь? Ребята обижаются.

Я говорю:

— Я домой пойду.

И стала я после этого учиться кое-как.

Анна Михайловна мне говорит:

— Ты даже сочинения стала плохо писать.

— Анна Михайловна, я ведь на работу пойду, и замуж. Зачем мне сочинения? Никому это не нужно.

— Жалко мне тебя. Ты талантливая девочка.

— А в чем мой талант, Анна Михайловна?

— Этого я еще не знаю.

Но тут школа кончилась. Сняла я белое платье, и повесила в шкаф, и говорю маме:

— Мама, я работать пойду.

— Дело твое. Жаль. Ты отличницей была. Могла бы студенткой стать.

— Студентов я уже видела. Мне не понравилось. Я на авиационный завод пойду.

Подали мы с Аллой заявления. В кадрах сказали:

— Приходите через месяц.

Мама говорит:

— Месяц болтаться по городу я тебе на дам. Устраивайся временно.

И начали мы с Аллой по работам скакать.

Пошли в хлебопекарню. Выдали спецодежду: куртка и белые штаны до колен.

Запах вкусный — это первый день. А к концу недели — вытерпеть нельзя. И еще — на третий день подходит женщина и говорит:

— Держи сумку и неси через проходную. Я на улице подожду.

— А что здесь?

— Яйца и масло сливочное. Пронесешь — половина тебе.

Я испугалась и говорю:

— Не надо... Не возьму.

— Ну смотри...

Я Алле говорю:

— Давай уйдем?

— Давай.

В конце недели ушли.

Поступили в типографию. Поставили нас со станка принимать пачки листов и складывать под пресс и завязывать. Показали, как это делать. Надо так. На голую руку до локтя набрать стопку листов и выравнивать. Рукав опускать нельзя, мешает. Листы не выравниваются. К концу дня вся рука красная. На третий день рука вся бумагой изрезана. Болит. Вздусь. Обещают, что привыкнем. Алла плачет:

— Я не могу. Уйдем.

Ушли.

Может, сейчас что-нибудь в типографии придумали? Было так.

Еще куда-то поступили. А последняя работа была такая. Идем по улице, видим вывеску — «Деревообделочная фабрика. Комбинат бытового назначения». И объявление — требуются. Мы приходим. Деревом пахнет. Дядька вежливый говорит:

— Вы нашу продукцию знаете?

— Знаем. Только мы на временную работу.

— Вам понравится. У нас сдельная. Люди до трехсот рублей зарабатывают. Сейчас проведу вас в цех, а завтра приступите. Наша фабрика план всегда выполняет, так что премия всегда.

Пришли в цех, а там молодые люди в очках оборочки прибивают. Дядька говорит.

— Идемте, я готовую продукцию покажу.

Пошли к складу. Он дверь открыл, а мы с Аллой чуть в обморок не опрокинулись. Весь склад, до потолка — гробы. Закрытые. Как с покойниками.

Мы как чесанули оттуда, только через две улицы шагом пошли.

Алка ревет:

— Зря мы в ПТУ не пошли. Зря мы эту школу кончили: образ Ольги, образ Татьяны...

— Месяц кончается. Пойдем на авиационный. Не реви.

— Нет уж, — говорит Алла. — Опять в цеху будем стружки выносить. Не пойду.

— А что делать?

— Выхода нет, — говорит Алла. — Или замуж, или в институт.

Пришли мы на авиационный завод. В кадрах говорят:
— Вас приняли. Завтра на работу.

Мы говорим:

— Мы передумали. Просим расчет.

Нас уволили. В трудовую книжку — прием на работу и увольнение — все в один день.

Дело не в этом.

А в том, что куда идти — неизвестно.

С Аллой мы расстались.

Она потом в театр костюмером пошла.

А у меня жизнь перевернулась в другую сторону.

Встретила я человека.

Это когда я уже в больнице работала медсестрой и готовилась в медицинский. Правда, я его чуть раньше встретила.

В больницу я тоже случайно попала.

Иду по улице днем, вижу, дядечка к стене привалился. Думала, пьяный. А он говорит:

— Деушка, деушка... давайте с вами дружить?

— Гуляй, гуляй, — отвечаю.

— Ну тогда мои дела плохи, — говорит. — Мне надо до больницы доползти. У меня колено отваливается. Сорок минут такси ловлю. Больница недалеко, может, отведешь меня?

— Ага... — говорю. — Может, вам еще и шнурки погладить?

— Нет... — говорит. — Ты меня не бросишь... По глазам вижу. Меня Николаем зовут, а вас?

Ну, вижу, делать нечего. Поташила я его.

Тяжелый. Люди оглядываются, как мы в обнимку идем.

— А ты представь, что ты меня с поля боя тащишь.

— Сейчас не война... Да замолчите вы, и так тяжело.

Ну, доташила его. Дальше он все сам говорил насчет коленного сустава, а меня он попросил на его работу позвонить, сообщить, что он в больнице. Пока я звонила, его оформили. А потом старуха кричит:

— Сестра! Где же вы?!

А в коридоре, кроме меня, нет никого.

— Это вы мне? — спрашиваю.

— Ну что вы сидите? Отведите больного до лифта.

— Да... — говорит Николай. — Отведите больного до лифта.

Ну, опять я его потащила куда-то.

— Да вы не наша? — разглядела меня старушка. — Я вас с нашей Ксенией перепутала. У нее сегодня отгул. Вижу, без халата, думала, Ксения.

— Я не Ксения, — говорю я.

— А вы довольно ловко справляетесь.

— Я в школе на медсестру сдавала.

— Вы работаете где-нибудь?

— Нет еще. Только школу кончила.

— У нас Ксения замуж выходит. Два дня отгула. Вы бы не хотели вместо нее два дня подежурить?

— Хотели бы, хотели бы, — говорит Николай.

— Больной, ведите себя спокойно.

Так и решилась моя судьба. Да только не совсем. Осталась я в больнице. Николаю ногу починили и выписали, а он потом приходит и говорит:

— Ты после дежурства не уходи. Со мной поедешь. Я тебя с друзьями познакомлю.

— Ну вот еще!

— Сестренка, не буянь! — говорит он. — Не буянь. Дело говорю. Ты мне добро сделала, и я тебе добро сделаю. Не дрейфь. Люди там все приличные, а тебе этого недостает. Я же вижу.

— Чего недостает? Я не дрейфлю.

Так я познакомилась с их компанией. Странная была компания. Илларион на автокране работал, двое с трансформаторного, холостые, двое с авиационного, с женами. Дина из клуба, совсем старая старуха Христофоровна с внуком, доктор наук один, Аносов с женой и художник Якушев. Женатый, но жена его в этой компании никогда не бывала. И еще Николай. Он мне совершенно тогда не нравился. Говорили, работает на каком-то заводе, пишет стихи и пьесу про Леонардо да Винчи. На меня там все обратили внимание. Я складненькая. Но мне это было ни к чему. Только два человека на меня внимания не обратили: этот Якушев и Николай. У Николая девушка была, красивая, но ему не пара. Почему не пара — сказать не могу, но не пара. Ладно, его дело.

А тут мне Якушев говорит:

— Я ваш портрет хочу написать. На пленэре.

— Где?

— На открытом воздухе.

- А девушка Николая говорит:
— Вы же хотели меня написать?
— Я передумал.

Так и сказал. Я заметила — он всем все говорил. Прямо в лоб скажет, и возражать ему не возражали.

Но девушка обиделась, конечно.

Поехали вскоре за город. Там были садовые участки у Христофоровых, у Валерии Гавриловны. Народу собралось много. И с других садовых участков подошли. Как ни странно, пили мало. Спорили, песни пели, и ни одной матерной.

А тут я возьми да и спрости Якушева:

— Дядя Костя, а зачем оно нужно, искусство?

Они все — искусство, искусство — слушать надоело. А он отвечает:

— Никакого искусства не нужно. Полет нужен. Был бы полет, а искусство само объявится.

Все стали к нам оборачиваться.

— Опять дядя Костя за парадоксы взялся...

— Дядя Костя, а что такое парадоксы? — спрашиваю я.

— Это когда от привычного отрываются.

— От земли?

— Если к земле привыкла — от земли, если в облаках витаешь — от облаков. Каждому времени свои песни.

— А теперь какие нужны?

— Этого не запланируешь.

— Ну почему же?.. — говорит один с соседнего участка, маленький такой, верткий.

— С вами спорить не стану, — говорит Якушев. — Одолейте сначала моего меньшого брата. Ну, сестренка, пошли твой портрет писать.

Маленький и верткий был умный и понял, что его бесом нечистым обозвали, а остальные про работника Балду читали давно и уже позабыли.

— Николай, Якушев велел мне с тобой сразиться.

— Некогда, — отвечает Николай. — Я больше по бабам.

А его девушка берет под руку.

— Идем, Николай, идем.

— А куда? — спрашивает Николай. — Куда идти? Я уже дошел.

— Жить надо, — говорит этот верткий с соседнего участка. — Ничего, кроме этого, нам не дано.

— Слушай, друг, — говорит Илларион. — Откуда ты взялся?

— С соседнего участка.

И тут я поняла, что не все гладко в этой компании.

— Как бы хорошо можно было жить, если бы не было таких, как ваш брат, — сказал верткому Илларион.

— Наш брат то же самое думает о вашем брате, — говорит с соседнего участка.

— Ну нет, — говорит Илларион. — Вам без нас не прожить. Вы и есть только потому, что есть мы. Это из-за вас Николай не знает, куда с девушкой идти, а он с ней в загс собирался.

— Лечиться надо, — говорит этот верткий с соседнего участка, — если не знаете, куда идти.

Все засмеялись.

А этот, с другого участка, пошел прочь и с ним еще несколько человек.

А я посмотрела на Николая и вдруг почувствовала, что хочу кого-то убить.

...Когда этот подонок сострил, все засмеялись, а я вдруг потерял чувство юмора. Никто не понял, что это обидно, а я вдруг потерял чувство юмора.

Вдруг какая-то иголка вошла прямо в горло и обломилась. Это все очень быстро произошло. Может быть, потому, что женщина, которую я тогда считал невестой, стояла рядом.

Все наши пошли к Христофоровым копать ихний огород, а она стояла рядом. Я покосился на нее и увидел ее как-то смутно. Она ничего не заметила. Занималась своим основным делом. Причесывалась. У нее были хорошие волосы. И никто не заметил этой иголки, воткнувшейся мне в горло.

Просто я вдруг обнаружил, что ко мне не так хорошо относятся, как мне представлялось. Может быть, они тоже этого не осознавали, но засмеялись дружно и облегченно и пошли копать огород.

И тут я сорвался с места и помчался догонять тех, с соседнего участка, и этого маленького и быстрого.

Я мчался что есть духу, сердце у меня колотилось, в ушах стоял гул, и мне казалось, что я не один мчусь что есть духу, что еще некто летит со мной что есть духу. Это летело мое собственное эхо.

Я догнал их, когда они переходили через вскопанные борозды под цветущими яблонями, и был вечер.

Я догнал этого, с чужого участка, и рванул его за рукав. Тот сразу остановился и улыбнулся добродушно. Он очень хорошо выглядел.

— Отойдем, — сказал я.

— Ну чего ты, чего ты, — добродушно сказал он.

Остальные остановились вдалеке. Вероятно, они видели, как я его тронул за рукав.

— Ты что сказал? — спросил я.

— А что? — тот заулыбался.

У него была толстая шея.

— Что ты сказал о лечении?

— О каком лечении?

Он уже забыл.

— Признаешься, что неудачно сострил?

— А-а... Конечно, — сказал он.

И продолжал улыбаться.

И все.

Но почему такая лютая тоскливая ярость охватила меня? Лучше бы уж не признаваться.

Я довольно часто спорил насчет того, как зарождается искусство в душе того, кто хочет отправиться в полет, и, не скрывая, рассказывал, как у меня в дизентерийном бараке возникли строчки, из-за которых вся моя жизнь пошла наперекосяк. И сам смеялся, и все смеялись насчет того, в каких обстоятельствах иногда может возникнуть стишок, и вспоминали подобные обстоятельства, когда лучшие идеи приходили во время туалетного чтения и прочее, в таком же роде. И никто не обижал меня, и я не обижался. А тут еще начал выступать Сапожников со своей третьей сигнальной системой, и по телевизору стали высказываться ученые о способах запустить в ход механизмы творчества, и все сходились на том, что начальный его момент может быть совершенно контрастен к тем обстоятельствам, в которых он возник, и все признавали, что этот момент освобождения и взлета может быть чрезвычайно болезненным. Но никто не предлагал от него лечиться.

А этот мне предложил лечиться и пошел на свой участок. Остальные не поняли и засмеялись. А почему они должны были понять — что для меня его шутка? Они ведь не знали, что я уже на пределе! Могли бы и знать.

Мне вдруг показалось, что и их жмет, что я ниоткуда и потому как бы не имею морального права писать об эпохе Возрождения. Писал бы о них — они бы не смущались. Нет, нет, только не это. Только не поддаваться этой мысли.

Я схватил его за горло, и пальцы сами стиснули его кадык. Он не сопротивлялся, и стало противно сжимать его мягкую сильную шею. Ведь не задушить же я его собирался? То есть, может быть, именно собирался, но как-то не до смерти, хотя и такое мелькнуло. Я бы, может быть, и задушил его, если бы для этого не нужно было стискивать его шею, а иначе он бы не помер от удушья. Он потому и не сопротивлялся и улыбался, потому что понимал, что я его, конечно, не задушу. Хочешь пожать мою шею? Ну пожми.

Я отпустил его.

— Сволочь, — жалко сказал я.

И это была слабость. Доводов не было. Он ведь думал всерьез, что задел меня по постельной части. Он ведь знал, что я согласен в монахи пойти, если бы от этого у меня подучилось то искусство, о котором я мечтал. Это все знали и считали меня чокнутым. Но верили, что у меня все же кое-что получится в этом деле. Но уже теряли надежду. Он своей остротой объявлял меня аутсайдером и отталкивал от меня тех нескольких, которые еще верили.

— Извини, пожалуйста, — сказал он.

— Твою остроту слышали все, а извинение только я один, — сказал я.

И повернулся уходить.

И тут я, как в тумане, увидел мою медсестренку.

Солнце отсвечивало в ее коротко остриженных прямых волосах.

— Хочешь, извинюсь перед всеми? — услышал я за спиной его испуганный голос.

Не оборачиваясь, я сказал, идя к ней:

— Нет... Хочу, чтобы ты остался в долгу передо мной... Люблю должников...

Я подошел к ней.

— Ты как сюда попала?

Она смотрела на меня спокойно.

Так вот почему мне казалось, что кто-то мчится за мной что есть духу!

Я пошел обратно.

Она пошла рядом со мной.

Она прибежала сюда, а невеста, моя бывшая будущая жена, — нет, не прибежала.

— Нас же увидят вместе, — сказал я. — И опять кто-нибудь скажет гадость.

— Пускай, — сказала она. — Пускай скажет гадость.

Мы дошли до садика и пошли вдоль ограды.

Она шла рядом и чуть впереди, и я все смотрел на короткие стриженные прямые волосы, на чуть широкую скулу и курносый нос. Ей-богу, ничего особенно красивого. Элементарная современная девушка, каких тысячи. Никакой тонкости, породы и прочего, никакой особой одухотворенности. Короткие светлые прямые волосы — даже не блондинка, а просто светлые волосы. Синяя, чуть линиялой ткани мужская какая-то рубашка с открытым воротом и короткими рукавами, синяя юбка, плоские белые босоножки. Элементарно до предела.

Христофоровы, вжившиеся в саду слева от дороги, подняли головы и смотрели на нас добродушно.

Я, как бы помогая ей свернуть направо, положил руку на ее плечо, и мой большой палец коснулся ее шеи. Отношения простые, как гвозди.

Да, но она бежала за мной что есть духу.

И тут я понял, на кого она была похожа. Она была похожа на пионерку со старых фотографий. Вот на кого она была похожа. «Не может быть! — подумал я. — Не может быть...»

Она повернула ко мне лицо и чуть-чуть улыбнулась, а глаза были строгие и озабоченные.

— Ерунда, — сказала она. — Наплюньте...

И тут я понял, что щека у меня мокрая.

— Я наплюнул, — сказал я. — Теперь наплюнул.

Мы шли вдоль изгороди, и играющие в домино оглядывались на нас, и я не снимал руку с ее плеча.

— Смотрят на нас... — сказал я.

— Ну и что? Доминошники... Подумаешь...

И так мы шли.

— Знаешь что? — сказал я. — Я когда смотрю на твои короткие волосы, не боюсь ничего.

— А бессмыслицы?

— Тоже.

Она хорошо усвоила наши споры на этот счет. А на нас смотрели. На нас смотрели играющие в ту игру, которая, слава богу, еще не входит ни в какие списки

соревнований, ни в какие спортивные меню, ни в какие чемпионаты.

— Ты всегда стригись коротко... Ладно?

— Ладно, — согласилась она. — Я сейчас переоденусь, и мы уйдем. И вы мне прочитаете свою пьесу.

— Чушь... Какая там пьеса. Ты чересчур самоотверженная.

На нас смотрели, а она шла рядом и чуть впереди, и я держал руку у нее на плече, и палец касался ее шеи.

Самоотверженность в ней была. Самая элементарная самоотверженность, и еще она была товарищ. Товарищ!

Боже мой, выше этого слова нет ничего на земле.

— ...Чтобы кто-то летал, нужен кто-то, кто хотел бы жить на земле, — сказал Илларион. — Не вынужден был бы, а хотел. Понимаешь разницу?

— Понимаю, Илларион. Ясно.

— Я теперь умный... Нет, без дураков. Я кое-что понял рядом с тобой. Земля остается землей. Я хочу жить на земле, и много нас таких, которые хотят жить на свете, мы называемся народ. Но я хочу, чтобы земля была сад, а не полигон, и для этого нужны летающие, которые подсказывают нам не оскотиниваться. И мы признаем, что они есть, и это нам необходимо, если мы не с чужого участка. Потому что без летающих нас развратят жадные и наглые выскочки с чужого участка, которые выскочили от нас, но так и не взлетели, и потому им обидно, что кто-то летает, а они всего лишь Вавилонская башня, которая всегда разрушает самое себя, потому что разделяет народы, чтобы властвовать, и люди перестают понимать друг друга, теряя общий язык. И потому мы с тобой долгими вечерами не отрывались от жизни, а приближались к ней, и протягивали друг другу руки, и летали вместе...

— Ты все же догадался, Илларион, а я нет, — сказал я.

— Ты мне рассказывал про Рембрандта и Сурикова, которые летали, потому что любили Землю и нас, землян, и всякую тварь на земле, и не хотели взгромоздиться на нас, чтобы возвышаться над нами, оскорбляя нас своей жадностью... И я не буду менять свою профессию на какую-нибудь другую. Я буду своей балдой разбивать целые улицы, если они памятники жадности, а не памятники полета. И я буду ненавидеть тех, кто считает

нас быдлом, и что с нас хватит ремеслухи. Не плачь, дурачок, ты мне товарищ на земле, и я тебе товарищ в полете. Начни-ка снова писать свою пьесу и не бойся того, что твоя медсестричка не поймет и осудит. Потому что она понимает тебя, и это ей зачтется.
Она кивнула.

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

СЦЕНА 1

Пустая комната во дворце. Входит Леонардо.
Зороастро и Мельци несут за ним свитки и альбомы.

Леонардо

Никого.

Зороастро

Дворец пустой. Брат Цезаря — не в счет.

Мельци

Пьян, как всегда, гандийский герцог.

Леонардо

Я буду здесь работать... Уходите.

Зороастро

Макиавелли говорит, что Цезарь в гневе.

Мельци

Он ждет твоих рассказов о поездке.

Леонардо

Я ездил по разрушенной стране.
В селениях бесчинствуют солдаты,
Голодный вой стоит по всей земле,
Я думал строить дамбы и плотины.
На горных реках мельницы поставить,
А он из многочисленных проектов
Мне утвердил лишь планы крепостей.
Привел в страну французскую орду

И бражничать сзывает кондотьеров.
Когда-нибудь зачтут за преступленье
Помеху, причиненную работе...

Зороастро и Мельци уходят. В дверях рывком показывается с т р а н н а я
ф и г у р а и застывает, согнувшись, как перед прыжком. Выпрямляется и
толчками движется вдоль стены. Человек бледен и смертельно пьян.
Неожиданные паузы в разговоре. Хаос интонации.

Г е р ц о г

А вот и я, мой Леонардо... Видишь,
Сам герцог Гандии к тебе пришел.

Л е о н а р д о

Я это глубоко ценю, синьор.

Г е р ц о г

А я ценю твою оценку, мастер.
Во столько же, во сколько ценишь ты
Мое желанье навестить тебя.
Однако одному тебе я верю,
А впрочем, можешь ты не верить,
Что верю я тебе...
А ты все смотришь на пустую стену
И увидеть стремишься на стене
Того, что в жизни увидеть не можешь,
Все ищешь способа красивее солгать
И все не можешь... Бедный Леонардо!
Что за рисунок у тебя?

Л е о н а р д о

Портрет монаха.

Г е р ц о г

А выражение лица — твое.

Л е о н а р д о

По памяти рисуя, дарим часто
Чужим чертам мы наше выраженье.

Г е р ц о г

Скажи, ну а зачем тебе все это?!
Ах да, конечно, я же понимаю,
Ты хочешь написать картину...
Зачем тебе она?.. И это ясно.

Ее ты делаешь за деньги... Так?
Но много ли тебе заплатят
В самом деле?
За эти деньги...
Ты не вернешь ту жизнь, что ты истратил
На то, чтоб эти деньги получить.
А значит, ты работаешь бесплатно...
Так стоит ли работать вообще?
Бери пример с меня...
Я не работаю, но пью.

Леонардо

И это радует вас, государь?

Герцог

Бесстыдник ты. Скажи, ну разве можно
Так спрашивать? Кого? Государя!
Конечно, можно...
Итак, вопрос поставлен в форме «ли»...
Не радует ли?
Тс-с, скажу тебе я по секрету,
Да... радует меня... Пока я пьян.
Не видно мне, как радуется Цезарь
Тому, что пьян я каждый божий день...
Какая логика! Ты не находишь?
Мне, видимо, науки впрок пошли.
И кроме этого, пока я пьян,
Я не пытаюсь сделаться героем.
Люблю тебя за то я, Леонардо,
Что вовсе не похож ты на героя...
Их столько расплодилось, что теперь
В Италии повымирали люди.
Шныряют всюду лишь одни герои...
Героям стало тесно на земле.
Один другого рубит пополам
И этим делает двоих... уродов.
И так они друг друга умножают.
Герои тщатся истребить себе подобных,
Но только размножаются деленьем.
(Печально и тихо.)
А человек к другим стремится людям,
Но так и погибает одиноким.

И вот в Италии осталось всего два человека. Один из них безумец по специальности — это ты. Другой, специалист

по безумию, — это я Один из них делает неподвижных красавцев — это ты. Другой плодит подвижных уродов — это я. Но мои-то хоть подвижны, а твои нет.

Леонардо

Но заставляют двигаться твоих.

Герцог

Что? Да, ты прав. Но стоит ли тебе
Стараться двигать их тупое стадо?
Их даже силой с подлости не стронешь.
Тогда не лучше ль прыгать самому?
Да, Леонардо, мы с тобой похожи,
Мы лишь стоим на разных полюсах,
Ты хочешь управлять судьбы весами,
А я, увы, болтаюсь на весах.
Ты — это я... Но только наизнанку.
А впрочем, нет... Скорей наоборот.
Что это за рисунок у тебя?

Леонардо

Это портрет безвестного монаха.

Герцог

Но у него ведь выражение твое.

Леонардо

Я говорил, мой герцог. Ты забыл.
Когда по памяти лицо рисуешь,
Невольно придаешь ему свое.
...Сюда идет твой брат...

Герцог

Да, да, я понял,
Ты, как и я, мечтаешь, Леонардо,
Из двух субъектов сделать одного.
Пиши тогда правителя портрет.
Возьми черты у брата, а затем
Придай им выражение мое.

Входят Цезарь и толстый монах.

Цезарь

Привет тебе, о мой венчанный братец!

Герцог

Привет мой, разведенный с тронем, братец.

Цезарь

Ты, братец, разговорчив стал не в меру.
Ты слишком много пьешь. Напрасно.

Герцог

Я развиваюсь. Я теперь решил
Убить вторую половину жизни
На изученье первой половины.
Меня отягощает груз науки,
Которую в меня вливали силой,
Я пью, чтоб логикой меня рвало
И чистило мне мозг. Он бесполезен.

Цезарь

Но при таком аллпоре может не случиться
Тебе прожить вторую половину...
Послушай, Леонардо, я сердит:
Вернулся из поездки, глаз не кажешь!
Увлёкся бесполезною работой!
Ко мне дошли чудовищные вести,
Что будто бы ты головы рисуешь
Для фрески, погибающей в Милане,
Для «Тайной вечера»...

Леонардо

Да... Это так.

Герцог

Нет! Это правда?

Леонардо

Я хочу закончить.

Герцог

Картину, что разрушили французы?!

Леонардо

Во мне картина. Я хочу закончить.

Цезарь

Разрушенную?!

Герцог

Я схожу с ума!
Среди кровавой и зловонной грязи...

В спокойствии сидит великий мастер...
Упорно пишет голову Иисуса...
Для фрески, что разрушили французы...
Которых ввел в страну сам Цезарь Борджа...
Чей пьяный брат смеется над рисунком...
Ты шут? Урод?! А может быть, ты бог?

Л е о н а р д о

Священна бескорыстная работа!

Ц е з а р ь

Презренна бесполезная работа!

Т о л с т ы й м о н а х

Маэстро любит средь вонючей черни
В трактирах у воров и нечестивцев
Выспрашивать о мельничьих запрудах
И для сего выкраивает время.

Пауза.

Л е о н а р д о

Я бы давно уж кончить мог картину,
Задерживает голова Иуды.
Никак его представить не могу...
Ищу его я вот уж сколько дней
По самым отвратительным притонам
И не могу мошенника найти
Такого, чтобы догадался всякий,
Что это лик предавшего Христа.
Но вот сейчас я с радостью увидел,
Что я нашел то, что давно искал.
Лицо твое мне будет в самый раз.

Ц е з а р ь

Что?! Ха-ха-ха... Как ты сказал?!
Его лицо?! Ха-а-ха-ха-ха...

Т о л с т ы й м о н а х

О, господи!

Г е р ц о г

Но все равно не выйдет!
Ха-ха-ха-ха... Не выйдет, Леонардо,
Вот если бы нарисовал сам Борджа

По памяти монашескую рожу
И дал ей выражение свое,
Тогда бы получилось...

Цезарь

Я б сумел!
Ха-ха-ха-ха... Как ты сказал?

Герцог

Ха-ха-ха-ха-ха-ха...

Держась за стену, брат Цезаря уходит прочь. Хохот
разносится гулом в пустых коридорах замка.

Цезарь
(спокойно)

Работай, Леонардо. Мы уйдем.
Я нынче угощаю кондотьеров.
Мой бедный брат от пьянства обезумел...
Те тоже пьют, а это не к добру.
Их надобно от пьянства излечить.

(Уходит.)

Хохот затихает, переходя в песню. Поворот круга.

СЦЕНА 2

Пустынный коридор в замке. Узкие окна. Дверь. Коридор сворачивает
за угол. Тихонько поет Микелотто, прислонившись к двери,
с маленькой черной гитарой в руках.

Микелотто
(поет)

О, дон Санчо!
О, дон Санчо!
Как в Кастилье правил он!
Он прошел по всей Кастилье —
От Бургоса на Леон!
Он прошел по всей Астурии
И Наварру поборол!
А всего людей имел он
Триста всадников числом!
Взял с собой своих идальго
Этот Сид Компеадор.

Входит Макиавелли.

Макиавелли

Я ждать тебя заставил.

Микелотто

Пустяки,
Вставай за угол да следи. А я
Останусь здесь.

Макиавелли

Неплохо, Микелотто.
Посол Флоренции Макиавелли
Стоит у вас на стреме, точно вор.

Микелотто

Примерно так. Есть новости, Никколо.

Макиавелли

Вернулся Леонардо из поездки?
Опять не дали денег на каналы?
Приехал в гневе? Я и это знаю.
Но эта весть не стоит и боба,
Весть не твоя. За это не плачú.

Микелотто молчит.

Ну что? Еще есть новости?

Микелотто

Похуже...
Ты видишь эту дверь?

Макиавелли

(тихо)

Что там, за этой дверью?

Микелотто

Там с кондотьерами пирует Борджа.
Сейчас там с ним Вителли Вителоццо,
Оливерото Ферма, брат, Орсини двое...

Макиавелли

Ну знаю...

Микелотто

Вот сейчас их душат...

Пауза.

Макиавелли

Что значит душат?..

Микелотто

Душат — значит давят...

Макиавелли

Так-так... Ну, я пошел...

Микелотто

Не смей ходить!

Макиавелли

Как тихо там...

Микелотто

У Цезаря все тихо...

Как и всегда.

Макиавелли

(с тоской)

А может, ждать не нужно?

И правы те, кто поднялись в Ареццо?

Пока мы рассуждаем так и этак,

Они пытались выковать свободу.

А там, глядишь, среди грязевого моря

Вдруг заиграл бы островок счастливый...

Пылало как...

Микелотто

Восстание в Ареццо

Есть тоже дело Цезаря... его рука!

Макиавелли

(гневно)

Ты лжешь!

Микелотто

Он сам поднял доверчивое стадо,

Потом он их же выдал флорентийцам.

Макиавелли
(после паузы)

Не тронь меня... Дай дух переведу.
(Сглатывает слезы.)

Микелотто

А ты не крепкий... Я не ожидал.

Макиавелли

Я был не крепкий. Стал я тверже стали.

Пауза.

Еще одна иллюзия разбита,
Опять корыстью завоняло там,
Где мне почудилось вдохновенье...

Пауза.

А вот идет барашек Леонардо,
Который ничего не замечает.
Ты любишь праведников, Микелотто?

Пауза.

Микелотто

Я не выношу... но яростно завидую.

Макиавелли

Идет!

Микелотто

Невозмутимость с ликом Серафима.

Макиавелли

А толку что? Вот мечется по замку
Беспомощная черная комета,
И с жуликами спорит в коридорах,
И ищет Цезаря... А Цезарь занят...
Он душит непокорных кондотьеров...
Ну скоро их прикончат?

Микелотто

Не спеши,
Ты удержи, а я проверю двери.

Макиавелли

Но, Микелотто...

Микелотто

Тише. Я пошел...

(Уходит.)

О, дон Санчо! О, дон Санчо!

Как в Кастилье правил он...

Входит Леонардо.

Макиавелли

Художники, вы ходите спесиво!
Зачем нужны живые зеркала?
Когда-нибудь придумают машину,
Которая сумеет закрепить
Изображенье в зеркале. Тогда
Не будете нужны вы!

Леонардо

Дурачок!
Художник тот, кто видит связи мира,
Художник тот, кто в капле видит море...
Художник тот, кто в миге видит вечность,
Кто в человеке видит человечность.
Художник тот, кто может в вас, Никколо,
Увидеть детство без любви и ласки,
Увидеть юность без любви и денег,
Увидеть зрелость без стыда и чести.
Да что там факт! Всего по тени факта
Художника воображенье видит сущность.
Смотри на стену. Видишь эту тень?
Так для тебя. А для меня примета
Она укрывшегося за углом Такконе.
Такконе, вылезай!

Такконе гордо проходит мимо.

А мысль твоя о некоей машине,
Что закрепит изображенье в зеркале,
Хорошая. О ней подумаю я на досуге,
Теперь пусти.

Макиавелли

Постой, не уходи...

Что есть гармония, эй, мастер?

Леонардо

Она есть то, благодаря чему я зачат.
Тебя же зачинали в отвращенье.

Макиавелли

Врешь! Ненависть есть двигатель событий.
Твои же гармонические вздохи
Есть лишь одышка бешенства природы!

Леонардо идет прочь.

Ага!! Бежишь?! Гармония, куда ты?!
И над тобой смеюсь!

Леонардо хватает его за грудь.

Пусти... Я плачу... плачу.

Леонардо отпускает его.

Я так же обездолен, как и ты...
Твой Цезарь нанимает восстающих,
Чтобы они боролись за свободу!

Пауза.

Леонардо

(глухо)

Ты это про Ареццо говоришь?

Макиавелли

Не говорил я ничего...

Леонардо

Я понял.
Что ж... догадывался я и прежде...
Недаром столько времени мutilи
Флоренцию от Цезаря послы.

Макиавелли

Так вот тебе народное восстанье...
Корысть... одна корысть...

Леонардо

Молчи, презренный!
Там люди шли бороться за свободу!
Там кровь невинных пролилась и чистых!
Мой Аталанте... предал я тебя...

Любовь моя... зачем тебя покинул?..
Так, значит, этот хитроумный герцог
Играл в освободителя народа?
Под крылышком святейшего отца
Ползущий к власти изверг человечесий?!
Где проползает этот лютый гад,
Повсюду трупы, кровь и нечистоты!
Ну что ж!.. Поищем герцога...

Уходит. Макиавелли ошеломленно смотрит вслед.
Из-за угла появляется Уголино Такконе.

Такконе
(*ликующе*)

Такие вещи говорить о князе!

Макиавелли

Я вас прошу, Такконе!..

Такконе

Нет! О нет!

Я столько лет ждал этого момента.
Ему конец...

Макиавелли

Я умоляю вас...

Такконе

Нет, нет! Я совершил бы грех
Пред собственной природой! Я бы сдох
От огорченья и от раскаянья,
Когда бы упустил подобный случай!
Что?! Ненависть моя границ не знает!
Проклятие! Я счастлив! Я лечу!

Макиавелли

Так... Адская похлебка закипает...

Микелотто

Ну что? Сбежал? Ступай перехвати.
А я уж здесь его покараулю.

Макиавелли уходит. Вбегает Такконе.

Микелотто

Назад! Куда? Назад, я говорю!

Такконе

Вы это говорите мне, любезный?

Микелотто

По-вашему, я был любезен, Уго?

Такконе

С дороги, Микелотто!

Микелотто

(выхватывая нож)

Прочь, Такконе!

Такконе

Ну так бы сразу и сказал...

Микелотто

(равнодушно)

Я сразу.

Такконе

Но, Микелотто, дорогой, послушай,
Мне нужен Цезарь!

Микелотто

Он тебе?

Иль ты ему?

Такконе

Последнее вернее.

Микелотто

Он разве приказал тебе прийти?

Такконе

Да нет, но, Микелотто...

Микелотто

Подождешь.

Такконе

Я должен князя видеть до того,
Как он здесь повстречает Леонардо.

Микелотто
Вот и скажи ему.

Такконе
Кому же?

Микелотто
Леонардо.
Идет сюда... И возбужден...

Такконе
О, дьявол!
Тяжело входит Леонардо.

Леонардо
Какого черта в этой преисподней
Все двери вдруг позакрывали?
И эта дверь закрыта. Цезарь там?

Микелотто
Вот и Такконе тоже ищет князя.

Леонардо
Ага, ты здесь, козявка, паучок?

Такконе
Не подходите близко, Леонардо!

Леонардо
И ты с ножом? Я вижу, здесь резвятся.

Микелотто
Он и меня старался напугать.
От страха чуть дышу.

Леонардо
Ты не ответил...
Что, Цезарь там?

Микелотто
И там он и не там.

Леонардо
И есть, и нет. Как все на этом свете.
Решение приносит только опыт.
Ну, я иду.

Микелотто

Нельзя туда, маэстро.

Леонардо

Кому нельзя? Тебе? Вот ты и стой.

Мне можно, я иду туда.

Микелотто

Маэстро, слышите? Я говорю — нельзя!

Леонардо

Ты говоришь одно, а я другое.

Так где же правда?

Микелотто

Я вас не пушу!

Добром себе ступайте, Леонардо,

Ведь я солдат и грубый человек.

Леонардо

Так ты меня непустишь, паучок?

А если я пройду? Тогда что скажешь?

Микелотто

Пройдешь, художник, только через труп мой,

Что совершить, однако, нелегко.

Леонардо

Какая гадость... Раньше делать труп,

Потом еще шагать через него.

Гораздо проще отшвырнуть с дороги

Вот так...

Отшвыривает Микелотто и направляется к двери. Микелотто, подскочив с земли, молча бросается на Леонардо. Леонардо перехватывает руку с ножом. Микелотто стонет и становится на одно колено.

Леонардо отнимает нож.

Микелотто

(вставая)

Иди, иди туда, колдун проклятый!

Только идешь ты за своею смертью!

Леонардо

Мы все идем за смертью, Микелотто.

Открывается дверь. Сонно улыбаясь, как сытый кот, выходит
Цезарь Борджа. Утомленно и ласково обращается к Леонардо.

Цезарь

Подумайте, в такой хороший вечер
Я слышу громкий разговор о смерти.

Леонардо подходит к нему.

Леонардо

В такой хороший вечер Цезарь Борджа
Отдал приказ убить себе подобных.

Цезарь

(переставая улыбаться)

Ага, ты разузнал?.. Ну, Микелотто?
Я видел, вы здесь обнимались...

Микелотто

Я?!

Пусть будет проклято мое зачатие,
Когда я произнес хоть слово!
Такконе подтвердит!
Он дьявол!.. Он знает все!

Леонардо

Не в добрый час мы встретились с тобой...
Не в добрый час пришел с тобой проститься...
Земля под нами напоилась кровью,
Трава переменяла цвет на красный,
Дороги больше не лежат в ложбинах,
Протоптаных ногами пешеходов,
А вспухли от крови, как вены...
Вот видишь, просочилась и под двери!..

Цезарь

Где? Где ты видишь?! Что за чепуха?!

Открываются двери, и показываются люди, несущие трупы кондотьеров.

Леонардо

Что это?! Я схожу с ума...

Цезарь
(яростно)

Я приказал через другие двери!..
Так, значит, он не знал!.. Проклятье!
Всех перевешаю! Скоты! Убрать!

Входит Зороастро.

Зороастро

Живей, живей. Коней влечет дорога.

Леонардо
(вне себя)

Какие морды... Нет, ты посмотри...
Надменные, крутые подбородки,
Лбы низкие прикрыты волосами,
Все отпрыски фамилий знаменитых!
Медичи, Сфорца, Борджа, Малатеста!
Италия моя! Красавцы! А?
Проламывают головы друг другу,
За два дуката отравить готовы,
И каждый норовит в государи!

Микелотто

С кем говоришь, несчастный?! Остановись!

Цезарь

Ты видишь, Микелотто, не в себе он?!
Я не сержусь, маэстро, ты устал.
Но о какой ты крови говорил,
Когда еще не знал о совершенном?

Леонардо

Не знал о совершенном? Ну а кровь,
Что пролилась из-за тебя в Арещо?

Цезарь

Так... Все понятно, мастер... Тут тебе
При всем твоим уме не разобраться.
Это политика... Это моя наука.
Страна моя — это моя рука.
Сожму в кулак — готова для удара,
Расправил — пятерня послушных пальцев,
Пять щупальцев. Вот видишь... Леонардо,

Погладить могут... Могут задушить.
Но всей страной, как рукой послушной,
От века управляет голова.
А голова страны есть князь.

Леонардо
(неустово)

Князь — голова?!
Князь — это вошь на голове страны!
Князь — это клещ, вцепившийся в затылок,
Что кровь сосет и иссушает мозг!
Мой мозг!.. (Хрипит.) Воды!..

Зороастро подхватывает его и быстро уводит. Цезарь,
сузив глаза, вежливо улыбается. Молчание.

Так коне
(приблизившись)

Пора пришла убрать его, мой герцог...

Цезарь

Запомни-ка, любезный. В тот момент,
Когда решишь покончить счеты с жизнью
И знать не будешь, как себя убить,
Ты руку подними на Леонардо,
Чтоб тотчас же погибнуть от моей...
А у меня рука длинна... Ты знаешь...
Ты у него отнимешь только жизнь,
А у меня отнимешь Леонардо.

Так коне
(в ужасе)

Так говорила Беатриче Сфорца!

Цезарь

Покойница, забыл добавить ты.

Так коне
(в ужасе)

Она... наедине мне говорила!..

Цезарь

Не будь догадлив... Эй, не будь догадлив.
Ступай.

Такконе

Простите...

Цезарь

Я сказал, ступай.

Такконе, сгорбившись, уходит. Цезарь и его люди молча смотрят вслед.

Цезарь

Пусть уезжает мастер... Он вернется...
Мы встретимся друг с другом под лучами
Моей великой славы и его.

Темнота. Круг поворачивается.

СЦЕНА 3

Фиолетовый лес на горах. Копья сосен. Идут два монаха.

Фанфоя

(перодеый)

Ну, вот и Аржантьерский перевал.
Вот крест поваленный. А вот ручей.
От головы креста спускайся вниз,
И ты во Франции.

Доминиканец

Ступай, я отдохну.
Ты заморил меня.

Фанфоя

Что ж заморил?
Зато раз в двадцать сократили путь,
Который мы проехали б на мулах.
А этою дорогой, святой отче,
Всего три дня езды до Монте-Негро.
Счастливым путь!.. Ай!..

Доминиканец

Что с тобой?

Фанфоя

Мираж...

Д о м и н и к а н е ц

Перекрестись.

Ф а н ф о я

Нет, не поможет, отче.

Фанфоя спиной движется назад. На него надвигается арбалетчик. Доминиканец выхватывает нож. Сзади появляется второй арбалетчик.

А р б а л е т ч и к

Святой отец, брось ножик...

Ф а н ф о я

Французы!..

О ф и ц е р
(обернувшись)

Вперед... Вперед...

Из-за камней появляются воины.

Ф а н ф о я

Ох, Михаил святой. Да сколько вас...

Все, кроме двух арбалетчиков, уходят. Офицер свистит и тоже уходит.

Ф а н ф о я

Куда же это они? А? Как ты полагаешь,
Святой отец?

А р б а л е т ч и к

Молчи.

Ф а н ф о я

А это что? Обвал?.. Нет, топот.
Что же это?

Появляются воины. Начинает двигаться армия французов.

Как же это так?.. А? Как же так?

Фанфоя бежит. Доминиканец вырывает у француза арбалет и стреляет в спину Фанфое. Фанфоя с криком летит в пропасть.

А р б а л е т ч и к

Чертов монах... Ловко стреляет...
Как ветром сдуло.

Д о м и н и к а н е ц

Веди к начальнику.

А р б а л е т ч и к

Да, как же, поведу...

Д о м и н и к а н е ц

Болван!.. Да вот они...

А р б а л е т ч и к

Назад! Стреляю!

Входит король Франциск со свитой.

Ф р а н ц и с к

(подняв забрало)

Что за монах?

Д о м и н и к а н е ц

Посол святого римского престола
С посланьем королю французов.

Ф р а н ц и с к

Давай сюда посланье... Поживей.

Д о м и н и к а н е ц

Но это несущественно, однако...

Ф р а н ц и с к

Вот как? А что существенно, посол?

Д о м и н и к а н е ц

Я человек Гастона де Фуа.

Ф р а н ц и с к

Гастон... Твой человек?

Д е Ф у а

Так точно.

Его зовут Сульпиций. Кардинал.

Ф р а н ц и с к

Доверия заслуживает?

Де Фуа

Как обычно.

Франциск

Не верю я ему... Ну, отвечай! Да скоро!
Что нового есть нынче в Ватикане?

Доминиканец

(быстро)

После избрания Льва Десятого на папский престол удалось захватить князя Цезаря Борджа и заточить в башню Ангела. А через неделю должен быть схвачен по доносу приехавший в Рим художник Леонардо да Винчи, еретик.

Франциск

Что ты сказал, собака, повтори!

Доминиканец

Художник Леонардо...

Франциск

Прочь!.. Гастон!

Де Фуа

Я здесь, ваше величество.

Франциск

Гастон!

Гастон... спеши... достань мне Леонардо.
Возьмешь с собою пятьдесят дворян,
По пять коней на каждого из них.
Помчишься в Рим со скоростью стрелы
И Папе Льву ты передашь письмо.
Но ты примчать обязан до того,
Как будет схвачен Леонардо! Понял?

Де Фуа

Когда они не схватят его раньше...

Франциск

А если схватят — ты им объяснишь,
Как только с армией достигну Рима,
Я срою башню Ангела к чертям!

Де Фуа

Карт-бланш. Я понял. Эй, по коням!

Французы проходят. Вылезает Фанфоя. В спине у него стрела.

Фанфоя

Как жив остался, сам не понимаю.
Ах ты предатель! Чувствовал, ей-ей,
Стрела вонзилась... Сшибла в пропасть...
Едва успел схватиться за кусты.
Ох вы, доминиканцы! Псы господни!
Со страху даже голод одолел.
Скорее надо силы подкрепить...
Ох, мать божья, как всего трясет!

Достаёт из капюшона окорок. В него воткнута стрела.

Так, так... понятно все... Вот и стрела.
На волосок от смерти удержался,
Пробила мясо и попала в кость.
Недаром я всегда предполагал,
Что окорок есть лучшая защита
От бедствий всех...

(Жадно ест.)

Стоп... Ах, я идиот!

Пока я ем, ведь армия идет!

(Подскакивает.)

Ну нет, голубчики! Меня не обогнать.
Вы на конях, а я пешком... пешком,
Вы по дороге, я же по веревке.
Еще посмотрим, кто из нас быстреей.

*(Торопливо кусает окорок. Запихивает его в капюшон.
Туго подпоясывается, торопясь. Вдруг резко останавливается.)*

Куда спешить? Нет, погоди, Фанфоя...

Они ж тогда придушат Леонардо.

(Ошеломленно молчит.)

Еще б немного, и пошел. Ну нет...

Тьфу... даже пот прошиб меня от страха.

(Садится.)

Представил, как они его схватили...

Нет, погоди... Но армия идет?

Так, значит... Чтоб я отдал Леонардо?

Нет, не дождетесь, подлецы такие...

А, провались все пропадом совсем!

Я не пойду, и все... Но армия идет...
Огни пожаров вижу на закате...
Не ветра вой, а плач детей и женщин.
Бежать, бежать... скорей предупредить...
...Чтобы они скорей его схватили?!
Христос!.. Скажи... За что такая мука?!
Зачем велишь, чтобы убил я друга?!
А?! Ты молчишь?! За что!.. За что?! За что?!
(*Рыдая, бьет себя кулаками в грудь и в голову.*)
Куда идти?.. Уж лучше вниз со скал...
Конец — и все... Но армия идет...
Прости меня, маэстро Леонардо...
Что я, подлец, готовлю смерть твою.
Любимый друг мой... Светоч мой любимый...
Один лишь ты мне светоч в этой мгле!
(*С отвращением.*)
Иду!

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

СЦЕНА 1

Ночь. Осень. Монастырская стена. Голые сучья деревьев.
Могилы Моны Лизы. Ветер срывает листья. Топот коней.
Входят Леонардо и Зороастро.

Леонардо

Ты оботри коней. Нам дальняя дорога.

Зороастро

Да я уж знаю, мастер мой, я знаю...
Вы там недолго... Ночь нехороша.

Леонардо

Смешной старик. По-прежнему слуга,
И мастером, как прежде, называет,
И говорит, что ночь нехороша.
Что ночь?! Все ночь. Ночь, ночь кругом...
Да есть ли день на этом белом свете?
Быть может, день всего ублюдок ночи?
А свет лишь искаженье темноты?

Когда ж не так, то почему я ночью,
Как вор, скитаюсь под стенами Рима,
Сношу пощечины осенних листьев,
И сам, как лист осенний, сорван бурей
И вот прибит к могиле Моны Лизы?!
О, Мона Лиза!..

(Падает на могилу.)

З о р о а с т р о

Мастер мой, скорее...

Л е о н а р д о

(рыдая)

«Скорее, мастер!.. Леонардо, живо!..»
О, Мона Лиза! Некуда скорее!..
Мне некуда спешить... Ты слышишь?.. Нет...
Теперь ты больше ничего не слышишь...
Нет для тебя ни рая и ни ада,
И это значит, нет их для меня.
Но неужели труп — та девочка, которой
Принадлежало имя Моны Лизы,
Единственная собственность ее,
Которую не отняла могила?!
А может быть, и имя только труп
Любви моей, что отняли у вас...

(Рыдает.)

Входит Д ж о к о н д о .

Д ж о к о н д о

(входя)

Ага! Ты плачешь, еретик проклятый!
Слуга предателя! Исчадьё сатаны!

Л е о н а р д о

Кто ты?

Д ж о к о н д о

Не узнаешь?

Л е о н а р д о

Узнал... Джокондо.

Д ж о к о н д о

Что... Не помог тебе твой Цезарь Борджа?

Он мнил себя властителем страны,
Но сдунут ветром, словно лист осенний.
Ведь стоило скончаться Александру,
И рухнула его земная власть,
И Рим избрал себе другого Папу,
И Цезарь Борджа заточен в тюрьму...

Леонардо

Молчи... Ступай... Все кончено теперь.
Неважно все пред этою могилой.
Стой... Расскажи, как все произошло?

Джокондо

А хватит сил в твоём огромном теле,
Чтоб выслушать историю мою?
Я все тебе сейчас же расскажу,
Чтоб лопнуло твоё гнилое сердце,
От ужаса полезла борода!

Леонардо

Рассказывай.

Джокондо

Когда случилось это несчастное восстание, много было убито народу, и собаки стали жирные. И тогда она послала Аниту искать тебя, потому что был слух, что ты тоже в Ареццо. И когда старуха шла по дороге в Ареццо, она встретила воинов Флоренции, которые бесчинствовали в домах. Она стала их корить... И тогда один воин ударом меча отсек груди старой Аниты, и она вся в крови пошла умирать в Ареццо.

Леонардо

Она была хорошая женщина...

Джокондо

Она тебя ненавидела...

Леонардо

Она боялась за Мону Лизу... Откуда
Ты все узнал?

Джокондо

Приходил Фанфоя, переодетый монахом...
Он бежал, и его ищут...

Леонардо

Фанфоя всегда был трусом... Говори
Дальше.

Джокондо

Дальше?... Ты просишь дальше?!.
Дальше моя жена задумала бежать к тебе...

Леонардо

Дальше...

Джокондо

И я со слугами ее поймал,
Она недалеко уйти успела...
Я предложил вернуться ей домой,
Она домой вернуться отказалась...
Тогда церковный суд постановил,
Чтоб я согласие дал...

Леонардо

На что согласие?!

Джокондо

Чтоб заточить ее в монастыре...

Леонардо

(кричит)

Ты согласился?!

Джокондо

(тоже кричит)

Да! Я согласился!
Из всех не согласилась лишь она!
Яд выпила... И умерла... И, как собака,
Схоронена за стенами кладбища...
Из-за тебя, проклятый живописец...
Из-за тебя, отродье сатаны!..

Леонардо

(тихо)

Молчи, торговец, если хочешь жить,
Моя любовь погибла, как цветок,
Захвачанный вонючими руками...
Ведь ты жену свою купил, как вещь,

Взял за долги, как ношеное платье.
Ведь если бы не деньги, ты б ослеп,
Едва взглянувши на ее лицо!
Но ты богат, и ты ее купил!!

Д ж о к о н д о
(яростно)

А ты как думал, еретик проклятый?!
А что ж мне делать, если бог не дал
Ни сил, ни красоты и ни таланта?!
Я, значит, не имею прав на счастье!
И быть счастливым можешь только ты?

Л е о н а р д о

Я счастлив, Джокондо... Ты несчастен.
Она меня любила... не тебя...

Д ж о к о н д о

Как плакала она и как просила
Не заточать ее в монастыре!
Ты думаешь, душа не содрогнулась?!
Я устоял — ведь я ее любил!
Она ведь знала про мою любовь!
И крик ее в ушах стоит немолчно!
«Ведь ты меня любил! Я знаю! Знаю!
По-своему, но все-таки любил!
Я не хочу! Смотри, ведь я живая!
Ведь звери никого не заточают,
А ты не зверь!» Я отвечал:
«Молчи!
Молчи, жена, в тебе бушует плоть...»
Погонщика ослов! Бродягу! Вора!
Кого угодно я бы ей простил,
Но не тебя, бастард, проклятый мастер!

Л е о н а р д о

Убью тебя...

Д ж о к о н д о

Убей... Ведь ты сильнее,
Тебя ведь силой бог не обделил.

Л е о н а р д о

Свирепы когти хаоса...

Д ж о к о н д о
(испуганно)

Идут...

Вбегают латники и окружают их.

В о и н

Вы кто такие?

З о р о а с т р о
(подбегая)

А вы?

Д ж о к о н д о
(льстиво)

Что вы, друзья?.. Что вы?.. Да вы знаете, на кого вы руку подняли?.. Ведь это же знаменитый маэстро Леонардо, живописец его святейшества Папы Льва Десятого.

В о и н

Верно... Это наш художник... Я видал его...
Здесь никто не проходил?

Д ж о к о н д о

Нет, никто не проходил... Кого вы ищете?

В о и н

Пошли.

Д ж о к о н д о

Кого вы ищете, друзья?

В о и н
(обернувшись)

Цезарь Борджа бежал из тюрьмы...

Воины уходят.

Д ж о к о н д о
(в страхе)

Простите меня, мастер Леонардо,
Я сам не помню, что я говорил...

Л е о н а р д о

Не бойся... Борджа не вернется.

Входит Цезарь Борджа.

Д ж о к о н д о

Ах!..

Ц е з а р ь

Ушли они?

Пауза.

Л е о н а р д о

(хмуро)

Ушли.

Ц е з а р ь

Какие встречи...

Какие встречи в эту ночь... Какие встречи...

Я угадать не мог.

Л е о н а р д о

Всего не угадаешь.

Ц е з а р ь

Я угадал все на своей дороге.

Л е о н а р д о

Ты только смерть отца не угадал.

Ц е з а р ь

Ты думаешь, что кончена игра?

Что козырей в колоде больше нету?

Л е о н а р д о

Но ты бежишь?!

Ц е з а р ь

Бегу! Бегу! Бегу!

Но я вернусь! Клянусь тебе крестом!

Еще запляшут языки пожаров.

Еще примчится войско Вельзевула,

Держась за стремяна моих коней!

Эй, Зороастро, кони где?

З о р о а с т р о

(уклончиво)

Что кони...

Ну-ну, я здесь, хорошие мои...

Цезарь

Старик, скажи... Вернусь ли я назад
Тем же путем, что нынче уезжаю?

Зороастро

Нет, больше не вернешься...

Цезарь

Ах ты, враг!
Я был для вас плохим государем?
Я плох вам показался? Говори.
Ну что же, поживите при другом.
Тогда вы и припомните меня.
Обратно позовете — я приду.
Но я тогда в страну прибуду с войском.

Зороастро

Так вот что ты задумал, Цезарь Борджа?
В страну вернуться хочешь, но не прежде,
Чем преступленья нового злодея
Достигнут перевеса над твоими?!
Но слишком долго ждать того придется.

Борджа бьет его ножом в грудь.

Простите меня, люди.

Борджа бежит. Топот коня.

За то, что я предателю служил.

Леонардо

Томмазо... *(Кричит.)* Зороастро! Зороастро!

Зороастро

Умираю, мастер...
Мне не хватило выдержки... Не дожил...
До той поры, когда построишь крылья...
Не удержался, как мальчишка... Извини.

Джокондо

Так наказует бог еретика!

Леонардо

Не понимаю... Нет... Не понимаю!
Скажи, зачем живет такая жаба,

Когда здесь умирает Зороастро?

(Со стоном.)

Не по-ни-маю!!!

Д ж о к о н д о

Что ж я пойду... Пора и отдохнуть.

(Уходит.)

З о р о а с т р о

Прости меня, что я тебя подвел...

Но ты не бросишь своего пути.

Л е о н а р д о

Я встретился с тобою, с подмастерьем,

А расстанусь я с другом и отцом...

Прости меня и ты, любимый друг!..

Я опирался на тебя всю жизнь...

Ты загораживал меня в боях,

Ты подставлял усталое плечо,

Когда я падал. Если же хотел

С пути я уклониться — не давал мне.

Ты нес меня в ладонях, как птенца,

Чем заслужил подобную любовь?!

З о р о а с т р о

Как странно мне... А я всегда считал,

Что все это со мною делал ты...

И я всегда хотел тебя спросить,

Чем заслужил подобную любовь...

Мы никогда о том не говорили.

Ты шел вперед, как черная комета,

Мы за тобой спешили, задыхаясь.

Все меньше оставалось за тобой.

Я дольше всех тебя не покидал...

На всех дорогах мы искали счастья,

Но ты учил, что счастье — это взлет.

Дорога пройдена... Путь здесь нет...

Государей хороших не бывает...

Прыжок ты сделаешь... Вы сможете, маэстро...

Взмахните крыльями... Вперед... Вперед...

Прощай, любимый мастер... Я лечу...

З а н а в е с .

СЦЕНА 2

Ватикан. Покои во дворце. Папа Лев Десятый. Перед ним кардинал и толстый монах.

Лев X

Чем он еще у Борджа занимался?

Кардинал

Он рисовал с натуры оборванцев
И с них писал он образы Христа.

Толстый монах

Из всякой швали делал он святых,
А из меня, послушника, Иуду.
В моем лице затронута была
Бессмертная святая сила церкви,
К коей мы все принадлежали. А значит,
Оскорблена святейшая особа
Наместника Иисуса на земле.

Лев X

Ну-ну, преувеличивать не надо.
Изобразить тебя есть далеко не то же,
Что оскорбить меня...

Толстый монах

Но я хотел...

Лев X

О, ты хотел уйти. Пошел отсюда вон!
Ослица вифлеемская...

Толстый монах уходит.

Он слишком многим нужен, Леонардо...
Но мне он стал не нужен. Вот в чем суть.
А тот, кто бесполезен нашей церкви,
Тот враг святого римского престола.
Распорядись, чтоб вызвали людей.
Я заведу с ним долгий разговор.
Когда произнесу: «Пора кончать!»,
То это означает: «Приготовьтесь»,
Когда кивну — схватить еретика.
Ну что еще там?

К а р д и н а л

Пьяница какой-то.
Монах поддельный арестован был,
Когда хотел, проникнув на прием,
Добиться личного свиданья с вами.
Он утверждает, что имеет весть,
Которую он сообщит лишь вам.
Неделю целую мы бьемся с ним.
Боюсь я, как бы он не сдох.

Л е в X

Он где, недалеко?

К а р д и н а л

Да, ваша милость.
Мы привели его на всякий случай.

Л е в X

Ведите дурака. Да, открывай прием.
И тотчас же с приходом Леонардо
Ты стражу увеличишь у дверей.

Кардинал уходит. Открывается дверь, входят стражники, слуги, придворные, чины церкви. Вводят истерзанного Фанфоя.

Л е в X

(Фанфое)

Кто ты?

Ф а н ф о я

(бормочет)

Привез я вести страшные...
Но мне ничто не страшно...
Поэтому осмеливаюсь вам сказать...
Что я скажу вам при условии...

Л е в X

Что мелет этот пьяница безродный?
Осмелился потребовать условий?
Гоните его в шею, и плетей!
Мне вести не нужны.

Фанфоя

(в страхе)

Как не нужны?

Ах, пропади все пропадом!
Я без условий!

Л е в X

Вон! — я сказал! Ну, живо!

Фанфою ташат к дверям.

Ф а н ф о я

Французы Альпы перешли!

Слуги останавливаются.

Войска французов движутся на Рим!

Общий ужас.

Л е в X

Пустите его... Ты откуда знаешь?

Фанфою отпускают.

Ф а н ф о я

Я провожал того доминиканца,
Которого отправил ты послom.
Мы натолкнулись на дозоры их...

Л е в X

Проклятье! Они его убили?

Ф а н ф о я

Убьешь гадюку эту! Он предатель!
Он выстрелил в меня из арбалета,
Отнятого к тому же у француза,
Когда я попытался убежать,
Меня швырнуло в пропасть. Я успел
За куст схватиться. Уцелел случайно.
(Поднимает голову и смотрит на Льва X.)
Я слышал разговор его с французом.
Он человек Гастона де Фуа.

Л е в X

Предатель!.. Что же делать?.. М-м-м...
Предатель.
Бежать! Бежать!.. Где генерал Ровера?
Я ставлю вас командовать войсками!
Ступайте живо!

Р о в е р а

Слушаю, синьор!

Л е в X

Постойте... Эй...

Р о в е р а

Я слушаю, синьор.

Л е в X

Вся гвардия пойдет в мою охрану.

Ровера уходит.

Кем окружил себя я! О, иуды!

Вы все предатели... Я вижу по глазам...

(Фанфое)

Один лишь ты мне верным оставался...

Проси награды! Ну, чего ты хочешь?

Поместья? Денег? Может, бенефиций?

Проси что хочешь... Говори скорей.

Ф а н ф о я

Не троньте вы маэстро Леонардо.

Пауза.

Л е в X

Ну, это, знаешь, дело не твое.

Ты позаботься о себе.

Ф а н ф о я

Не троньте

Маэстро Леонардо.

Л е в X

Ты забылся!

Ф а н ф о я

Нет... Я не ту Италию спасал...

Один лишь раз и был я человеком,

И в этот раз я друга погубил...

Кого я спас?! Кого я погубил?!.

Входит Ле о н а р д о. Общее замешательство.

Маэстро Леонардо, берегитесь!

Ему зажимают рот и выволакивают.

Л е в Х

Живее в башню Ангела! Мерзавец!
Идите же, идите, Леонардо,
Что с вами? Испугались?

Л е о н а р д о

Не могу
Припомнить я, где слышал этот голос!..

Л е в Х

Мой бедный мастер, я тебя позвал...
Утешить в горе от потери друга.
Его убил бежавший ночью Борджа.
Я знаю все... Но вот беда пришла.
Она мне все перемешала карты.
Теперь я сам нуждаюсь в утешенье...
Теперь тебе я говорю другое:
Возьми людей и власть возьми над ними.
Используй тайные свои познания.
Приказывай везде. И там и тут,
Все твои мысли слуг себе найдут.

Л е о н а р д о

Власть над людьми принять я не могу.
Я не умею справиться с собою.
Но что-нибудь случилось, мой синьор?

Л е в Х

Король французский Альпы перешел.
Войска французов движутся на Рим.

Пауза.

Л е о н а р д о
(с *отвращением*)

Война... Война... Проклятая война...
Она съедала все мои усилья,
Все лучшие деяния мои...
Опять помчалась конница по нивам,
Опять артиллерийский серый дым
Смешала с пылью хрипя пехота...
Я вижу... воздух полон стрел...

И жеребцы грызутся... и щиты
Кровавой грязью залиты и пеной,
А под ногами конницы, в пыли
Зубовный скрежет, лязг и визг ножей,
Вскрывающий, как устрицы, доспехи...
Одни тела другими роют землю...
Нет ровных мест... Зияют ямки,
Следы копыт, наполненные кровью.

Л е в Х

Боже! *(бледнея)*

Л е о н а р д о

Опять забилась мать среди дороги,
Оплакивая мертвое дитя,
Раздавленное рыцарской подковой...

Л е в Х

(кричит)

О, перестань!.. Ты!.. Ты!.. Колдун
Проклятый!
Нет, ты не патриот! Ты трус!

Л е о н а р д о

Я трус?

Л е в Х

Что толку в том, что ты силен как бык,
Что ростом чуть не выше Голиафа?
Вдвойне позор, когда в могучем теле
Скрывается дрожащий бабий дух.
Мужчина — воин! Так велел господь,
Создавший нас по своему подобию.
Мужчина от рожденья до надгробья
Войною дух свой пестует и плоть!

Л е о н а р д о

Войной за что?.. Ведь если создан я
По образу и божьему подобию,
То не затем, чтоб умножать надгробья,
Ведь это может делать и змея.
Нет, я боец!.. Но кистью и резцом
Я не калечу божии творенья,
Я создаю Вселенной повторенье,
Недаром бога мы зовем творцом.

Лев Х

Ты богохульник!

Леонардо

Нет, синьор, художник!

Лев Х

Мой капитан, вы здесь?

Микелотто

Так точно.

Лев Х

Вы помните приказ?

Микелотто

Так точно, помню.

Леонардо

О, Микелотто? Капитан? Ах, старый друг!..
Я вижу, здесь собрались патриоты...

Микелотто

Точь-в-точь как вы, маэстро.

Леонардо

О, как я!
Вот человек без предрассудков.

Микелотто

Как и вы...

Леонардо

Без родины...

Микелотто

Я человек Вселенной.

Леонардо

Ты человек той части во Вселенной,
В которой больше платят!

Микелотто

Как и вы!

Леонардо

Врешь, Микелотто... Разница большая:
Мне платят, чтобы я работал.
Тебе же — чтоб не изменял.
Я продаю князьям свою работу,
Ты, Микелотто, верность продаешь.
Есть разница? А?

Лев Х

Убирайся, Микелотто!

Микелотто

Работа может быть изменой, мастер.

Леонардо

Да, да, ты прав...

Лев Х

Пошел, пошел.
Постой за дверью. Ты нас раздражаешь!

Микелотто в бешенстве уходит.

Лев Х

(вкрадчиво)

Ты не за деньги трудишься, я знаю.
Ты, как и я, против междоусобиц,
Ты любишь всю Италию, я — тоже,
Но вот теперь ты можешь, Леонардо,
Свою любовь на деле доказать.
Ведь приближается чужое войско,
Чужой правитель и чужой язык,
Но прячешь ты военные секреты,
Что помогли бы выиграть войну.

Леонардо

Но ведь воюют люди, а не тайны.
Кому же мне вручить секреты эти?
Быть может, патриоту Микелотто,
Чтоб он их тотчас передал французам?
Да, выиграть войну... А дальше что?
Работа тоже может быть изменой.
Секреты! Пресловутые секреты!
Да их и нет, секретов, у меня...
Прости меня, народ... Я бесполезен...

Лев Х
(яростно)

Ты бесполезен стал, едва родился!
Ученики твои бездарны, мастер!
Картин твоих, увы, ничтожно мало,
А те, что есть, ветшают на глазах.
Машин твоих почти никто не видел,
А те, что есть, не нужны никому!
Секреты?! Но ведь их не оказалось?!
Ты даром прожил жизнь, мой Леонардо!
Великий Леонардо! Горный пик!
Велик, да толку что?! Так... Украшение пейзажа!
Тупой, тяжелокаменный болван,
Ломающий колеса у повозок!
Он, как и ты, велик и бесполезен!

Пауза.

Леонардо
(тихо, почти жалобно)

Пара коней влечет телегу жизни.
И каждый тянет в сторону свою...
Телега делает зигзаги в поле
И продвигается вперед едва...
Слепые кони бьются на постромках,
Возничий пьян и вожжи опустил.
Я все хотел ускóрить бег коней,
Направить бег их с поля на дорогу,
Но стрелка равнодействующей силы
Прошла случайно через грудь мою.

Пауза.

Я с юности отправился искать
Веселые секреты мироздания,
Чтоб человек, природе подчиняясь,
Построил храм по принципам ее.
Чтобы земля, как сад благословенный,
Произвела людей, а не скотов,
Чтоб шар земной помчался по Вселенной,
Пугая звезды запахом цветов...
Открытие сделано, но время не настало...
Приложены две силы к чаше счастья,
Проходит третья через грудь мою...

Лев Х хлопает в ладоши, входит стража.

Л е в Х
(нежно)

Да, мастер Леонардо, ты упал,
Раздавленный бессмысленной мечтою.
Ты сам разочарован, Леонардо,
Признайся, ведь разочарован?

Л е о н а р д о
(с силой)

В чем?..
В движенье? Но ведь это все равно,
Что разочароваться в лунном свете
Иль в плодовитости болванов, государь!
Движенье — факт, не выдумка моя,
А разочароваться можно только в снах!
Я опрокинут навзничь. Это так.
Но, падая, я двери распахнул!
В мир выскользнуло знание законов,
А это значит, что бессмертен я!
Живой вовеки, я иду вперед!
Эй, трупы, нечисть, розовые жабы!
(Задыхаясь.)

Дорогу для маэстро Леонардо!..

М а ж о р д о м
(машинально)

Дорогу для маэстро Леонардо!

С л у г а
(как эхо)

...Дорогу для маэстро Леонардо!

В т о р о й с л у г а
(торопливо)

...Дорогу для маэстро Леонардо!

Л е в Х
(опомнившись)

Мерзавцы! Прекратить! Эй, стража!!!
Вы, псы смердящие! Схватить еретика!!!

Д е Ф у а
(входя)

Дорогу для маэстро Леонардо!

Дорогу живописцу короля,
Его величества Франциска Первого!
Посол французов герцог де Фуа
Имеет честь вам кланяться.
(Кланяется.)

Л е в Х
(в страхе)

Французы!..

З а н а в е с .

СЦЕНА 3

Франция. Замок Клу. Площадка башни. Звездная ночь. На фоне звездного неба силуэт Л е о н а р д о в мантии, сидящего в кресле.

Л е о н а р д о
(один)

Спустилась ночь, и Франция заснула,
Спят короли, заснули поселяне,
Ученики заснули и прислуга,
Храпят во сне любовники и воры,
Планета спит, уставшая за сутки,
Сон все сковал, и присмирела жизнь.
Не спит солдат на башне в Амбуазе,
Да я не сплю, усталый звездочет.
В долине поднимается туман,
А здесь, на башне, ветер... только ветер.
Я Леонардо.... Эй, ты слышишь, ветер?
Это ведь я, твой друг и недруг старый.
Иди еще... еще омой мне ноздри
Пронзительною свежестью ночной.
Дышать, еще дышать... Ты слышишь?
Напрасно ты смеешься надо мной,
Что покорить тебя не довелось мне,
Что от меня останется потомкам
Лишь куча праха да листки бумаги.
Пусть так, но в грудях тех листков
Заклучено твое порабощенье.
Ты вихрями свергаешь наземь храмы,
И пыль встает... И ты уносишь пыль...

И ты развеешь прах моих деяний...
Но ты же разнесешь их семена.
Мечи блеснули... Слышишь, ветер, слышишь,
Враг приближается, и трус вопит от страха...
А воин стягивает ремни шлема...
Предатель точит нож... Бьет в спину воина...
Въезжает с победителями в город,
Но гибнет от народных мятежей...
Мятеж народный разрушает храмы,
Которые могли бы пригодиться,
Но омерзением тревожат память...
Но надо жить... Душа покоя просит...
И снова начинают строить храмы...
И вечно кружит тот проклятый круг...
Но сердце возмущается подобным,
И разум изыскать стремится выход...
Вот все они проходят предо мной:
Медичи, Сфорца, Борджа, Малатеста,
Проходят омерзительные тени,
Проходы пищи, умножители дерьма,
Что, кроме переполненных сортиров,
Не оставляют в мире ничего...
Прочь, эти тени... Прочь! Я не хочу вас!
А это кто? Кто ты, печальный призрак?
Ах это ты, Паоло Тосканелли...
Пришел ты повидать ученика?
Пришел продолжить наш великий спор?
Изволь. Наш старый спор еще не кончен.
Ты скажешь мне, что я в чужой стране,
Не наживя ни денег, ни семьи,
Без родины, без сил и без подмоги,
Найти не смог дороги через хаос
И, как и ты, повергнут перед бездной.
Нет, ты ошибся. Спор еще не кончен.
Ты помнишь? Я отправился искать
Веселые секреты мироздания,
Искать те струны, на которых ветер
Играет песни матери-природы,
Чтоб человек, следя ее законы,
Построил храм по принципам ее.
Все позади, и вот теперь, я вижу,
Нам надо повалить гнилую кучу,
Что ложно принимается за храм,
Чтобы упало все гнилое зданье

И заодно бы раздавило нечисть,
Веками оседавшую в щелях.

Крик петуха.

Крик петуха, и ты бежишь, Паоло,
Как полагается порядочному духу.
Привет тебе, привет, крикун французский,
Певец горластый, словно Аталанте.
Ты прав, а не мой старый Тосканелли.
Ты, как и я, приветствуешь зарю.
Вот и она... Привет тебе, Аврора...

(Хлопает в ладоши три раза.)

Ученики, вставайте! Петухи поют!
Заря уже зарозовила небо!
Проснулись?

Франческо

Мы не спим, учитель.
В замке во всем никто не спит.

Леонардо

А разве что-нибудь случилось, мальчик?

Батиста

Да нет. Франческо разбирал бумаги,
Что вы давно ему велели сделать,
Да так и просидел всю ночь.

Леонардо

А вы? А Матюрена?

Батиста

Мне не спалось... Служанка по хозяйству...
Вы не замерзли ночью, мой учитель?

Леонардо

Ах, мальчики, всему вас обучил,
Не обучил вас только лгать, а надо б.
Вам это пригодится без меня.

Крик петуха.

Кричит петух! И кликнули в душе
Все петухи, что мне кричали в жизни...
Какое утро! Подойди, Франческо.
Ты спой сейчас мне утреннюю песню,
Которую певал мне Аталанте...

Франческо
(торопливо)

Сейчас, учитель... Я сейчас спою...

(Достает лютню. Поет.)

Вот утро встало —
Голубые горы.
Вот утро встало —
Голубые воды.
А почему
Грустишь ты, Аталанте,
И трусишь ты,
Бродяга-пилигрим?
Вот ты летел
Тропою соколиной.
Вот ты пришел
В заветную долину.
Увы, Мадонна,
Бедный Аталанте
Не сам пришел,
Он жаждою гоним.

Леонардо
(говорит)

Увы, Мадонна,
Бедный Аталанте
Не сам пришел,
Он жаждою гоним...
Вот эта жажда, бедный Аталанте,
Есть главная из сил на этом свете,
Она недаром творчеством зовется.
Рассыплются короны и гербы,
Не пропадет машина или песня.
Пускай струна звенит...
Пускай на ней играет ветер...
Вы слушайте тот ветер, трубадуры...
Вы, мастера, художники, творцы...
Узнают люди лет через пятьсот,
Как в тысячах листах картину мира
Хотел изобразить один художник.
Из Винчи родом он. Об этом вспомнят.
Органы кликнут, забряцают лютни
И сотни инструментов неизвестных,
И двинется поток толпы в цветах,

И выйдут все на берег океана,
И перед ними в солнечном сиянье,
В веселом и тревожном блеске радуг,
Омытая счастливыми дождями,
Откроется последняя картина!

Над горизонтом встает шар солнца.

Как хорошо... Я вижу толпы...
Людей свободных, мирных и счастливых.
Они сплетаются, располагаясь в группы
Невиданных аккордов и созвучий...
Вот на скрещении двух мимолетных тем
Они застыли, образуя числа...
Божественных пропорций. О, музыка!
Я вижу композицию... я слышу...
А вон и я иду в толпе... нас много...

Франческо

Ты умираешь, мой учитель?

Леонардо

Нет, Франческо,
Я только начинаю жить.
Теперь читай. Я буду слушать...
Я знать хочу все, что я совершил.

Мельци начинает читать нескончаемый список изобретений Леонардо.
Батиста Виллани тихо выходит, задергивая за собой прозрачный занавес,
отделяющий площадку от лестницы. Занавес освещен солнечным ореолом.

Матюрена

(входит в слезах)

Ну что? Отходная? Как я велела?

Батиста

Да, Матюрена, все как ты велела.
И дай бог каждому из нас
Такое отпеванье, Матюрена.

Матюрена крестится. За прозрачным занавесом Мельци читает.
Тихо собираются люди и смотрят на силуэт Леонардо. Шум на
лестнице. Входит король. Все в смущении расступаются.

Франциск

Где мой отец, мой Леонардо милый?!
Ведь я проспал беседу с ним ночную
О звездах и о прочем... Но за это

Могу теперь порадовать его!
Достал я денег на его каналы!
(*Оглядывается на людей.*)

Б а т и с т а

Ваше величество...

Ф р а н ц и с к

Что?! Что?!

Б а т и с т а

Маэстро Леонардо...

Ф р а н ц и с к

Нет!.. Молчи!..

Выходит Франческо Мельци и не кланяется королю.

Ф р а н ч е с к о

Окончилась великая дорога...
Свидетели судьбы его суровой,
Поклонимся могучему титану.
Он показал навеки человеку,
Чего достичь способен человек.
Пока не распадется мое тело,
Тебя я буду помнить, мой отец.
Границ такому горю быть не может.
Мальчишки плакать будут по ночам
От имени его, и от его судьбы,
И оттого, что не из-под его крыла
Они в полет отправились впервые.
Закрылись навсегда глаза орла.
Он долго чересчур глядел на солнце.
Он видел то, чего мы не видали,
О чем только мечталось в тишине.
Он разглядел для нас такие дали,
Которые мы видели во сне.
Потеря подобного человека оплачется всеми.
(*Король Франциск плачет.*)

З а н а в е с.

1952—1979

СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР

МОСКОВСКАЯ ПОВЕСТЬ

Жигулин очень любил, когда какой-нибудь человек старше его. Он тогда для себя придумывал, что вот старший, значит, видел, чего он, Жигулин, не видел, и, стало быть, хлебнул такого, чего Жигулин не хлебнул, значит, душевный опыт, значит, учитель, значит, надо ему за водкой сбегать и смотреть в глаза и ждать поручений, а если и вовсе старик, то лучше всего пусть он говорит нескладно, как Лев Толстой, потому что к старости книжки забываются и остается только суть и пережитое, а старики гладкости боятся и относятся к ней с некоторым небрежением.

Еще Жигулин любил, когда человек одного с ним возраста. Тогда он представлял себе, что вот, мол, из нашего полка и, значит, товарищи, значит, локоть об локоть, в беде не выдаст, не может выдать — можно положиться, и ничего объяснять не надо, поймет с полуслова, потому что одинаково видели и черпали из одного котла, только разными ложками.

А еще Жигулин любил, когда человек моложе его и все книжки читал, и говорит много и гладко. Тогда Жигулин воображал про него, что его сейчас к доске вызовут и спросят бином Ньютона или еще какую-нибудь гадость, и экзаменатор поднимет ручку-самописку и нацелится в журнал, как кобра, чтобы испортить ему будущность липовой отметкой — хорошей или плохой — это все равно, потому что все отметки липовые, и до конца жизни человека их еще рано ставить, и, значит, надо руку экзаменатора остановить и не велеть ему горячиться.

Все так складно получалось у Жигулина в воображении, и потому печальные поправки, которые вносила жизнь в эту стройную схему, его не разубеждали и казались ему недоразу-

мениями. А было это все потому, что Жигулин никак не мог понять, какого он сам возраста.

А было это потому, что когда-то, теперь уже давным-давно — по календарю и позавчера — по личному счету времени Жигулин воевал, а если оглянуться и постараться вспомнить правдиво, то окажется, что на войне не взрослеют, как принято считать, а на войне стареют, и все разговоры о том, что оставшиеся в живых мальчики возвращаются с войны взрослыми, — это мнение тех же мальчиков — и ошибка.

Потому что взрослый — это тот, кто узнал самого себя и на что он способен. И хотя на войне можно узнать про себя, какой ты во время общей беды и какой ты, когда перед тобой враг, но на войне трудно узнать, какой ты в простой жизни. Потому что война — это авария, а жизнь не состоит из аварий, жизнь состоит из жизни. И тут после шока от войны трудно повзрослеть, потому что после того, как мальчишка участвовал в событии, вся другая жизнь кажется ему без событий, и он труднее понимает, что главное событие в жизни — это сама жизнь. И поэтому чересчур долго он остается человеком без возраста — старше молодых и моложе старших, и все время поступает не по сезону. И ему трудно.

Вы спросите, почему такое подробное объяснение перед описанием того, что случилось с Жигулиным, когда он приехал в Москву после многих работ в других городах? А потому, что без этого непонятно будет, как могло это случиться именно так, а не иначе. И тот, кто соберется прочитать эту историю до конца, пусть не поленится прочесть начало.

Вы, конечно, хорошо помните, как Валя Сорокина ранним утром, еще до физзарядки по радио, сидела на Страстном бульваре, когда в Москву приехал Жигулин.

Помните, как она сидела на скамье во второе воскресенье мая и раннее, из-за домов, солнце просвечивало зеленый пух на деревьях? Складная, рослая женщина лет тридцати шестисеми, с высокой грудью, мягким голосом и в очках почти без оправы — так, разве что золотистый блеск вокруг стекол. Пенсионеров-шахматистов еще не было, только иногда проходили длинноногие молодые люди, и все моложе ее. Все «мини» оглядывались и на ходу старались понять, почему у этой красивой женщины улыбаются очки, а потом она сняла очки и оказалась испуганной. Она вынула из сумочки пудреницу и в зеркало изучила себя сегодняшнюю. И только именно сегодня поняла, что она уже не та, что была девятнадцать лет назад, только сегодня — надо же! Она спрятала зеркальце,

посидела, подумала о своем и именно тогда решила, что все уже позади и она выздоровела. Она ошибалась, доктор Валя Сорокина, но ошибалась благородно. Она не знала, что от темперамента не лечатся, он сам проходит, если душа прокисла. Потом поднялась и пошла восвояси.

А пока она ехала в свои «свои», в дом, расположенный напротив того дома, где она жила, вошел Жигулин, никому из новых жильцов не известный человек. В подъезде, освещенном ослепительным прямоугольником двери, где под транзисторную музыку танцевали какие-то длинноногие девочки и одна из них явно балетная, Жигулин позвонил в квартиру первого этажа.

— Дяденька, вы сильнее звоните. У них не слышно, — длинноногая показывала балет.

Жигулин позвонил сильнее, и ему открыл дверь старый человек. Они поглядели молча друг на друга, и старый человек сказал:

— Интересные дела...

— Здравствуй, Мызин, — сказал Жигулин.

— Ну, входи, Сан Саныч, — сказал Мызин, — входи...

И пропустил его в дверь. А потом Мызин снова выглянул.

— Татьяна, — сказал он, — мать где?

— В центр поехала, — ответила Татьяна, которая балетная. — Сегодня второе воскресенье мая.

— Много знаешь, — ответил Мызин.

Закрыв дверь, прошел в комнату и выключил физзарядку.

А тем временем Валя Сорокина, мать балетной Татьяны, вошла в дом напротив и стала подниматься на третий этаж своего пятиэтажного. И все, кто попадался ей навстречу или обгонял ее с утренней почтой, утилитарно и своекорыстно разговаривали с ней насчет своего здоровья или своих домашних и даже домашних животных, и всем она давала профессиональные советы. И все это не кончилось даже тогда, когда она вошла в свою утреннюю квартиру, потому что ее тут же достал телефон, и не один раз, и тоже люди, звонившие ей, бегло справлялись о состоянии ее здоровья и тут же переходили к своему, из чего нам всем становится ясно, что как врач она пользовалась популярностью. А в остальном день у нее сегодня был пустой и свободный, потому что во второе воскресенье мая она всегда устраивала так, чтобы день был пустой и свободный.

А потом пришел Мызин.

— Опять ходила? — спросил он.

— Опять.

— Ну, молодец, — сказал он.

Она стала готовить еду и отвечать на телефонные звонки, а Мызин смотрел в окно на солнечное небо, и на тоненькие саженьцы между их домами, и на зеленый пух этой весны, а ее все время беспокоило что-то, и она не сразу догадалась, что именно. Первый раз за все эти годы Мызин ее не ругал, услышав, что она ходила на Страстной бульвар.

— Что это ты какой сегодня? — спросила она Мызина. — Как самочувствие?

— Хорошее, — ответил он.

— Садись к столу.

— Валентина... — сказал он. — Санька Жигулин приехал.

— Ну и что? — спросила она. — Садись... Кто приехал?!

Мызин ничего не ответил.

— Кто приехал? — спросила она и прислонилась к стенке.

— Ладно, не психуй, — сказал Мызин.

— Кто приехал, я тебя спрашиваю?

— Ладно, я лучше пойду, — ответил Мызин.

— Кто приехал, старый черт, отвечай?! — громко и невежливо спросила она.

И тут вошла Татьяна, которая балетная.

— Мама!

— Ну что? Что? — спросила Валя.

— Мама, я туфли надену.

— Валентина, не психуй, — сказал Мызин.

— Мама...

— Татьяна, топай отсюда, — сказал Мызин. — Топай, не до тебя.

Татьяна вышла из комнаты, оглядываясь на них расширенными глазами. Они подождали, пока щелкнула входная дверь.

— Про меня спрашивал? — окликнула она.

— Нет, — ответил Мызин.

— Про меня ни слова... Иван Федорович, что же теперь делать? — спросила она.

Но у Мызина на каждый вопрос ответ.

— Я все узнал, где у них семинар. Они взрывники...

Вот «Проблемы теории и практики направленного взрыва...». Иди, Валентина, велью... Вход свободный...

Куйбышев... Гидрострой... Огромная организация... Делали земляные работы... Котловина... Гидрострой... Отпалка... Ствол... Загазованность выше нормы...

— Мне очень важно...

— Надо будет чемодан занести. А цветы я куплю...

— Союзвзрывпром... Субподрядная организация при ГЭСстрое.

Совсем другой язык, совсем другие люди. Рядом сидит старик без зубов, его все зовут Толя.

— Ты имеешь дело со взрывчаткой, — говорит Толя.

И по его лицу понятно, что это так и есть, имел человек дело со взрывчаткой...

— Пятьсот метров взрыв... Траншея... Приподнялась вся земля... Потом увидели пламя...

Все обмениваются какими-то обрывками даже не воспоминаний, а сведений о себе. И вот что обнаружила вдруг Валя Сорокина, отличный доктор и упрямый человек.

Тут вот какая вещь получается. Когда эти слова в анкете написаны, они вызывают скуку такую, что челюсти сводит, серые слова, которые не хочется помнить, потому какое мое дело до ваших дел, когда у самого своих дел не переделано, а когда эти же слова произносят деловые люди и ты на них смотришь живьем и видишь, что это их личное дело и хвастовство, тогда становится завидно, что не ты строил набросные плотины и откосы, отводные тоннели на Вахше и не у тебя биография состоит из географии.

— Нурек...

— Токтогул...

— Виллой...

...А поезд колесами стук-стук, а колесный стук проваливается в весенние поля и равнины, и телеграфные столбы то отбегают от эшелона, который идет в Москву, в Москву, в Москву, то снова прибегают к железной дороге и бегут рядом, и снова сорок седьмой год, в Москву, в Москву, в Москву, не надо про это, не надо про это, не надо про это... О чем говорит беззубый взрывник Толя?

— Работали без отпусков, поэтому есть время по Москве поболтаться. Много знакомых из Главгидростроя, из Управления гидромеханизации, из Взрывпрома...

Ага, вот и Жигулин. Явился наконец. Кто? Это Жигулин? Да, он... Господи, как постарел, на улице бы, конечно, не узнала, значит, и меня не узнать. Лица нам переменили, пластическая операция. Время — вот наша пластическая операция, все впулости и выпуклости в лице местами поменялись.

— Граждане, план такой, — говорит Жигулин. — Семинар четыре дня по отраслям... Жилье — в Пушкине, в пансионате, дают автобусы. Экскурсия на телебашню и в цирк.

...Цирк, чистый цирк... Господи, девятнадцать лет прошло... Ведь этот дурак даже не знает, что я здесь сижу... Видно, по соседству столовая — пахнет гречневой кашей... Человек с кнопками во рту возится с плакатами... Во главе стола руководитель семинара... Черный занавес... Впереди выносная трибуна...

...Эшелон замедлил ход, замедлил, замедлил, остановился. Станция маленькая. Двери все распахнулись, и солдаты посыпались из вагонов на зеленую траву с желтыми одуванчиками.

— Валька! Валька, коза проклятая! Где ты делась, холера тебя задави?!

Валя подхватывает корзину с семечками, под которыми бутыл самогона, и идет босиком по мазутной дорожке возле насыпи. Анкетные данные: Валя Сорокина, 18 лет, сирота, москвичка. Папа убит в сорок третьем году. Мама умерла здесь, в эвакуации, год назад. Место работы: станционный буфет. Место жительства — квартира у заведующей этим буфетом Клары Емельяновны... Надо удирать отсюда в Москву, в Москву, в Москву... Там Москва, там все свое... Здесь болото, здесь все чужое... Клара уже начала смотрины устраивать, приезжал гладкий человек из Оренбурга, обедал с привозной водкой, и, когда Валя выходила с посудой, она слышала слово «ягодка».

— Водка нужна? — глядя в сторону, спросила она у младшего лейтенанта.

— Нужна, — сказал он и стал разглядывать ее внимательно.

А потом солдаты плясали на дощатом перроне, а она стояла рядом с ним и смотрела.

А потом Клара влезла на выступ станционного здания, чтобы смотреть через головы на пляску и на аккордеониста, и не удержалась, и, чтобы не упасть, ухватилась за Валину голову да так и стояла, а пухлая ладонь с обручальным кольцом все скользила по голове Вали, и пальцы норовили вцепиться в нос. Тогда Жигулин сказал:

— Мадам, а не пошла бы ты... — И нехорошо выругался. И за подмышки снял Клару с выступа на землю.

— Ой-ой-ой, — сказала Клара, отступая, — такой красивый офицер, а ругается...

— Так ведь самогон был плохой, — сказал Жигулин, придерживая Валю. — В голову ударило...

— Не знаю никакого самогона, — сказала Клара. — Валька, домой!

— А ну брысь, — сказал Жигулин, — я за ней ухаживаю... Жигулин Александр Александрович. Валя, а как вас по отчеству?

— Валя, а по отчеству Михайловна. Я тоже из Москвы.

Солдаты оттеснили Клару, и она издали тарасила глаза. Может и избить. Уже два раза проделывала этот номер. Вот стоит Валя, восемнадцати лет, без роду без племени, школу почти кончила, на белом свете нет никого, и каждый при ней выругаться может, потому что она самогонкой торгует, и Клара может ее избить, а эшелоны идут и идут, мир потому что уже два года, и надо что-то делать, а если не случилось еще чего, то, слава богу, Клара — заступница: «Отойди, не по тебе товар. На нее из Оренбурга заглядываются».

Ударил колокол. Команда: «По вагонам!»

— Ну, прощай, курносая! — сказал младший лейтенант Жигулин. — Приедешь в Москву — заходи. Жигулин А., угловой дом у Страстного бульвара. Спросишь Саньку Жигулина — всякий скажет... Слушай, да ты красавица... Только сейчас разглядел.

А поезд тук-тук... Колеса тук-тук... А корзина тяжелая, а щебенка босые ноги режет...

— Проща-ай! — кричит паровоз.

Как она бросила корзину, как побежала за последней подножкой, как навстречу стрелка летела, как уцепилась двумя руками и одна сорвалась, как втащили ее на подножку, а стрелка промахнула мимо, и белые глаза, и тяжелое дыхание...

— А ну, чешите все отсюда! — сказал старшина.

И они остались на площадке с Жигулиным, мальчиком совсем, младшим лейтенантом.

— А паспорт у тебя есть? — басом спросил он.

— Есть, — сказала она и полезла за пазуху.

— Не надо, — сказал он и отвернулся.

В общем так. Он последние два года служил на Дальнем Востоке сапером, кончил минное училище. В общем так. Москвич коренной, в третьем колене. Мама жива, отец погиб под Новороссийском, квартира коммунальная, сосед Мызин — с отцом воевал в десанте, сейчас повар. В общем так. Сейчас его, Жигулина, переводят на новое место назначения, проездом через Москву. Разминировать Европу, ясно? В общем так.

Правильно, что от этой бабы удрала, раз москвичка — должна жить в Москве, родня в Москве есть?

— Полно, — сказала Валя. — Одних теток три штуки. Брат двоюродный, родной скоро демобилизуется.

И стала реветь. А знаете, когда молодые ревут, это очень трогательно, а тебе еще всего двадцать два, ты на войне жив остался и едешь Европу разминировать, а тут тебе красивая сирота на шею бросается, тут и у совсем умного голова кругом пойдет, а не только у такого дурака и гуся, каким тогда был Жигулин Санька, легкий человек, отличник боевой и политической подготовки, а до этого — в школе отличник, да не зубрила-мученик, а просто все легко давалось: и дружба, и учеба; а до этого — отличник детского сада: хороший мальчик, и маму слушает, ну просто напоказ ребенок, и ест все, что дают, и посуду за собой убирает; а до этого — какая красивая молодая пара в наш дом въехала, он — преподаватель бронетанкового училища, а она — там же, в медпункте, работает, сейчас в положении, наверное, ребенок будет красивый...

Ребенок родился красивый...

...Жигулин очнулся и посмотрел на часы. Что-то затянул Толя свое выступление. Такой трус, зубы боится вставить! Шамкает, шамкает, прошамкается, что придется всю челюсть вставлять. Стыдно, молодой парень, сорок четыре года, сколько же было Жигулину, когда он в Москву приехал, после войны? Двадцать два — вдвое меньше... Ну что эта дама меня разглядывает? Лысину, наверное, заметила... Гляди — ты б на меня тогда посмотрела, когда я перед Москвой брился и в зеркале золотой погон видел со звездочкой, ха, ничего мальчик был, мальчик был как надо, женщины в эшелон кидались, умоляли взять их с собой. Москвички.

Жигулин поднял голову и глядел вслед этой женщине, которая пробиралась к выходу, интересная женщина, между прочим, конечно, не выдержала шамканья Толи, ах, нет, это уже профессор Гудков выступает, просто душно ей стало или, наоборот, холодно. Холодно и душно... Вот так. Слава богу, что еще курить не запретили.

Жигулину стало холодно и душно, но он ее не узнал. Нет. И стал думать о тех древних временах, не понимая, что неспроста он об этом думает, а что она рядом прошла, та чудачка, и смотрела на него сбоку, тоже стараясь его вспомнить и все больше забывая, так как перед ней был не тот Жигулин, а этот. А может, и прежний казался ярким

только на полустанке. Как узнать, когда полжизни прошло, а спросить некого.

А дальше что было? А дальше было вот что...

...Они прибыли в Москву ранним утром и на вокзале распрощались. Вообще-то не на вокзале, а на Страстном бульваре. Когда они на вокзале прощались, Санька спросил ее, а где она-то в Москве будет жить? И выяснилось, что у брата своего, который живет недалеко от Страстного бульвара. Опять совпадение — прямо чудеса. Ну, они распрощались на вокзале в третий раз, а потом Санька говорит:

— Господи, глупости какие, давай я тебя подвезу хотя бы до Страстного бульвара?

А она говорит:

— Хорошо, подвезите меня до Страстного бульвара.

— Ты, наверное, и забыла, как туда ехать?

— Ага. Я забыла, как туда ехать.

Ну, взял, конечно, такси, подвез, и глупо как-то расставаться, все-таки сутки вместе в поезде ехали, в тамбуре стояли, а ребята им еду носили, а потом она спала на третьей полке, откуда барахло скинули, и опять они в тамбуре стояли. Все думали, что все, закрутились!.. А у них ничего не было, только такой страх был у него за нее, даже неизвестно, почему он так за нее испугался. Что вы! Даже не поцеловались ни разу. Просто пейзажи смотрели в опущенное окно: желтые одуванчики и пестрые коровы. Проводнику денег дали, чтобы не вякал, ну а в Москве родня должна заступиться, что без вызова приехала — тогда сложно было с вызовом эвакуированных, но ведь она дочь фронтовика, не так ли?

Высадил ее у Страстного бульвара — где теперь кинотеатр «Россия» построен давно уже, а тогда его и в помине не было, и Пушкин на другой стороне стоял — на Тверском бульваре.

— Ну, до свидания.

— До свидания. Спасибо за все.

— А за что?

— Ну так, за все.

— А хочешь, я тебя с матерью познакомлю?

— Нет, зачем же.

— А что такого?

— Она нехорошо подумает.

— Дура ты.

— Сами вы...

— Ну извини... Ну до свидания. Адрес-то дашь свой?

— Я не помню, я глазами помню, как пройти...
— Тебя проводить?
— Нет, спасибо. За все.
— Ну до свидания.
— До свидания.
— Младший лейтенант, поехали, некогда! — крикнул шофер.

В машине Санька все оглядывался и смотрел, как она усаживается на скамью. Плотнo усаживается, с ногами.

— Ну-ка останови машину! — сказал Жигулин. — Вылезу.

Конечно, он правильно догадался. Никого у нее в Москве не было, все она наврала. А кто был — все умерли: мама, отец. Ему стало душно и холодно, когда представил себе, что было бы, если бы не догадался, а она одна здесь сидит и ждет, что будет дальше.

— Совести у тебя нет, — сказал он.

— Есть, — сказала она.

Она хлюпала носом и отставала от него на полшага.

— Мать у меня отличная женщина! — сказал он. — Будешь у нее пока жить.

— Домработницей?

— А я почему знаю, как сговоритесь, так и будете. А потом на работу поступишь, и все утрясется, я думаю, университет будут строить новый, вообще много будут строить, работа найдется... Нос вытри. Сейчас придем.

— А что вы матери скажете?

— Правду.

...Вот так все было. А дальше и вспоминать не стоит. Ах, Валя-Валентина, зачем я только на это совещание ездила, кого я там хотела увидеть? Толю беззубого? Господи, помереть со смеху: взрывник, а бормашины боится. А Жигулин? Где он, Жигулин? Сидит облезлый дядечка и тупо смотрит на оратора. Один раз я его взгляд перехватила, он обернулся, да и то поглядел не в глаза, а на колени. Все Мызин, старый черт; иди, иди, поглядишь на него там и решишь, может, заново познакомишься.

Она и не заметила, как подошла к своему подъезду. Она теперь вообще жила немножко как бы во сне. Только чудной это был сон.

В подъезде ее перехватила женщина со второго этажа и старуха из другого дома.

— Валентина Михайловна, что делать? С дочкой хуже...
Депрессия, Валентина Михайловна...

Ну ясно, вот и дом родной.

— Лечить надо.

— Все лекарства перепробовали... У мужа друг едет в Японию, в командировку, может, там что есть? Вы скажите, за любые деньги достанем...

— Деньги ни при чем.

— Как ни при чем? Гибнет девчонка, мы уж думали, поправилась, и нá вот — депрессия...

— Есть одно лекарство, — сказала Валентина Михайловна, — да вы не согласитесь.

— Господи, что угодно!

— Ну смотрите!

— Валентина Михайловна! — воскликнула женщина и осеклась. — А что, очень опасное лекарство?

— Совершенно безвредное. Сейчас принесу.

Она стала подниматься к себе.

Господи, погода какая! Прямо июнь, а не май. И зеленью пахнет до одурения. Вот поэтому и пошла на семинар, что зелень до одурения. А так никакой бы Мызин не убедил.

— Ты слушай ее, слушай! — сказала старуха. — Если она дочь не подымет, никто не подымет.

— Это почему? — спросила женщина.

В ней снова проснулось недоверие. Но это естественно. Пока доктор стоит рядом, кажется, что он один такой на свете, а как отошел, думаешь: а вдруг есть совсем хороший доктор? Дочка-то одна, а докторов вон сколько. Как узнать, который спаситель?

...Валя и Санька шли по утреннему, весеннему московскому послевоенному Страстному бульвару. Тишина. Одурающий запах листвы, одурающий запах весны, крик воробьев, и только их шаги — он в сапогах начищенных топает, она в туфлях с перемычкой и в жакете — на станции у тетки купили, перед самой Москвой, больше Валя не взяла — хотели еще чемодан и плащ.

А листва, листва! Так бы навеки, правда?

— Надоест, — сказал он.

— А? — спросила она.

— Нет, это я так, сам с собой, — ответил он. — Стоп...
Подъезд.

Темный подъезд. Московский.

— Вы очень волнуетесь? — спросила она.

— Еще бы! — заорал он и побежал вверх по лестнице.

Ни черта он не волновался так, как ему надо было бы волноваться.

— Иди скорей, — шепотом прокричал он с площадки второго этажа.

Она поднялась.

— Слушай... Зарядка...

За дверью заливалось радио... Рояль, «вдох», «выдох» и прочее.

— Валя, вот теперь волнуюсь... Честно... — сказал Жигулин и спрятал ключ. — Лучше позвоним, а то еще напугаются. Физзарядка, с ума сойти! Мызин делает, сосед наш. Лежит в постели и мысленно делает физзарядку. Последний раз я дома был два года назад, когда с запада на восток ехал.

И повернул старый звонок, неэлектрический еще, с надписью: «Прошу повернуть»...

— ...Тише, — сказала женщина. Открылась дверь, и Валентина Михайловна внесла щенка.

— Вот... — сказала она, слегка запыхавшись.

Она поставила щенка на пол, ноги у него расплзались.

Женщина и старуха обалдело смотрели на щенка.

— Ну иди... Иди... — сказала Валентина Михайловна и стала его подталкивать в комнату больной и прикрывать за ним дверь.

— Что это? — спросила женщина.

— Его зовут Тяпа... — сказала Валентина Михайловна. — Минуточку... — Она прислушалась.

— Ой... — тихо раздалось из-за двери.

Мать кинулась к двери. Валентина Михайловна загородила ей дорогу.

— Спокойно, — сказала она.

— Ой! Что это? — раздалось из-за двери.

— Его зовут Тяпа, — сказала Валентина Михайловна.

— Валентина Михайловна... — растерянно сказала женщина.

— Вы согласились на любое лекарство...

— Какая порода? — деловито спросила старуха.

— Чистокровная дворняга, — сказала Валентина Михайловна. — Блох нет, глистов нет. Проверено. Будет лить на пол — подстилайте газеты... Тс-с-с...

А из-за двери:

— Тя-а-па... Тя-апонька...

Мать приникла к щели, смотрит, оглядывается:

— Молоком его поит... Из своего стакана...

Валентина Михайловна снова прикрыла дверь.

— Дайте им побыть вдвоем, — сказала она. — Книжку по уходу за псом я вам достану. Пусть дочка читает... Тяпа ее вылечит...

Женщина заплакала.

— Спокойно, спокойно, — сказала Валентина Михайловна. — Как вы не понимаете, не ее надо кормить, а ей надо кормить кого-нибудь... Теперь выздоровеет.

И вышла.

— Эх, серая ты... — сказала старуха. — Лекарство, лекарство...

И помчалась вслед:

— Валентина Михайловна! Вот ты скажи, у меня в спину вступает. Это что?!. А?.. А?!

Но Вале не до этого было уже.

У нее дома Мызин сидел, и балетная Татьяна вышагивала по комнатам в материнских туфлях, и Мызин ее ругал.

— Татьяна... — угрожающе говорил Мызин.

— Да? — ледяным тоном спрашивала Татьяна.

— Татьяна... — угрожающе говорил Мызин.

— Что? — ледяным тоном спрашивала Татьяна.

Они могли долго так, но вошла Валя.

— Сегодня вечеринка у меня, гости, — сказал Мызин.

— У меня тоже, — сказала она.

— Все равно у меня гости... Зайдешь, — сказал Мызин. — Не дури, Валентина... Все можно выправить в жизни, кроме недоразумения.

— Какое уж тут недоразумение, — сказала она.

...Ну, позвонили они с Санькой в дверь, ждут, а за дверью:

— Выпрямите спину... вдох, выдох...

Дверь открыла низенькая толстушка.

— Здрасьте, Алевтина Иванна! — сказал Жигулин.

— Ой...

— Тс-с-с-с... Валя, входи... Это Валя... Маму не разбудите...

— Ой, Сашенька...

И пошел Санька на цыпочках через прихожую. Приоткрыл дверь в солнечную комнату, улыбался, смотрел в щель. Потом перестал улыбаться, вошел.

— Мама... — сказал он.

...— Ты помнишь, Мызин, какая у нас светлая комната была? — спросил Жигулин. — Первое солнце из-за домов прямо в окно лупит, сразу лупит.

— Как же не помню?

Гостей набралось порядочно. Жигулин своих привел с семинара, приезжих. Уговорились — про дела ни слова, а все равно взрывные работы, Гидрострой, траншеи.

— Откуда вы мне знакомы? — спросил Жигулин Валентину Михайловну.

— Не знаю... — улыбается она.

...Когда Жигулин испуганно сказал «мама!» и вошел в пустую комнату, зарядка стала еще громче. Потом туда вошли Алевтина Ивановна, потом огромный мужчина в майке, Мызин, который ухватил Жигулина за плечи, и прижал к табуретке, и не давал ему вырваться, а в репродукторе что-то сломалось, и раздался вой, как будто бомба падала, потом тихий треск, и опять все починилось, и снова — «вдох, выдох... вдох, выдох»...

Мама его умерла полмесяца назад, как раз когда он из части ехал с Дальнего Востока в Москву...

— Вы в Нуреке не бывали? — спросил ее Жигулин.

— Нет, — улыбается она.

...Валя тихонько вышла из подъезда и вернулась на Страстной бульвар. Было тепло, сидеть можно было сколько угодно, а есть почти не хотелось. Валя заплакала. Она свою маму вспомнила, и как та перед смертью просила родниковой воды, а ведь была горожанка и родниковой воды никогда не видела, но, может быть, поэтому и просила перед смертью. А как это перед смертью? А как это вообще может быть — перед смертью? Солнце ушло за дома, наступил майский холод, и есть хочется. Это значит, и Жигулин умрет, Саня? И я? Но ведь война уже кончилась. Она встала со скамьи и увидела, что Жигулин сидит рядом, а у ног его — чемодан. Потом подошел Мызин и взял чемодан.

— Сутки отдохнешь, — сказал он Жигулину. — Идите есть. Потом к матери на кладбище съездим, попрощаемся.

И унес чемодан.

—... А в Вилкое не бывали? Там заводделом кадров на вас похожа.

— Нет... Я врач.

— Врач? — обрадовался Жигулин. — Может быть, я вас в госпитале видел?

— Где?

— В Польше... Вы были в Польше?

— Нет... А вы там в госпитале лежали? — спросила она. Ей показалось, что он как-то даже засуетился.

— Немножко... — сказал он и увел разговор в сторону.

И опять треп. Расхорохорился совсем, развеселился. Выступает и выступает. И последний раз за вечер:

— Может быть, я вас в Гидрострое видел?

— А что это такое? — спросила она.

Ей все было про него интересно.

— Это такая организация... Ну, не знаю, ужасно знакомое лицо... А почему вы так рано уходите?

— У меня у самой гости. Я вот Мызину помогла, а у меня у самой гости.

И ушла. Застолье стало громче и скучней.

...Они сидели рядом у пустого обеденного стола, и она боялась дышать. И он курил папиросы «Северная Пальмира», которые купил, еще подъезжая к Москве. «Мама не знает, что я курю, шиковать так шиковать».

— Пойдем в загс, — сказал он. — Жениться.

Он ей объяснил. Завтра он уезжает. Ей жить негде — будет жить в его комнате. Иначе комната пропадет. В Москву он вернется неизвестно когда, а может, и никогда. Да и вообще теперь...

— Нет, — сказала она. — Ничего не нужно.

— А ничего и не нужно... Будет у тебя прописка. Это же фиктивный брак... Называется — фиктивный. Год пройдет — от меня ни слуха ни духа — можешь разводиться... Слушай, выручи меня, живи... А то страшно как-то, что... в нашей комнате... чужие... где мама...

— Не стесняйтесь вы плакать... Не стесняйтесь... хуже так, — сказала она.

А он, хоть и стеснялся, теперь все же заплакал. Ну, знаете, как мужики плачут? Кряхтят и скрипят, как будто шкаф перетаскивают...

— ... Чего ты приперся? — спросил Жигулин у Мызина, сидящего на краю дивана.

— Ты во сне рыдал как дите, — сказал Мызин. — Вот я и проснулся.

— Это спьяну.

— Да ты и не пил ничего, я заметил.

— А кто эта женщина, которая тебе помогала?

— Доктор. Напротив живет.

— Знаешь, на кого похожа?

— На кого?

— Помнишь, в сорок седьмом, когда мама умерла, я приехал с девчонкой?

— Ты обалдел? Я ж на твоей свадьбе гулял, забыл? Молчание.

— Пять лет тебя ждала, идиота...

Жигулин поднялся и сказал:

— Врешь... Почему же ты мне не написал?

— А куда?! — закричал Мызин. — Ты разве адрес прислал? С собаками тебя искать надо было?

— А потом? — спросил Жигулин.

— Потом наш дом сломали, она переехала.

— Куда?

— Не знаю! — закричал Мызин. — У нее своя жизнь, у тебя — своя... Жена, дети... Семья у тебя есть?

— Кто? — спросил Жигулин. — Ага... Когда взрывные работы заканчиваем, то все вместе фотографируемся... Я в центре при галстукке... У меня этих фотографий штук двадцать.

— Ты холостой, что ли?

— Ну.

— Тогда совсем дурак.

— Другой бы спорил... Я думаю, на кого она похожа, эта женщина, Валентина Михайловна. На ту девчонку она похожа, на жену мою однодневную.

— Опять ты дурак, — сказал Мызин.

— Почему?

— Это она и есть.

Жигулин засмеялся.

— Ладно, Мызин... Я уж как-нибудь себе сам жену найду... Не старайся...

— Смотри, а ведь не поверил.

— Не поверил.

— Ну ладно, — сказал Мызин. — Ты во всем прав.

И тоже засмеялся. Вот и поговорили.

Потом Жигулин услышал музыку из дома напротив и

включил приемник. Ему показалось, что это музыка из ее окон. Он поискал волну и нашел, и два приемника заиграли в унисон. Потом там переменили волну, и Жигулин понял, что его испытывают. Он нашел и эту волну. Сердце его бухало, как ему не полагается бухать. Там снова переменили волну, и теперь Утесов пел старую песню о сердце, которому не хочется покоя. Жигулин заметался по шкале, потом догадался и кинулся из комнаты. Дверь в ее квартире открыл мужчина в очках, с пластинкой в руках, с той самой...

— Валентина Михайловна скоро будет. Вы ее гость?

— Я ее гость.

— Входите.

— Я ошибся, — сказал Жигулин.

Он вернулся домой и запустил пластинку в угол. Потом собрал осколки и сунул под тахту.

Как он жил? Он не помнит, как жил. Как он работал? Он помнит, как он работал. Раньше работать и называлось — жить. Что-то перестал понимать Жигулин, сапер-минер, Жигулин Сан Саныч. И в таких тонких делах, как душевные, он оказался совершенно беспомощным. Если тебе оторвало ногу и вместо нее у тебя протез, имеешь ли ты право приехать к девушке, которую ты приобрел на полустанке и на которой фиктивно женился, чтобы было ей где жить в Москве, потому что она москвичка? А почему ты не живешь там же? Профессия такая, периферийная. А надо жить там, где для профессии лучше. А не из-за ноги ты не ехал? Из-за ноги. Из-за того, что хотел доказать себе и другим, что для такого орла, как Сан Саныч Жигулин, это ничего не меняет, не хотел приползать к женщине, перед которой появился спасителем-принцем немислимым.

— ...Кто принц-то, господи? Мальчика увидела, у которого в дом бомба попала, — сказала Валентина Михайловна. — Ладно, не хочет узнавать, не надо. Пусть едет с богом. В конце концов, мы и знакомы-то были сутки... Случай у нас редкий, а все же случай. Сейчас мы раздумываем, а тогда лихие были очень. Отличный он, видимо, парень, всю страну объездил. Люблю, когда человек энтузиаст.

— Все не могут быть, — сказал женатый гость-сослуживец. — Кому-то надо и дома жить.

— А по-вашему, энтузиасты — это которые из дома удирают? — спросила Татьяна. — Тогда энтузиаст — это я. Правда, мама?

— Он же испугался, вот в чем правда-то. Взрывать не боится, а бормашины боится, вот и ходит беззубый. Что я, не знаю?

— Почему беззубый? — обалдело спросил женатый гость-сослуживец. — Он беззубый?

А ведь опять она права была, Валя Сорокина. А что особенного? За девятнадцать лет было время стать мудрой.

...А потом пошли в загс. Жигулин всех там уговорил. Ему уезжать завтра, мать умерла, жена в положении.

— Вы в положении? — спросила регистраторша Валю.

— Пятый месяц пошел, — соврал Жигулин.

— Надо расписывать, — сказал зав.

— Молоденькие... — сказала регистраторша.

Потом Мызин ахал, и Алевтина его ахала и плакала, когда вечером свадьба состоялась — тихая, не то свадьба, не то поминки — вчетвером справили. Тортик маленький, коммерческий, водка пайковая и еда, которую Мызин из ресторана принес.

— Я теперь ворую, — сказал Мызин. — Я теперь шеф-повар.

— А не воровать нельзя? — спросил Жигулин.

— Не пробовал, — сказал Мызин. — После работы мне заворачивают что осталось.

— А от чего осталось? — спросил Жигулин.

— Не знаю.

— Врешь. Знаешь, — сказал Жигулин.

— Знаю.

— Больше не будешь воровать?

— Не буду!

— Никогда?

— Никогда!

— Не плачь.

— Я не плачу... А ты никогда не будешь воровать?

— Никогда!

— А пить?

— И пить!

— И курить?

— И курить!

— И будешь верным до гроба своей Алевтине?

— Навеки, до гробовой доски... А ты своей Вале...

Спой песню отцову!

— Я забыл.

— Отцову песню забыл?!

— Нет!

— Тогда пой... Валентина, слушай, как твой муж песню отцову будет петь... Я его учил, а муж твой, Сан Саныч Жигулин, ее не знал, не слышал ее от отца муж твой, Сан Саныч Жигулин, потому что дружок мой, Санькин отец, на руках у меня помер в госпитале под Шяуляем. Вон куда нас занесло из-под Новороссийска.

— Не надо больше пить, — сказала Валя первые слова.

— Понимаю, — сказал Мызин. — Намек ясен. Санька споет, и мы уйдем. Весенние ночи короткие.

Валя опустила голову и стала думать о своем, и стала бояться предстоящего. Она не знала, что ничего из того, о чем она думала, ей не предстоит. А предстоит ей разлука со своим мужем, которая длится вот уже девятнадцать лет, а теперь он приехал не то больной, не то признаться не хочет, и надо ему про Татьяну рассказать, что она приемыш из детского дома, и что был у Вали муж, но не сразу после отъезда Жигулина, а ровно через пять лет, и нерасписанный был, чтоб в комнату не прописывать, пять лет был, потом Валя сказала ему:

— А теперь уходи. Больше без любви не могу.

Это десять лет. А еще девять лет лечила, лечила, лечила и Татьяну воспитывала. Еще несколько мужчин было, но это так, это не помнится, это — когда уж очень невмоготу. А потом — все, стоп. Опять почему-то стала думать о Саньке Жигулине, своем законном фиктивном муже, и стала ждать его почему-то, и почему-то во сне видеть, и томиться по нему душой и плотью. Тридцать семь лет бабе. Самая пора любви. Все, что до этого, — детский лепет. А теперь он приехал — как вызванный. Облезлый и совсем не тот.

...И наступила она, их брачная ночь. Мызины ушли, Алевтина всплакнула на плече у молодой жены, заглянула ей в глаза восторженным взглядом и вышла торжественно. А они сидели на стульях на противоположных концах обеденного стола и ждали, когда у Мызиных замок щелкнет. Потом они услышали мерное буханье и испуганно подняли глаза, и мысленно поговорили друг с другом.

— У вас здесь поезда близко проходят? — спросила она. — Стук-стук, стук-стук.

— Нет, а что... Нет, это не поезд... Это похоже на часовой механизм, как на mine... Ну да, факт... Мы идиоты, это...

— Я знаю... — сказала она.

Это кровь у них стучала в висках.

— Если я к тебе сейчас пристану, меня никто к ответственности не привлечет. Я муж, — сказал он.

— Я знаю, — ответила она.

— Может быть, пристать?

— Как хочешь.

— А ты?

— Не знаю... Наверное, да...

Они бы еще долго так молчали, но тут она скрипнула стулом, и он очнулся.

— Спать хочешь? — спросил он.

— Нет, — испуганно сказала она.

— Я тоже, — быстро сказал он. — Ну, что делать будем?

— Не знаю.

— Я утром уеду, — сказал Жигулин. — А ты здесь живи.

— Ладно.

— А ты строй университет, ладно?

— Ладно. Я в медсестры пойду.

— За Мызиных держись. Они хорошие. Они с нами дружили...

С Жигулиными... Теперь я один из всех Жигулиных остался.

— Нет, — сказала она. — Не один.

— Этот брак фиктивный.

— Нет, — сказала она. — Не фиктивный.

И тут с ними что-то случилось. Они вдруг кинулись друг к другу и стали целоваться как сумасшедшие.

— Ты меня любишь? — спросила она.

— Не пойму, — ответил он.

— Ты правдивый, — сказала она. — Это ужасно.

— Что же мне, врать?

— Это еще хуже.

— Я тебе напишу, — сказал он.

— Конечно... Ты чего-то боишься?

— Сядь, — сказал он.

Они сели на свои стулья. Между ними стол. Как ринг.

— Раунд третий, — сказал он.

— Что? — спросила она.

— Ты хочешь, чтобы был дом?

— Да.

— Мама от этого умерла.

— Не понимаю, — сказала она.

— Мама меня ждала, — сказал он. — Сердце не выдержало.

— В войну все ждали.

— Война два года как кончилась.

— Я понимаю...

— Ну вот... А я всю жизнь буду взрывать. Это моя профессия. Я другого не могу и не буду. Всю жизнь, понимаешь?

— Нет.

— Сапер ошибается один раз — слышала?

— Слышала.

— А мать и жена — тысячу раз. Как письмо задерживается — так им чудится взрыв. Понимаешь?

— Понимаю.

— Это нельзя вынести, нельзя выдержать.

— Можно.

— Ты дурашка, — сказал он. — Я тебе писать не буду. Я приеду, ладно?

— Ладно.

— И еще — отец и мать купили две пластинки патефонные, одинаковые. Утесов поет. Представляешь, они умудрились их сохранить. Отцову пластинку Мызин из госпиталя привез, представляешь? Города дыбом, а две пластинки сохранились... «Как много девушек хороших, как много ласковых имен, но лишь одна из них...» Давай возьмем по пластинке?

— Давай, — сказала она.

Господи, какая она была дура! Господи! Она ж ничего не понимала тогда! Он же мальчик был, он семьи боялся, он любви боялся, он ее боялся, он себя боялся — он боялся, что все навалится на него — домашнее, теплое, скучное, а он живой остался, и перед ним мир огромный, где его встречают как короля и спасителя, сапера-минера. Он, когда на проклятое свое поле идет, должен про дом забыть, иначе страх, а страх — это смерть. А если он про дом забудет — дома смерть. Ведь это и в любой работе так, где работает энтузиаст, человек, который заполнен делом не для себя, а тут то же самое, только очень сильно выражено, чересчур сильно выражено — будь оно проклято, это чересчур! Все плохо, что чересчур, бабушка говорила: «Чур меня, чур», — заклятье от беды, а чересчур — это и есть беда.

— Терпел, терпел, но все же скажу: разочарован я, понял, — сказал Мызин. — Молчи... Все я, конечно, понимаю. Жизнь для взрослых — мечта для малолеток. А все же на доньшке было, а вдруг выгорит у них? А вдруг я тогда недаром на твоей свадьбе стаканы бил?.. Ведь чудо какое — двое встретились на земле.

— Не встретились, — сказал Жигулин.

— Врешь! Встретились! Вот мы с твоим отцом больше не встретимся. Я с Алевтиной не встречаюсь... Отец твой с мамой тоже не встретились... А вы тогда встретились, да мимо проскочили с разгону... Я думал, может, у вас выгорит — развернется и моя молодость... «А молодость, — запел Мызин, — не вернется, не вернется вона...» Пришиб ты меня, Жигулин... Ладно, давай пой... которую я тебя учил.

— Я забыл, — сказал Жигулин.

— Забыл?! Отцову песню забыл?! Пой!

Жигулин запел. Остановился и сказал:

— Жизнь только начинается. — И закрыл глаза. А потом открыл глаза, заговорил, заплясал, запел — выступать начал. А потом замолчал на полуслове.

— Сапожники! — крикнула Татьяна. — Звук пропал.

Ну, запел Жигулин песню и спел ее до конца. А когда кончил петь, сомлел, а потом и вовсе отключаться начал.

Жигулин любил, когда человек старше его. Он тогда... Ах, да мы про это уже писали...

— Ах, не надо было пить...

— Петь не надо было... — сказал Мызин.

Гости у Валентины Михайловны. Чистенько все так и негромко. Музыка слушают вполслуха, обыкновенную, без воспоминаний и ассоциаций, складно так, и никакого надрыва.

— Картошки еще подложить?.. Ешьте, пока горячая.

— Рассыпчатая. И селедочки, пожалуйста. Что это вы весь вечер будто волнуетесь? Или это у меня такое впечатление?

— Нет, я действительно волнуюсь неизвестно почему, — отвечает Валентина Михайловна.

— Примите полтаблеточки седуксена, у вас есть?

— А грибочки вам не понравились?

— Чудные грибочки... Ну, ваше здоровье.

— Мама, у Мызиных свет погасили.

— Татьяна, иголка шипит на проигрывателе, не слышишь?

— Ну, по последней, да будем двигаться.

— Приходите еще.

— Разрешите, Валентина Михайловна, я вас завтра навещу?

— Идем, идем, навещу... Пить надо меньше. Валя, вытри щеку, я тебя краской вымазала.

— Мама, а к ним «неотложка» подъехала.

— Ну почему непременно к ним? Подъехала к их подъезду и все. Всего доброго... Счастливо... Татьяна, сними трубку. Телефон звонит, не слышишь?

— Мама, тебя... Скорей...

— Алло, кто? Мызин, что с ним? Не петь, пить не надо было. Сейчас иду.

И трубку тихонько кладет.

— Ну вот... наконец и понятно, почему я весь вечер сама не своя... Таня, спать. У меня вызов.

— Мам, я с тобой...

— Спать!

— Мам, а кто этот дядька?

— Если бы я сама это знала... — говорит Валентина Михайловна.

И бегом, вниз по лестнице, по гулкой, потом через пустой ночной плац между двумя корпусами, а они — как два парохода на реке, потом в подъезд — и квартира первого этажа, где Мызин беснуется неподвижно, и доктор укол делает, и Жигулин без сознания.

— Допрыгался Сан Саныч... — говорит Мызин.

— Он кто вам? — спрашивает ее доктор. — Муж?

— Что вы... Он приезжий... Что вы прописали? У меня все есть, я врач...

Вот эта песня:

Ты послушай, братишка,
Легенду одну.
Про Великий десант,
Про Большую войну.
Было двести друзей
У отца твоего.
А из них не осталось
Почти никого.

(Это медленно, мажорно-запевно, похоже на старые казацкие песни. А дальше ритм и темп песни меняются и становятся быстрыми и грозными.)

Были — ночь штормовая
И двести ребят.
Были — рев дальнобойных
И разрывы гранат.
Были лютые ветры
И крики во мгле,
Двадцать два километра
По Малой земле.
Двадцать два километра
В тылу у врага,
Только волны кровавые
Бьют в берега.
Только смерть и металл,

Только кровь и песок,
Только потом просоленный
Хлеба кусок.

Сотня выпелов с ходу
Врывается в порт.
Парни в черную воду
Шагают за борт.
Только залпов раскаты,
Да крики «ура!»,
Да хрипят на закате
Мои катера.

Это пламени вой
И осколочный визг.
Это новой России
Новороссийск.
Это в скалы Мысхако
Пришла тишина.
И запела морзянка,
Как в песне струна.

Восемь месяцев смертью
Хлестала война.
На кровавых тельняшках
Цветут ордена.
Подхватила их
Воинской славы река —
Рядового матроса
И члена ЦК.

Запевают ребята
Про крейсер «Варяг».
Бой уходит на запад.
Заплакал моряк.
Станет дочка невестой,
Мальчишка — бойцом,
Вспомнят песню они,
Что пропета отцом.

Шли дорогой рассвета,
Все старое — прочь!
На кровавой планете
Кончается ночь.
Шли, не зная покоя,
От земли к небесам.
Вот, сынок, что такое
Великий десант.

Тут Жигулин кончил неслышно петь песню, и открыл глаза, и увидел вдруг два женских лица на фоне матовой лампы.

— Татьяна, кто тебя пустил сюда?

— Там двери были открыты... Ну, мам, я же не маленькая...

Жигулину так хорошо стало, что он притворился, что спит, пусть еще поговорят и побудут.

А потом Мызин вошел.

— На Татьяну не шуми, — сказал он. — Она лекарства пригатила.

— Вот он подтвердит, — сказала Татьяна про Мызина.

— Спит. Пусть спит, — сказала Валя Сорокина и стала всех выталкивать, и оглядываться, и сама ушла.

Опять было утро. Потом вечер. Вечер отъезда. Зашли Толя Чугунов из группы Жигулина, которые ехали с ним куда-то в очередные тартарары не то насыпать что-то, не то прокладывать. А какая нам с вами разница — что именно, не так ли?

— Все-таки зашел бы к ней, — сказал Мызин.

— Зачем? — спросил Жигулин.

— Ладно, замнем... — сказал Мызин и разговор поддержал. — Что строить будете?

— Мы не строим, — сказал Толя. — Строят после нас. Мы взрываем... Чугунов, книги на дно кладу, на дно... Чугунов, ты книги от консервов можешь отличить?

— Могу, — сказал Чугунов.

— А сегодня обязательно уезжать? — спросил Мызин. — Санька еще не оправился.

— В дороге оправлюсь.

— А то, может, на экскурсию ходим по Москве, Сань, а?

— Не пойду на экскурсию... Нога болит.

Жигулин вышел.

— А что у него с ногой? — спросил Мызин.

— Да так, — сказал Толя. — Боязливый он очень.

— Санька?

— Ну да. Такой трус, что своей собаки боится.

— Шутник ты, — сказал Мызин. — Я думал, ты всерьез... А все же, что с ногой у него?

— Да ничего особенного... Увидел по телевизору, как ансамбль пляшет, — прыгнул, хотел, как они, об стол ударился, ногу сломал.

— Скажи ты... А не хромает, — сказал Мызин.

— Протез хороший, вот и не хромает, — поднял голову Чугунов.

— Вот, стало быть, почему в баню не идет, — сказал Мызин. — А я звал. Давно у него ноги нет?

— Не знали? Давно. В Польше, еще году в сорок восьмом...

Был вечер.

Мызин позвонил Сорокиным:

— Татьяна, где мать? Звонил в поликлинику, говорят, ушла... Татьяна, давай к нам быстро, к Жигулину... Занимай его разговором как можешь долго... А я к вам бегу, мать дожидаться... Нужно, нужно. Быстрее иди, не задерживайся.

Пришла балетная Татьяна.

— Вы сегодня уезжаете? — спросила она Жигулина.

— Да.

— А зачем?

Как на это ответить! Жигулин прибирал комнату, собирался помаленьку.

...Любопытство, веселая птица...

А без этого люди... жить не могут на свете...

— ...Вы слушаете программу радиостанции «Юность». Отвечаем на письма школьников, которые спрашивают у нас совета, куда пойти учиться...

Это балетная Татьяна пришла к Жигулину и включила радио.

— ...Мы сидели за обедом, и вдруг вошел Пушкин с большой толстой папкой в руках... — по радио передавали воспоминания Керн.

— Вот так... — сказала Татьяна. — Я бы хотела сидеть за столом и чтобы вдруг вошел Пушкин... Ничего себе?

— А что бы ты делала?

— Да уж не то, что эта Анна Керн!

— А все же?

— Я бы всех вокруг него раскидала. А эта Керн даже не понимала, что в дверь вошел Пушкин. Пушкин же?

— А ты бы поняла?

— Конечно!

— Враз?

— Ага.

— А как?

— Так ведь это же Пушкин! Мы по нему сочинения пишем!

— Ну-у, красotka, — сказал Жигулин. — Это тебе в школе

растолковали, кто такой есть Пушкин. А кого ты сама открыла? Никого.

— Так ведь Пушкина нет.

Тоже правильно.

— А вдруг я Пушкин?

— Нет, — сказала Татьяна. — Вы не Пушкин. Пушкин не стал бы раздумывать, вернуться или нет, если бы любил.

Опять же правильно.

— Маме привет передавай.

— От кого?

— От мужа.

— Я так и знала.. А почему вы уезжаете?

— Фирн... Знаешь такое слово? Это такой снег со льдом, — сказал Жигулин. — Я когда слышу это слово, сразу воображаю — вездеходы хрипят на поворотах... И снова работа как драка... Понимаешь? У меня такая профессия... Мне дома делать нечего.

— Понимаю.

— Ничего не понимаешь!.. Подрастешь — приезжай с мамой в гости.

— А куда?

— А я напишу... Слушай, я тут пластинку раскокал, случайно. Выбрось куда-нибудь. А то Мызин рассердится... Ну, прощай.

— Надо присесть на дорогу.

— Некогда. Где-нибудь в скверике посижу.

Валя огляделась. Куда это она зашла? Это явно был переулок, где еще не ступала нога человека. Никем еще не открытый сегодняшний переулок.

Она остановилась посреди переулка. Полная женщина. Со спины ее освещал луч солнца. Тень, улегшаяся у ее ног, говорила — закат.

— Нет!

Закат бил ей в спину, и переулок как щель и как труба, и на асфальте лежал учебник арифметики. Как после бомбежки.

— Нет!

И она обернулась в сторону заката.

Теперь солнце било ей в глаза. Жакет она сняла и держала его, и белая кофточка ее, розовая от заката, бывшего ей в лицо, казалась совсем молодой, совсем юной кофточкой, кофточкой-подростком.

Когда она вернулась домой, Мызин, дождавшийся ее, рассказал ей все о Жигулине.

— Слушай... Я все же узнал, что с Санькой.

— Не имеет значения.

— Имеет... Ногу ему оторвало... Еще в сорок восьмом... В Польше...

Совсем в сумерки она разыскала его на Страстном.

— Видишь ли, какая штука... — сказал он нерешительно.

— Какая штука?.. Господи, достался мне слюнтяй... Бродит где-то, бродит, а я его разыскивай...

— Валя...

— Голову тебе оторвало, а не ногу... Пошли домой, у тебя есть дом... Хватит, набегался. Всю жизнь мою сломал... Идем, дочка ревет дома. Имей в виду — еще раз удерешь, подам в суд на алименты, а на суде скажу, что ты меня лупил деревянной ногой... Сашенька, не могу больше... идем. Дочка нам не простит, если мы придем не вместе. Она должна верить, что хорошие концы все-таки иногда бывают... Сашенька, идем.

Она взяла его чемодан, но он отнял.

— Ты с ума сошла, — сказал он. — Я сам.

Они встретились, граждане, они встретились. История в общем-то горькая, и мы могли бы остановиться именно здесь. Но мы имеем право заглянуть чуть дальше, туда, где, как сказано, история, смеясь, расстаётся со своим прошлым. Может быть, это и есть настоящий финал всего, что нас мучит.

Темно уже, но свет не зажигали.

В подъезде стоит Татьяна и некое долговязое существо, видимо, все-таки мужского пола. Оно смотрит куда-то в сторону.

— Я никогда не выйду замуж, — говорит Татьяна, прерывая его размышления.

— Тихо, — сказал он.

— Я буду как мама...

— Целуются... — сказал он.

Таня оглянулась и увидела мать, которую целовал приезжий фиктивный муж, Жигулин Александр Александрович, явно выздоравливающий от всех болезней.

Татьяна ойкнула и отступила за дверь.

Валя и Сан Саныч стали подниматься по лестнице.

— Вот здесь ты будешь жить, — сказала Валя. — Там, куда ты едешь, трамваи есть?

— Не знаю, а зачем тебе?

— Я, когда буду беременная, к тебе приеду и буду с передней площадки входить.

— Молчи... я с ума сойду...

...А то вот люди говорят: любовь, любовь, а сами женятся, как будто хотят от нее отделаться поживей. А дальше — чтоб в ногах не путалась и не отвлекала от деловых дел. А у этих двоих она была только впереди и освещала дорогу, хотя и казалось, что они ее пропустили. Странные дела, верно? Подумайте сами: они успели в жизни почти все, что было положено, потому что поменяли местами начало повести и финал, и там, где у одних только хоккей по телевизору и вопли: «Гол! Гол!», у них все только начинается. История любви, нелепая по нынешним временам, но отлично сказано кем-то: «Они счастливы, а не мы». А теперь, кому не лень, может перечитать начало. Там не о Жигулине, там об энтузиастах, они не только надрываются, работая, они людей любят. Вот про что эта история, если по правде говорить. Конечно, читатель теперь сознательный и сам догадается, что к чему, но лучше уж сказать на всякий случай, верно? Благодарю за внимание.

1977—1978

ПРЫГАЙ, СТАРИК, ПРЫГАЙ!

ТАИНСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ

Но тут запутавшийся в своих
шпорах Дон Кихот падает.
Неизвестный рыцарь уводит
Дульцинею. Праздник
продолжается.

*Из либретто к балету
«Дон Кихот»*

ОТ АВТОРА

В этой таинственной истории многие вещи так и остались непонятными. Например, куда исчез герр Зибель, откуда Минога узнала, что Васька — предатель, и куда Громобоев и Минога отправились после того, как на берегу расцвел цветок. И многое другое.

Тайны, тайны... Но что поделаешь? У физиков есть понятие «черный ящик». Это устройство, принцип действия которого неизвестен, однако с ним работают. Я, например, не знаю, как устроен телефон-автомат, однако кидаю монетку и звоню.

Все дальнейшее будет рассказано строго объективно.

Мне рассказали, я — вам. Мое дело — сторона.

Тайны, тайны, понимаете ли.

Бензоколонка на шоссе. Серый день.

Равнина. Высокое небо.

Вдалеке город.

Остановился грузовик. Вылез водитель. Пошел отдавать талоны. Снял с крюка шланг. Начал заправляться.

Из кабины высовывается девичья физиономия:

— Дядя Паша, гляди...

Водитель обернулся и увидел: по шоссе приближалась странная процессия.

Шесть человек двигались к городу, играя в чехарду. И водитель подумал: откуда они взялись? Когда он ехал по шоссе, никого не было. А теперь, когда они таким манером допрыгали до бензоколонки, стало видно, что пятеро из них молодые, а шестой — пожилой человек в шляпе. Пот заливал его лицо.

— Але!.. — окликнул водитель

— Ну? — спросил первый прыгун.

— И давно вы так?

— Второй километр пошел.

— Может, до города подбросить? — спросил водитель.

— Нам еще километр скакать...

Потом скомандовал пожилому:

— Прыгай, старик, прыгай!

И вся команда удалилась по шоссе. Может быть, лучше было бы сказать «кавалькада». Нет, все-таки «команда» лучше.

Внезапный порыв ветра поднял полы пиджака у водителя и завернул брезент на кузове.

— Что это ветер вдруг какой? — сказал водитель, влезая в кабину.

И машина покатила вслед за чехардой.

Ветер гулял по улицам городка, со всех концов которого была видна законсервированная стройка.

Однако дождя не было, и облака по серому небу плыли с нормальной скоростью.

Аверьянов говорил по телефону, а секретарша причесывалась, когда в контору вошел мужчина лет тридцати в хорошем пиджаке.

— А ты ему что? Что? — говорил Аверьянов. — А ты ему?.. Что? А ты ему на это скажи... Что? Что сказать?.. Не помню... А вот так... не помню... Пока ты тархтел, я забыл... Что?.. Другой раз будешь умней... Да... А я умный... Да, умный... Я самый хитрый. А ты?.. Что?

— И долго он может так? — спросил вошедший мужчина.

— Весь день может, — ответила секретарша.

Мужчина положил руку на телефонную пупочку и прервал разговор.

— Что? — Аверьянов поднял голову.

— Остыньте, — сказал мужчина.

— Что такое? Что такое? Не мешайте разговаривать!

— Кирпич нужен? — спросил мужчина в хорошем пиджаке.

— Мне?

— Да.

— Мне не нужно.

— Поэтому вас и уволили, — сказал мужчина в хорошем пиджаке.

— Это когда ж это? — деловито спросил Аверьянов.

— Сейчас, — сказал мужчина. — Барышня, печатайте... Я буду диктовать.

— Что такое? Что такое? Кто вы такой?

— Приказываю: Аверьянова Н. И. за развал работы... — сказал мужчина.

Аверьянов подскочил:

— Да вы кто такой! Я вас спрашиваю! — Он подчеркнул «вас».

— Запоздалый вопрос... — сказал мужчина, — ...а также за систематическое уклонение от своих обязанностей с работы снять... Начальник строительства... Подпись... Число сегодняшнее... Можете называть меня просто «директор».

Секретарша испуганно гремела на машинке.

Аверьянов тоже наконец испугался и обещал жаловаться.

— Приехали, не разобрались, — сказал он. — Не того ударили, товарищ директор...

Разве ему здесь развернуться давали?.. А директор — человек столичный, и ему не понять.

— А если бы дали развернуться? — спросил директор.

— Тогда бы все увидели, кто такой Аверьянов!

Тогда директор сказал, что принимает его на работу, и велел секретарше писать новый приказ. Потом эти два приказа он взял себе на будущее, которого мы не знаем, и спросил, нужен ли Аверьянову кирпич.

— Да господи! — закричал Аверьянов. — Позарез!

И директор велел ему выписать командировку, сам же ушел, предварительно показав документы и предложив начать жизнь сначала.

— Это можно, — сказал Аверьянов.

Когда за директором захлопнулась дверь, Аверьянов сказал:

— Пижон... Ты еще не знаешь, как Аверьянов работает...

— Напугал до смерти, — сказала секретарша.

— Пижон, — сказал Аверьянов. — Пижон.

Перед будущим начальником будущего строительства лежал город.

Небольшой, домашний, где-то уютный, в чем-то захолустный, периферийный, приземистый, уходящий в прошлое, доживающий свои неинтересные дни и лениво грезящий о перспективах.

Но городок еще не знал, что его ждет, а директор знал.

Ему было уже за тридцать два года, и ему не нравилось название его должности — начальник строительства.

«Начальник» похоже на начинающего, «руководитель» лучше, но тоже вроде вожакого, который за руку водит. Ему нравилось, чтобы он был «директор».

И городок не знал, что к его воображаемым стенам подошел директор, у которого в мозгу кипели директивы.

Городок застыл в бессистемности своего развития, и потому теперь его ожидали крутые повороты.

Полузаросшая речка. Костер на берегу.

Примелькавшиеся очертания полудеревенских домов (низ — каменный, верх — деревянный), имевших традицию, но, как думал директор, явно не имевших истории, стеклянное кафе при дороге, современное для этих мест, застывшая стройка какого-то несостоявшегося завода и сушь, тишь и шепот камыша. Облака до горизонта.

— Ладно, — сказал директор сам себе. — Немножко увольнений для начала и много кирпича, бетона, самосвалов, железных конструкций, приезжих людей, новых замыслов в русле генерального плана и ритм, ритм.

Полтора института позади, все мальчишеские увлечения второй половины века, неудачная женитьба на чьей-то дочери и опыт практической работы в развивающихся странах. Война знакома по кинофильмам и периодической печати, грехов еще нет, энергии — на две биографии. На дне души — болевая точка, ну а с другой стороны, может быть, без любви-то и лучше.

— Ладно, — сказал директор. — Ладно. В конце концов, речка здесь есть. Построю катер со стационарным мотором, камыши надо будет убрать, а русло выпрямим — соберем энтузиастов и русло выправим. Новое место, новая жизнь, и я хочу здесь остаться директором завода, который я сам построю, мне это твердо обещали. К черту болевые точки! Все заново. Все от нуля. И еще: запретить костры на берегу, опасно в пожарном отношении. Хватит захолустья, хватит безалаберности. Все заново. Все от нуля.

Но он не знал, тогда еще не знал, что в этом городке живет дикая женщина по прозвищу Минога и что в прошлое воскресенье на реке убили человека.

Где-то хлопнула форточка, лягнуло и рассыпалось стекло.

Место действия здесь тихое, безветренное, окна маленькие, но стекла везде стекла.

Потом Сулин рассказывал:

— Захожу я к Миноге...

...Незначительный Сулин вошел в комнату и посмотрел на стоявший на табуретках пыльный гроб, которому он не удивился.

— Ваську убили, — сказал он.

Минога запахнула халат:

— Месяц кончается, а машины не приходили.

— Ваську убили, слышь?

— Да мне какое дело! — сказала Минога. — Мне на это дело начхать. Я говорю, месяц кончается, а машины на стройку не приходили.

— Придут, — сказал Сулин.

— А за что убили? — спросила Минога.

— А за мотоцикл.

— Я Зинуле говорила — не давай ему мотоцикл покупать, — сказала Минога и, высунув ногу из халата, маникюрным лаком поставила выше колена розовую точку — чтобы чулок дальше не побежал.

— Придут, — сказал незначительный Сулин.

— А?

— Придут, говорю, машины, не может быть, чтобы не пришли... Новый директор приехал. В магазин шифер привезли, слыхала?

— Не за мотоцикл его убили, — сказала Минога. — А за попа. Ясно?

— Это все знают.

— Ну иди...

— А ты?

— Я поплачу, — сказала она.

Сулин ушел. Минога открыла немецкий сервант, новый, полированный, и справа, в углу, где столовые приборы, нащупала нож-финку с наборной ручкой — плексиглас, алюминий и медь — пестрые кольца. Потрогала лезвие крашеным ногтем — не затупилось острие. Она подошла к подоконнику и, отворив створку, кинула нож в окно. Раздался плеск, и нож блесной ушел в речку с камышовыми берегами, которая там, внизу, бежала и бежала по своим делам, помаленьку становясь полноводной от собственных притоков.

— Ну, Вася... — сказала Минога, — счета кончены...

Она проглотила комок горечи, и еще не понимала ничего в своей жизни, и закрыла окно.

По улице загрохотали телеги, и снова вошел Сулин.

— Аверьяновские покатили. На шестнадцать телегах. Похоже, правда будут строить, — сказала Минога.

— Язва ты, понятно? — спросил Сулин, тяжело дыша. — Вся твоя жизнь такая... Один я знаю, кто ты есть...

— Знаешь — помалкивай, — сказала она.

— Ничего, — сказал Сулин. — Инспектор придет — он тебя разберет. Он тебя керосином промоет.

— Много ты знаешь... Кто я есть, тебе и знать не положено, — с силой сказала Минога первые громкие слова за это утро. — Я этому городу пьяная Богородица, понял?! — И снова крикнула: — Я глазом своим ясным поведу, и тебя нет — понял?!

— Ты что? Ты что? — сказал Сулин незначительные слова и стал уходить спиной к двери.

Она было подошла к нему объяснить, кто он есть, чьи муки горше и козырь старше, но тут на улице пролился молодой женский голос, который пел песню: «А мне мама, а мне мама целоваться не велит», — и они сразу застыли, потому что сообразили, кто поет, и Минога пригладила волосы.

И Сулин пригладил дыбом стоящие светлые волосы, единственную свою примету на этой земле, тяготеющей к стандартам.

— Аичка приехала? — спросил он.

— Иди... Иди... — ответила Минога, и он опять ушел.

Она стала метаться по комнате, она стала прихорашиваться перед зеркалом. Она схватила две авоськи пустых бутылок и, оглянувшись на пыльный гроб, подбежала, приподняла крышку и кинула их в грохочущую домовину, так и не дождавшись своего покойника.

Аичка вошла в дверь и смотрела на суету, и лицо у нее было такое же удивленное, как там, на шоссе, когда она разглядывала чехарду.

— Следователь приезжал? — спросила она.

— Аичка!

Они кинулись друг к другу и обнялись.

— Ну что ты... — Аичка погладила ее по волосам. — Тетя, что ты?

— Солнышко мое ненаглядное, незапятнанное, незакатное...

— Тетя Дуся, следователь придет, не бойся...

— Я никого не боюсь, — сказала Минога. — Герра Зибеля не боялась, партизанских батьков не боялась, Ваську не боялась... Никого, кроме тебя, не боюсь, Аичка — синие глазки.

— Тетя... хоть бы кто знал, что ты ласковая...

Минога отдышалась и села на стул.

— Аичка, ты попа помнишь?.. Ты маленькая была, я рассказывала.

— Помню.

— Это Васька попа убил...

— Нет! — крикнула Аичка.

— Я дозналась... — сказала Минога.

Она подошла к табуретке, на которой стоял пыльный гроб, и ногой опрокинула его на пол; гроб рухнул, и бутылки грохотали, вываливаясь.

— Тетя!

— Для Васьки гроб ладил... Обойдется... — сказала она с ненавистью. — Мураши тело сгложут... Ветер кости подсушит.

— Пришли... — испуганно сказала девушка и совсем стала беленькая и седая, как козленочек.

Топот ног в сенях, топот ног в комнате, и Минога подняла голову. Ясно — милиционер с понятиями и, конечно, Сулин. А также Сергей Иванович.

— Она? — утвердительно спросил милиционер и кивнул на Миногу.

— Ага, — сказал Сулин, выполняя обряд.

Минога встала со стула, сняла с вешалки плащ-болонью и, как есть в стеганом халате, пошла к дверям. Она отстранила милиционера и сказала:

— Пропусти, сопливец...

— Ответишь! — сурово пообещал милиционер.

— Брось... Ответила... — сказала она.

И вышла.

— Ну, граждане... — сказал милиционер. — Как вы ее терпите, лохматую?.. Моя бы воля...

— Да ведь не твоя воля, — сказал Сергей Иванович. — А она город спасла.

Господи, духота какая! Как будто тебя сунули головой в заношенный валенок.

Все потянулись на воздух.

На заборе сидела ворона и держала во рту кусок сыра, который ей, видимо, послал бог.

Ну, стало быть, Сергей Иванович вошел в стеклянное кафе-трактир при дороге — островок цивилизации.

Сергей Иванович сел за столик, рядом возникла официантка Соня — передник, блокнот, карандаш на веревочке, бюст — все как у людей.

— Что будем кушать, Сергей Иванович? Холодец есть, хек жареный, борщок, «Плиска»?

— Суп молочный есть?

— Суп молочный — раз.

— Картофельное пюре есть?

— Я скажу — намнут. Полина! Сделай пюре картофельное Сергей Ивановичу!.. Компотик будем на третье?

— На третье давай мне заведующего, — сказал Сергей Иванович.

— Фонин! Сергей Иванович зовет!

Из боковой двери вышел Фонин:

— Ну что?

— Разговор есть, — сказал Сергей Иванович.

Фонин отодвинул стул, присел с краешку. Демонстративно.

— Надоел ты мне, Фонин... Наперед знаю, что скажешь. — Сергей Иванович вытянул шею и стал Фолина передразнивать: — «Новое время сменяет старое... однако я это время в ладошках вынянчил, а ты пенки снимаешь...» Так, Фонин? А между прочим, герр Зибель за меня награду положил не меньше, чем за тебя.

Полина выглянула из раздаточного окошка:

— Чего это они?

— Да-а! — отмахнулась официантка Соня. — Партизанские бабки счета сводят... Старые уже, а все славу не поделят...

Открылась дверь, и на пороге возник человек в летах, тот самый, который на шоссе в чехарду играл.

Человек возникает на пороге, и тут же ветер-сквозняк, пронесшийся по кафе, сдувает на улицу его шляпу.

— Простите, — говорит он. И исчезает.

А официантка Соня хохочет.

— А надоел я тебе — уходи, — угрюмо сказал Фонин. — Я тебя не звал.

— Не уйду, — сказал Сергей Иванович. — Следователя дождемся столичного... Мимо ему не проехать. Гляди в оба. Твоя корчма на шоссе первая.

— Это не Минога убила, — твердо сказал Фонин. — Точно тебе говорю... Но эту стерву надо спасать.

— Кто знает... Может, и не она... Однако человек придет для нас новый, но ценный, надо его в курс дела вводить, это вопрос кардинальный... Тут следствием не взять... Тут надо по совокупности обстоятельств... А что, если, не дай бог, это она Ваську кончила?..

— По совокупности обстоятельств ее дело — табак, —

сказал Фонин. — Припаяют — никакая амнистия не вытащит.

Тут снова открывается дверь, и на пороге опять тот же дядя. И опять у него ветер выдувает шляпу на улицу, и опять он исчезает с легким взгласом: «Простите...»

— Соня, кто это?

— Я почему знаю?

— Надо Аичку вызвать телеграммой, — сказал Фонин.

— Аичка приехала.

— Вот это номер! Вот это веселый эпизод! — воскликнул Фонин. — Неужели служить решила в нашем захолустном городе?

Сергей Иванович покивал утвердительно и добавил:

— Опять будет со своими пионерами неизвестных героев обнаруживать.

Опять ветер-сквозняк махнул по кафе, и опять тот же мужчина стоит на пороге, придерживая шляпу.

— Дверь! — закричала официантка Соня. — Дверь держи!

Дверь с силой ударила мужчину пониже спины, и он влетел в кафе-столовую.

— Простите... — сказал он.

Никто ему не ответил. Он тихо уселся за столик, достал карандаш и взял меню.

— Гражданин, в меню писать нельзя, — говорит Соня-официантка.

— А мне мама, а мне мама целоваться не велит... Это слова песни, — отвечает тот. — Надо записать, пока не забыл... Вы знаете эту песню?.. Простите...

Все разглядывают его молча, потом с презрением отворачиваются.

— А кто следователь? — спросил у Сергея Ивановича Фонин. — Тут нужен крепкий мужик, иначе — все. Пришлют мокрую курицу — ничего не втолкуешь.

— Обещали самого лучшего, — сказал Сергей Иванович. — Говорят, король... И фамилия будь здоров — Громобоев.

Человек обернулся.

— Вы меня?

— А вы кто такой? — спросил Фонин.

— Моя фамилия Громобоев, — ответил мужчина и надел шляпу, которую до сих пор почему-то зажимал коленками, от ветра, что ли?

Молчание наступило в кафе-таверне.

Полина высунула из раздаточной пегую прическу.

— Соня, обслужи товарища, — сказал Фонин.

Соня пошла к приезжому.

— Плохи наши дела, Серега... — тихо сказал Фонин.

Сергей Иванович поднимается, Фонин поднимается, и они оба идут к Громобоеву.

А там уже Соня играет блокнотиком.

— Что будем кушать? — запеваёт она. — Есть холодец, хек жареный, «Плиска»...

Директор ошибался. Ничего нельзя начать с нуля. Потому что даже если построить завод в пустыне, то работать на нем будут люди. И хочешь не хочешь, придется применяться к их возможностям и способностям. Хочешь не хочешь.

Городок вроде бы спал, и новым его можно было раздать, а можно — разбудить.

Тогда этот городок проснется и окажется талантливым.

Глупо отменять цивилизацию. Нужно просто ее очеловечивать. Которая соответствует человеческой природе — та хороша, которая не соответствует — та никуда не годится.

(От автора. И действительно. Простой пример. Когда машина воняет, стараются заменить бензин, а автомобиль пока что не трогают.)

— Ну давай зови, — сказал майор.

Лейтенант Володин отворил дверь и сказал в коридор:

— Копылова, входите.

Вошла Минога и села на стул — нога на ногу.

— Согласно УПК РСФСР по статье... — начал читать майор. — За отказ от показаний и за дачу ложных показаний и так далее... Распишитесь...

— Не-а... — сказала Минога и стала раскуривать папиросу «Север».

— Что значит «не-а»?

— Расписываться не буду. — И пустила дымок.

— Это почему же?

— Не хочется.

— Сядьте как следует, Копылова! — нахмурился лейтенант Володин. — Вы в камере следователя!

— Отстань, — лениво сказала Минога.

— За оскорбление должностного лица!..

— Детеныш ты... — сказала Минога.

— Копылова, тихо... Тихо... — сказал майор. — Володин, иди... Ты выйди пока.

Володин растопырил плечи и вышел.

— Копылова, давай по-хорошему, — сказал майор.

— Ни по-хорошему не стану, ни по-плохому... Отлипни, — сказала Минога.

— Кончай свои штучки, нарвешься, — сказал майор. — Новый человек приехал, тебя не знает. Инспектор из центра.

— Скучно мне... — сказала Минога. — Васька помер, дел никаких не осталось. Посадил бы ты меня, что ли?..

— Не помер, а убит, — сказал майор.

— Ну, убит.

— Давай договоримся, Копылова... — сказал майор. — Я все твои маневры знаю. Поэтому не мешай расследованию, ладно?

— Мышьяку, что ли, пожрать? — задумчиво спросила Минога. — Дел у меня не осталось, майор... Другая бы с собой покончила.

Ветер откинул форточку за спиной майора, и майор форточку запер.

— Что ты с собой наделала в жизни, Копылова? — сказал он. — Это даже трудно себе представить.

— Да уж наделала, — согласилась она.

— И ведь не любит тебя никто...

— Никто, — подтвердила она.

— А весь город сюда ползет за тебя заступаться, — сказал майор.

— Укатай меня в тюрьму, — сказала она. — Может, мне жить расхочется.

— Говори прямо. Ты Ваську убила?

— Не знаю... Может, и я, — сказала Минога. — А ты пиши, что я... За добровольное признание сколько дают? Я раньше знала, да позабыла... Сколько лет прошло... Или пиши, что я взятку тебе предлагала.

Майор стукнул кулаком по столу:

— Ты не куражься надо мной, не куражься!.. Докажем вину — посадим, не докажем — пойдешь на все четыре! Как миленькая! А над законом куражиться не дам. Я твой маневр раскусил.

Открылась дверь, и вошел Громобоев. Майор хотел встать, но передумал.

— Гражданка Копылова, вы вызваны свидетелем по делу об убийстве Золотова В. Г., — сказал майор и протянул бланк вопроса. — Вот здесь распишитесь...

— Слушай, начальник, — сказала Минога. — Вот человек приезжий, мне интересно... Я ему буду давать показания, а ты ступай...

Майор подскочил, яростно уставился на нее, но потом взял себя в руки.

— Ну, вы видите теперь? — сказал майор. — Что это за человек?

— Ничего... ничего, — сказал Громобоев. — Может быть, правда нам лучше поговорить наедине?

— Я буду в соседней комнате, — сказал майор.

И ушел.

Тихо стало в кабинете.

Громобоев сел за стол и покосился на пасмурное лицо.

— Начнем сначала... — сказал он и начал писать. — Копылова Евдокия Михайловна... 1927 года рождения... Место рождения... Где ты родилась... не помню.

— В Серпухове.

— Так... Судимости...

— Здравствуй, Витя.

— Здравствуй, Дуся...

— Ты нарочно приехал?

— Да... Когда узнал... Да, — сказал он. — Я думал, ты погибла... На распишись...

— Я тоже думала, ты не выживешь... Крепко я тебя тогда приложила.

Он протягивает ей бланк. Она расписывается.

— Это ты убила Золотова?

— Сама не знаю, Витя, — сказала она.

Есть розы под названием «Слава мира». Ольга Берггольц их описывала.

А как вычислить славу мира?

Это все равно что слепить в реторте любовь. В реторте любовь можно только уничтожить.

Ученых все больше — любви все меньше. Любовь от изучения гибнет. Это ее свойство.

Потому что изучать можно повторяемое. А еще Шекспир сказал, что всякая любовь — исключение. В этом и есть ее правило.

Я видел, как бились их души друг о друга, и ничем не мог повлиять на битву.

Потому что корни ее питались давней водой, а ветви еще только ожидали плодов.

«...Белокуроя — чужая сестра, потом чужая жена. Манкая до ужаса, но недоступная, а все время любила меня, да я не знал этого.

Потому что я был из войны, а она из жизни. Миру принадлежала она, и я был из другой жизни, где страшно, а она не боялась силы.

В сущности, она была невысокая, но производила впечатление крупной женщины.

Она и девчонкой была похожа на женщину, и девушкой.

В ней не было детского, она всегда была мудрой.

Как-то миновал ее возраст вытягивания и неловкости, и она росла, как будто приближалась к нам по дороге, ведущей от горизонта, не меняясь в пропорциях, а только становясь крупнее.

И потому казалось, что она большая, когда наконец вошла в комнату...»

А когда много лет спустя он увидел себя и ее в зеркале, она оказалась ему как раз под подбородок.

— Ты зачем пришел? — спросила Минога.

— Мне стало известно, что инспектор Громобоев — твой бывший муж... — сказал майор. — Или, может быть, жених?

— А тебе что?

— Его люди узнали... Я-то у вас с после войны, а старожилы узнали...

— А что старожилам делать, — сказала Минога, — только трепаться.

— Говорят, ты его когда-то обидела... Смертельно обидела.

— Не смертельно... — сказала Минога. — Живой приехал.

— Если хочешь, я напишу докладную с изложением обстоятельств... Другого пришлют...

— Зачем мне другой?

— А этот может необъективно вести расследование, — настаивал майор. — Короче, закатает тебя...

— Ты только на заплачь, — сказала Минога. — Говори, чем он тебе нехорош?

— Тихий он больно... твой Громобоев... Вялый какой-то, — сказал майор.

— Тихий? — спросила Минога. — Да он бешеный! Он потому тихий, что себя боится...

— Интересно, — сказал майор.

Абрам, откидываясь назад, внес ящик пива.

— Вот Абрам, говорят, видел, как ты опять костер зажгла на берегу.

— Мое дело, — сказала Минога.

— Не твое, — сказал майор. — Со стройки нареkania... Новый директор звонил.

— С директором я сама разберусь, — сказала Минога, — это он для вас директор...

И вытащила из серванта стеклянную тару, чтобы пить пиво и вино белое, чтобы помянуть то, что помнить не хочется.

— Скажи, Дуся... — спросил Абрам. — Ты костер с намеком разожгла?

— Умный ты чересчур, Абрам, — сказала Минога.

— Скажи... мы опять что-нибудь не то делаем? — поднял Абрам на нее синие свои, пронзительные глаза.

— Пей пиво... — мягко сказала Минога. — А лучше спой...

— Про синюю воду? — спросил майор.

— Про синюю воду... — сказала Минога.

Он поднял глаза к потолку и положил руки на стол, поджав пальцы с выжженными ногтями.

Детский плыл кораблик
По синей реке,
Плыли дирижабли
По синей реке.

Наши вдаль уходят,
Небеса горят.
Молодость уходит,
Небеса горят.

Небо мое, небо,
Синяя вода,
Корабли уплыли
В небо навсегда.

С той поры я не был
У синей воды,
Небо мое, небо —
Зеркало беды.

Вот такие дела. Мне рассказали, я — вам. Мое дело сторона.

Директор о Миноге и слышать не хочет.

Когда он приехал, его поселили по соседству от Миногиного дома, и он уже видел ее несколько раз, когда она в стеганом халате бродила вокруг дома и глядела то на реку, то на недалекую стройку.

И директору казалось, что, когда она смотрит на стройку, кипучая работа перестает быть кипучей.

Директору казалось, что вся затхлость, вся болотность и убожество мира были собраны в этой женщине.

И директор говорил себе: «Ну ладно, недолго уже всему этому...» Хотя чему «всему этому», ему не удавалось сформулировать однозначно.

Тут все одно за одно цеплялось.

Городок захолустный, медленный, а стройка довольно большая, быстрая. А директору передали совершенно точно, что Минога сказала про директора, будто вся его работа в том, что он, директор, хочет сделать городу вставную челюсть, стало быть, считает его инвалидом.

Директор даже не сразу понял. А когда понял — задохся.

— Что?.. — спросил директор, ужаснувшись этому дикому образу. — Так и сказала?

Ага. А город, говорит, не инвалид, и директор ничего еще не знает, у него, говорит, молоко не обсохло, так она сказала, и не ему судить.

Директору было тридцать два года, и молоко у него обсохло.

— Ладно, — говорит он. — Новое всегда борется со старым, тьма со светом. Предложим ей квартиру подальше, а ее частный дом, конечно, на снос.

Однако это разумное предложение споткнулось о старые бумаги.

Оказалось, что дом, хотя и действительно был частным владением, однако был бесплатно выстроен по постановлению давнего горсовета, председателем коего тогда был Фонин, ныне благополучно руководящий придорожным кафе-модерн.

Директор первый раз слышал, чтобы кому-либо частный дом выстроили бесплатно, и потому не поверил, что так может быть. Справедливо предположив давние махинации сильно пьющего Фомина, он хотел было озадачить этим делом заводского юриста, но этого вовсе не потребовалось, так как ему как раз сообщили, что произошло убийство некоего Золотова, и Миногу забрали по подозрению, и приезжает инспектор.

— Ну вот все и выяснилось, — сказал директор и успокоился было.

А как только успокоился, ему тут же сообщили, что приезжий инспектор не только Миногу отпустил, но и сам ведет себя странно, и костер на берегу исправно горит каждую ночь.

— Надо с этим кончать, — сказал директор и созвонился с Сергеем Ивановичем.

— Мы сами хотели прийти, — сказал Сергей Иванович. — И Фомина прихватчу.

— Если ее оправдают, я добьюсь, чтобы ее выселили из города, — сказал директор, заканчивая разговор.

Но оказалось, что разговор еще и не начинался.

— Вот вы строите завод электронного оборудования, — сказал Фонин. — А какими приборами человека определить?

— К чему вы клоните? — спросил директор.

— А я не клоню... Я впрямую... Вот человек делает чего-нибудь поперек всех, всех злит... А глядишь — на круг выходит — от этого человека польза... Бывает?

— Бывает... Если человек новатор.

— Так ведь это он потом новатор, — сказал Сергей Иванович. — Когда докажет... А пока не доказал, как узнать, новатор он или озорник?

— У него ж язык есть?... Он же объяснить может, зачем он, как вы выражаетесь, поперек идет?

— Язык-то у нее есть, — сказал Фонин. — Это точно... Еще и характер будь здоров.

— Вы о ком? — спросил директор.

— Да вот все о соседке вашей, о Копыловой...

— Ну нет... Эту женщину мы обсуждать не будем.

— Факт... Чего ее обсуждать... Она сама себя обсудила... У этой женщины характер такой, что ее язык невесть что болтает... А пуще всего про себя...

— А почему мы должны ей не верить?

— Мало что она болтает... А у нас свои-то головы на плечах есть или нет! Баба город спасла — враг она этому городу или нет? Должны мы это взять в зачет или как?

— Копылова город спасла? — спросил директор.

— Ага.

— Это в каком же смысле?

— А в таком смысле, что люди в нем живы, потому что Копылова костер зажгла.

— Костер? — воскликнул директор.

— Ежели б эта Минога костер не зажгла, я б не в начальники вышел, а в покойники, — сказал Сергей Иванович.

— Какой костер, я вас спрашиваю?!

— А чего это вы? Кричите, понимаешь...

— А потому что каждую ночь костер кто-то зажигает. Пожарники ругаются.

— На берегу?

— На берегу... Значит, это она?.. Прелестно. — Директор взял трубку и открыл рот, чтобы приказать.

— погоди... — сказал Фонин. — погоди.

— В милицию надо звонить, — сказал директор.

— погоди... Если это она зажгла, мы что-то опять не то делаем...

Директор с недоумением положил трубку.

И дальше директору рассказали про костер.

— Герр Зибель город заминировал... Во-от... А всех жителей на берег согнал в концлагерь... Уходя, город взорвать хотел, а жителей под нашу бомбежку поставить.

— Каким образом?

— А таким образом, что собирался возле концлагеря костер разжечь... Вот бы наша авиация и отбомбилась... на людей-то.

— Так... — сказал директор.

— Объявил: вы, дескать, швайны, сигналы своим самолетам подавали, костер жгли... теперь сами от своих подышайте... Ну, мы в отряде об этом его плане не знали... Мы знали только, что город заминирован, и, чтоб не дать городу погибнуть, налет готовили на склад этот, где у них пульт был... во-от... А кто-то взял да и раньше Зибеля костер разжег возле этого склада... Наша авиация прилетела и стала фугаски кидать. Полгорода на минах подняло... Мы так смекнули — предательство... Миногу схватили...

— Она?

— А кто же? Конечно, она... Хотели было к стенке поставить... а тут толпы по улицам бегут... детишки кричат... Ну, все и выяснилось... Дома-то, выходит, подорвались, а люди живы... Все до единого... Вот и рассудите: спасла она город или нет?.. Людей-то, выходит, герр Зибель сам в сторонку отвел... Вот теперь и суди, кто прав был: мы или она?

— Ну это ясно...

— Это теперь ясно... А тогда видим — дома взрываются... А что людей в них нет — нам невдомек... Герр Зибель чисто все сделал. А она еще чище. Наши и не знали ничего...

— А она-то откуда узнала?

— Как откуда? Она тогда с Васькой крутила, а Ваську мы сами в полицаи назначили.

— Так почему он вам не сообщил?

— Говорит, не успел.

- Проверяли?
- А как проверишь?
- Она была в партизанском отряде? — спросил директор.
- Нет... Кто ж ее такую возьмет? С ней никакого сладу не было... Вы ж сами знаете.
- Знаю... — сказал директор.

Инспектор Громобоев был очень плохой инспектор.

Нам довелось пересмотреть уйму кинофильмов и прочитать отчаянное количество детективных романов, и хуже Громобоева по своим деловым качествам мы инспектора не нашли. В жизни бывали, а в детективном искусстве все инспектора были лучше его по своим деловым качествам. Потому что деловых качеств у Громобоева не было.

Нет, честно! Начиная с великого Шерлока Холмса и кончая новыми, технически оснащенными детективами, все они обладали множеством деловых качеств. Им в работе противостояли простаки и Ватсоны или же ретивые карьеристы, но все они не тянули рядом с главным героем. Одни не понимали ничего и ахали, а у других появлялись неправильные версии. Главный же герой зорко смотрел и мучительно думал. Иногда он обладал железной волей, иногда нет. Иногда это был человек яркий, иногда бесцветный — это не имело значения. Но он обладал деловыми качествами.

У Громобоева деловых качеств не было. Потому за него работали другие. Поэтому, в сущности, Громобоев был эксплуататором. И славы своей он достиг, будучи эксплуататором.

Но так как для истины безразлично, каким способом ее открывают, то в результате дело оказывалось выясненным, несмотря на дурацкий метод, и Громобоеву поручали новое дело.

Он приезжал на новое место, кушал, спал, вовлекался в посторонние дела и так долго бездействовал, что заинтересованные лица начинали в отчаянии расследовать дело сами и доводить его почти до конца, а в конце приходил Громобоев и снимал пенки.

Поэтому он был эксплуататором, и слава его была награбленным добром.

Но если возмущенным жителям удавалось устроить

так, что его отзывали за очевидную бессодержательность, то дело сразу останавливалось и результатов не было. Оно еще некоторое время катилось по инерции, подталкиваемое горячими руками деловых людей, потом останавливалось и дымило почему-то, хотя все боялись признаться себе, что оно останавливалось из-за отсутствия Громобоева.

Поэтому следующие два-три раза ему не мешали довести свое дело до конца глупым образом и получали запоминающиеся результаты. Но потом снова вмешивались сообразительные люди, и дело глохло.

И еще была замечена одна странность. Когда Громобоев приезжал в какую-нибудь местность, там возникала ветреная погода.

А потом вечер наступил, и Минога сказала:

— Иди, Аичка...

Минога сказала:

— Иди, Аичка, в кафе.

— Зачем?

— Сейчас иди. Мне одной побыть надо, а тебе — вдвоем.

— С кем?

— Он в кафе сидит.

— Кто?

— На месте узнаешь.

— А почему ты думаешь, что он на месте сидит в кафе?

— А где ему сейчас быть?.. Ветер такой, и рабочий день весь вышел... Где еще ему быть?.. Оденься только на выход.

— А зачем мне это все?

— Мне надо.

А тем временем директор один сидел в кабинете и из окна смотрел на город, которого он не знал.

Вы угадали. Он решил пойти в кафе.

Внизу прошел трудолюбивый Громобоев, и где-то ветер загремел сорванным с крыши железом. И опять никто не обратил внимания на это совпадение.

Когда директор пришел в кафе, там уже сидела Аичка, которую теперь знали как учительницу. И потому по местной скромности она сидела за столиком одна. А как только директор ее увидел, ему захотелось убежать. Но он этого сделать не смог.

Он сел за соседний столик, увидел под столом ее колени, и поднял на нее глаза, и заметил, что она поглядела ему в глаза и отвернулась.

И директор пересел к ней, потому что ему было тридцать два года. Этим поступком он вызвал общее возмущение, потому что из посетителей кафе его никто еще не знал в лицо.

А через полтора часа уже происходил нижеследующий разговор, но это уже после того, как директор вернулся от радиолы-автомата, куда он кинул пятак, чтобы слушать долгоиграющую музыку.

За эти часа полтора они выпили шампанского и уже созрели для вмешательства судьбы.

— А ты вообще кто? — решила все же спросить Аичка.

— Передовик производства, — сказал директор. — Бенефициар. Из старой жизни. В новую. А ты?

— И я, — сказала Аичка.

И это была главная правда, которую они сказали во время этого разговора.

Давайте договоримся — подробности будем описывать, когда они помогают, а не мешают. Пейзажи, портреты, и кто с каким выражением лица что сказал, и какая погода. Что надо, то и расскажем, а что не рассказано, того и не надо. Бывают такие разговоры, что не до погоды.

— Что это играют? — спросила Аичка.

— «Мэкки Найф»... Элла Фицджералд, — сказал директор. — Негритянка огромная, толстая, великолепная... В ней жизни на десятилетиях.

— Да, знаю я... Как ты считаешь, ты меня уже любишь? — спросила Аичка.

— Наверное, да.

— Другие мне говорили — да.

— Они торопились.

— А ты?

— Я врать боюсь, — сказал директор. — Сегодня скажу «да», а завтра будет стыдно.

— Тебе не будет стыдно.

— Почему?

— Я завтра буду такая, как сегодня.

— Это серьезный аргумент.

— Ты знаешь... девчонки хотят каждый день быть другими... А я буду такая, как сегодня... Ты не бойся, ты не соскучишься...

— Это я уже чувствую, — сказал директор. — Если б

ты знала, как мне надоело любовное вранье, — сказал директор. — Я хочу, чтоб ты была ты, а я был я... И этого бы хватило надолго.

— На всю жизнь? — оживленно спросила Аичка.

— Желательно не меньше.

— Тогда сразу разбежимся. Я тебя обманула. Я нарочно все подстроила.

— Не ври... В чем ты меня обманула?

— Мне захотелось доказать себе, что я кое-что стою...

— Ну?

— Что ну?.. Доказала... Надела тонкий чулок и юбку покороче... Глаза подвела стрелочкой... Все как надо... Меня предупреждали: захочешь влюбить в себя — сама первая влюбишься...

— А ведь тебя за это убить мало.

— Как хочешь, — равнодушно сказала Аичка.

— Что же будем делать?

— Ты материалист?

— Ага.

— Ну вот и я... Противно, что если б я надела юбку подлиннее, то никакой любви бы не было... Представляешь? Величина любви обратно пропорциональна длине юбки... Ну что молчишь, передовик производства?

Директор наконец засмеялся.

— Смеяться, право, не грешно... Это я проходила.

— Слушай... я смеюсь потому, что у меня на душе полегчало.

— Почему?

— Ты можешь подождать до утра?

— А чего ждать?

— А еще лучше недельку... Если через неделю я буду чувствовать то, что сейчас... ты тоже увидишь, чего я стою... Мы поженимся.

— Мне неинтересно, — сказала Аичка.

— Спокойно! Я говорю... А ты молчишь... Кто тебя спрашивает?.. Никто тебя не спрашивает.

— А что же мы будем делать дальше?

— Как что?.. Если все пройдет хорошо, будем жениться... Мы будем жениться всю жизнь. А потом внуки будут нам подражать. Дурацкое дело нехитрое.

— Я тебя терпеть не могу.

— С чего ты взяла?.. Девушка, пожалуйста, счет...

— Ты с ума сошел? Да?

— Знаешь, что мне больше всего в тебе нравится?

— Что?

— У тебя на среднем пальце чернильная клякса... Ты диктанты писала?

— Нет... Накладные... Я работаю на складе.

— Двадцать четыре рубля тридцать семь копеек, — сказала официантка Соня.

— За двадцать четыре рубля я купил жену, представляешь? — спросил директор.

— Ты ненормальный, да? — радостно спросила Аичка.

— Вот как теперь эти дела делаются... — сказала официантка Соня, задумчиво глядя им вслед.

Вот такие дела произошли в этом городе. Мне рассказал об этом заезжий художник, я — вам. Мое дело сторона.

Громобоев вытянул ноги и откинулся в кресле. На лицо он положил журнал мод под названием «Божур» и тихонько захрапел.

И тут же послышалась какая-то возня за дверью и даже топот.

— Это кто там? — спросила Минога.

— Это мы.

— Аичка?

— Тетя, познакомься... Он на мне жениться хочет, — сказала Аичка и ввела директора.

— Кто же тебя не захочет? У тебя юбка короткая, — сказала Минога.

Аичка посмотрела на своего незнакомца. Оба они были беженцы из своей прежней жизни.

— Он говорит, что не поэтому, — не согласилась Аичка. — Он говорит, что потому, что у меня на среднем пальце клякса чернильная... Он думал, что я диктанты пишу, а я сказала, что накладные... Он говорит, что его это не смущает... Он все время врет...

— Так ведь и ты врешь, — сказала Минога.

Директор, улыбаясь криво, разглядывал комнату, потихоньку соображал, что попал в дом к той самой Миноге, которая...

В кресле похрапывал полноватый человек без пиджака. Аичка лепетала нервно и с вызовом:

— ...Он говорит, что мне теперь отступать некуда, потому что за меня двадцать четыре рубля в ресторане заплатил... округленно — двадцать пять рублей... Он говорит, что он на меня потратился...

— Это ты говоришь, — сказала Минога. — Он покамест помалкивает.

— Я не помалкиваю, — сказал директор. — Я посмеиваюсь.

— А ну брысь отсюда... — сказала Аичка директору.

— Поди-ка сюда, — сказала Минога директору. — К свету поближе.

— Кого же мне слушаться? — спросил директор.

— Себя, — ответила Минога.

Директор вышел на свет.

— Тогда разглядывайте, — сказал он. — Рост один метр семьдесят восемь сантиметров — стандарт. Костюм из магазина «Руслан», размер пятьдесят два, рост четвертый, без перешивки, ботинки сорок второй размер... Окончил ремесленное, потом полтора института, в армии отслужил — водитель транспортера, шоферские права второго класса... Не судился, связи с заграницей имею, состою в переписке с Куртом Шлегелем, инструментальщиком из города Ростова. Познакомились на маневрах «Двина». Особых примет нет, зато есть магнитофон «Грюндиг» ТК-46, стереофонический, с двумя выносными колонками, подержанный, и мотоцикл «Паннония» с коляской. Собираюсь строить катер со стационарным мотором от ГАЗ-69... Особых примет нет...

— Если не считать чувства юмора, — сказал человек в кресле.

Он опустил журнал «Божур», и директор узнал приезжего инспектора, о котором ходили разнообразные слухи.

— Да. Юмор есть, — сказал директор. — Но от него быстро устаю. Жену обеспечу одеждой, едой и жилплощадью... В будущей жене больше всего нравятся ноги и чернильная клякса на пальце.

— Ладно врать-то, — сказала Минога.

— Не буду... — сказал директор. — В будущей жене мне больше всего нравится, что нас в толпе не отличишь... Она такой же стандарт, как и я.

— Тетя, ты слышишь... — сказала Аичка, взволнованно улыбаясь.

— Ладно врать-то, — сказала Минога.

— Иначе я не могу объяснить, почему я выбрал именно ее, — сказал директор.

— Дурак ты, — сказала Минога. — Это она тебя выбрала.

— Если по совести, это мне нравится больше все-

го, — сказал директор. — И еще мне нравится, что она ведьма.

— Ты мне подходишь, — сказала Минога.

— Тетя Дуся, а мне?!

— Значит, и тебе, — сказала Минога. — Это не она ведьма, это я ведьма... Я ей такого мужа нагадала.

— Ну вот все и уладилось, — сказал директор. — Пошли, жена, погуляем... Обсудим планы будущей жизни.

— Нет! — крикнула Аичка радостно.

— Пошли... пошли, — сказал директор и посмотрел на Миногу.

Она посмотрела на Громобоева. Тот кивнул.

Они вышли, глядя друг на друга. Минога смотрела вслед.

— Знаешь, кого ты ей сосватала? — спрашивает Громобоев.

Минога молчит.

— Это новый начальник строительства.

Минога молчит.

— Ты знала, кто это?

Минога молчит.

— У тебя губа не дура, — говорит Громобоев.

Она оборачивается и смотрит на него.

По улице шли хулиганы средних лет и молодые.

Они шли по одной стороне улицы, а прохожие по другой.

И потому, когда ветер сорвал шляпу Громобоева и понес ее через проезжую часть к хулиганам, а вслед за ней поспешил Громобоев, прохожие ускорили шаг и стали скапливаться вдали на перекрестке.

Хулиганы праздновали возвращение из глазной больницы Павлика-из-Самарканда, а он еще не оправился от пережитого ужаса, ему до пенсии семь лет, а его оперировали по поводу глаукомы левого глаза и не обещали ничего хорошего, и ему снова ехать в Москву через год.

С машины его не сняли, но перевели шофером на шорно-меховую фабрику — рейсы короткие, калым пропал, и настроение было подходящее.

И когда громобоевскую шляпу понесло через дорогу и кинуло ветром прямо ему в руки, он как раз досказывал сцены из самаркандской жизни.

— Ты, малявка, «ам-ам» ел?.. «Ам-ам» — это еда такая,

блюдо, корейцы собаку едят и меня угощали. Соус-подлив сделают — пальцы оближешь.

Громобоев протянул руку за шляпой, но Павлик-из-Самарканда еще не закончил. Голос у него был как у Луи Армстронга в годы расцвета. И прохожие поняли, что сейчас Громобоеву будет худо.

— У эмира бухарского было сорок шесть жен, — сказал Павлик-из-Самарканда. — Одна — сестра царя Николая Первого, другая — немка. Еще англичанка, французка, американка — кто хошь. Они в пруду плавают и плавают... как лебеди... А он сидит и ноги поджал... чай в пиалу нальет и пьет... и смотрит... и смотрит... а они в пруду плавают... плавают...

Семь человек окружили Громобоева, и на лицах был интерес.

— Все дети из будущего... — сказал Громобоев. — Но большинство о нем забывает, увлекшись родной речью...

Павлику-из-Самарканда почему-то стало страшно, и он отдал шляпу.

— Доктор... — сказал он. — Не умеешь лечить, не заблуждай людей.

Громобоев, надевая шляпу, трем холуям наступил на ноги, а четвертый сам ударился коленом о фонарный столб.

После этого ветер сорвал шляпу с Громобоева и кинул в лицо Павлику-из-Самарканда, который испугался за второй глаз и, отпрянув, ударил затылком в лицо шестого. А седьмой пошел прочь, когда к нему за своей шляпой протянул руку Громобоев. Остальные потянулись за седьмым, но ветер погнал за ними громобоевскую шляпу. Громобоев с улыбкой побежал за шляпой, и хулиганы бросились наутек, когда увидели его улыбку.

Потом ветер переменялся и погнал шляпу в сторону Громобоева.

— Психов не перевариваю, — сказал Павлик-из-Самарканда. — Не выношу.

И побелел.

К ним приближался Громобоев. Отступить было некуда — они стояли в тупике.

— Милые дети, — сказал Громобоев. — У меня вся спина в известке.

И повернулся к ним спиной.

Хулиганы переглянулись, и Павлик-из-Самарканда стал рукавом чистить громобоевский пиджак. Он вспом-

нил, где он видел Громобоева. В Москве. В Государственной Третьяковской галерее, куда он выстоял очередь, и потому сразу устал в музее и сел на стул напротив портрета залысого чмыря с футбольным свистком в руке, который уставился прямо на него. Ему стало неприятно, и он ушел из музея.

— Я ваш портрет видел, гражданин, — сказал Павлик-из-Самарканда, — в Государственной Третьяковской галерее.

— Знаю, — сказал Громобоев. — Это случайное сходство. Но Павлик-из-Самарканда ему не поверил.

Скрипит шкаф. Минога на выход переодевается.

Тщательно выбирает белье и прикладывает платье к округлым своим плечам.

Смотрится в зеркало, и лицо у нее расплывчатое и покорное.

Ее признали и заступаются.

А про Ваську она забыла и думать. Приехал Громобоев и во всем разберется, не даст погубить напрасно.

Громобоев спит в соседней комнате, и хотя это прямое нарушение морали и его, наверно, снимут с работы, но все это теперь трин-трава, потому что уже давно ему пора с работы уходить, и Аичка пристроена за хорошего человека, хотя и провозвестника новой цивилизации, для которой хороши только правила, а исключения мешают и нехороши. Но исключения все же не сдаются и считают, что и они на что-нибудь сгодятся. Не забыть бы костер зажечь на берегу.

Полуденная жара кончалась. Из другой комнаты вышел Громобоев, накидывая на плечи подтяжки.

— Выспался?

— Сиринга, — сказал Громобоев. — Меня узнали. Мне пора уезжать.

Сиринга... Сиринга... Какое знакомое имя...

Имя твое звенит и шелестит, как тростник на ветру...

Не надо... все прошло...

Кроме печали...

— Давай, — сказал Громобоев. — Давай расскажи еще раз, как все произошло, и покончим с этой грязью. А тело покойника отыщем... Прибыли пять опытных водолазов-спортсменов.

— Тебя с ними видели на шоссе. Это ты их привел?

— Совпадение, — сказал Громобоев.

Но она ему не поверила.

Она никогда ему не верила.

Ей всегда казалось, что, если она ему поддастся, он будет играть на ней как на тростниковой дудке.

— Ну, рассказывай...

— Это он попа убил... Я дозналась.

— Весь город об этом говорит. Что это за поп? Почему его Васька убил?

— Вот у города и спроси.

— Спрошу, — покорно согласился Громобоев.

Но она не поверила его покорности.

— Этот Васька был твоим любовником?

— Не совсем, — сказала она.

— Как можно быть не совсем любовником?

— Рассказывать или как? — спросила она.

Громобоев помигал своими бесцветными глазками и согласно мотнул головой.

Аичка, которая отдыхала в садике от полуденного зноя, отошла от окна на ватных от волнения, стройных своих ногах.

История, которую собиралась рассказать ее тетя, была известна городу во всех подробностях, и Аичка не собиралась ее слушать. Но Громобоев назвал — Сиринга...

— Имя твое звенит и шелестит как тростник на ветру.

— Не надо... все прошло...

— Кроме печали, — сказал он.

У Аички звенело в ушах и дрожали призовые колени.

— Сиринга... Надо посмотреть в справочнике.

Все по совету Горького так боятся оскорбить людей жалостью и так упорно с ней борются, что все и забыли, как она выглядит.

Нет слов, жалость, как и все другое, может быть оскорбительна. Но этот вид оскорбления мы кое-как перенесем — будьте добры, оскорбляйте нас жалостью.

Жалость от слова «жалеть», а «жалеть» и «любить» в деревнях синонимы. Город об этом забыл и еще не очень вспомнил. А Москва вообще слезам не верит.

— Копилка сломалась, — сказал Павлик-из-Самарканда.

Когда Громобоев не признался, что его портрет висит в музее, Павлик-из-Самарканда не поверил и сказал:

— Доктор, это не по правилам.

— Человек для других хочет правил, а для себя исключений, — возразил Громобоев задумчиво.

— Пойдем посидим у Гундосого, — сказал Павлик-из-Самарканда.

— Пойдем, — согласился Громобоев. — Но в другой раз.

Теперь сидели у Гундосого и не пили. Громобоев не пил, и остальные не стали, хотя из окна тянуло ветром.

— Фортку выдуло, — сказал Гундосый, а если точно, то «фуртку выдулу...».

У него все «о» были «у»: «абунемнты прупали...», «телефун не рабуетает в кунтуре...».

Но его оттеснили.

У Павлика-из-Самарканда голова седая, как и у Громобоева. Стало быть, его слушать и гостя.

— Какая копилка? — спросил Громобоев.

— Прежде у нас были все равные, а теперь все главные, — ответил Павлик-из-Самарканда. — В больнице уборщица главней доктора... А в ларьке аптекарша там сидит, как собака лает... А мне доктор велит: не нервничай, Павлик, для глазной болезни нужен покой и зарядка.

— А не вредна зарядка? — спросил Громобоев.

— Немножко надоть. А то кровь застоится. Зарядка — второе здоровье... Сосед с третьей койки говорит: у них в ЖЭКе какие старики и старушонки, а все ходют, полозиют... У их и помещение от ЖЭКа. А в хорошую погоду на улице полозиют... У их тренер от ЖЭКа справедливый. Наверно, по совместительству... Зарядка — второе здоровье... Раньше копилка была общая, а теперь каждый на своем месте главный, и все себе, все себе. Поломалась, что ли, копилка?

— Темно говорите, — сказал Громобоев.

— Думаешь, я тебя не знаю? — сказал Правлик-из-Самарканда. — Я тебя вот как знаю!.. Я тебя жалею.

— За что?

— Никто наши дела понять не может.

— Говорят, Васькино пальто нашли в реке, а на груди дыра и следы крови, — сказал седьмой и покосился на старших.

— Тучну, — сказал Гундосый. — Ну это не Минуга.

— А кто?

— Сам себя укукал, — сказал Гундосый.

— Давай докладывай, — сказал Павлик-из-Самарканда. — Сделай доктору сообщение.

И Гундосый сообщил:

Минога дозналась, что попа убил Васька, и собиралась идти его разоблачать. А Васька перехватил ее в доме. Пришел и кинулся на нее с ножом. А она выбила нож кочергой и узнала: тот самый, которым попа убили, — самодельная финка с ручкой наборного плексигласа. Васька кинулся снова, напоролся на нож и сполз на пол. Она потащила его наружу, положила во дворе. Выскочила искать машину и услышала треск мотоцикла. Оглянулась — он на своем мотоцикле вылетел в открытые ворота и слетел с недостроенного моста в реку.

— Мутуцикл нашли, — сказал Гундосый. — А Ваську река унесла. И Минугу судить будут.

— А кто этот поп, которого Васька убил? — спросил Громобоев.

— У немцев рабутал.

— За что же его Васька?

— Поп один знал, что Васька на немцев работал, — сказал седьмой.

— Васька полицей был. Все знали, — сказал Громобоев.

— Он в полициях от партизан работал, а поп дознался, что, наоборот, Васька на немцев, на герра Зибеля работает, а партизан продавал. Можешь ты это понять? — спросил Павлик-из-Самарканда. — Не можешь. Васька попа за это убил, а попа этого город берег.

— За что же?

— Не можешь ты этого понять. Поп у немцев работал, а сам выдавал справки людям голодным, будто они на немцев работали, и те получали хлеб в немецкой комендатуре. Потом немцы дознались, что справки липовые и что поп партизан прятал, а Васька того попа в церкви убил финкой. Немцы попа уже мертвого повесили. А когда наши пришли, сколько народу за эти липовые справки под сомнение попало. А Ваське хоть бы что — попа-то нет, никому не докажешь, что хотя справки настоящие, а все одно липовые. А Минога дозналась. Васька ее одну только и боялся.

— Почему?

— Она все это ему в глаза выложила, он и обвалился.

— А она откуда все узнала?

— Это никому не известно. Ведьма она.

— Не ведьма, а нимфа, — сказал Громобоев.

— Нимфа — это кто? — спросил Павлик-из-Самарканда.

Но ответа не получил.

Громобоев щелкал подтяжками. Оттянет и отпустит, отпустит и оттянет.

— Ты знаешь, что такое Сиринга? — спросила Аичка у своего директора.

Свадьбу они решили сыграть скромно, потому что у директора еще в памяти была бурная свадьба с его первой женой, где шафером был ее теперешний муж.

Директор бушевал у себя на строительстве, а его внезапная жена Аичка со своими пионерами отыскивала неизвестных героев, которых в городе было ровно половина населения. А вторая половина героями быть не могла, поскольку почти вся родилась в послевоенное время.

— Сиринга? — спросил директор. — По-моему, это река в Якутии или Бурятии... Хатанга, Сиринга, где-то в кроссворде попадалась. А что?

— Громобоев тетю мою назвал Сиринга.

— Серегина?

— Нет, Сиринга.

— Ну, я посмотрю в справочной литературе...

— ...Не надо... — жарким шепотом сказала Аичка. — ...Войдет кто-нибудь...

— ...Прости... — жарким шепотом сказал директор, отодвинулся от Аички и заорал по телефону. — Аверьянов! Аверьянов! Почему самосвалы не подходят?

— Сегодня в полдевятого, — сказала Аичка.

Директор перекрыл трубку и кивнул. Аичка пошла к выходу.

...Когда директор глядел на Аичкины ноги, его укачивало. «Интересно, как долго это может продолжаться? — думал директор. — Неужели это надолго?» А кровь в директорских жилах так и играла, так и играла.

Он, в сущности, был добрый малый, этот директор, только слишком тщательно готовился к образу директора перед приездом в этот город.

Он хотел, чтобы в нем самом город увидел облик и образ будущей жизни города.

Город увидел. И ему не понравилось.

Ничего лишнего. Светлые дома с «машинами для жилья», как говорил Корбюзье, вместо квартир. Улицы

без тупиков и выбоин, удобные для проезда, но где нельзя будет гулять. Река с пляжами, очищенная от сонных заводов, тростника и частично от рыбы. Клубы с лекциями по интересам, кинотеатры с фестивальными фильмами и блистающий стеклом и газонами завод электронного оборудования, который будет уметь эту новую жизнь делать... И на заводе будут работать для новой жизни новые люди. Для прежних людей, казалось, в этой жизни места не было.

Город хотел новой жизни, но считал, что и прежние люди на что-нибудь сгодятся, поскольку они ее заслужили.

И славный малый директор хотел выбить сонную одурь из этого городка и встряхнуть его жителей, поскольку считал, что малый городок отличается от большого только тем, что в нем мало современной добывающей и перерабатывающей промышленности и комфорта.

В бесконечных спорах с подследственной тетей своей внезапной жены он орал, что новая жизнь — это новый ритм, и темп, и, значит, новые отношения новых людей.

— А откуда их взять? — спрашивала подследственная тетя.

— Будет новый завод, будут и новые люди, а все, что мешает, исчезнет!

— Куда? — спросила подследственная тетя.

Этого директор не знал.

— Какие будут условия, такие будут и люди, — сказал он.

— Нет, — сказала Минога. — Ты еще малой. Какие будут люди, такие и условия. А будешь буяннить — скажу Громобоеву.

Директор расхохотался. К его плечу прижалась Аичка, и директор расхохотался. Он знал, что в город приехал инспектор Громобоев, ленивый и нелюбопытный, но почти не был знаком с ним лично.

Громобоев зашел к нему однажды, интересуясь генеральным планом строительства, да еще раз он видел его у предосудительной Миноги, когда тот храпел под журналом, но директору не имело никакого смысла разговаривать с нерасторопным человеком, на которого жаловался майор, начальник райотдела милиции. Сам же директор ничего из прошлых городских дел не знал и не мог быть Громобоеву полезен.

Директор, правда, встречал несколько раз на улицах зальсого приезжего с бутылочного цвета глазами, который

то бессмысленно глядел в рот случайному собеседнику, то боролся со своей шляпой, но у него в голове не укладывалось, что это и есть приезжий человек из центра, присланный для устроения местных дел.

— Стране нужна продукция, — сказал директор.

— А страна — это кто? — спросила Минога.

— Мы!

— Вы... А мы? — спросила Минога.

Директор хотел было сгоряча ответить, что, мол, вам пора уходить и уступать место новому и светлому, но ему вдруг стало не по себе, и он понял, что боится так ответить, и вообще понял, что чего-то боится, а он был не из боязливых и занимался альпинизмом.

— Нет уж, — сказал директор, к плечу которого прижалась Аичка. — Есть объективные обстоятельства. Никакой Громобоев не поможет. Что он может сделать?

— Он может сделать объективные обстоятельства, — ответила Минога.

И директору сразу полегчало.

— Ладно, — сказал он. — Шутки шутками, а вот вы, местная жительница, можете вы мне объяснить, почему с двенадцати до часу рабочие отказываются включать отбойные молотки, вибраторы и вообще шуметь? Под всеми предложениями отказываются. Это у вас какой-нибудь местный обычай?.. Работают на час больше, а с полудня до часу не хотят.

— Нет, — сказала Минога. — Не обычай. С полудня до часу Громобоев спит.

Директор почувствовал, что больше не может.

— А если его невпопад разбудить, он жуть какой сердитый, — закончила свою мысль Минога.

— Аичка, — позвал директор, прикрывая трубку.

И Аичка остановилась у самой двери кабинета.

— Подожди, Аверьянов, перезвони, — сказал директор. — У меня люди.

И положил трубку.

— Аичка, — сказал он, — твоя тетя говорила с Громобоевым о заводе?

— Говорила.

— Расскажи.

— Она сказала, что заводские не то делают, а директор еще бестолковый и надо его укротить... А Гро-

мобоев щелкнул подтяжками и сказал: «Ну, это мы уладим».

— Подтяжками? — спросил директор. — Значит, укротить? И это он уладит?

У директора были основания для гнева.

Мало того, что ему не удалось выселить из города хулиганствующую тетю, теперь ей компанию составил приезжий, представитель вовсе другого ведомства, и материалы о его безответственном поведении скапливались со скоростью залома на реке.

Так что прижать этого Громобоева не составляло труда. Но не в этом было дело. Что-то чудилось особенное директору в событиях этого месяца. Какая-то нечеткость и расплывчатость. Какая-то неуловимость и непредсказуемость. А директор не любил неопределенности, хотя это и было одним из фундаментальных положений современной физики.

И начальник райотдела тоже не любил неопределенности. Он, конечно, доложил в центр:

— Кого же вы прислали?.. И повадки вашего представителя ни в какие ворота не лезут!

Но услышал непонятный ответ:

— Не мешайте ему.

Когда же майор попытался получить указания, как ему себя вести с инспектором, ему ответили:

— Не мешайте ему.

Как ни уважал майор людей из центра, он все же, теряя самообладание, объяснил, что дело Миноги несложное, подходит к концу: убила все же, видимо, она, так как покойники на мотоциклах не ездят, и остается только найти тело, и что работают водолазы.

На это ему ответили, что дело это чрезвычайно сложное и что в случае удачи его ждут награда и повышение. На вопрос же, как быть в этом случае с Громобоевым, опять получил ответ:

— Не мешайте ему.

Майор вытер лоб, положил трубку, не смотря на своего помощника Володина, который слушал весь разговор с трепетом и по молодости лет с возмущением и вздрагивал каждый раз, когда в трубку медленно и внятно звучало:

— Не мешайте ему.

Володин был хороший и перспективный человек, и, конечно, понимал, какие перемены принесет завод электронного оборудования их захолустью, и влюбился в дирек-

тора, в смелость его решений, в его подтянутость, и потому его в дрожь бросало, когда он видел Громобоева, представителя центра.

У Володина все связанное с центром вызывало ощущение подтянутости, а захолустье — расхлябанности...

Володин был мечтателем.

Он мечтал об огромных городах, о порядке и о власти над природой.

Володин был готов защищать все упорядоченное, что приближалось к их расхлябанному болотному захолустью, и будущая жизнь представлялась ему в виде убегающей к солнцу автострады, по которой, сверкая никелем, мчатся автомашины с горожанами и горожанками, едущими работать на завод электронного оборудования.

И когда он однажды в непонятном доверии, тихонько, чтобы не спугнуть видение, рассказал о своих мечтах Громобоеву, человеку из центра (что его дернуло откровенничать, он и сам не знал; может быть, солнечные лучи, игравшие в огромных стеклах их нового кафе, которое городские хулиганы называли «стекляшкой» с молчаливого согласия устаревшего Фолина, управляющего этим кафе без всякого удовольствия? Кто знает, что толкнуло лейтенанта Володина рассказать о своем идеале яркой жизни безвестному Громобоеву?), но когда он рассказал и, сияя, ожидал реакции, то Громобоев, сияя, сообщил ему, что он, Володин, мечтает об электронном захолустье.

— Так и сказал? — спросил директор Володина несколько дней спустя.

— Так и сказал!

— Ну что ж... Пора принимать меры, — постановил директор.

И по своим каналам направил две депеши в центр. Одну — с просьбой прислать толкового инспектора, если это необходимо, и вторую — дать разрешение снести захудалые коровники и птичьи дворы местного нерентабельного хозяйства, поскольку толку от них чуть, а самосвалы к строительству идут окольными плохими дорогами и тем снижают боевой дух водителей и темпы производства работ, не говоря уже о перерасходе топлива и запасных частей.

Дело было очевидное, ситуация знакомо обыгранная во многих художественных произведениях, где новое бо-

ролось со старым, и хотя в финале старому отводилось заповедное охраняемое место, однако магистральная линия жизни не давала себя сбить с толку и, сверкая никелем, пролетала мимо заповедников.

И потому директор твердо управлял своим стремительным строительством и спокойно ждал, когда отзовут Громобоева и снесут старые хламные коровники, свинарники и птичники, поскольку ничего заповедного или музейно-ценного, ничего культурно-полезного не было в нерентабельных буренках и курицах неизвестной породы и происхождения, и гораздо рентабельнее было заложить позднее и поодаль животноводческий комплекс с искусственным климатом, электронное оборудование для которого поставит построенный к сроку завод.

Но случилось невероятное.

Через несколько дней в ответ на депешу о Громобоеве директор по своим каналам получил телеграмму, суть которой была:

— Не мешайте ему.

А на вторую депешу ему ответили, что в город едет комиссия из Академии животноводческих наук, чтобы на месте познакомиться с феноменом.

— С каким феноменом? — обалдело спросил директор.

— Не волнуйся, — сказала Аичка.

— С каким феноменом?! — закричал директор.

— Не волнуйся, — сказала Аичка. — Главное, не волнуйся. Ты заработался и потому не знаешь. Весь город знает.

Мэр города Сергей Иванович не знал, что и думать.

С одной стороны, это, конечно, замечательно и ему в заслугу. Хотя, с другой стороны, как объяснишь, когда спросят, какие меры он принимал, когда он знал твердо, что ответить не может, и выходило совсем незамечательно, выходила путаница. Хотя, пожалуй, можно объяснить возросшей сознательностью работников животноводческого хозяйства и их нежеланием сдаваться. И все же дикость и странность. Беспородные буренки, чушки и курицы словно взбесились. Они, видимо, сговорились больше не валять дурака и производить.

Первой это обнаружила молоденькая доярка Люся, выпускница десятого «Б» класса второй городской школы, отличница, добровольно пошедшая в отста-

лое хозяйство, ни в чем предосудительном не замеченная.

Когда она брала молоко от своей подопечной Сильвы, она заметила, что всегда унылое беспородное существо улыбается.

Люся тоже улыбнулась ей, поглядела в подойник и ахнула. Ведро было наполнено до краев, и Сильва улыбалась от чемпионского для нее надоя. Люся радостно отнесла ведро и вернулась благодарить Сильву ломтем свежего батона, и увидела, что из вымени подружки капает молоко. Люся машинально подставила ведро, погладила Сильву по вымени и вдруг поняла, что корова не доена.

Дрожащими руками Люся отнесла второе полное ведро, потом третье. Ее строго спросили, в чем дело и откуда молоко? Люся расплакалась и призналась. Доярки, только еще собиравшиеся приступить к трудовому дню, зашумели, что теперь понятно, почему Люся приходит на работу раньше всех, — воровать молоко у чужих коров, чтобы выбиться в чемпионы, и уехать на ВДНХ, и учиться в коровьей академии. Люся рыдала. Люся рыдала так громко, что не заметила тишины, наступившей в коровнике. А когда заметила, то увидела доярок, которые с бледными лицами несли полные ведра парного молока и снова возвращались доить своих обезумевших буренок.

Ужас усилился, когда прибежал со свинофермы Гундосый и совершенно внятно сообщил, что три самые захудалые свиноматки опоросились и каждая принесла по двадцать восемь веселых поросят. А потом позвонили с птицефермы с просьбой прислать ветеринара, и как быть — куры заболели... яиц девать некуда.

— Остановись, — сказала она.

— Я им покажу ферму закрывать, — ответил он. — Я им покажу власть над природой!

— Остановись, — сказала она. — Они с ума сойдут.

— Ладно, — согласился он. — На первый случай достаточно.

О закрытии фермы не могло быть и речи. Приехала комиссия из Академии животноводческих наук и постановила огородить хозяйство временной стеной.

И полетели в центр и из центра вопросительные и ответные депеши, загремели телефоны и колокольчики на

бурных заседаниях, где хотя и постановили считать невозможным факт неслыханной производительности без увеличения кормов, поскольку это нарушило бы закон сохранения энергии, однако приняли решение о создании опытного животноводческого комплекса союзного значения на месте захудалой городской фермы. Для чего в первую очередь было решено переместить в сторонку подъездные пути к заводу электронного оборудования и обязать строительство производить работы с наименьшим шумом.

Так было по науке. Но город знал, а директор догадывался, что все дело в какой-то смутной связи этих событий с послеполуденным сном Громобоева.

Володин все же решил провести самостоятельное следствие.

Во-первых, он не мог забыть «электронного захолустья», а во-вторых, все равно все нормы делопроизводства были поправаны, и следствие, кроме Громобоева и майора, вели все жители города и приехавшие, а вернее, прискакавшие чехардой водолазы-спортсмены, искавшие тело Васьки-полицая, за которым теперь почти автоматически обнаруживались и числились все новые и новые дела, казавшиеся прежде сокрушительно непонятными.

Володин, конечно, участвовал в следствии, помогал майору разбираться в бесчисленных подробностях прошлой жизни городка и показаниях его жителей, имевших явную тенденцию выгородить Копылову, по мужу — Серегину, для которой, несмотря на прежнюю заслугу, не было места в новой жизни, о которой Громобоев сказал... которую Громобоев посмел обозвать... нет, это же непереносимо... хотя Володин и выполнял отдельные мелкие поручения Громобоева, но не мог забыть, не мог, но Володин все же решил уцепиться за одну деталь, ускользнувшую от общего неусыпного внимания.

В показаниях свидетелей мелькнуло прозвище Сирина, которым Громобоев обозвал Миногу. И Володин решил изучить прошлое Миноги более подробно, чем этого требовало следствие по делу Васьки-полицая. И вот что он узнал.

До войны любила жечь костер на берегу. Ее гоняли. Она уехала. Война. Оккупация. Костер на берегу горит. Все поняли — Минога вернулась. Ее стали ловить по-

лица и герр Зибель, но поймать не смогли... Потом начались бомбежки немецких складов и аэродромов. Ориентиром для наших летевших эскадрилий всегда был внезапно вспыхнувший возле объекта костер. Герр Зибель ловил партизан иногда удачно, иногда нет. Костер горел.

Потом немцы постановили отступить. Обворовали, как полагается, весь город, заминировали его, жителей согнали за колючую проволоку в отдельное место и собирались зажечь возле них костер, когда наша авиация прилетит. Но об этом Володин уже знал. И как Минога зажгла костер в пустом городе, когда партизаны не успели его разминировать, и тем спасла его жителей и погубила чужое войско. Не знал только, что вместо костра зажгла Минога собственный дом, плохонький, но собственный.

Сообщить же о том, что герр Зибель согнал жителей под бомбовый удар, было уже некому, — Ваську-полицая герр Зибель еще за неделю до того в соседний район с поручением услад, о чем сохранились документы, и доказать Васькину вину в этом страшном деле было нечем. Может, поп знал, да Васька его убил.

Когда поп закричал, то прежде всех в церковь заглянула вездесущая Минога и увидела нож с наборной рукояткой в горле у попа и услышала топот сапог. Она ускользнула и затаилась. Потом услышала крики, увидела выскочивших из церкви немцев, и еще она увидела вбежавшего и убежавшего из церкви Ваську.

Когда же это Громобоев успел быть ее женихом и когда Минога успела его ударить, так что он едва выжил, о чем Володин самолично слышал, стоя за дверью во время ее первого допроса, после которого Громобоев рассеянно приказал отпустить ее восвосяи?

И чем больше думал Володин, тем более странным казалось ему все это дело. Странно было, почему местная учительница начальных классов, ныне фактическая жена любимого директора Аичка называет Миногу тетей, не будучи ее племянницей. Ну это Володин быстро выяснил. В соседней местности был детский дом. Минога съездила туда и каким-то образом выпросила себе на воспитание девочку, которая не могла еще произнести своего имени Танечка и говорила Аичка. Город сперва хотел было не велеть ей воспитывать ребенка, но, когда увидел ее дом, вылизанный до блеска за одну ночь, и привезенные игрушки из надувной пластмассы, сжалился над ее бессмысленной жизнью и оставил ей воспитывать Аичку.

Минога работала на заводе фруктовых вод, жила рядом с его территорией и Аичку воспитала на диво хорошо. Послала ее учиться в столичный институт, откуда она вернулась интеллигенткой, за что и получила в награду молодого директора. Но вот почему ни герр Зибель и никто другой не могли поймать Миногу, когда она запаливала костер, этого Володин так и не сумел узнать.

Никто и не видел Миногу ни разу за этим занятием, но она всегда оказывалась неподалеку. Когда же за ней кидались, пытаясь пленить, она соскальзывала в камыши, обильно росшие по берегам, и скрывалась бесследно, и была прозвана Миногой за неуловимую гибкость и круглый рот, чуть приоткрывавший ровные зубы.

При ее гибкости никакая пуля ее не брала. А когда герр Зибель велел скосить весь камыш по берегам реки — вспыхнул дом Миноги, как уже рассказано, и довершил герр-зибелевскую карьеру. А потом камыш вырос.

— Чего же она добивалась от жизни, эта проклятая нестареющая женщина? — недоумевал Володин и снова вспоминал слово «Сиринга». Он спросил у Аички, она не знала. Он спросил у ее коллеги, учителя географии.

— Сиринга? Хатанга — знаю, это река. Селенга — знаю, Серенгети, кажется, так, — заповедник в Африке. Сиринга — не помню. Сейчас посмотрим.

Учитель полистал алфавитный указатель атласа мира и ничего не нашел.

Володин пришел к Миноге:

— Почему от тебя в одна тысяча девятьсот сорок седьмом году муж сбежал?

— А тебе какое дело? Свататься боишься?

Володин промолчал.

Миногин портрет как раз писал на большом холсте заезжий художник. Почему он из всех жителей городка выбрал именно ее, есть тайна художества, не имеющая отношения к этому повествованию, и мы ее касаться не будем. Но художник Володина сковывал.

Минога сжалилась и объяснила:

— Не сбежал, а я его послала как можно дальше.

— За что?

— За то, что вместо того, чтобы делом заниматься, он меня стал учить, как жить.

— Каким делом заниматься? — опрометчиво спросил Володин.

— В первую брачную ночь? И ты, выходит, не знаешь? — спросила Минога. — Чему вас только учат?

Володин залился краской.

— А почему тебя товарищ Громобоев Сирингой назвал? — преодолел себя Володин.

— Я за Громобоева не отвечаю, — сказала Минога.

Володин ушел.

А художник задумался. Знакомым показалось ему это имя — Сиринга.

— А ты не задумывайся, — сказала Минога. — Рисуи давай. Я сегодня хорошо выгляжу. Для вашего брата это главное.

После короткого затишья во время битвы за животноводческий комплекс, когда она была как сахарная, она опять стала прежней Миногой, вызывающе нахальной и нестерпимо грубой в обращении.

Что-то с ней опять стало твориться, и с Аичкой, и с директором. Нервы, наверно, сдали. Затянулось это дело неимоверно, и затягивал его Громобоев. Не закрывал дела и не занимался им. Виновна Копылова — судить, не доказана вина — тоже, выходит, судить. И так и так Миногу судить, однако маячил оправдательный приговор, если докажут, что была самооборона или трагическая случайность. А кто докажет, если тела нет, а нож Минога выкинула, когда увидела, что Васька не всплывает.

Темное это дело.

У Сергея Ивановича и директора был разговор с майором.

— Давай обсудим, — сказал майор. — Что у нас в центре вопроса?

— А что, по-вашему?

— В центре вопроса — крупный характер. Копылова в центре вопроса, — сказал директор, который кое-что уже начал понимать.

— Ошибаетесь, — сказал майор. — В центре юридическая проблема. Она убила или нет... Да знаю, знаю, что вы скажете — убит негодяй!

— Но это действительно так, — сказал директор.

— Так... Но только никто не имеет права подменять собою закон.

— Закон исполняют люди, — сказал Сергей Иванович. — А люди могли проглядеть то, что заметила она. Она не дала уйти преступнику... Она пыталась его задержать.

— Если это будет доказано, ее оправдают.

— Эх, — сказал Сергей Иванович. — Не в этом дело... А если не докажут?

— Закон будет соблюден в любом случае.

Сергей Иванович даже поднялся.

— Да я не про этот закон, не про этот... Что докажете, то и будет... А кто докажет, что она на других непохожа? Кто докажет, что от нее польза была несметная, что она городу уснуть не давала?.. Мы все правильные, а она бог знает кто, так? Профессия не поймешь какая, характер — хуже собачьего... А кто объяснит, почему все по ее вышло? Кто объяснит?.. Да ни черта вы ее не засудите... Кишка тонка!

— Если она сама того не захочет, — сказал майор после некоторой паузы.

— Вот это меня и беспокоит, — сказал директор.

— А вы не догадываетесь, почему она сама в петлю лезет? — спросил майор.

— Значит, что-то опять у нас не так, — сказал Сергей Иванович. — Не иначе... И костер горит...

Помолчали.

— А Громобоев что? — спросил Сергей Иванович.

— Громобоев — тоже фрукт, — сказал майор. — Как его в центре терпят?.. Он же дела своего не делает, все в чужие лезет. Вроде Миноги.

— Не скажите, — не согласился Сергей Иванович. — Есть машина, есть горючее, а машина стоит — нужна запальная искра. Вот этот ваш Громобоев и есть искра... Да и Минога такая же.

Город уже устал от возбуждения и малость притих.

Буренки, чушки и курицы тоже поунялись, и хотя производили больше ожидаемого по науке, однако уже не заливали город молоком и не заваливали поросятиной и омлетами.

Возводили животноводческий комплекс скоростными методами, комиссия изучала природный феномен, с перерывом на громобоевский сон гремела техника, и два строительства мчались наперегонки, и все старались не думать, чем все это кончится.

Появилось много новых людей и новых идей, и город жил в усталом философском напряжении.

Но странное дело: несмотря ни на какие громкие события, в центре внимания всех жителей и приезжих оставалось мелкое провинциальное следствие о Миноге и давнем полице, прочно зашедшее в тупик благодаря деятельности некоего Громобоева, которому давно уже пора было на пенсию, но которому центр почему-то не велел мешать.

И, может быть, сильнее всего возмущало общественное мнение то, что подследственная Минога, руководствуясь вздорными соображениями, подстроила так, что художник из всего города стал писать именно ее портрет в натуральную величину, будто она передовик производства или, по крайней мере, певец, «Золотой Орфей».

— Абсурд, — сказал художник, заканчивая угольный рисунок. — Почему я тебя пишу, никто понять не может.

— Значит, есть причина, если согласился.

— Причин поступка никто не знает, — сказал художник. — Как может догадаться человек о причине своего поступка, если его реакция на внешние раздражители подготовлена всей его прежней жизнью, то есть другими раздражителями.

— Никак не может, — сказала Минога.

— Вот и выходит, то, что я тебя пишу, — это нелепость. Может, меня на нелепость потянуло? В чем идея твоего образа? Ты ж ни в какие ворота не лезешь.

— В том и идея, — сказала Минога.

— В чем же?

— В том, что ни в какие ворота не лезу.

— Ой, Минога! — сказал художник. — Попаду я с тобой в историю.

— Вот времена пошли, — сказала Минога. — Раньше художник мечтал в историю попасть, а теперь не хочет... А я так скажу, между прочим, что, ежели телега в ворота не лезет, ворота ломают, а не телегу.

— Ладно, черт с тобой... Попробуем по-другому. Раздевайся, буду тебя обнаженную писать.

Художник перевернул холст вверх ногами и стал быстро смахивать уголь серой тряпкой.

— Нарисуй меня, будто я бегу в реку купаться через камыши, — мечтательно сказала Минога.

— Сиринга... Вспомнил... Сиринга!

— А вспомнил, так помалкивай, — сказала Минога, выпрямляясь во весь свой голый белый рост...

«Считается самоочевидным, что сначала надо придумать, что писать, а потом писать. Но можно и наоборот, — думал художник. — Кладешь мазок за мазком... и не один день, пока догадаешься, куда тебя ведет».

Но как писать, не зная, про что пишешь? Как делать дело, не зная зачем? Абсурд? Вовсе нет. Гёте говорил: наше дело набрать хворосту, приходит случай и зажигает костер.

Случай зажигает костер. Сколько их, таких случаев!

Но как часто, увлекаясь борьбой с ними, мы перестаем замечать их костры.

Разговор не о том, что надо перестать опираться на изученные законы. Разговор о том, что надо уметь в случае видеть признак закона, еще не изученного.

В центре города был газон, где росла трава.

Естественно, посередине стояла сваренная из труб конструкция, выкрашенная алюминиевой краской, — подпора для жестяного щита с надписью: «В человеке все должно быть прекрасно — тело, и одежда, и душа. А. П. Чехов», и в стороне — «По газону не ходить». Ведь не может быть просто так — зеленая трава. Сделали газон. А газон должен быть осмыслен. Осмыслили. Все поняли. Не поняли только хулиганы и козы.

Ну хулиганы — это ясно. Нарушители. С ними боролся Володин. Но козы! Козы!

По идее с ними должны были бороться хозяева. Но, во-первых, хозяевам не хотелось бороться с собственными козами, не мечталось как-то — козы были свои, а Володин не очень. Вот майор, тот был свой, и у него была своя коза, и потому он на козьи дела закрывал вежды, а у Володина козы не было, и он за майора стеснялся и на коз не закрывал глаза, а боролся — это во-первых. А во-вторых, борись не борись, а в любую случайную минуту любая коза могла сорваться с привязи и помчаться жевать газон. В центре города! Позор.

— Почему ты опять по газону шастал? — спросил Володин Павлика-из-Самарканда. — В городе новая жизнь начинается, а ты все как горбатый — до могилы не выпримишься.

Было раннее летнее утро, и листва деревьев застыла неподвижно. Отдых.

— Мне и старая жизнь годилась, — отвечал Павлик-из-Самарканда.

— Гони штраф, — говорит Володин, — мы должны охранять живую природу, нас окружающую.

— То-то вы охраняете — одни асфальты... А между прочим, я тоже живая природа... Кто меня охранять будет? Электроника ваша? Или пан директор?

— С захламленной рутиной мы будем бороться, — говорил Володин. — А за выпады против директора ответишь особо. Чем он тебе не угодил?

— А я ему? Я для него рабочая сила, а что у меня есть ум, ему начхать.

— Ну и что же тебе подсказывает твой ум?

— Рабочий ум, — уточнил Павлик-из-Самарканда.

— Это у тебя-то?

— Ага, — сказал Павлик-из-Самарканда. — Кто новую привязь придумал для коз? Я.

Это точно. Раньше козу привязывали к вбитому в землю колу, и она ходила вокруг кола, пока не наматывалась. Тогда она орала. Хозяин выбегал и разматывал козу. А Павлик-из-Самарканда первый в мире догадался на кол накидывать старую автопокрышку и только к ней привязывать козью веревку. Коза ходила вокруг кола и не наматывалась.

Это Володин знал.

— Рационализатор, — сказал он с сарказмом борца за отрегулированную жизнь против всякого болота. — А Гундосый твой — тоже рационализатор?

— А котел кто втащил? — спросил Павлик-из-Самарканда.

И Володин затормозил.

Гундосый выручил строительство.

В пятницу на заводской двор тягачи привезли огромный котел с выступом, железную тушу вроде цистерны, и уехали. А когда уехали, стало ясно, что железная туша с выступом лежала как раз на дороге, по которой в понедельник помчится армия самосвалов.

Летел к черту график. В дирекции зашевелилась паника. А люди все разошлись на двухдневный отдых пить козье молоко и слушать магнитофоны.

И тогда проходивший по своим делам Гундосый, которому на стройке надо было украсть ведро цемента, поскольку он переделывал крыльцо у своего дома, сказал, что если ему дадут человек пять, лебедку и трос, то за субботу и воскресенье он этот котел подтащит к зданию и тем освободит подъездные пути.

Предложение было дурацкое, потому что проволочить этот котел через всю территорию строительства было непосильно пятерым человекам даже с применением ручной лебедки. Нужны были тягачи и краны. Простые расчеты, сделанные на логарифмической линейке, показывали абсурдность этой затеи. Наука есть наука. Против нее не попрешь.

Но и природа есть природа. Против нее тоже не попрешь. Особенно если у нее голова на плечах, а в голове мозги с извилинами.

Гундосый был представителем той природы, у которой извилины. Это все поняли, когда, махнув от безвыходности, указали ему — делай как знаешь! — и остальным:

— Не мешайте ему.

Гундосому дали пять человек, лебедку, кусок рельса (зачем-то он попросил, и ему дали) и трос и стали с тоской и отвращением глядеть на его ненаучные действия.

Гундосый измерил тросом расстояние от котла до недостроенного завода, зиявшего незастекленными дырами окон. Потом тем же тросом окольцевал котел и снова отмотал трос и измерил его шагами. Потом велел вырыть шесть ям от кола до здания. Потом он и остальные заложили поперек окна, с внутренней стороны, рельс и привязали к нему лебедку. Потом опять свободно окольцевали с двух сторон котел тросом, и Гундосый сказал:

— Три, два, один... пуск...

И только тут багровый директор понял замысел Гундосого.

Тот и не собирался волочить котел по земле. Он собирался его катить.

Почему эта простая мысль не пришла никому в голову? Потому что у этого котла был выступ, делавший непригодным эту затею. Но Гундосый не стал спорить с выступом, а сделал для этого выступа шесть ям. И в эти ямы стал попадать выступ, когда котел покатали с нестройными матерными криками.

Весь город об этом знал, и директору впервые пришла в голову шальная мысль, что если начать с охраны человеческой природы, то все остальное приложится.

Володин тоже знал этот случай и потому, упомянув про Гундосого, неловко осекся.

Однако сказал Павлику-из Самарканда:

— Кончайте хулиганить, ясно? Иначе приму меры. И что вас, дьяволов, тянет валиться на этом газоне? Это же центр города! Что вы, козы неразумные?

— Коза тоже соображает, — возразил Павлик-из-Самарканда. — От этой травы воздух слашше.

И тут хлопнула форточка от налетевшего порыва сквозняка, а когда Володин поднялся запереть ее наглухо, то в окне он увидел Громобоева, который гнался за своей шляпой, а за ним, задрвав хвосты, мчались городские козы.

— Непростой человек... Ох, непростой, — сказал Павлик-из-Самарканда, тоже заглядывая в окно.

Володин и сам это понял уже давно и потому промолчал.

Тут ветер дунул с такой силой, что швырнул шляпу и самого Громобоева прямо на газон. Козы ахнули и, освобожденные от сомнений, ринулись за ним.

Павлик-из-Самарканда грубо захохотал, а Володин увидел, как громобоевскую шляпу кинуло на монумент, зовущий ко всему прекрасному.

Громобоев потянулся за шляпой, но ветер, неприлично задрав ему пиджак, так что стали видны его знаменитые подтяжки, повалил Громобоева вместе с жестяными призывами хорошеть и по газонам не ходить.

Володин застонал, а Павлик-из-Самарканда закричал, сверкая ржавяющими зубами:

— Гляди! Гляди!

И было на что поглядеть.

Монумент рухнул, выворачивая клочья дерна и комья цемента, и в земной тверди образовалась дыра, а из этой дыры в небо рванул фонтан.

Когда Володин и Павлик-из-Самарканда прибежали на площадь, то Громобоева и коз-анархисток будто ветром сдуло, а вокруг растекавшейся позорно-громадной лужи толпились жители со злорадными лицами.

— Я вам покажу власть над природой, — бормотал Громобоев, мчась вслед за шляпой.

А за ним скакали ликующие козы, мотая длинными сосками. Козы первые поняли, кто он такой. Они справочников читать не умели.

Фонтан бил вверх метров на пятьдесят. Охотников бороться с ним не находилось. Снимать со строительства рабочих тоже никто не решался.

У Гундосого вчера был скромный праздник по поводу окончания первой очереди строительства крыльца, и сегодня наутро ему было грустно.

По улице бежала отличница Люся, стараясь не расплескать висящие на коромысле полные ведра.

— Люся, дай буржумчику? — с грустной иронией сказал Гундосый. — Душа мается.

— Пей, — остановилась Люся. — Не плескай зря.

Гундосый приложил пересохшие губы к ледяному краю ведра, сделал первый счастливый глоток и отпрянул.

В ведрах действительно был боржом, который весь город вот уже четыре часа добывал открытым способом.

Надо ли рассказывать, что после этого приехала академическая минеральная комиссия, которая и постановила, что вода в источнике неслыханно полезного состава и тонизирующих веществ, и приказала в короткие сроки проложить трубопровод к заводу фруктовых вод, чтоб она дуриком не утекала по кюветам в несудоходную реку, для чего выделить фруктовому заводу фонды и мощности.

Город затих. Ему угрожало третье строительство.

А где боржомчик, там лечебные санатории, окружающие их шашлычные и толпы в пижамах, и, стало быть, старой жизни так и так конец.

Новая жизнь приближалась с ошеломляющей скоростью, но выглядела не так, как представляли ее себе и Володин и директор. И они не любили ее, такую светлую жизнь, потому что она была запрограммирована не ими и выглядела как сумма непредсказуемых внезапностей.

И директору впервые в голову пришла мысль, что приспособившись к будущей жизни придется ему самому и его электронике, а не только этому заштатному городку с гундосыми рационализаторами и козьей анархией.

Эта мысль пришла ему в голову, когда он отдыхал от сладостных Аичкиных объятий, и он вздрогнул.

— Что ты, милый? — жарким шепотом спросила Аичка.

— Давай у нас будут дети... — жарким шепотом ответил директор и почувствовал прилив сил.

И тут он вспомнил, где он слышал имя «Сиринга», и вдруг понял все, что было непонятного в его жизни.

Директор тогда был не директор, а студент и захлебывался физикой. А так как по его характеру все у него происходило с перебором, то он уверовал, что физика решит все и спасет мир. Что если знать, из каких кирпичей этот мир сложен, то можно будет его переложить по желаемому образцу. Дело было за образцом.

Образец он тоже придумал — стадион со стеклянной крышей, где радостные толпы радостно приветствуют длинноногих фигуристок, а счастливые люди делят свою жизнь между пляжем и физикой, которая творит чудеса и все уладит.

Первый сбой, как ни странно, произошел именно с фи-

зкой. Которая вдруг узнала, что еще только собирается кое-что узнать.

Оказалось, что кирпичи мироздания сами состоят из кирпичей мироздания, и этому делению конца не предвиделось. Все уже знали, что атом делится, но казалось, что хоть электрон — последняя инстанция.

И тем же физикам стало вдруг понятно, что нельзя сначала изучить жизнь, а потом жить, и что сама неизученная жизнь, хотя и движется по неизученному пути, а все же умудряется выжить.

Как-то вдруг обнаружилось, что музыку придумали раньше, чем ноты, и люди начали говорить прежде, чем придумали грамматику — странную науку, где девяносто процентов правил состоит из исключений.

Второй сбой произошел у директора, когда разладилась у него такая прекрасная, такая программно-пляжная, такая вечно юная семейная жизнь. Директор, который в войну был ребенком и почти не помнил ее, с должным почтением относился к тем людям, кто перенес ее послевоенные тяготы, но полагал, что если война шла за светлое будущее, то он, директор, и есть носитель этого светлого будущего, о котором мечтали сражавшиеся с фашистской тьмой. Раз он пришел в мир после них, значит, он и есть ихнее будущее, а они — его прошлое. И он очень удивлялся и огорчался даже, когда замечал, что его прошлое смотрит на него с явным и все усиливающимся неодобрением.

Это во-первых. А во-вторых, жена ему заявила, что не собирается дожидаться, пока он докопается до сути, что жизнь у нее одна и вот она-то, жена, и есть та неделимая частица, из которой и должна состоять будущая светлая жизнь, и потому ему надо переходить в строительный институт, пока не поздно, потому что с его способностями он станет начальником строительства и владельцем подходящей для ее красоты квартиры в любом цивилизованном центре страны.

А когда все так и случилось, как она неожиданно пожелала, то она заявила, что с нее хватит, и что в новой квартире начнет новую жизнь с новым человеком, у которого есть совсем новые идеи для будущей жизни, и что ее личному прошлому, то есть директору, нет места в этой новой-новой жизни.

И тогда директор понял, почему его собственное прошлое смотрело на него с усиливающимся неодобрением:

в том образце новой стадионной жизни, о которой он грезил, этому прошлому тоже не находилось места.

В этом образцовом мире со стеклянной крышей не находилось места изнуряющему физическому труду, но не находилось места и любви к неистовой работе. На этих придуманных им асфальтированных дорожках не прорастала также любовь к земле и к живности, ее заселяющей, и куда-то улетучивалась песня.

И директор понял, что свой образец жизни он может попытаться выстроить только на голом месте.

Но поскольку таковых не нашлось, он выбрал место, по его мнению, захудалое, и доживающее свой век в безвестности, и не нужное никому.

Он ошибался и на этот раз. Это место оказалось нужным тем людям, которые там проживали.

И когда директор попытался лихим наскоком взять эту неуловимую крепость, она ответила ему непредсказуемым сопротивлением.

Нет, городок не был против новой жизни, наоборот, ждал ее с нетерпением. Но только он считал, что новая жизнь должна исходить из того, что произрастало от века в этих местах, что рожь и пшеница—это не сорняки, мешающие произрастать ананасам, а самостоятельные культуры в букете человеческих культур.

И что, стало быть, образец новой жизни должен быть не надет на городок, как чужие штаны, а выращен как его собственная кожа—где грубая и мозолистая, а где нежная и упругая, как ветер, но своя.

Городок был вовсе не против промышленности. Он был за промышленность. Просто он хотел, чтобы промышленность использовала то умение, которое он сам накопил. Потому что все новое нуждается не только в работе, но главным образом в работнике.

А у работника есть талант и достоинство. И потому он не терпит фанаберии и ждет, что используют именно его возможности.

(От автора. Вообще-то это точно. И даже в физкультуре так. Если нагрузка не выше возможностей, получается атлет. Если выше—инвалид. Любой тренер это знает. Но он же знает, из кого сделать бегуна, а из кого штангиста. Одному дано то, другому это. Если развивать то и это, выходит чемпион. Но если перепутать то и это, то надо увольнять тренера.)

И тогда директор вспомнил малявинский рисунок

женщины в платке — единственное, что, кроме справочников, он не отдал жене, уплывающей в еще более новую жизнь, правда, без стадионов, но с антиквариатом, люстрами и отдыхом на потусторонних пляжах Черного моря. И мысль о том, что, возможно, электронике придется приспособливаться к Миноге, а не Миноге к электронике, не показалась ему на этот раз такой уж чрезвычайно шаловливой или даже абсурдной.

И тогда директор вспомнил два разговора, которые, как ему казалось прежде, не повлияли на его судьбу. Но так ему казалось прежде. А теперь он вдруг понял, что из-за них он и очутился в этом неопределенном городке и только начинает быть счастливым.

Однажды, когда он уже перешел в строительную область, он встретился с физиком Аносовым, бывшим прежде его научным руководителем, с которым у них сложились товарищеские отношения.

После первых же «Ну как ты? А как ты?» Аносов понял, что с директором творится неладное. И позвал его к себе.

Директор к тому времени уже ослабел от семейной жизни и потому, потеряв мужество, вдруг обрел откровенность.

Аносов выслушал его внимательно и гневно, увел к себе в кабинет и сказал проснувшимся домашним:

— Закройте дверь!

Потом уселся напротив директора и наклонился к нему:

— Кто-то сказал — чтобы не делать глупостей, одного ума мало.

— О-ой... — сморщился директор. — Не надо. Только не надо...

— Но ведь действительно мало...

— Не философствуй, я тебя умоляю, — сказал директор. — Я знаю все слова, ты знаешь все слова, все знают все слова.

— Ну если так... — сказал Аносов и спросил: — Володя, а как ты относишься к понятию «народ»?

— Перестань, — сказал директор.

— Слушай, — сказал Аносов. — Я хочу знать — фундаментальное это для тебя понятие или так, пустой звук?

— Ты выпил, что ли? — спросил директор. — А ну дыхни!.. Ты никогда не был демагогом...

Аносов стукнул кулаком по столу:

— Ты знаешь все слова!—сказал он сдавленным голосом.— Все слова ты знаешь!.. А что за словами? Что?! Есть за этими словами высокий закон или нет?

— Я верю в законы термодинамики,—сказал директор.— Они могут быть выражены математически. А понятие «народ» формализации не поддается...

— Ты...—сказал Аносов с презрением.—Ты... физик... С каких пор ты стал бояться неопределенности? Этого фундаментального понятия физики?

И второй разговор вспомнил директор. В нем мелькнуло слово «Сиринга».

Директор когда-то в гостях у профессора Филидорова, который занимался изучением термодинамических процессов в живом организме, познакомился с неистовым изобретателем Сапожниковым, которого недавно взяли в филидоровский институт.

Это был бесшабашный, как показалось директору, человек, который утверждал, что время—это основная материя, из которой произошли все остальные ее виды, и дискретные тела в том числе; он проектировал абсолютный для земных условий двигатель, и практически вечный и экологически безвредный, выдвинул идею лечения рака мощным резонансом, губительным для раковых клеток и безвредным для остальных. А также придумал страну Посейдонию, и как в этой Посейдонии был единый язык свиста, позволяющий общаться с животными и понятный всем людям на земле, и что якобы следы той Посейдонии сохранились в виде так называемого сильбогомера и других свистовых языков в некоторых горных местностях, а также в мифах о том, как Аполлон со струнной кифарой поправил простодушную свирель бога Пана, покровителя стад и нецивилизованных плясок. И эта свирель, сделанная из тростника, называлась «сиринга», и на ней сейчас играют в молдавских селах и называют ее «най».

Директор, помнится, спросил Сапожникова: почему он всем этим занимается? На что Сапожников ответил:

— Очень хочется.

Потом подумал и добавил:

— Это во-первых.

— А во-вторых?—неосторожно спросил директор.

— А во-вторых,—ответил Сапожников,—потому что

резонанс, которым надо лечиться, надо искать в звуковом диапазоне, поскольку от хорошей музыки коровы лучше доятся, а самая древняя музыка—это духовая, а не струнная или тем более электронная, и, кроме того, на солнце обнаружили излучение в звуковом диапазоне, а согласитесь, что солнце если не порождает, то поддерживает жизнь на земле. И надо же что-то со всем этим делать.

— С чем?

— С этим.

— С чем с этим?

— С положением в мире.

— А вам оно не нравится? — спросил директор.

— А вам? — спросил Сапожников.

И директор понял, что перед ним чокнутый, так как для носителя истины Сапожников выглядел крайне несерьезно.

— Откуда вы взялись? — спросил директор.

— Из Калязина, — ответил Сапожников.

И тут же пустился объяснять, что при его двигателе, если он осуществится, исчезает энергетический голод и, стало быть, исчезает неистовая гонка за энергетическими ресурсами, разрушающая землю; стало быть, отпадает необходимость в гигантских промышленных центрах, и перспективными станут именно небольшие города из-за их близости к гармоническому идеалу жизни и природной сути, связанные друг с другом бесчисленными нитями и удобные в управлении...

...Директор подскочил на супружеском ложе и спустил ноги на пол.

— Что ты? — испуганно спросила молодая жена.

— Подожди, — ответил директор. — Подожди... Мне нужно срочно отыскать один справочник.

— Какой? — справедливо удивилась она, приподнимаясь на ложе.

— Справочник по мифологии...

— Иди ко мне, — сказала она, скрывая удивление. — Справочника в доме нет. Я его отдала младшему лейтенанту Володину.

Отличница Люся рыдала второй день подряд. Она не хотела уезжать из городка. А уезжать надо было. Так полагалось для развития. Сначала выделиться среди

других в отличники учебы, потом — в передовики производства, потом — в столичный институт для развития, потом... Потом голова кружилась, и мысленный взор блуждал среди гарнитуров, холодильников, «Жигулей» и свадьбы в ресторане первого разряда, где родители мужа смотрят на нее влюбленно, а молодой муж выясняет отношения с ее бывшими ухажерами, и их разнимают потные гардеробщики. Дальше возникал розовый туман, в который надо было вырваться из здешней жизни.

А зачем вырваться, Люся не знала, и почему нельзя вырваться, не сходя с места, Люся тоже не знала, и чем вырванная жизнь лучше невырванной и укоренившейся, Люся тоже не знала, но она знала, что дети должны жить лучше родителей, и если родители жили так, то дети должны жить этак. И эта правильная идея, не требовавшая доказательств, развивалась вместе с Люсей до тех пор, пока в городке не наступила эпоха смешения стилей, понятий и переоценки ценностей, лежащих за пределами городской черты.

Когда цивилизация и комиссии стали захлестывать город, то стало жаль чего-то, и захотелось никуда не вырваться, хрен с ним, с розовым туманом и родителями жениха, захотелось не дать погубить это «что-то», не менее неопределенное, чем этот розовый туман, но более беззащитное.

Коровы доились, боржом бил вверх на пятьдесят метров, ветер гонял шляпу Громобоева, окруженного козами, сорвавшимися с привязи, художник рисовал голую Миногу, и во сне и наяву Люсю подстерегал красивый побледневший Володин, провинциальный милиционер, хотя и свой, но бесперспективный, потому что он служил там, куда его посылали, и в розовый туман он не вписывался, потому что, как только Люся окутывала Володина розовым туманом, Володин его отдувал.

— Ф-фух... — говорил Володин, и туман таял.

И из тумана появлялось его неженатое лицо.

У Люси еще со школы был парень, старше ее на два класса, Федька. Любовь не любовь — не поймешь.

Про Люсю в школе говорили — не признает авторитетов, относится ко всем высокомерно. Скажи, ты хоть кого-нибудь любишь? Все девчонки, все волчицы. Учитель географии про них говорил: какая злоба, какая зависть,

какая низость! Но заступаться не заступался. А парень этот взял и заступился. Да как! Всех шуганул. Но его в расчет не приняли.

И пошла у них любовь не любовь, не поймешь. Когда Люся к тетке в другой город уезжала, он потом с ней три месяца не разговаривал. Потом опять стали вместе — без объяснений в любви.

Однажды было свидание в гараже под мостом. Дождь шел, а там стружки. Люся увидела и сказала — стружки. Он поднял ее на руки и понес.

— Знаешь, — сказала Люся, — я, наверно, еще маленькая.

Отпустил. Разозлился.

Трудные у них были отношения.

— Почему ты так? — спрашивала Люся.

— Потому что стоит мне отвернуться, как ты на шею вешаешься парням.

А Люся была неосторожна, кокетничала напропалую. Расстались.

Однажды собрались у Милки — ее брат и приятель брата. Выпили портвейна и стали дикими голосами петь под гитару.

Она сидела на диване с этим влюбленным в нее, он был с шорно-меховой фабрики, и обсуждали поцелуи — кто умеет, кто не умеет.

— Ты умеешь? Наверняка не умеешь. Хочешь, покажу?

— Ты? Слабо! — сказала Люся.

Он как поцелует ее изо всех сил. Когда она открыла глаза, смотрит, стоит Федька. Он против света стоял, и лица его она не видела. Он подошел, размахнулся и ударил ее по лицу. Все ошалели. Она заплакала.

Он выгнал всех из комнаты, закрыл дверь. Потом встал на колени и просил прощения. Плакал. Они оба плакали.

Люся, когда рассказывала это Громобоеву, смотрела вперед круглыми глазами — зрачок во всю роговицу.

Потом они с Федькой опять расстались. Потом он кончил школу. Ему в армию уходить. Встретились в подъезде. Люся его спросила:

— Я не понимаю... Почему у нас так?

— Мы были очень разные.

Люся сказала:

— Давай возобновим отношения...

- Нет, — говорит. — Мы сейчас не ровня.
- Почему?
- Ты осталась такая же... Я не такой.
- Почему?
- У меня женщина была.
- Ну и что? — запнувшись, спросила Люся.
- Ты не понимаешь, я совсем другой. Мы не ровня.
- Ты думаешь, ты грязный?
- Нет. Совсем другой.

Они поцеловались в подъезде. Люся ничего не чувствовала.

- Ты как-то не так целуешь, — сказала она.
- Нет, я так же. Это ты другая.
- Какая?
- Я тебе теперь не нравлюсь?
- Да... я поняла... да... не нравишься...
- Где он сейчас? — спросил Громобоев.
- Был в армии.
- А потом?
- Это Володин, — сказала Люся. — А теперь мне надо уезжать для развития, а я не могу... У нас с ним ничего нет, а я снова в него влюбилась... Но мы разные...
- Вы не разные, — сказал Громобоев, — просто Володин перепутал эталон с идеалом. Он думает, что стремится к идеалу, а внедряет эталон.
- А в чем разница?
- За эталоном надо лететь куда-то в другое место или привозить его откуда-то, а идеал надо выращивать, где сам живешь. Ты поняла меня?
- Нет, — сказала Люся. — Ничего я не поняла.

Володин все-таки добился своего и связал концы с концами. Но это его совершенно не обрадовало.

Во-первых, потому, что он фактически провел следствие над самим затянувшимся следствием, и давать ожидаемые объяснения по этому поводу ему, как вы сами понимаете, вовсе не мечталось.

А во-вторых, после того как он полистал справочник по мифологии, взятый у Аички, он лишился сна и уверенности.

Володин был хороший, выдержанный, прекрасного образца молодой человек, и практически у него был один недостаток. Он считал — все, что непросто, то сомнитель-

но. А значит, его идеал не изменялся во времени, а только разрастался в пространстве. Иначе говоря, он путал идеал с эталоном, а разница между ними существенна.

Эталон — это образец постоянства, единица измерения, все метры и сантиметры суть репродукции одного-единственного и хранятся в сейфе, и отлиты из драгоценного металла, и вся ценность эталона, что он не изменяется, и одной и той же единицей можно измерить и человека, и отрез ему на штаны, и автомобиль. Но если превратить эталон в идеал, то начнешь подгонять человека под штаны и автомобиль, а не наоборот.

Идеал же развивается во времени и растет, как дерево, имеет корни и ствол, и крону, и цветы, и плоды, и семена, которые, будучи высажены в подходящую почву и климат, снова дают дерево той же породы, но уже чуть изменившееся во времени, и потому идеал борется за свое нормальное развитие, а эталон ждет, чтобы его применили. Идеал — это признак культуры, а эталон — цивилизации. Когда цивилизация подминает культуру, они гибнут вместе. И от них остается только память и печаль.

Если доверяешь идеалу, то не будешь бояться, что из семени одной породы вырастет дерево другой породы. А если веришь только эталону, то будешь бояться, как бы его не поизносили. Будешь прикладывать эталон к идеалу и отрезать у того выступающие ветви и удивляться, почему идеал вянет и не плодоносит.

Но Володин был живой человек, и сердце у него было живое, и, когда он заметил, что оно бьется чаще привычного, он не обвинил свое сердце в превышении скорости, а постарался понять, чем это вызвано. Он еще не догадывался, что это из-за города, который отстаивал какую-то свою непонятную правоту, хотя часто дурацкими средствами.

Но уже понял, что сердце его бьется в одном ритме с сердцем городка и что городок стал для него свой, хотя другие еще этого не знали.

Он пришел к Громобоеву и сказал ему напрямик:

— Я не знаю, товарищ Громобоев, кто вы и какую задачу вы здесь выполняете по указу Центра, но у меня есть версия, что следствие застопорилось потому, что никто не выяснил, что такое «Сиринга». Извините, если что не так сказал.

— Сиринга? — Громобоев смотрел на него своими бутылочными глазами. — Сиринга — это старинный му-

зыкальный инструмент, вроде губной гармошки или футбольного свистка, но только сделанный из тростника или чего-нибудь в этом роде. А почему у вас возникла такая версия?

— Весь город знает, что подлинное имя Копыловой — Сиринга.

— А-а... понятно, — сказал Громобоев. — Это все художник. Он назвал ее портрет «Сиринга».

— А вас не смущает, товарищ Громобоев, что он нарисовал ее в камышах и притом в голом виде?

— Не смущает, — сказал Громобоев. — А вы видели картину?

— Нет, но мне докладывали. «Сиринга» — имя-то иностранное.

— У вас тоже имя иностранное.

— Меня Федор зовут. Федор Николаевич.

— Я и говорю, — сказал Громобоев. — Все русские имена на букву «ф» — греческого происхождения.

— Как это может быть? — не поверил Володин. — А Фекла?

— Текла.

— А Федот?

— Теодот.

— Значит, я Теодор?!

— Теодор.

— А где это можно проверить?

— В справочной литературе. Спросите у директора. У него справочников полно.

Нет, не сразу Володин догадался спросить у Аички справочник по древним мифам. Нет, не сразу.

И потому события в городе стали принимать совсем путанный характер и, мы бы сказали, даже нереальный.

Город давно уже смекнул, что с ним происходит нечто чрезвычайное и что следствие по делу не лезущей ни в какие ворота Миноги — только толчок, запальная искра для всего остального.

И потому, когда Аичкины пионеры, которые вели переписку с центральным архивом на предмет отыскания среди жителей города неизвестных героев, получили известие, что Миноге за спасение жителей города причитается давний орден, который не был ей вручен потому, что она переменила свою девичью фамилию

и было не до розысков в годы страшной войны, то никто уже этому не удивился.

Удивился город только тому, как Минога восприняла этот факт общественного признания ее заслуг, хотя этому удивляться как раз и не следовало, зная ее вздорный характер.

Пришли Сергей Иванович, Фонин, Володин и другие местные и приезжие. А Миногу как раз художник дорисовывал разноцветными красками, среди камышей, голую.

Вбежал незначительный Сулин и заорал шепотом: — Минога... за тобой идут... конец тебе, Минога!...

Минога сняла босоножку и кинула в Сулина — тот успел крикнуть:

— Срам-то прикрой!

И исчез.

А Минога как раз сидела одетая и нарядная, и художник на картине дорисовывал выражение в Миногиных глазах. И потому художник удивился и не понял спервоначалу, о каком сраме речь.

К картине своей он уже привык и забыл думать о нагоде, на ней изображенной, и жил мыслями высокими и звонкими. Но голос Сулина мигом вернул его на грешную землю, и потому он свесил с верхнего края некрашеную холстину и тем прикрыл безобразие, чтобы еще больше не уронить Миногу в глазах сограждан.

Но Сулин, как всегда, ошибался. Пришли все смиренные и радостные, поскольку отысканная награда в корне меняла положение и отвечала нравственному, хотя и неявному, чувству жителей городка и их вере в справедливость жизни.

Они полагали, что Миноге известно, зачем они пришли, поскольку увидали ее в полном параде, и потому начали не с того конца:

— Ладно, — сказал Сергей Иванович. — Живи как хочешь... Доказала... Никто тебе не судья... Законы ты не нарушаешь, и то хлеб. А остальное не наше дело. Нравиться ты никому не обязана. И дела ты делаешь не поймешь какие. На круг — вроде хорошие дела получаются... Город благодарит тебя.

— Эх, вы... — сказала Минога. — Эх, вы...

А больше ничего не могла сказать, потому что подбродок у нее дрожал. И все не знали, как быть.

— Ладно, не расстраивайся, — сказал Фонин. — Не надо... Тогда Минога встала с табурета и поклонилась им всем в пояс.

— Вам спасибо, — сказала она.

— За что нам-то?

— За то, что поняли.

— А что поняли? — спросил Сергей Иванович. — Ты скажи нам, чтоб и мы поняли...

— Меня поняли, — сказала Минога.

— Чего уж тут, — сказал Володин. — Из центрального архива ответ пришел.

— Какой ответ?

— Да ты не знаешь, что ли? Она не знает! — сказал Фонин. — Орден тебе полагается по указу. От 1944 года.

Минога выпрямилась:

Все ожидали, что расцветет Минога, а она погасла.

— Вон какие дела... — сказала она. — Орден — дело радостное. Да только вы потому пришли, что про орден узнали?..

— Нет! — громко сказал Сергей Иванович. — Нет!

— ...А если бы не разыскали указ, то я была бы для вас последняя.

— Да ладно тебе, — сказал хмуро Фонин. — Не начинай...

— Ступайте, — сказала Минога. — Устала я...

И опять все не знали, как им быть.

— Товарищ художник, — сказал Володин. — А вы нам картину не покажете?

— Нет, — сказал художник.

И повернул картину к стене.

А когда повернул, то на тыльной некрашеной стороне холста все прочли размашистую надпись: «Сиринга», сделанную углем.

Тут вбежала Аичка и закричала:

— Тетья Дуся! Указ нашли от 1944 года! — и запнулась. — ...Посмертно...

Стояла полная тишина.

— Вот какие чудеса, Евдокия Михайловна... Посмертно, — сказал Володин.

— Рано схоронили, — сказала Минога.

И все поняли, что чудеса еще, может, только начнутся.

Что и подтвердилось незамедлительно.

На улице раздался дробный треск типа мотоциклетного. Все оглянулись на открытую дверь и несколько се-

кунд всматривались. Потом Володин вынул свисток и кинулся вон.

По улице мчались никелированные кровати. На колесах и с моторами.

Распоясавшиеся хулиганы Паша-из-Самарканда и Гундосый, а на третьей кровати незнакомый молодец мчались на усовершенствованных кроватях куда-то вдаль.

Когда Володин догнал их на своем мотоцикле за городской чертой на шоссе и загородил дорогу, выяснилось, что на кроватях установлены моторы от бензопилы «Дружба», купленные недавно в городском магазине и имевшие гарантию.

И, несмотря на фанерные таблички, висевшие на никелированных пупочках заднего обзора с одинаковыми надписями «Испытание», Володин сказал:

— За колеса дадите ответ... И за систему управления.

Потому что на двенадцать колес на трех кроватях не имелось документов, а система управления была выполнена халтурно, и кровати могли мчаться фактически только по прямой, что хотя и облегчало преследование, но представляло несомненную опасность для пешеходов.

— Разворачивайте обратно, — сказал Володин.

— Обижаешь, начальник, — сказал неизвестный молодец, оказавшийся приезжим водолазом-спортсменом и автолюбителем-инструктором. — Всюду развивается любительское автомобилестроение.

— Это, по-вашему, автомашины?.. — задохнулся Володин.

— Это схема типа «багги», — сказал автолюбитель-водолаз.

Но Володина обдурить было нельзя. Может быть, приезжий водолаз и думал, как говорил, но насчет местных Паши-из-Самарканда и Гундосого у Володина сомнений не было — с их стороны это была очередная хулиганская выходка и протест против новой жизни. Потому что кровати были взяты с новенькой свалки, куда жители сваливали устаревшую мебель в хорошем состоянии, потому что, как всегда, новая жизнь начинается со смены мебели.

— Разворачивайтесь к городу, — сказал Володин. — Заносите... Заносите... Вас как зовут?

— Теодор, — ответил водолаз.

— Федор? — спросил Володин.

— Нет, — сказал тетка-водолаз. — Теодор... Теодор Николаевич.

И тогда Володин решил обратиться к справочной литературе.

...Директор спустил ноги на пол.

— Что ты? — испуганно спросила молодая жена.

— Подожди, — ответил директор. — Подожди. Мне нужно срочно отыскать один справочник.

— Какой? — спросила она.

— Справочник по мифологии.

— Иди ко мне, — сказала Аичка. — Справочника в доме нет... Я его отдала лейтенанту Володину.

— Что ты наделала? — сказал директор. — Он же всерьез поверит!

— Стройненская... — сказала отличница Люся Павлику-из-Самарканда, глядя на фотографию его жены, висевшую на стене, оклеенной обоями в незапамятном году.

Павлик-из-Самарканда был вдовец и приходился отличнице Люсе семиюродным дядей, что, по понятиям этого городка, считалось близкой родней, и Люся забегала к нему прибираться в очередь с другими родственниками.

— Как она добилась таких результатов? — спросила Люся.

Жена его померла десять лет спустя после войны, и Павлик-из-Самарканда сразу уехал в южные республики, но через несколько лет вернулся, так и не женившись. Вел рассеянный образ жизни и нарушал постановления о спокойствии.

— Стройненская... Как она добилась таких результатов? — спросила Люся.

— Ела много, — сказал Павлик-из-Самарканда.

— Как это может быть? — спросила Люся. — Ела много и худенькая... Так не может быть.

— Может, — ответил Павлик-из-Самарканда. — У герра Зибеля и не то бывало.

И Люся поняла, что лучше не спрашивать. Но он неожиданно рассказал сам:

— Тут голод был при немцах... Ее в поле подобрали и привели к герру Зибелю. А он добрый был, когда пьяный... «Ешь, — говорит. — Ешь...» А ей нельзя было

сало есть с голодухи... «Ешь, — говорит, — а то пиф-пиф... Ешь, еще ешь...» Она упала... Еле откачали потом.

Отличница Люся быстро отодвинула бутерброд с розовым салом домашнего посола, которое она очень любила, а Павлик-из-Самарканда умел готовить как никто, и быстро ушла.

А он продолжал собираться к Володину, который последнее время стал странный и беспокойный, и некоторые даже видели, как он лунной ночью ходил по берегу у камышей и пел.

— Товарищ майор, куда вы ездили с Сергей Ивановичем? — спросил Володин.

— В центр.

— Какие указания?

— Кончать битву молока с транзисторами.

— Какую битву?

— Так и сказали: кончайте дурацкую битву молока с транзисторами, — ответил майор.

— Понял... А как?

— Не сказали.

— Значит, ждут инициативы. А насчет товарища Громобоева что сказали? — спросил Володин.

— Сказали — не мешайте ему... А что с вами творится, Володин?

Володин улыбнулся непонятной улыбкой.

— Говорят, вы поете в камышах? — спросил майор.

— Пою.

— Ну?... Докладывай.

— Товарищ майор. Я вызвал Горохова на 11.00. Он дает интересные показания.

— Кто такой? Ах да, Павлик-из-Самарканда. Горохов, скажи ты!..

— Может, послушаете?

— Послушаем. А что за дело с никелированными моторизованными кроватями?

— Самоделка. Модель испытывали типа «багги».

— Ты мне баки не забивай, — сказал майор. — Откуда моторы, колеса и прочие детали? Ворованные?

— Купленные. На все есть документы.

— Тогда другое дело.

— Входи, Горохов, — сказал младший лейтенант Володин. — Уже двенадцать минут двенадцатого.

— Здравия желаю, — сказал Павлик-из-Самарканда. — Опоздал из-за колебания.

— Неясно говоришь.

— Все думал, вы меня за чокнутого посчитаете.

— Это не оправдание, Горохов. Повтори товарищу майору, что ты мне рассказал.

— Опасаюсь, вы меня за чокнутого посчитаете,— повторил Павлик-из-Самарканда, однако повторил и рассказ.

Якобы ездил он в столицу в глазной госпиталь лечиться лазером.

— Лазером.

— Я и говорю. Лазари стоят в подвале, вода капает. Голову привязывают и в глаз из лазаря стреляют. Но не больно. Доктора волноваться не велят, а нянечки и раздатчицы в столовой кровь пьют. А внизу, на контроле, еще один кровопивец сидит и больных матом кроет, чуть ему в глаз не дал.

— Не отвлекайтесь.

— Я думаю, надо отвлечься. Сговорились мы с соседом Кыскырбаевым, как выйдем из госпиталя, сразу в Государственную Третьяковскую галерею поскакаем. Кыскырбаев говорит—у казаха глаз узкий, глазное давление замерять трудно. Меня дольше продержат. Ты меня дожись. Вместе поскакаем. Я говорю: «Есть, товарищ Волков». «Кыскыр» по-казахски «волк». У него одиннадцать детей, у товарища Волкова.

— Не отвлекайтесь, Горохов.

— Выписали меня—три дня жил у земляка. Василия Блаженного смотрел, купил в ГУМе портфель типа «дипломат» для Люськи, ей нужно. На четвертый день Кыскырбая выписали. Пошли мы в Государственную Третьяковскую галерею. Пришли на первый этаж, а там висит портрет товарища Громобоева.

— Стоп,— сказал Володин.— Подробней об этом.

— Чей портрет?— спросил майор.

— Вы слушайте, слушайте...

— Портрет товарища Громобоева, только с бородой.

— Стоп. А ты его тогда разве знал?

— Нет. Я его тут опознал. Как с него ветер шляпу скинул—гляжу, он. Точно. Портрет называется «Пан». Художника звать Рубель.

— Рублев?

— Ага. Врублев.

— Может, Врубель?

— Может.

— А почему боишься, что тебя чокнутым посчитают?

Товарищ Громобоев заслуженный человек. Может его портрет в музее висеть?

— Может.

— А почему «Пан»? — спросил майор.

— А я почему знаю?.. Да вы бы посмотрели на того пана — на нем шкура козлиная, и в руке футбольный свисток. Ох, непростое это дело, товарищ майор, непростое. Картина старинная, а лет тому пану сколько сейчас товарищу Громобоеву.

Володин выдвинул ящик стола и показал майору незаметно от Горохова открытку с этой картины. Но майор уже что-то смутно вспоминал по описанию.

— Слушай, Горохов, ступай, — сказал майор. — Ступай.

— Расписываться где?

— Зачем?

— А я показания давал?

— Какие показания, Горохов? Одни сплетни.

— Дело ваше. Сплетня. А что ветер поднимается, когда этот Громобоев бежит по улице? А что козы за ним со всех дворов удирают? А что коровы, что куры, что свиньи?

— А что куры?

— Озверели! А что боржом в небо хлещет?

— Ты лучше скажи, зачем ты на кроватях по городу ехал?

— А чего? Это «багги».

— «Багги»... Ладно, ступай, Горохов.

— Дело ваше, — сказал Павлик-из-Самарканда.

И ушел.

Майор и Володин сидели молча. Потом Володин достал из портфеля книжку и прочитал майору справку:

«Когда родился великий бог Пан, он не остался жить на Олимпе. Он ушел в тенистые леса и горы. Там пасет он свои стада, играя на звучной свирели. Лишь только услышат нимфы чудные звуки свирели Пана, как толпами спешат к нему, и вскоре веселый хоровод движется по зеленой долине. Весело резвятся сатиры и нимфы вместе с Паном. Когда же наступает жаркий полдень, Пан удаляется в густую чащу леса или в прохладный грот и там отдыхает...»

— В полдень, говоришь? — спросил майор. — С двенадцати до часу?

— Вы слушайте дальше!.. Слушайте!.. «Опасно тогда беспокоить Пана. Он вспыльчив. Он может в гневе послать тяжелый, давящий сон. Он может наслать и пани-

ческий страх, такой ужас, когда человек бежит, не замечая, что бегство грозит ему гибелью. Не следует раздражать Пана. Но если Пан не гневается, он милостив и добродушен. Потому что его имя Пан означает «Все», то есть природа... Полюбил Пан прекрасную нимфу по имени Сиринга...»

— Как?

— Сиринга, — сказал Володин. — «Гордая была нимфа и отвергала любовь всех. Пан увидел ее однажды и хотел подойти к ней, но она в страхе обратилась в бегство. Пан захотел догнать ее, но ее путь пересекла река. Взмолилась Сиринга, и бог реки сжалился над ней и превратил ее в тростник. Подбежавший Пан обнял только гибкий тростник... Стоит Пан, печально вздыхая, и слышится ему в шелесте тростника прощальный привет нимфы. Пан сделал тростниковую свирель и назвал ее Сирингой... Пан удалился в чащу лесов, и там раздаются полные грусти нежные звуки его свирели, и с любовью внимают им юные нимфы...»

— Не морочь мне голову, Володин! Уймись, — крикнул майор.

Володин смотрел в окно.

— Может, это ты чокнутый? Так и скажи! — предложил майор.

По улице шла Люся. Ветер отдувал ее газовую козынку.

Издали раздавалась музыка.

— Музыка, что ли? — спросил майор.

Володин не ответил.

— Пора кончать это следствие, — сказал майор. — Пора закрывать дело.

Майор наклонил голову и всмотрелся в открытку, с которой глядел на него Громобоев бесстыжими бутылочными глазами.

Ветер шевельнул волосы майора и бумаги на столе. Майор прихлопнул бумаги ладонями.

— Володин! Да закрой ты окно! — сказал он и оглянулся. Окно было закрыто. Это Володин вылетел из комнаты, и прокуренный воздух заколебался.

За окном раздавалась нестройная музыка, шум голосов и тарактеные моторов.

Майор оглянулся как раз, когда мимо окна ехала никелированная кровать типа «багги». На ней сидел приезжий водолаз. На голых ногах его были ласты, и он играл на губной гармонике.

Когда майор выбежал на крыльцо, там уже стоял Володин и глядел на процессию, которая могла удивить хоть кого.

Сначала майор подумал: идет Пан со свитой нимф и козлоногих сатиров, потом очнулся и понял, что это Володин с Павликом-из-Самарканда его заморочили.

Процессию составляли самые старые и захудалые люди города, а также дети и лучшие девушки.

На моторизованных кроватях типа «багги» везли ящики с фруктовыми водами и ведра с боржомом местного разлива. Приезжие водолазы в ластах играли в чехарду. Экскаваторщики со строительства завода электронного оборудования играли на губных гармониках и футбольных свистках старых моделей.

А впереди процессии шли директор под руку с Аичкой в белой фате, сопровождаемые Миной в полном параде и Громобоевым в шляпе.

Процессия направлялась к загсу. Ветра не было.

И майор только сейчас вспомнил, что сегодня нерабочий день, и сказал Володину:

— А не все ли равно, из чего сделана дудка — из тростника или чего другого!.. Лишь бы играла.

Володин посмотрел на него странно и хотел что-то ответить, но не сумел, потому что к нему подходила Люся и глядела на него круглыми глазами — зрачок во всю роговицу, как в темноте.

Она подошла и кивнула на загс:

— Пойдем, Федя, заявление подавать. У меня паспорт с собой.

И Володин сошел к ней с крыльца, будто с горки съехал.

Пора было закрывать дело.

Но Громобоев думал иначе.

— Уезжай, — сказала Сиринга. — Прошу тебя.

— Нет... — сказал он. — Они уже кое-что поняли, но рано еще.

— Узнают тебя...

— Боишься?

Сиринга не ответила.

Свадьба утихала. Гудела двое положенных суток, а теперь утихала, и Громобоев вышел с директором на прямой разговор.

— Дальше надо двигаться, дальше, — сказал Громобоев. — То, что вы городок этот начали понимать, это дело радостное. Но, вы меня извините, все — и ваше и городские — дела похожи на моторизованную кровать.

— Ох уж эти водолазы! — сказал директор.

— Сатирики... — сказал Громобоев. — Шутники. Это они чтоб вам намекнуть: мол, дальше надо думать. Научно-техническая революция уже понимает, что борьба с природой — дело глупое. Останемся одни, с кем бороться? Мы тоже природа.

— С собой бороться трудней всего, — согласился директор.

— А кто должен с собой бороться? — спросил Громобоев.

— Мы.

— А в нас кто?

— Мы, — с силой сказал директор.

— Дерево не усовершенствуется, оно растет, — сказал Громобоев. — Ствол не усовершенствованное семя, а листья не усовершенствованный ствол.

— Что вы предлагаете?

— Нельзя отделить блюдо от способа его готовить. И если меняется способ его изготовления, то блюдо ухудшается, не превращаясь в другое блюдо. Потому что для другого надо все другое, а не усовершенствование прежнего. Есть степень законченности, которую нельзя изменить, не отменяя ее вовсе.

— Что же вы предлагаете? То, что нравится, отменить не просто. А усовершенствование, по-вашему, нелепо. Что остается?

— Признать, что каждый человек — исключение, и не ломать его, а прилаживать к делу. Со своеобразием не борются, а применяют по назначению.

— Утопия.

— Утопия — это пока нет теории, — сказал Громобоев. — Но до теории нужна наблюдательность. У человека тыща нужд, значит, у него тыща свойств. Значит, каждого можно приладить к делу.

— Неясно только одно, — сказал директор. — Кто должен этим заниматься?

— Мы, — сказал Громобоев. — Вы, я, кто-то же должен начать? Начать не топтать исключения из правил.

— Вы Миногу имеете в виду?

— Не только... И ее, и городок в целом... Говорят, у вас Гундосый какой-то котел перетащил?... А ведь шел воровать цемент.

— Да я бы ему так дал!

— За котел, — сказал Громобоев. — А до этого давать было не за что, и он был не уверен.

К ним подходили Володин и майор с явной целью помешать разговору.

Громобоев только успел еще сказать:

— Человек хочет, чтоб его любили. А любить иногда не за что. Ну и что такого? Может, надо сначала начинать его любить, тогда появится за что?

— У этой мысли много врагов.

— У этой мысли только один враг.

— Кто?

— Злоба, — сказал Громобоев.

— Поэтому вы сюда и приехали?

— Да. Из-за Васьки-полицая. Из-за Васьки Золотова, полицая. Нашли тело? — спросил Громобоев у подошедших.

— Нет, — сказал майор. — Водолазы уезжать собираются. Пора дело закрывать, товарищ Громобоев.

— Ладно, — сказал Громобоев и посмотрел на директора. — Только мне надо вызвать для разговора вашу жену.

— Аичку?

— Это со свадьбы-то? — сказал майор. — Незачем. Мы с ней уже говорили.

Громобоев не ответил.

— Вам очень нужно? — спросил директор Громобоева.

Тот кивнул.

Вот растет могучее дерево. И что хорошо для семени — плохо для ствола, а что хорошо для ствола — плохо для листьев. Но это не резон, чтобы рубить ствол или обрывать листья. Просто у них эталоны разные, а идеал один — жить нормально и осуществить предназначение своей, а не чужой культуры.

Народ — это особая уникальная культура, разворачивающаяся во времени.

Но как часто люди принимают чужие эталоны за новый этап своего развития!

Васька-полицай был когда-то жителем городка и не отличался от них ничем, разве только одной особенностью — ему не фартило.

Он ни разу не выиграл по облигации, и еще ему рыба не шла на крючок. У других жителей тоже так бывало, но они не огорчались и работали, а он огорчался и ждал выигрыша.

Он не мог ни к кому предъявить претензий, ни к жителям, ни к рыбе. И чем больше он понимал, что не может предъявить претензий, тем больше росла его злоба.

Он презирал всех, кто не огорчался, а уж тех, кому пофартило, ненавидел.

И когда пришли немцы, то герр Зибель сразу понял, что это свой, а Васька-полицай понял, что наконец-то и ему пофартило.

Потому что до немцев он понимал, что проявлять злобу неприлично и заключают, а при немцах понял, что проявлять злобу прилично и поддержат.

Потому что пришли не немцы, а фашисты, но Васька разницы между этими двумя делами не разумел, а немцы тогда забыли. Но им это напомнили. И потому Васька чужую злобу принял за чужую культуру и подумал: ну, наконец-то!

При фашистах в городке были и другие полицейские, но это были обыкновенные полицейские, и они бежали с немцами, спасаясь от судьбы и закона. Васька же был хуже всех. Потому что убил попа и остался.

Другие полицейские были — у кого уголовщина позади, у кого любая другая ссора с властями, то есть причины общественные. Васька же был психологический феномен. Его злоба от властей не зависела. Только наша власть ее глушила, а их делеяла.

И потому, когда фашисты бежали в паническом ужасе, Васька понял, что эталон чужой злобы сломался, и решил дальше жить в одиночку со своею собственной.

И жил, как все в городке, только бил бутылки.

Зинуля принесет ему дюжину пива и половинку фруктовой, а он их все выпьет и об камень поколотит. Другие сдавали. Зинуля соберет осколки и в реку скинет в омут, тиной зарастать.

Другого же за ним более ничего не водилось.

А Минога реку любила.

Герр Зибель вел тогда сложную игру, но с герром Зибелем произошел конфуз. Он не поверил, что вызвал взрыв, и потому не узнал его в лицо.

Потому что Россия очень талантлива, и ее взрыв непохож на визгливую, но иссякающую истерику, ее взрыв долгий и неодолимый.

Герр Зибель не знал русской истории и решал вопрос на уровне силы и подчинения. И когда перед ним стоял пойманный партизан, то герру Зибелю понятие «достоинство народа» в голову искренне не приходило. То есть, как говорили в старину, герр Зибель не имел понятия, без понятия был герр Зибель.

Например, ему казалось, что если напугать человека, то он непременно подчинится, и он недоумевал, когда в России напуганный, казалось бы, окончательно человек вдруг приходил в медленное ледяное бешенство — ярость благородную.

Герра Зибеля не смутил полученный им приказ об отступлении. Военные перипетии — наступления, отступления — это нормально. И потому для будущего наступления он проводил подготовку и все рассчитал: если, уходя, взорвать город и уничтожить жителей, то по его, Зибеля, возвращении партизаны сами придут к нему регулярно работать и тихонько плодиться или вымрут в лесах и болотах, и наступит наконец порядок.

А чтобы все выглядело благопристойно, потому что главное условие порядка — благопристойность, герр Зибель город решил взорвать пустым, а жителей отдельно собрать на берегу и подставить под бомбежку русских эскадрилий, для чего и собирался разжечь возле согнанных, как мы уже знаем, сигнальный костер, так осложнявший ему жизнь прежде, поскольку костер всегда вспыхивал, неуловимо кем зажженный, возле важных охраняемых объектов.

Операция была исключительно хорошо продумана и вроде не имела изъяна. В свои планы герр Зибель никого не посвящал. Минирование выглядело рассредоточиванием складов, а вывод жителей на берег — эвакуацией из начиненного взрывчаткой города. О костре же вообще никто не знал. Герр Зибель собирался поджечь его собственной рукой перед тем, как сесть в «опель-адмирал».

К герру Зибелю привели человека в гражданской одежде. Его задержали, когда в пустом городе он гонялся за своей сдуваемой ветром шляпой.

Замечено было, что шляпу его всегда сдувало к домам города, где были сосредоточены рассредоточенные склады.

Когда герр Зибель спросил его, кто он и каким ветром его сюда занесло, тот ответил, что он бог Пан, ищет утерянную им нимфу Сиригуну и что занесло его сюда ветром истории и эволюции идеала, приведших его в Россию.

Герр Зибель любил сумасшедших, так как это давало ему чувство превосходства расового, национального, классового, профессионального и личного, но у него было подозрение, что это лазутчик из партизанского леса. Поэтому он сказал, что поможет ему найти нимфу Сиригуну, если бог Пан расскажет ему о том, что конкретно привело его сюда, в это захолустье.

Бог Пан сказал, что захолустье — вещь самая непостоянная, и часто в трудных условиях захолустья не умирают идеи добровольного объединения, когда единое целое не поддается частей, его составляющих, и что эти идеи начинают приобретать научное значение.

На это герр Зибель заметил, что пора бы и расстрелять бога Пана за коммунистическую агитацию, но он, Зибель, даст ему шанс выжить, если тот докажет свою лояльность рейху и сообщит дислокацию партизанских отрядов, а также пристрелит самолично партизана, притворившегося полицаем, и тут же велел связать Ваську-полицая, который присутствовал при разговоре и теперь был изрядно напуган.

Герр Зибель также пообещал Ваське перед разговором, что парабеллум будет не заряжен. Но Васька знал герра Зибеля как самого себя и знал, что все может случиться. И потому, слушая разговор, дрожал от панического ужаса.

Впрочем, и герр Зибель дрожал неизвестно почему.

Герр Зибель дал неизвестному парабеллум и сказал, что застрелит его, если тот не застрелит Ваську-полицая, и, не вставая с табуретки, направил на неизвестного свой заряженный «вальтер».

Но неизвестный предложил сделать по-другому и показал как. Он выбил табуретку из-под задницы герра Зибеля и отнял у него заряженный «вальтер». После чего велел герру Зибелю отдать ему план минирования города и сказал, что теперь он хочет узнать, что герр Зибель на это ему скажет.

Герр Зибель сказал, что согласен отдать ему план.

Неизвестный забрал план и велел герру Зибелю, мучимому непонятным страхом под бутылочным взглядом

неизвестного, вызвать сюда четырех охранников, что тот и исполнил без суеты.

Неизвестный охранников перестрелял, а герра Зибеля увел в неизвестном направлении, о чем уже сообщалось в предисловии от автора.

Город взлетел, жители живы. Васька уцелел. Минога тоже. А неизвестный так и остался неизвестным для всех, кроме Васьки-полицая и Миноги, поскольку, как вы сами понимаете, решение поджечь дом принадлежало не только Миноге, но и ее давнему знакомому, которому она в давние времена успела причинить лиху. Но это уже их личные дела и к делам города не относятся.

Громобоев дожидался Аичку в директорском кабинете на стройке, а Володин дожидался ответа Громобоева.

Володин, криво усмехаясь, сообщил Громобоеву о слухах, которые ходят насчет его сходства с известной третьяковской картиной, сообщил сведения из мифологического справочника, присовокупив сюда все неправдоподобные события в их городке за последние два месяца, и спросил Громобоева, что он обо всем этом думает.

Громобоев выслушал его рассеянно, долго молчал, а потом ответил вопросом на вопрос:

— А вы?

— Не знаю.

— И я не знаю.

— Но ведь нужно же как-нибудь объяснить?

— А зачем? — спросил Громобоев.

— Ну все-таки...

— А вы знаете устройство телефона-автомата? — спросил Громобоев.

— Я лично?

— Вы лично.

— Я лично — нет.

— Но ведь пользуетесь, — сказал Громобоев.

— Это другое дело.

— Процесс понимания такой же бесконечный, как жизнь, — сказал Громобоев. — У вас с Люсей сейчас все хорошо?

Володин кивнул. Он уже учился подражать Громобоеву.

— Говорят, вы были женихом Копыловой? — спросил Володин.

— Почему был? Я и сейчас жених хоть куда.

Володин поглядел на него и впервые в жизни поверил непонятному.

— Ведь она замуж выходила в 1947 году... Почему не за вас?

— Она тогда боялась непонятного.

— А почему разошлась с мужем?

— Впервые в жизни испугалась понятного, — сказал Громобоев.

Володину почему-то люто захотелось жить.

— Ну что ж, Теодор Николаевич, хочется жить? — спросил Громобоев.

Володин уверенно кивнул.

Тут пришла Аичка в сопровождении директора, Фонина, майора и Сергея Ивановича, которые выразили желание присутствовать, если это возможно.

Майор сказал, что это возможно, и посмотрел на Громобоева. Тот кивнул, как Володин. Потом попросил Аичку еще раз повторить версию Миноги о том, как погиб Васька-полицай.

Аичка повторила и не сообщила ничего нового.

Громобоев сказал, что, видимо, так все и было, и спросил, почему не пришла Минога.

Аичка ответила, что ее тетя готовится к отъезду с Громобоевым, о чем он и сам прекрасно знает.

И Аичка заплакала.

— Больше вам добавить нечего? — спросил Громобоев.

— Нет.

Громобоев вдруг поднялся и уставился на Аичку бутылочными глазами.

— Это ваше последнее слово? — спросил он.

— Да! — со слезами крикнула Аичка и зарыдала еще громче.

— Не надо плакать, — сказал Громобоев. — Можете идти.

Аичка выбежала из комнаты.

— Ну что ж, дело закончено? — спросил директор.

— Выходит, так, — сказал майор. — Вина Копыловой не доказана, тело не найдено, преступление не раскрыто... За это нас, конечно, не погладят, но тут есть и пословицы подходящие: на всякого мудреца,

и так далее... Если это вас утешит, товарищ Громобоев...

— Утешит, — подтвердил Громобоев.

— Товарищу Громобоеву спасибо за помощь, — сказал Сергей Иванович. — Видимо, он сделал все, что мог... Конечно, я бы ему сказал... но не стоит...

— Мы ожидали, что в это дело вы вложите побольше сердца, товарищ Громобоев, — сказал майор. Он уже ничего не боялся. — Я лично разочарован крепко...

— Да, да... — рассеянно сказал Громобоев. — Вы совершенно правы.

— Тратиться надо, товарищ Громобоев... В каждом деле надо тратиться. В нашем особенно, — сказал майор, который все больше ничего не боялся.

— В общем, слухи о вас оказались преувеличены, — сказал директор. — Или мы ошибаемся?

— Нет, все правильно, — ответил Громобоев. — Простите, Аичка еще не ушла?

— При чем тут Аичка? — спросил директор.

— Володин, позовите ее сюда, — сказал Громобоев. — Быстренько.

— Она не пойдет, — сказал Фонин.

— Володин, только совсем быстренько, раз-раз.

Володин выскочил из комнаты. Остальные посмотрели на Громобоева.

— Что такое, товарищ Громобоев? — строго спросил Сергей Иванович.

— Простите. Минуточку, — сказал Громобоев.

И тут Володин вводит заплаканную Аичку.

— Ну что вам? — говорит она. — Не могу больше.

А Громобоев спрашивает ее после паузы:

— Скажите, Аичка, Васька-полицай знает, что следствие веду именно я?

Все начинают медленно подниматься.

— Что? — спрашивает Аичка и отступает к дверям кабинета.

— То, что вы слышали, — говорит Громобоев. — Он знает, что фамилия моя Громобоев?

— Нет, — сказала Аичка.

Общее замешательство ветром пронеслось по кабинету.

— Вы скрывали от него мою фамилию, да?

Аичка не ответила.

— Вы боялись за меня и за свою тетю?

Она молчит.

— Ничего не бойтесь, — говорит Громобоев. — Я все понимаю.

Она молчит.

— Передайте ему, чтобы он немедленно вылезал. Ничего не бойтесь.

— Он не пойдет, — сказала Аичка.

— Пойдет. Назовите еще раз мою фамилию. И скажите, что если придет сам, то, возможно, получит срок, а если не пойдет, то в тюрьму посадят меня... потому что я пристрелю его как собаку. Он меня знает. Володин, проводите ее...

— Нет уж, — говорит майор, достает пистолет из сейфа, сует его в карман. — Давайте-ка я.

— И я... — говорит директор.

И они уходят провожать Аичку.

— Ну вот дело и закончено, — говорит Громобоев.

— Вы все время знали? — спрашивает Сергей Иванович.

— Нет. Догадался, когда Аичка заплакала...

Сергей Иванович и Фонин смотрят на него.

— Он ее все время шантажировал, — сказал Громобоев. — Аичка боялась, что он расскажет, кто мы такие... я и ее тетя, которая меня никогда не понимала.

Он поднимается и складывает бумаги, потом говорит:

— Когда его приведут, пусть майор спросит, куда он девал нож, которым его якобы убили. Не могу догадаться... Остальное мне неинтересно.

И уходит.

— Вот дает Громобоев, — говорит Фонин. — Вот дает!

Потом без стука, мягко так распахивается дверь и входит возбужденный майор.

— Васька Золотов в прихожей сидит. Сам прибежал, ублюдок. Говорит: «Громобоев знает, что я живой». Говорит: «Я об этом догадался, когда сарай, где я прятался, ветром сдуло».

Провожали Громобоева и Миногу.

— Кто вы такие? — спросили их напрямик. — Может, разведчики?

— Нет.

— Может, вы старые боги?

- Нет.
- Может, вы пришельцы?
- Нет.
- А кто же вы?
- Мы — это вы.
- Непонятно. Оставайтесь. Жили бы здесь...
- Мы придем, когда вы поймете...

Незначительный Сулин ловил удочкой рыбу, то есть не нарушал правил охоты и рыболовства, но рыба не кле-вала.

Проходивший майор спросил его:

- Отчего мрачный, Сулин?
- Не ловится. Не фартит.
- А зачем ловишь?
- Другие же ловят?
- А ты рыбу любишь?
- Нет.
- Потому и не ловится, — сказал майор с внезапной яростью. — А ну давай отсюда!

И долго смотрел ему вслед.

Аверьянов и Абрам везли по шоссе оборудование для универсама, который заканчивали строить вместо за-худалой Абрамовой продпалатки, и увидели, как по вечер-нему шоссе от города двигались несколько человек. Они пригляделись и поняли, что это из города уходили водолазы.

Они играли в чехарду и кричали:

— Прыгай, старик, прыгай!

И Громобоев прыгал, придерживая шляпу.

Рядом шли художник налегке и Минога. Художник играл на губной гармошке, а Минога шла босиком, легко, будто танцевала.

И последнее.

Незадолго до их ухода из города на месте костра на берегу реки расцвел невиданной красоты огромный цветок.

Город бежал его смотреть в нерабочее время. И, не ожидая зимы, его накрыли оранжерей.

Приехала комиссия, вызванная учителем ботаники, но определить, что за цветок, не смогла. В справочниках его не оказалось. Хотели было срезать его, чтобы изучить, но городские хулиганы не дали.

Сказали, что «начистят хлебало каждому, кто подойдет к цветку ближе чем на четыре лаптя».

Тогда комиссия запросила у Миноги, не знает ли она? Минога ответила лениво, что не знает.

Но город смеялся.

1970—1980

СОДЕРЖАНИЕ

ЗЕРКАЛО. Предисловие автора	3
САМШИТОВЫЙ ЛЕС. Роман	10
ДОРОГА ЧЕРЕЗ ХАОС. Роман	299
СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР. Московская повесть	452
ПРЫГАЙ, СТАРИК, ПРЫГАЙ! Таинственная история	481

Анчаров М. Л.

А74 Приглашение на праздник: Романы и повести. / Предисл. автора. — М.: Худож. лит., 1986. — 558 с.

В книгу известного прозаика Михаила Анчарова вошли романы и повести последних лет: «Самшитовый лес», «Дорога через хаос», «Страстной бульвар», «Прыгай, старик, прыгай!».

А 4702010200—202
028(01)-86

ББК 84Р7
Р2

Михаил Леонидович Анчаров
ПРИГЛАШЕНИЕ НА ПРАЗДНИК

Редактор М. Чудова
Художественный редактор С. Гераскевич
Технический редактор И. Жаворонкова
Корректоры Г. Верхогляд, Н. Пехтерева

ИБ № 4119

Сдано в набор 09.08.84. Подписано в печать 24.07.85. А 10397.
Формат 84x108 1/32. Бумага офсетная № 1. Гарнитура „Таймс“.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 29,4 + 1 вкл. = 29,45. Усл. кр.-
отт. 58,9. Уч.-изд. л. 31,95 + 1 вкл. = 31,98. Тираж 100 000 экз.
Заказ № 267. Цена 2 р. 50 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство „Ху-
дожественная литература“. 107882, ГСП, Москва, Б-78,
Ново-Басманная, 19.

Диапозитивы изготовлены на Ярославском полиграфком-
бинате Союзполиграфпрома при Государственном комитете
СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торгов-
ли. 150014, Ярославль, ул. Свободы, 97.

Отпечатано на Минской фабрике цветной печати. 220115,
Минск, ул. Корженевского, 20.

2 p. 30 in.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
540 EAST 57TH STREET
CHICAGO, ILL. 60637
TEL: 773-936-3300
WWW.CHICAGO.EDU

